

ЛИТЕРАТУРА

9 КЛАСС

часть 2



РЕДАКЦИЯ ЛИТЕМСВИНА



ЛИТЕРАТУРА

9

КЛАСС

УЧЕБНИК
для общеобразовательных
учреждений

В двух частях

ЧАСТЬ
2

Под редакцией Г. И. БЕЛЕНЬКОГО

Рекомендовано
Министерством образования и науки
Российской Федерации

11-е издание, стереотипное

ИЗДАТЕЛЬСТВО МНЕМОЗИНА

Москва 2010

БИБЛИОТЕКА
Средней школы № 2

УДК 373.167.1:882.091
ББК 83.3(2Рос=Рус)я721
Л64

На учебник получены положительные заключения Российской академии наук (№ 10106–5215/9 от 31.10.2007) и Российской академии образования (№ 01–676/5/7д от 29.10.2007)

Составители:

Г. И. Беленький, Э. А. Красновский, С. А. Леонов, Ю. И. Лыссый, И. А. Подругина, М. А. Снежневская, Н. А. Соснина, О. М. Хренова, В. М. Шамчикова

На обложке: *Ю. П. Ребров.* **Портрет М. В. Шолохова**
А. А. Дейнека. **Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года**

Литература. 9 класс : учебник для общеобразоват. учреж-
Л64 дений : в 2 ч. Ч. 2 / под ред. Г. И. Беленького. — 11-е изд., стер. — М. : Мнемозина, 2010. — 423 с. : ил.

ISBN 978-5-346-01551-2

Во 2-ю часть учебника включены сравнительно небольшие повести, а также рассказы и фрагменты объемных произведений — главным образом тех, что в последнее время не издавались или выпускались недостаточными тиражами. Большинство лирических стихотворений, изучение которых предусмотрено программой, помещены в 1-й части. Это облегчает работу над сопровождающими их вопросами и заданиями.

УДК 373.167.1:882.091
ББК 83.3(2Рос=Рус)я721

© «Мнемозина», 1998
© «Мнемозина», 2009, с изменениями
© «Мнемозина», 2010
© Оформление. «Мнемозина», 2010
Все права защищены

ISBN 978-5-346-01549-9 (общ.)
ISBN 978-5-346-01551-2 (ч. 2)

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Во вторую часть учебника включены сравнительно небольшие повести, а также рассказы и фрагменты объемных произведений — главным образом тех, что в последнее время не переиздавались или выпускались недостаточными тиражами. Лирические стихотворения, изучение которых предусмотрено программой, помещены в первой части: это облегчит работу над сопровождающими их вопросами и заданиями.

Из-за ограниченного объема книги за ее пределами остались такие произведения, входящие в школьную программу, как «Недоросль» Фонвизина, «Горе от ума» Грибоедова, «Евгений Онегин» Пушкина, «Герой нашего времени» Лермонтова, «Мертвые души» Гоголя.

Важно всегда помнить, что подлинно культурный читатель не ограничивается знакомством с отрывками из художественных произведений. Только цельное восприятие всего произведения помогает проникнуть в глубину замысла писателя и доставляет истинное наслаждение уму и сердцу.



СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

Не начать ли нам, братья, по-стародавнему скорбную повесть о походе Игоревом, Игоря Святославича! Или да начнется песнь ему по былям нашего времени — не по замышлению Боянову! Ведь Боян[1] вещий когда песнь кому сложить хотел, то белкою скакал по дереву, серым волком по земле, сизым орлом кружил под облаками. Поминал он давних времен рати — *тогда пускал десять соколов на стаю лебедей*; какую догонял сокол, та первая песнь пела старому Ярославу, храброму Мстиславу, что зарезал Редедю пред полками касожскими, красному Роману Святославичу[2]. Боян же, братья, не десять соколов на стаю лебедей пускал, но свои вещие персты на живые струны возлагал; они же сами князьям славу рокотали.

Начнем же, братья, повесть эту от старого Владимира до нынешнего Игоря[3], что отвагою закалил себя, заострил серд-

---

[1] Б о я́ н — поэт-певец; жил, видимо, во второй половине XI в.; свой репертуар («славы» в честь того или иного князя) исполнял под аккомпанемент гуслей.

[2] Старый Я р о с л а в — Ярослав Владимирович Мудрый (ум. в 1054 г.), князь киевский; храбрый М с т и с л а в — брат Ярослава Мстислав Владимирович (ум. в 1036 г.), князь черниговский и тмутараканский; о поединке его с Редедей см. «Повесть временных лет» под 1022 г.; красный Р о м а н Святославич — Роман Святославич (ум. в 1079 г.), князь тмутараканский, внук Ярослава и Мстислава.

[3] Старый В л а д и м и р — Владимир I Святославич (ум. в 1015 г.); нынешний И г о р ь — Игорь Святославич (ум. в 1202 г.), князь новгород-северский, с 1198 г. князь черниговский.

це свое мужеством и, исполнившись ратного духа, навел свои храбрые полки на землю Половецкую за землю Русскую.

О Боян, соловей старого времени! Вот когда бы ты, соловей, эти полки щекотом своим воспел, мыслию скача по дереву, умом летая под облаками, свивая славу давнего и нынешнего времени, волком рыща по тропе Трояновой[1] через поля на горы! Так бы тогда пелась слава Игорю, Олегову внуку: «Не буря соколов занесла через поля широкие, галок стаи летят к Дону великому». Или так зачалась бы она, вещий Боян, внук Велесов[2]: «Кони ржут за Сулою, звенит слава в Киеве. Трубы трубят в Новегороде, стоят стяги в Путивле».

Игорь ждет милого брата Всеволода. И сказал ему буй-тур Всеволод[3]: «Один брат, один свет светлый ты, Игорь! Оба мы Святославичи. Седлай, брат, своих борзых коней, — мои давно у Курска стоят наготове. А мои куряне — дружина бывалая: под трубами повиты, под шлемами взлелеяны, с конца копья вскормлены; пути ими исхожены, овраги ведомы, луки у них натянуты, колчаны отворены, сабли наострены; сами скачут, как серые волки в поле, себе ища чести, а князю славы».

Тогда посмотрел Игорь на светлое солнце и увидел, что тьма от него все войско покрыла[4]. И сказал Игорь дружине своей: «Братья и дружина! Лучше в битве пасть, чем в полон сдаться. А сядем, братья, на своих борзых коней, поглядим на синий Дон!» Запала князю дума Дона великого отведать и знамение небесное ему заслонила. «Хочу, — сказал, — копье преломить у степи Половецкой с вами, русичи! Хочу голову свою сложить либо испить шеломом из Дону».

Тогда вступил Игорь князь в золотое стремя и поехал по чистому полю. Солнце мраком путь ему загородило; тьма, грозу суля, громом птиц пробудила; свист звериный поднялся;

---

[1] Т р о я́ н в некоторых древнерусских текстах упоминается в ряду языческих богов Древней Руси; тропа Троянова — поэтический символ далекого расстояния; означает, если учесть предшествующий текст, следующее: «скача (умом) — волку уподобляясь в быстроте бега — так далеко, куда рядовой человек, не «вещий», попасть не может».

[2] В е́ л е с (Волос) — «скотий бог» языческой Руси, бог изобилия и богатства и, очевидно, покровитель песнетворчества.

[3] В с е в о л о д С в я т о с л а в и ч (ум. в 1196 г.), брат Игоря Святославича, князь трубчевский и курский; *буй-тур* — смелый сильный тур — дикий бык, зубр (тур — символ мужества и силы).

[4] Речь идет о солнечном затмении 1 мая 1185 г.

Див[1] забился, на вершине дерева кличет — велит послушать земле незнаемой, Волге, и Поморью, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, тмутараканский идолище![2] А половцы дорогами непроторенными побежали к Дону великому; скрипят телеги их в полуночи, словно лебеди кричат распуганные.

Игорь к Дону воинов ведет. Уже беду его стерегут птицы по дубам; волки грозу накликают по оврагам; орлы клектом на кости зверей сзывают; лисицы брешут на червленые щиты[3]. О Русская земля, а ты уже скрылась за холмом!

Долго ночь меркнет. Но вот заря свет запалила, туман поля покрыл; уснул щекот соловьиный, говор галок пробудился. Русичи широкие поля червлеными щитами перегородили, себе ища чести, а князю славы.

Утром в пятницу потоптали они поганые полки половецкие и, рассыпавшись стрелами по полю, помчали красных девок половецких, а с ними золото, и паволоки, и дорогие оксамиты[4]. Ортмами, япончицами[5] и кожухами стали мосты мостить по болотам и топким местам — и всяким узорочьем[6] половецким. Червленый стяг, белая хоругвь, червленый бунчук[7], серебряное древко — храброму Святославичу!

Дремлет в степи Олегово храброе гнездо. Далеко залетело! Не было оно рождено на обиду ни соколу, ни кречету, ни тебе, черный ворон, поганый половчанин! Гзак бежит серым волком, Кончак ему след прокладывает к Дону великому.

На другой день рано утром кровавые зори рассвет возвещают; черные тучи с моря идут, хотят прикрыть четы-

---

[1] *Див* — враждебная русскому народу вещая птица, предупреждает врагов о походе Игоря.

[2] *Су́рож* — Судак (Крым); *Ко́рсунь* — Херсонес (Крым); *Тмутарака́нь* — русское княжество на Таманском полуострове, в XI в. находившееся во владении черниговских князей и позже захваченное половцами; *тмутарака́нский и́долище* — очевидно, «каменная баба» в Тмутаракани, чтимая половцами и своим объемом привлекавшая внимание современников.

[3] *Червлёный* — красный, окрашенный черленью (яркой розово-красной краской).

[4] *Па́волока* — шелковая ткань; *оксами́т* — плотная бархатная ткань с разводами и орнаментами, обычно красного или фиолетового цвета.

[5] *Ортма* — покрывало, попона; *япончица* — плащ, накидка (слово тюркского происхождения).

[6] *Узо́рочье* — ценные ткани с узорами; драгоценные вещи.

[7] *Бунчу́к* — конский хвост на древке (знак власти).

ре солнца[1], а в них трепещут синие молнии. Быть грому великому! Идти дождю стрелами с Дону великого! Тут копьям поломаться, тут саблям постучать о шлемы половецкие, на реке на Каяле[2], у Дона великого. О Русская земля, а ты уже скрылась за холмом!

Вот ветры, Стрибожьи внуки[3], веют с моря стрелами на храбрые полки Игоревы. Земля гудит, реки мутно текут; пыль степь заносит; стяги весть подают — половцы идут от Дона и от моря; со всех сторон они русские полки обступили. Дети бесовы кликом степь перегородили, а храбрые русичи преградили степь червлеными щитами.

Яр-тур Всеволод! Стоишь ты всех впереди, мечешь стрелы на поганых, стучишь о шлемы мечами харалужными[4]. Куда, тур, поскачешь, своим золотым шеломом посвечивая, там лежат поганые головы половецкие. Порублены саблями каленными шлемы аварские тобою, яр-тур Всеволод! Что тому раны, братья, кто забыл и жизнь, и почести, и город Чернигов, отчий золотой стол, и милой своей красной Глебовны[5] свычаи и обычаи!

Были века Трояновы[6], прошли лета Ярославовы; были походы Олеговы, Олега Святославича[7]. Тот ведь Олег мечом крамолу ковал и стрелы по земле сеял; ступит в золотое стремя в городе Тмутаракани, — звон тот слышит старый великий Ярославов сын Всеволод, а Владимир каждое утро уши себе закладывает в Чернигове. <...> Тогда при Олеге Гориславиче засевалась и росла усобицами, погибала отчина Даждьбожьего внука[8], в крамолах княжих век человечий сокращался. Тогда

---

[1] В походе Игоря Святославича принимали участие четыре князя: Игорь, его брат Всеволод, сын Владимир и племянник Святослав Олегович.

[2] *Кая́ла* — река, где Игорь потерпел поражение; «Каяла» — производное от глагола «каяти» (жалеть, сожалеть, оплакивать); река скорби, гибели, плача. Какая реальная река соответствует поэтической Каяле «Слова», *до сих пор окончательно не выяснено.*

[3] С т р и б о́ г — один из языческих богов Древней Руси.

[4] *Харалу́г* — сталь западноевропейской выделки.

[5] Г л е б о в н а — жена Всеволода Святославича Ольга Глебовна.

[6] Века давнопрошедшие.

[7] О л е г С в я т о с л а в и ч (ум. в 1115 г.) — дед Игоря и Всеволода. Г о р и с л а в и ч — прозвище Олега, подчеркивающее превратности его судьбы. В «Слове» упоминаются отдельные эпизоды биографии Олега.

[8] Д а ж д ь б о́ г — один из языческих богов Древней Руси. Даждьбожий внук — русский народ.

по Русской земле редко пахари покрикивали, но часто вороны граяли, трупы себе деля, а галки свою речь говорили, лететь собираясь на поживу. То было в те рати и в те походы, а такой рати не слыхано.

С утра раннего до вечера, с вечера до света летят стрелы каленые, стучат сабли о шеломы, трещат копья харалужные в степи незнаемой, посреди земли Половецкой. Черная земля под копытами костьми была засеяна, а кровью полита; горем взошли они по Русской земле.

Что шумит, что звенит на рассвете рано перед зорями? Игорь полки поворачивает: жаль ему милого брата Всеволода. Бились день, бились другой; на третий день к полудню пали стяги Игоревы. Тут разлучились братья на берегу быстрой Каялы; тут кровавого вина недостало; тут пир окончили храбрые русичи: сватов напоили, а сами полегли за землю Русскую. Никнет трава от жалости, деревья в го́ре к земле склонились.

Уже, братья, невеселое время настало, уже степь силу русскую одолела. Обида встала в силах Даждьбожьего внука, вступила девою на землю Троянову[1], взмахнула лебедиными крылами на синем море у Дона: прогнала времена счастливые. Война князей против поганых пришла к концу, ибо сказал брат брату: «Это мое и то мое же». И стали князья про малое «это великое» говорить, а сами на себя крамолу ковать. А поганые со всех сторон приходят с победами на землю Русскую.

О, далеко залетел сокол, птиц избивая, к морю! А Игорева храброго полку уже не воскресить! Запричитало по нем горе, и стенанье пронеслось по Русской земле, огонь сея[2] из пламенного рога. Жены русские восплакались, говоря: «Уже нам своих милых лад ни мыслию смыслить, ни думою сдумать, ни очами приворожить, а золота и серебра и в руках не подержать!»

И застонал, братья, Киев от горя, а Чернигов от напастей. Тоска разлилась по Русской земле, печаль многая рекою протекла среди земли Русской. А князья сами на себя крамолу куют, а поганые с победами набегают на Русскую землю, дань беря по белке от двора.

---

[1] Т. е. на землю Русскую.

[2] Имеются в виду пожары, которыми обычно сопровождались половецкие нашествия.

Ведь те два храбрых Святославича, Игорь и Всеволод, зло пробудили, которое усыпил было грозою отец их Святослав[1] грозный великий Киевский: прибил своими сильными полками и харалужными мечами, наступил на землю Половецкую; притоптал холмы и овраги; замутил реки и озера, иссушил потоки и болота; а поганого Кобяка из лукоморья от железных великих полков половецких, как вихрь, вырвал, — и пал Кобяк в городе Киеве, в гриднице[2] Святославовой. Тут немцы и венецианe, тут греки и морава поют славу Святославу, корят князя Игоря, что добычу утопил на дне Каялы, реки половецкой, золото свое рассыпал. Тут Игорь князь пересел с седла золотого, а в седло невольничье. Приуныли у городов стены, а веселье поникло.

А Святослав темный сон видел в Киеве на горах[3]. «Ночью этой с вечера накрывали меня, — сказал, — покровом черным на кровати тесовой; черпали мне светлое вино, с горечью смешанное; сыпали мне из пустых колчанов половецких крупный жемчуг на грудь и величали меня. И кровля уже без князька в моем тереме златоверхом, и всю ночь с вечера серые вороны у Плеснеска на лугу граяли».

И сказали бояре князю: «Кручина, князь, разум твой полонила: ведь два сокола слетели с отчего стола золотого — добыть хотели города Тмутараканя либо испить шеломом из Дону. Но уже соколам крылья подсекли поганых саблями, а самих опутали путами железными. Темно было в третий день: два солнца померкли, оба багряные столпа погасли, и с ними оба молодых месяца, Олег и Святослав, тьмою заволоклись, и в море утонули, и великую дерзость подали поганым. На реке на Каяле тьма свет покрыла: по Русской земле разбрелись

---

[1] *Святослав* — князь киевский Святослав Всеволодич (ум. в 1194 г.), двоюродный брат Игоря и Всеволода (отцом Игоря и Всеволода он назван по своему положению, как князь киевский). Речь здесь и ниже идет о победоносном походе Святослава совместно с другими князьями на половцев в 1184 г., в результате которого был взят в плен сам половецкий хан Кобяк с сыновьями.

[2] *Гри́дница* — большое пиршественное помещение, где собирались «гриди» — дружинники князя; гридница иногда использовалась как место заключения пленных.

[3] Сон Святослава Всеволодича, киевского князя, весь насыщен образами и символами, предвещающими горе, несчастье, слезы («крупный жемчуг») и даже смерть («кровля без князька»).

половцы, как пардусов выводок[1]. Уже насела хула на хвалу; уже перемогло насилие волю; уже кинулся Див на землю. Вот готские красные девы запели на берегу синего моря, звеня русским золотом; поют они время Бусово, лелеют месть за Шарокана[2]. А мы, дружина, уже живем без веселья».

Тогда великий Святослав изронил золотое слово, со слезами смешанное, и сказал: «О сыны мои, Игорь и Всеволод! Рано начали вы Половецкую землю мечами кровавить, а себе славы искать: без чести для себя ведь вы одолели, без чести для себя кровь поганую пролили. Храбрые сердца ваши из харалуга крепкого скованы, в отваге закалены. Что же сотворили вы моей серебряной седине!

Уже не вижу я силы могучего и богатого и воинами обильного брата моего Ярослава с черниговскими былями, с могутами и с татранами, с шельбирами, топчаками, ревугами и ольберами[3]: те ведь без щитов, с одними ножами засапожными, кликом полки побеждают, звеня прадедовской славой.

Вы сказали: "Помужаемся сами, и прошлую славу себе возьмем, и нынешнюю поделим!" Но не диво, братья, и старому *помолодеть*! Когда сокол перья роняет, высоко птиц взбивает, не даст гнезда своего в обиду. Одна беда: князья мне не в помощь — худая пора настала. Вот у Римова кричат под саблями половецкими, а Владимир — под ранами[4]. Горе и тоска сыну Глебову!»

---

[1] *Па́рдус* — барс, хищник.

[2] Речь идет о готах, живших на Таманском полуострове; всякое поражение русских в борьбе с половцами — ближайшими соседями готов — обогащало готских купцов. Б у с — очевидно, один из половецких ханов XI в.; Ш а р о к а н — половецкий хан Шарукан, дед Кончака; в 1107 г. потерпел поражение в битве с русскими князьями.

[3] Я р о с л а в — князь черниговский Ярослав Всеволодич (ум. в 1198 г.), брат киевского князя Святослава Всеволодича; осторожный и нерешительный, он весьма неохотно принимал участие в походах на половцев. *Бы́ли, могу́ты, татра́ны, шельби́ры, топча́ки, реву́ги, ольбе́ры* — знатные роды ковуев, тюрков по происхождению, давно осевшие в Черниговской земле и подчиненные черниговскому князю.

[4] После поражения Игоря половецкие ханы Гза и Кончак пошли походом на Русь: первый — на Посемье, второй — на Переяславль. При защите Переяславля был тяжело ранен переяславский князь Владимир Глебович (ум. в 1187 г.). Кончак на обратном пути взял и разорил Римов (город на реке Суле).

Великий князь Всеволод![1] Разве и мысли нет у тебя прилететь издалека отчий золотой стол посторожить? Ты ведь можешь Волгу веслами расплескать, а Дон шеломами вычерпать. Здесь был бы ты, невольница была бы по ногате, а раб по резане[2]. Ты ведь можешь и посуху живыми копьями метать — удалыми сынами Глебовыми[3].

Ты, храбрый Рюрик, и ты, Давыд[4]! Ваши воины в золоченых шлемах — не они ли по крови плавали? Не ваша ли храбрая дружина рык издает, словно туры, раненные саблями калеными, в поле незнаемом! Вступите, князья, в золотое стремя за обиду нашего времени, за землю Русскую, за раны Игоря, храброго Святославича!

Галицкий Осмомысл Ярослав[5]! Высоко сидишь ты на своем златокованом столе, подпираешь горы угорские[6] своими железными полками, королю[7] загораживаешь путь, затворяешь Дунаю ворота, клади бросая через облака, суды рядя до Дуная. Грозы твоей земли страшатся; Киеву отворяешь ворота, за дальними странами в салтанов стреляешь с отчего золотого стола. Стреляй же, господине, и в Кончака, поганого раба, за землю Русскую, за раны Игоря, храброго Святославича!

А ты, славный Роман, и ты, Мстислав[8]! Храбрая дума на подвиг вас зовет. Высоко взлетаешь ты на подвиг ратный в отваге, словно сокол, на ветрах парящий, что птицу в ярости хочет одолеть. У вас железные кольчуги под шлемами латин-

---

[1] Всеволод Юрьевич Большое Гнездо (ум. в 1212 г.) — сын Юрия Долгорукого, внук Владимира Мономаха, великий князь владимирский.

[2] *Ногáта, резáна* — мелкие денежные единицы в Древней Руси.

[3] Сыны Глебовы — рязанские князья, сыновья Глеба Ростиславича, находившиеся в вассальной зависимости от Всеволода Юрьевича Владимирского.

[4] Рюрик Ростиславич (ум. в 1215 г.) — князь белгородский, и его брат Давыд Ростиславич (ум. в 1198 г.) — князь смоленский.

[5] Ярослав Владимирович (ум. в 1187 г.) — князь галицкий, тесть Игоря Святославича; Осмомысл — прозвище этого князя.

[6] *Гóры угóрские* — горы венгерские (Карпаты).

[7] Венгерскому королю.

[8] Роман Мстиславич (ум. в 1205 г.) — князь волынский, и, видимо, его двоюродный брат Мстислав Ярославич (ум. в 1226 г.) — князь пересопницкий.

скими: от них дрогнула земля, и многие страны — Хинова[1], Литва, Ятвяги, Деремела[2] и Половцы — сулицы[3] свои побросали и головы свои склонили под те мечи харалужные. Но уже, князь, потемнел для Игоря солнца свет, а деревья не к добру листья обронили — по Роси и Суле города поделили. А Игорева храброго полку уже не воскресить. Дон тебя, князь, кличет, зовет князей на победу. Олеговичи, храбрые князья, уже ведь приспели на брань.

Ингварь и Всеволод и вы, три Мстиславича[4], не худого гнезда соколы-шестокрыльцы! Не по жребию побед вы себе волости расхватали! Где же ваши золотые шеломы, и сулицы лядские[5], и щиты! Загородите степи ворота своими острыми стрелами за землю Русскую, за раны Игоря, храброго Святославича!

Уже ведь Сула не течет серебряными струями для города Переяславля, и Двина у тех грозных полочан мутно течет под кликом поганых. Один Изяслав, сын Васильков[6], позвенел своими острыми мечами о шлемы литовские, побил славу деда своего Всеслава, а сам под червлеными щитами на кровавой траве побит был мечами литовскими и так сказал: «Дружину твою, князь, птицы крыльями приодели, звери кровь полизали». И не было тут брата Брячислава, ни другого — Всеволода. Одиноко изронил он жемчужную душу из храброго тела сквозь золотое ожерелье. Приуныли голоса, веселье поникло, трубы трубят городенские.

Ярослав и все внуки Всеславовы[7]! Уже склоните стяги свои, вложите в ножны мечи свои зазубренные — уже выпали вы из дедовской славы. Вы своими крамолами начали наводить поганых на землю Русскую, на достояние Всеславово. Из-за усобицы ведь стало насилие от земли Половецкой.

---

[1] *Хино́ва* — собирательное слово, обозначающее разные неведомые восточные страны и народы, враждебные Руси.

[2] *Ятвя́ги, Дереме́ла* — литовские земли и племена.

[3] *Сули́ца* — метательное копье в Древней Руси.

[4] Волынские князья.

[5] *Ля́дские* — польские.

[6] И з я с л а в — один из полоцких князей, внуков Всеслава Полоцкого.

[7] Я р о с л а в, судя по контексту, тоже один из полоцких князей, внуков Всеслава.

На седьмом веке Трояновом[1] бросил Всеслав[2] жребий о девице, ему любой. Изловчился, сел на коня, поскакал к городу Киеву, коснулся копьем золотого стола Киевского. Из Белгорода в полночь поскакал лютым зверем, завесившись синей мглой, утром отворил ворота Новугороду, расшиб славу Ярославову, поскакал волком от Дудуток до Немиги. На Немиге снопы стелют из голов, молотят цепами харалужными, на току жизнь кладут, веют душу от тела. У Немиги кровавые берега не добром были засеяны — засеяны костьми русских сынов. Всеслав князь людям суд правил, князьям города рядил, а сам ночью волком рыскал; из Киева до петухов, великому Хорсу[3] волком путь перебегая, в Тмутаракань добирался. Ему в Полоцке звонили заутреню рано у святой Софии в колокола, а он звон тот в Киеве слышал. Хоть и вещая душа была в отважном теле, но часто он беды терпел. Ему вещий Боян такую припевку, мудрый, сложил: «Ни хитрому, ни умному, ни ведуну разумному суда Божьего не миновать».

О, стонать Русской земле, поминая прежнее время и прежних князей! Того старого Владимира[4] нельзя было пригвоздить к горам киевским. Стали стяги его ныне Рюриковы, а другие Давыдовы, но врозь они веют, несогласно копья поют.

---

[1] В давнее время (число семь — эпическое число).

[2] В с е с л а в Б р я ч и с л а в и ч (ум. в 1101 г.) — князь полоцкий, родоначальник полоцкой династии князей. Враждовал с сыновьями Ярослава Мудрого. В 1067 г. он взял и сжег Новгород. Против него двинулись походом Ярославичи — Изяслав, Святослав и Всеволод. На реке Немиге 3 марта 1067 г. разыгралась битва, в результате которой Всеслав был разбит и бежал. Ярославичи стали звать его, обещая прощение и мир, но слова своего не сдержали: он был схвачен у Смоленска, как только переправился через Днепр. Изяслав привел его в Киев и заточил с двумя сыновьями. В 1068 г. восставшие против Изяслава киевляне освободили Всеслава и провозгласили князем («... коснулся копьем золотого стола Киевского»). В 1069 г. Изяслав с помощью союзника своего, польского короля Болеслава, вернулся в Киев; предвидя поражение, Всеслав ночью тайно от киевлян бежал в Белгород, а оттуда в Полоцк. Бегло напоминая современникам известные им события из жизни Всеслава, автор «Слова» руководствовался стремлением воссоздать не столько политическую биографию Всеслава, сколько его образ, как он ему рисовался, уже опоэтизированный преданием.

[3] Х о р с — бог солнца в языческой Руси.

[4] В л а д и м и р I Святославич.

На Дунае Ярославны голос слышится[1], чайкою неведомой утром рано стонет: «Полечу я чайкою по Дунаю, омочу рукав я белый[2] во Каяле-реке, утру князю кровавые раны на могучем его теле».

Ярославна утром плачет в Путивле на стене, причитая: «О ветр, ветрило! Зачем, господине, так сильно веешь? Зачем мчишь вражьи стрелы на своих легких крыльях на воинов моей лады? Или мало тебе высоко под облаками веять, лелея корабли на синем море? Зачем, господине, мое веселье по ковылю развеял?»

Ярославна рано утром плачет на стене Путивля-города, причитая: «О Днепр Словутич! Ты пробил каменные горы[3] сквозь землю Половецкую. Ты лелеял на себе Святославовы челны до полку Кобякова. Прилелей же, господине, мою ладу ко мне, чтобы не слала я к нему слез на море рано!»

Ярославна рано плачет на стене в Путивле, причитая: «Светлое и тресветлое солнце! Всем ты красно и тепло. Зачем, господине, простерло ты горячие лучи свои на воинов лады? В степи безводной жаждою согнуло им луки, тоскою замкнуло колчаны?»

Вспенилось море в полуночи; смерчи идут туманами. Игорю князю Бог путь кажет из земли Половецкой на землю Русскую, к *отчему столу золотому. Погасли вечером зори.* Игорь спит, Игорь не спит, Игорь мыслию степь мерит от великого Дону до малого Донца. В полночь Овлур[4] свистнул коня за рекою; велит князю не дремать. Кликнул; стукнула земля, зашумела трава, вежи половецкие задвигались. А Игорь князь поскакал горностаем к камышу, пал белым гоголем на воду. Кинулся на борзого коня и соскочил с него серым волком. И побежал к лугу Донца, и полетел соколом под туманами, избивая гусей и лебедей к обеду, и полднику, и ужину. Когда Игорь соколом полетел, тогда Овлур волком побежал, труся собою студеную росу; надорвали они своих борзых коней.

---

[1] *Дунай* — нередко встречающееся в народной поэзии поэтическое обозначение места действия; Ярославна — Евфросинья Ярославна, дочь Ярослава Владимировича Галицкого, Осмомысла, вторая жена (с 1184 г.) Игоря Святославича.

[2] В древнерусском оригинале слову «белый» соответствует слово «бебрян». Слово «бебрян» имело два значения: «бобровый, опушенный бобровым мехом» и «белый, сшитый из белой шелковой ткани».

[3] Днепровские пороги.

[4] Овлу́р — половец, бежавший на Русь вместе с Игорем.

Донец сказал: «Князь Игорь! Не мало тебе славы, а Кончаку нелюбия, а Русской земле веселия!» Игорь сказал: «О Донец! Не мало тебе славы, что лелеял князя на волнах, стлал ему зеленую траву на своих серебряных берегах, одевал его теплыми туманами под сенью зеленого дерева, стерег его гоголем на воде, чайками на волнах, утками на ветрах». Не такова, сказал, река Стугна; мелкую струю имея, поглотила она чужие ручьи и потоки, потопила в омуте у темного берега юношу князя Ростислава[1]. Плачет мать Ростиславова по юном князе Ростиславе. Приуныли цветы от жалости, и деревья в го́ре к земле склонились.

То не сороки застрекотали — по следу Игореву едут Гзак с Кончаком. Тогда вороны не граяли, галки примолкли, сороки не стрекотали, ползали змеи-полозы только. Дятлы стуком путь к реке кажут, соловьи веселыми песнями рассвет вещают. Молвит Гзак Кончаку: «Коли сокол к гнезду летит, соколенка расстреляем своими золочеными стрелами». Сказал Кончак Гзе: «Коли сокол к гнезду летит, а мы соколенка опутаем красною девицею». И сказал Гзак Кончаку: «Коли опутаем его красною девицею, не будет у нас ни соколенка, ни красной девицы[2], а начнут нас птицы бить в степи Половецкой».

Сказал Боян, песнотворец старого времени, Ярославова и Олегова: «Тяжко голове без плеч, беда и телу без головы». Так и Русской земле без Игоря. Солнце светит на небе — Игорь князь в Русской земле. Девицы поют на Дунае, вьются голоса через море до Киева. Игорь едет по Боричеву ко святой Богородице Пирогощей[3]. Страны рады, города веселы.

Воспев славу старым князьям, а потом молодых величать будем. Слава Игорю Святославичу, буй-туру Всеволоду, Владимиру Игоревичу! Да здравы будут князья и дружина, поборая за христиан против поганых полков. Князьям слава и дружине! Аминь.

(Перевод И. П. Еремина)

---

[1] Речь идет о гибели брата Владимира Мономаха, князя Ростислава Всеволодича, утонувшего в 1093 г., двадцати двух лет от роду, при переправе через реку Стугну.

[2] В л а д и м и р, сын Игоря Святославича, в 1187 г. бежал из половецкого плена вместе с дочерью хана Кончака.

[3] *Боричёв* — Боричев взвоз (подъем) в Киеве с днепровского берега на гору; *Богородица Пирогóщая* — церковь Богородицы Пирогощей в Киеве (построена в 1132 — 1136 гг.); названа так по иконе «Пирогощей» (греч. Πυργος — башня), привезенной из Константинополя.



Михаил Васильевич

ЛОМОНОСОВ

Утреннее размышление о Божием Величестве

1

Уже прекрасное светило
Простерло блеск свой по земли
И Божия дела открыло:
Мой дух, с веселием внемли;
Чудяся ясным толь лучам,
Представь, каков Зиждитель сам!

2

Когда бы смертным толь высоко
Возможно было возлететь,
Чтоб к солнцу бренно наше око
Могло, приближившись, воззреть,
Тогда б со всех открылся стран[1]
Горящий вечно Океан.

3

Там огненны валы стремятся
И не находят берегов,

[1] Т. е. сторон.

Там вихри пламенны крутятся,
Борющись множество веков;
Там камни, как вода, кипят,
Горящи там дожди шумят.

4

Сия ужасная громада —
Как искра пред Тобой одна.
О коль пресветлая лампада
Тобою, Боже, возжена
Для наших повседневных дел,
Что Ты творить нам повелел!

5

От мрачной ночи свободились
Поля, бугры, моря и лес
И взору нашему открылись,
Исполненны Твоих чудес.
Там всякая взывает плоть:
«Велик Зиждитель наш Господь!»

6

Светило дневное блистает
Лишь только на поверхность тел;
Но взор Твой в бездну проницает,
Не зная никаких предел.
От светлости Твоих очей
Лиется радость твари всей.

7

Творец! Покрытому мне тьмою
Простри премудрости лучи
И что угодно пред Тобою
Всегда творити научи,
И, на Твою взирая тварь,
Хвалить Тебя, бессмертный Царь.

1743 (?)

БИБЛИОТЕКА
Средней школы № 2

Ода
на день восшествия
на Всероссийский престол
Ея Величества Государыни Императри
Елисаветы Петровны 1747 года

1

Царей и царств земных отрада,
Возлюбленная тишина[1],
Блаженство сел, градов ограда,
Коль ты полезна и красна!
Вокруг тебя цветы пестреют
И класы[2] на полях желтеют;
Сокровищ полны корабли
Дерзают в море за тобою;
Ты сыплешь щедрою рукою
Свое богатство по земли.

2

Великое светило миру,
Блистая с вечной высоты
На бисер, злато и порфиру,
На все земные красоты,
Во все страны свой взор возводит,
Но краше в свете не находит
Елисаветы и тебя.
Ты кроме Той всего превыше;
Душа Ее Зефира тише,
И зрак прекраснее рая́.

3

Когда на трон Она вступила,
Как Вышний подал Ей венец,
Тебя в Россию возвратила,
Войне[3] поставила конец,

[1] Имеется в виду спокойствие, мир.
[2] Колосья.
[3] Война со шведами 1741—1743 гг.

Тебя прияв облобызала:
«Мне полно тех побед, — сказала, —
Для коих крови льется ток.
Я Россов счастьем услаждаюсь,
Я их спокойством не меняюсь
На целый запад и восток».

4

Божественным устам приличен,
Монархиня, сей кроткий глас.
О коль достойно возвеличен
Сей день и тот блаженный час,
Когда от радостной премены
Петровы возвышали стены
До звезд плескание и клик!
Когда Ты крест несла рукою[1]
И на престол взвела с собою
Доброт Твоих прекрасный лик!

5

Чтоб слову с оными сравняться,
Достаток силы нашей мал;
Но мы не можем удержаться
От пения Твоих похвал.
Твои щедроты ободряют
Наш дух и к бегу устремляют,
Как в понт[2] пловца способный ветр
Чрез яры волны порывает,
Он брег с весельем оставляет;
Летит корма меж водных недр.

6

Молчите, пламенные звуки,
И колебать престаньте свет:
Здесь в мире расширять науки
Изволила Елисавет.

---

[1] Вступив на престол в результате дворцового переворота, Елизавета вышла к войскам с крестом в руке.

[2] *Понт* — море.

Вы, наглы вихри, не дерзайте
Реветь, но кротко разглашайте
Прекрасны наши времена.
В безмолвии внимай, вселенна:
Се хощет Лира восхищенна
Гласить велики имена.

7

Ужасный[1] чудными делами
Зиждитель мира исконй
Своими положил судьбами
Себя прославить в наши дни;
Послал в Россию Человека[2],
Каков неслыхан был от века.
Сквозь все препятства Он вознес
Главу, победами венчанну,
Россию, грубостью попранну,
С собой возвысил до небес.

8

В полях кровавых Марс страшился,
Свой меч в Петровых зря руках,
И с трепетом Нептун чудился,
Взирая на Российский флаг.
В стенах внезапно укрепленна
И зданиями окруженна,
Сомненная Нева[3] рекла:
«Или я ныне позабылась
И с оного пути склонилась,
Которым прежде я текла?»

9

Тогда божественны науки
Чрез горы, реки и моря
В Россию простирали руки,
К сему Монарху говоря:

---

[1] *Ужáсный* — здесь: великий, вызывающий восхищение, удивление.

[2] Петра I.

[3] Нева как бы не узнала своих берегов.

«Мы с крайним тщанием готовы
Подать в Российском роде новы
Чистейшего ума плоды».
Монарх к Себе их призывает;
Уже Россия ожидает
Полезны видеть их труды.

10

Но ах, жестокая судьбина!
Бессмертия достойный Муж,
Блаженства нашего причина,
К несносной скорби наших душ
Завистливым отторжен роком,
Нас в плаче погрузил глубоком[1]!
Внушив рыданий наших слух,
Верьхи Парнасски восстенали,
И Музы воплем провождали
В небесну дверь пресветлый дух.

11

В толикой праведной печали
Сомненный их смущался путь,
И токмо шествуя желали
На гроб и на дела взглянуть.
Но кроткая Екатерина[2],
Отрада по Петре едина,
Приемлет щедрой их рукой.
Ах если б жизнь Ея продлилась,
Давно б Секвана[3] постыдилась
С своим искусством пред Невой!

12

Какая светлость окружает
В толикой горести Парнас?
О коль согласно там бряцает
Приятных струн сладчайший глас!
Все холмы покрывают лики;

[1] Имеется в виду смерть Петра I.
[2] Екатерина I.
[3] *Секва́на* — Сена. Имеется в виду Париж.

В долинах раздаются клики:
«Великая Петрова Дщерь[1]
Щедроты отчи превышает,
Довольство Муз усугубляет
И к счастью отверзает дверь».

13

Великой похвалы достоин,
Когда число своих побед
Сравнить сраженьям может воин
И в поле весь свой век живет;
Но ратники, ему подвластны,
Всегда хвалы его причастны,
И шум в полках со всех сторон
Звучащу славу заглушает,
И грому труб ея мешает
Плачевный побежденных стон.

14

Сия Тебе единой слава,
Монархиня, принадлежит,
Пространная Твоя держава
О как Тебе благодарит!
Воззри на горы превысоки,
Воззри в поля Свои широки,
Где Волга, Днепр, где Обь течет;
Богатство, в оных потаенно,
Наукой будет откровенно[2],
Что щедростью Твоей цветет.

15

Толикое земель пространство
Когда Всевышний поручил
Тебе в счастливое подда́нство,
Тогда сокровища открыл,
Какими хвалится Инди́я;
Но требует к тому Россия

[1] Елизавета Петровна.
[2] Т. е. открыто.

Искусством утвержденных рук.
Сие злату́ очистит жилу;
Почувствуют и камни силу
Тобой восставленных наук.

16

Хотя всегдашними снегами
Покрыта северна страна,
Где мерзлыми борей[1] крылами
Твои взевает знамена;
Но Бог меж льдистыми горами
Велик своими чудесами:
Там Лена чистой быстриной,
Как Нил, народы напояет
И бреги наконец теряет,
Сравнившись морю шириной.

17

Коль многи смертным неизвестны
Творит натура чудеса,
Где густостью животным тесны
Стоят глубокие леса,
Где в роскоши прохладных теней
На пастве скачущих еленей
Ловящих крик не разгонял;
Охотник где не метил луком;
Секирным земледелец стуком
Поющих птиц не устрашал.

18

Широкое открыто поле,
Где Музам путь свой простирать!
Твоей великодушной воле
Что можем за сие воздать?
Мы дар Твой до небес прославим
И знак щедрот Твоих поставим,
Где солнца всход и где Амур
В зеленых берегах крутится,

[1] Боре́й — в греческой мифологии бог северного ве

Желая паки возвратиться
В Твою державу от Манжур.

19

Се мрачной вечности запону[1]
Надежда отверзает[2] нам!
Где нет ни правил, ни закону,
Премудрость тамо зиждет храм;
Невежество пред ней бледнеет.
Там влажный флота путь белеет,
И море тщится уступить:
Колумб Российский[3] через воды
Спешит в неведомы народы
Твои щедроты возвестить.

20

Там тьмою островов посеян,
Реке подобен Океан;
Небесной синевой одеян,
Павлина посрамляет вран.
Там тучи разных птиц летают,
Что пестротою превышают
Одежду нежныя весны;
Питаясь в рощах ароматных
И плавая в струях приятных,
Не знают строгия зимы.

21

И се Минерва ударяет
В верьхи Рифейски копием[4];
Сребро и злато истекает
Во всем наследии Твоем.

---

[1] *Запóна* — преграда.

[2] Т. е. открывает.

[3] Имеется в виду А. И. Чириков, руководитель Второй Камчатской экспедиции.

[4] М и н е́ р в а — в римской мифологии богиня мудрости. Наука (мудрая Минерва) проникает в тайны природы. *Верьхи́ Рифейски́* — Уральские горы.

Плутон[1] в расселинах мятется,
Что Россам в руки предается
Драгой его металл из гор,
Который там натура скрыла;
От блеску дневного светила
Он мрачный отвращает взор.

22

О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов[2]
Российская земля рождать.

23

Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастный случай берегут;
В домашних трудностях утеха
И в дальних странствах не помеха.
Науки пользуют везде,
Среди народов и в пустыне,
В градском шуму и наеди́не,
В покое сладки и в труде.

24

Тебе, о милости Источник,
О Ангел мирных наших лет!
Всевышний на того помощник,
Кто гордостью своей дерзнет,
Завидя[3] нашему покою,

---

[1] П л у т о́ н — в римской мифологии бог подземного царства

[2] *Невто́нов* — Ньюто́нов.

[3] Завидуя.

Против Тебя восстать войною;
Тебя Зиждитель сохранит
Во всех путях беспреткновенну[1]
И жизнь Твою благословенну
С числом щедрот Твоих сравнит.
1747

* * *

[Вольный перевод отрывка из басни Лафонте

Послушайте, прошу, что старому случилось,
Когда ему гулять за благо рассудилось.
Он ехал на осле, а следом парень шел;
И только лишь с горы они спустились в дол,
Прохожий осудил тотчас его на встрече:
«Ах, как ты малому даешь бресть толь далече
Старик сошел с осла и сына посадил,
И только лишь за ним десяток раз ступил,
То люди начали указывать перстами:
«Такими вот весь свет наполнен дураками:
Не можно ль на осле им ехать обойм?»
Старик к ребенку сел и едет вместе с ним.
Однако, чуть минул местечка половину,
Весь рынок закричал: «Что мучишь так скоти
Тогда старик осла домой поворотил
И, скуки не стерпя, себе проговорил:
«Как стану я смотреть на все людские речи,
То будет и осла взвалить себе на плечи».
1747

Разговор с Анакреоном

(фрагменты)

А н а к р е о н

Ода I

Мне петь было о Трое,
О Кадме[2] было петь,
Да гусли мне в покое
Любовь велят звенеть.

[1] Т. е. идущую без помех, препятствий.

[2] К а д м — легендарный основатель Фив.

Я гусли со струнами
Вчера переменил
И славными делами
Алкида[1] возносил;
Да гусли поневоле
Любовь мне петь велят,
О вас, герои, боле,
Прощайте, не хотят.

Ломоносов

Ответ

Мне петь было о нежной,
Анакреон! любви;
Я чувствовал жар прежней
В согревшейся крови,
Я бегать стал перстами
По тоненьким струнам
И сладкими словами
Последовать стопам.
Мне струны поневоле
Звучат геройский шум.
Не возмущайте боле,
Любовны мысли, ум;
Хоть нежности сердечной
В любви я не лишен,
Героев славой вечной
Я больше восхищен.

Анакреон

Ода XXII

Когда бы нам возможно
Жизнь было продолжи́ть,
То стал бы я не ложно
Сокровища копить;
Чтоб смерть в мою годину,
Взяв деньги, отошла,
И за отку́п кончину
Отсрочив, жить дала.
Когда же я то знаю,
Что жить положен срок,

[1] Алки́д — Геракл (Геркулес).

На что крушусь, вздыхаю,
Что мзды скопить не мог?
Не лучше ль без терзанья
С приятельми гулять
И нежны воздыханья
К любезной посылать?

Л о м о н о с о в

Ответ

Анакреон, ты верно
Великий филосóф,
Ты делом равномерно
Своих держался слов,
Ты жил по тем законам,
Которые писал,
Смеялся забобонам[1],
Ты петь любил, плясал.
Хоть в вечность ты глубоку
Не чаял больше быть,
Но славой после року
Ты мог до нас дожить.
Возьмите прочь Сенеку[2]:
Он правила сложил
Не в силу человеку,
И кто по оным жил?

А н а к р е о н

Ода XI

Мне девушки сказали:
«Ты дожил старых лет»,
И зеркало мне дали:
«Смотри, ты лыс и сед».
Я не тужу нимало,
Еще ль мой волос цел,
Иль темя гладко стало,
И весь я побелел.
Лишь в том могу божиться,

---

[1] З а б о б о́ н ы — вздор, пустяки.

[2] С е н е́ к а — римский философ (I в. до н. э.). Проповедовал презрение к смерти, свободу от страстей.

Что должен старичок
Тем больше веселиться,
Чем ближе видит рок.

Л о м о н о с о в

Ответ

От зеркала сюда взгляни, Анакреон,
И слушай, что ворчит, нахмурившись, Катон[1]:
«Какую вижу я седую обезьяну?
Не злость ли адская, такой оставя шум,
От ревности на смех склонить мой хочет ум?
Однако я за Рим, за вольность твердо стану,
Мечтаниями я такими не смущусь,
И сим от Кесаря кинжалом свобожусь».
Анакреон, ты был роскошен, весел, сладок,
Катон старался ввесть в республику порядок,
Ты век в забавах жил и взял свое с собой;
Его угрюмством в Рим не возвращен покой.
Ты жизнь употреблял как временну утеху,
Он жизнь пренебрегал к республики успеху;
Зерном твой отнял дух приятной виноград[2],
Ножом он сам себе был смертный супостат;
Беззлобна роскошь в том была тебе причина,
Упрямка славная была ему судьбина.
Несходства чудны вдруг и сходства понял я:
Умнее кто из вас, другой будь в том судья[3].

1757—1761

---

[1] Като́н Мла́дший — римский республиканец (95–46 гг. до н. э.), противник Юлия Цезаря. Потерпев поражение, покончил с собой.

[2] По преданию, Анакреон умер, подавившись зерном винограда.

[3] Другие отрывки из стихотворения помещены в первой части учебника.

Александр Николаевич

РАДИЩЕВ

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ

(фрагменты)

«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй»[1].
«Тилемахида», том II, кн. XVIII, стих 514.
А. М. К.[2]

Любезнейшему другу

<...> Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвленна стала. Обратил взоры мои во внутренность мою — и узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто оттого только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы. Ужели, вещал я сам себе, природа толико скупа была к своим чадам, что от блудящего невинно сокрыла истину навеки? Ужели сия грозная мачеха произвела нас для того, чтоб чувствовали мы бедствия, а блаженство николи?

СОФИЯ

<...> Лошади меня мчат; извозчик мой затянул песню, по обыкновению заунывную. Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть в них нечто, скорбь душевную означающее. Все почти голоса таковых песен суть тону мягкого. На сем музыкальном расположении народного уха умей учреждать бразды правления. В них найдешь образование души нашего народа. Посмотри на русского человека; найдешь его задумчива. Если захочет разгнать скуку или, как то он сам называет, если захочет повеселиться, то идет в кабак. В веселии своем порывист, отважен, сварлив. Если

---

[1] Эпиграф взят из поэмы В. К. Тредиаковского «Тилемахида». *Обло* — круглое, толстое; *стозе́вно* — со ста зевами, пастями; *ла́яй* — лающее.

[2] А. М. К. — Алексей Михайлович Кутузов, товарищ Радищева по совместному учению в Лейпцигском университете.

что-либо случится не по нем, то скоро начинает спор или битву. Бурлак, идущий в кабак повеся голову и возвращающийся обагренный кровию от оплеух, многое может решить, доселе гадательное в истории российской.

Извозчик мой поет. Третий был час пополуночи. Как прежде колокольчик, так теперь его песня произвела опять во мне сон. О природа, объяв человека в пелены скорби при рождении его, влача его по строгим хребтам боязни, скуки и печали чрез весь его век, дала ты ему в отраду сон. Уснул, и все скончалось. Несносно пробуждение несчастному. О, сколь смерть для него приятна. А есть ли она конец скорби? — Отче всеблагий, неужели отвратишь взоры свои от скончевающего бедственное житие свое мужественно? Тебе, источнику всех благ, приносится сия жертва. Ты един даешь крепость, когда естество трепещет, содрогается. Се глас отчий, взывающий к себе свое чадо. Ты жизнь мне дал, Тебе ее и возвращаю; на земли она стала уже бесполезна.

ЛЮБАНИ

Зимою ли я ехал или летом, для вас, думаю, равно. Может быть, и зимою и летом. Нередко то бывает с путешественниками: поедут на санях, а возвращаются на телегах. — Летом. — Бревешками вымощенная дорога замучила мои бока; я вылез из кибитки и пошел пешком. Лежа в кибитке, мысли мои обращены были в неизмеримость мира. Отделяяся душевно от земли, казалося мне, что удары кибиточные были для меня легче. Но упражнения духовные не всегда нас от телесности отвлекают; и для сохранения боков моих пошел я пешком. В нескольких шагах от дороги увидел я пашущего ниву крестьянина. Время было жаркое. Посмотрел я на часы. Первого сорок минут. Я выехал в субботу. Сегодня праздник. Пашущий крестьянин принадлежит, конечно, помещику, который оброку с него не берет. Крестьянин пашет с великим тщанием. Нива, конечно, не господская. Соху поворачивает с удивительною легкостию.

— Бог в помощь, — сказал я, подошед к пахарю, который, не останавливаясь, доканчивал зачатую борозду. — Бог в помощь, — повторил я.

— Спасибо, барин, — говорил мне пахарь, отряхая сошник и перенося соху на новую борозду.

— Ты, конечно, раскольник, что пашешь по воскресеньям?

— Нет, барин, я прямым крестом крещусь, — сказал он, показывая мне сложенные три перста. — А Бог милостив, с голоду умирать не велит, когда есть силы и семья.

— Разве тебе во всю неделю нет времени работать, что ты и воскресенью не спускаешь, да еще и в самый жар?

— В неделе-то, барин, шесть дней, а мы шесть раз в неделю ходим на барщину; да под вечерок возим оставшее в лесу сено на господский двор, коли погода хороша; а бабы и девки для прогулки ходят по праздникам в лес по грибы да по ягоды. Дай Бог, — крестяся, — чтоб под вечер сегодня дождик пошел. Барин, коли есть у тебя свои мужички, так они того же у Господа молят.

— У меня, мой друг, мужиков нет, и для того никто меня не клянет. Велика ли у тебя семья?

— Три сына и три дочки. Первинькому-то десятый годок.

— Как же ты успеваешь доставать хлеб, коли только праздник имеешь свободным?

— Не одни праздники, и ночь наша. Не ленись наш брат, то с голоду не умрет. Видишь ли, одна лошадь отдыхает; а как эта устанет, возьмусь за другую; дело-то и споро.

— Так ли ты работаешь на господина своего?

— Нет, барин, грешно бы было так же работать. У него на пашне сто рук для одного рта, а у меня две для семи ртов, сам ты счет знаешь. Да хотя растянись на барской работе, то спасибо не скажут. Барин подушных[1] не заплатит; ни барана, ни холста, ни курицы, ни масла не уступит. То ли житье нашему брату, как где барин оброк берет с крестьянина, да еще без приказчика. Правда, что иногда и добрые господа берут более трех рублей с души; но все лучше барщины. Ныне еще поверье заводится отдавать деревни, как то называется, на аренду. А мы называем это отдавать головой. Голый наемник дерет с мужиков кожу; даже лучшей поры нам не оставляет. Зимою не пускает в извоз, ни в работу в город; все работай на него, для того что он подушные платит за нас. Самая дьявольская выдумка отдавать крестьян своих чужому в работу. На дурного приказчика хотя можно пожаловаться, а на наемника кому?

— Друг мой, ты ошибаешься, мучить людей законы запрещают.

---

[1] *Подýшная пóдать* — государственный налог на крестьян с каждого́ члена семьи.

— Мучить? Правда; но небось, барин, не захочешь в мою кожу. — Между тем пахарь запряг другую лошадь в соху и, начав новую борозду, со мною простился.

Разговор сего земледельца возбудил во мне множество мыслей. Первое представилось мне неравенство крестьянского состояния. Сравнил я крестьян казенных с крестьянами помещичьими. Те и другие живут в деревнях; но одни платят известное, а другие должны быть готовы платить то, что господин хочет. Одни судятся своими равными; а другие в законе мертвы, разве по делам уголовным. Член общества становится только тогда известен правительству, его охраняющему, когда нарушает союз общественный, когда становится злодей! Сия мысль всю кровь во мне воспалила.

— Страшись, помещик жестокосердый, на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение.

Углубленный в сих размышлениях, я нечаянно обратил взор мой на моего слугу, который, сидя на кибитке передо мной, качался из стороны в сторону. Вдруг почувствовал я быстрый мраз, протекающий кровь мою, и, прогоняя жар к вершинам, нудил его распростираться по лицу. Мне так стало во внутренности моей стыдно, что едва я не заплакал.

— Ты во гневе твоем, — говорил я сам себе, — устремляешься на гордого господина, изнуряющего крестьянина своего на ниве своей; а сам не то же ли или еще хуже того делаешь? Какое преступление сделал бедный твой Петрушка, что ты ему воспрещаешь пользоваться усладителем наших бедствий, величайшим даром природы несчастному — сном? Он получает плату, сыт, одет, никогда я его не секу ни плетьми, ни батожьем (о умеренный человек!) — и ты думаешь, что кусок хлеба и лоскут сукна тебе дают право поступать с подобным тебе существом, как с кубарем, и тем ты только хвастаешь, что не часто подсекаешь его в его вертении. Ведаешь ли, что в первенственном уложении, в сердце каждого написано? Если я кого ударю, тот и меня ударить может. Вспомни тот день, как Петрушка пьян был и не поспел тебя одеть. Вспомни о его пощечине. О, если бы он тогда, хотя пьяный, опомнился и тебе отвечал бы соразмерно твоему вопросу!

— А кто тебе дал власть над ним?

— Закон.

— Закон? И ты смеешь поносить сие священное имя. Несчастный! — Слезы потекли из глаз моих; и в таковом положении почтовые клячи дотащили меня до следующего стана.

СПАССКАЯ ПОЛЕСТЬ

<...> Мне представилось, что я царь, шах, хан, король, бей, набаб, султан или какое-то сих названий нечто, седящее во власти на престоле.

Место моего восседания было из чистого злата и хитро искладенными драгими разного цвета каменьями блистало лучезарно. Ничто сравниться не могло со блеском моих одежд. Глава моя украшалася венцом лавровым. Вокруг меня лежали знаки, власть мою изъявляющие. Здесь меч лежал на столпе, из сребра изваянном, на коем изображалися морские и сухопутные сражения, взятие городов и прочее сего рода; везде видно было вверху имя мое, носимое Гением славы, над всеми сими подвигами парящим. Тут виден был скипетр мой, возлежащий на снопах, обильными класами отягченных, изваянных из чистого злата и природе совершенно подражающих. На твердом коромысле возвешенные зрелися весы[1]. В единой из чаш лежала книга с надписью *Закон милосердия*; в другой книга же с надписью *Закон совести*. Держава[2], из единого камня иссеченная, поддерживаема была грудою младенцев, из белого мрамора иссеченных. Венец мой возвышен был паче всего и возлежал на раменах[3] сильного исполина, воскраие же его поддерживаемо было истиною. Огромной величины змия, из светлыя стали искованная, облежала вокруг всего седалища[4] при его подножии и, конец хвоста в зеве держаща, изображала вечность.

Но не единые бездыханные изображения возвещали власть мою и величество. С робким подобострастием и взоры мои ловящи, стояли вокруг престола моего чины государственные. В некотором отдалении от престола моего толпилося бесчисленное множество народа, коего разные одежды, черты лица, осанка, вид и стан различие их племени возвещали. Трепетное их молчание уверяло меня, что они все воле моей подвластны. По сторонам, на несколько возвышенном месте, стояли женщины в великом множестве в прелестнейших и великолепнейших одеждах. Взоры их изъявляли удовольствие на меня смотреть, и желания их стремились на предупреждение моих, если бы они возродились.

---

[1] *Весы́* — символ правосудия.

[2] *Держа́ва* — шар с крестом наверху, символ царской власти.

[3] *Рамена́* — плечи.

[4] *Седа́лище* — здесь: трон.

Глубочайшее в собрании сем присутствовало молчание; казалося, что все в ожидании были важного какого происшествия, от коего спокойствие и блаженство всего общества зависели. Обращенный сам в себя и чувствуя глубоко вкоренившуюся скуку в душе моей, от насыщающего скоро единообразия происходящую, я долг отдал естеству и, рот разинув до ушей, зевнул во всю мочь. Все вняли чувствованию души моей. Внезапу смятение распростерло мрачный покров свой по чертам веселия, улыбка улетала со уст нежности и блеск радования с ланит[1] удовольствия. Искаженные взгляды и озирание являли нечаянное нашествие ужаса и предстоящие беды. Слышны были вздохи, колющие предтечи скорби; и уже начинало раздаваться задерживаемое присутствием страха стенание. Уже скорыми в сердца всех стопами шествовало отчаяние и смертные содрогания, самыя[2] кончины мучительнее. Тронутый до внутренности сердца толико печальным зрелищем, ланитные мышцы нечувствительно стянулися ко ушам моим и, растягивая губы, произвели в чертах лица моего кривление, улыбке подобное, за коим я чхнул весьма звонко. Подобно как в мрачную атмосферу, густым туманом отягченную, проникает полуденный солнца луч <...> тако при улыбке моей развеялся вид печали, на лицах всего собрания поселившийся; радость проникла сердца всех быстротечно, и не осталося косого вида неудовольствия нигде. Все начали восклицать:

— Да здравствует наш великий государь, да здравствует навеки. — Подобно тихому полуденному ветру, помавающему листвия дерев и любострастное производящему в дубраве шумление, тако во всем собрании радостное шептание раздавалось. Иной вполголоса говорил:

— Он усмирил внешних и внутренних врагов, расширил пределы отечества, покорил тысячи разных народов своей державе.

Другой восклицал:

— Он обогатил государство, расширил внутреннюю и внешнюю торговлю, он любит науки и художества, поощряет земледелие и рукоделие.

Женщины с нежностию вещали:

---

[1] *Лани́ты* — щеки.

[2] *Са́мыя* — самой (устаревшее окончание родительного падежа женского рода).

— Он не дал погибнуть тысячам полезных сограждан, избавя их до сосца еще гибельныя кончины.

Иной с важным видом возглашал:

— Он умножил государственные доходы, народ облегчил от податей, доставил ему надежное пропитание.

Юношество, с восторгом руки на небо простирая, рекло:

— Он милосерд, правдив, закон его для всех равен, он почитает себя первым его служителем. Он законодатель мудрый, судия правдивый, исполнитель ревностный, он паче всех царей велик, он вольность дарует всем.

Речи таковые, ударяя в тимпан моего уха, громко раздавалися в душе моей. Похвалы сии истинными в разуме моем изображалися, ибо сопутствуемы были искренности наружными чертами. Таковыми их приемля, душа моя возвышалася над обыкновенным зрения кругом; в существе своем расширялась и, вся объемля, касалася степеней Божественной премудрости. Но ничто не сравнилося с удовольствием самоодобрения при раздавании моих приказаний. Первому военачальнику повелевал я идти с многочисленным войском на завоевание земли, целым небесным поясом от меня отделенной.

— Государь, — ответствовал он мне, — слава единая имени твоего победит народы, оную землю населяющие. Страх предшествовать будет оружию твоему, и возвращуся, приносяй дань царей сильных.

Учредителю плавания я рек:

— Да корабли мои рассеются по всем морям, да узрят их неведомые народы; флаг мой да известен будет на Севере, Востоке, Юге и Западе.

— Исполню, государь. — И полетел на исполнение, яко ветр, определенный надувать ветрила корабельные.

— Возвести до дальнейших пределов моея области, — рек я хранителю законов, — се день рождения моего, да ознаменится он в летописях навеки отпущением повсеместным. Да отверзутся темницы, да изыдут преступники и да возвратятся в домы свои, яко заблудшие от истинного пути.

— Милосердие твое, государь! есть образ всещедрого существа. Бегу возвестити радость скорбящим отцам по чадех их, супругам по супругах их.

— Да воздвигнутся, — рек я первому зодчию, — великолепнейшие здания для убежища Мусс[1], да украсятся подража-

[1] Муз.

ниями природы разновидными; и да будут они ненарушимы, яко небесные жительницы, для них же они уготовляются.

— О премудрый, — отвечал он мне, — егда велениям твоего гласа стихии повиновалися и, совокупя силы свои, учреждали в пустынях и на дебрях обширные грады, превосходящие великолепием славнейшие в древности; колико маловажен будет сей труд для ревностных исполнителей твоих велений. Ты рек, и грубые строения припасы уже гласу твоему внемлют.

— Да отверзется ныне, — рек я, — рука щедроты, да излиются остатки избытка на немощствующих, сокровища ненужные да возвратятся к их источнику.

— О, всещедрый владыко, Всевышним нам дарованный, отец своих чад, обогатитель нищего, да будет твоя воля.

При всяком моем изречении все предстоящие восклицали радостно, и плескание рук не токмо сопровождало мое слово, но даже предупреждало мысль. Единая из всего собрания жена, облегшаяся твердо о столп, испускала вздохи скорби и являла вид презрения и негодования. Черты лица ее были суровы и платье простое. Голова ее покрыта была шляпою, когда все другие обнаженными стояли главами.

— Кто сия? — вопрошал я близ стоящего меня.

— Сия есть странница, нам неизвестная, именует себя Прямовзорой и глазным врачом. Но есть волхв опаснейший, носяй[1] яд и отраву, радуется скорби и сокрушению; всегда нахмуренна, всех презирает и поносит; даже не щадит в ругании своем священныя твоея главы.

— Почто ж злодейка сия терпима в моей области? Но о ней завтра. Сей день есть день милости и веселия. Приидите, сотрудники мои в ношении тяжкого бремени правления, приимите достойное за труды и подвиги ваши воздаяние. <...>

— Постой, — вещала мне странница от своего места, — постой и подойди ко мне. Я — врач, присланный к тебе и тебе подобным, да очищу зрение твое. Какие бельма! — сказала она с восклицанием.

Некая невидимая сила нудила меня идти пред нее, хотя все меня окружавшие мне в том препятствовали, делая даже мне насилие.

— На обоих глазах бельма, — сказала странница, — а ты столь решительно судил о всем. — Потом коснулася обоих моих глаз и сняла с них толстую плену, подобну рогово-

[1] Носящий.

му раствору. — Ты видишь, — сказала она мне, — что ты был слеп и слеп всесовершенно. Я есмь Истина. Всевышний, подвигнутый на жалость стенанием тебе подвластного народа, ниспослал меня с небесных кругов, да отжену[1] темноту, проницанию взора твоего препятствующую. Я сие исполнила. Все вещи представятся днесь[2] в естественном их виде взорам твоим. Ты проникнешь во внутренность сердец. Не утаится более от тебя змия, крыющаяся в излучинах душевных. Ты познаешь верных своих подданных, которые вдали от тебя не тебя любят, но любят отечество; которые готовы всегда на твое поражение, если оно отмстит порабощение человека. Но не возмутят они гражданского покоя безвременно и без пользы. Их призови себе в друзей. Изжени сию гордую чернь, тебе предстоящую и прикрывшую срамоту души своей позлащенными одеждами. Они-то истинные твои злодеи, затмевающие очи твои и вход мне в твои чертоги воспрещающие. <...> Если из среды народныя возникнет муж, порицающий дела твоя, ведай, что той есть твой друг искренний. Чуждый надежды мзды, чуждый рабского трепета, он твердым гласом возвестит меня тебе. Блюдись и не дерзай его казнити, яко общего возмутителя. Призови его, угости его, яко странника. Ибо всяк, порицающий царя в самовластии его, есть странник земли, где все пред ним трепещет. Угости его, вещаю, почти его, да возвратившися возможет он паче и паче глаголати нельстиво. Но таковые твердые сердца бывают редки; едва един в целом столетии явится на светском ристалище[3]. А дабы бдительность твоя не усыплялася негою власти, се кольцо дарую тебе, да возвестит оно тебе твою неправду, когда на нее дерзать будешь. Ибо ведай, что ты первейший в обществе можешь быть убийца, первейший разбойник, первейший предатель, первейший нарушитель общия тишины, враг лютейший, устремляющий злость свою на внутренность слабого. Ты виною будешь, если мать восплачет о сыне своем, убиенном на ратном поле, и жена о муже своем; ибо опасность плена едва оправдать может убийство, войною называемое. Ты виною будешь, если запустеет нива, если птенцы земледелателя лишатся жизни у тощего без здравыя пищи сосца матерня. Но обрати теперь взоры свои на себя и на предстоящих тебе, воззри на исполне-

[1] Отгоню.

[2] Теперь.

[3] *Ристáлище* — площадь, простор (здесь: в мирской суете).

ние твоих велений, и если душа твоя не содрогнется от ужаса при взоре таковом, то отыду от тебя, и чертог твой загладится навсегда в памяти моей.

Изрекшия странницы лицо казалося веселым и вещественным сияющее блеском. Воззрение на нее вливало в душу мою радость. Уже не чувствовал я в ней зыбей тщеславия и надутлости высокомерия. Я ощущал в ней тишину; волнение любочестия и обуревание властолюбия ее не касалися. Одежды мои, столь блестящие, казалися зама́раны кровию и омочены слезами. На перстах моих виделися мне остатки мозга человеческого; ноги мои стояли в тине. Вокруг меня стоящие являлися того скареднее. Вся внутренность их казалась черною и сгораемою тусклым огнем ненасытности. Они метали на меня и друг на друга искаженные взоры, в коих господствовали хищность, зависть, коварство и ненависть. Военачальник мой, посланный на завоевание, утопал в роскоши и веселии. В войсках подчиненности не было; воины мои почиталися хуже скота. Не радели ни о их здравии, ни прокормлении; жизнь их ни во что вменялася; лишались они установленной платы, которая употреблялась на ненужное им украшение. Большая половина новых воинов умирали от небрежения начальников или ненужныя и безвременныя строгости. Казна, определенная на содержание всеополчения, была в руках учредителя веселостей. Знаки военного достоинства не храбрости были уделом, но подлого раболепия. Я зрел пред собою единого знаменитого по словесам военачальника, коего я отличными почтил знаками моего благоволения; я зрел ныне ясно, что все его отличное достоинство состояло в том только, что он пособием был в насыщении сладострастия своего начальника; и на оказание мужества не было ему даже случая, ибо он издали не видал неприятеля. От таких-то воинов я ждал себе новых венцов. Отвратил я взор мой от тысячи бедств, представившихся очам моим.

Корабли мои, назначенные да прейдут дальнейшие моря, видел я плавающими при устье пристанища. Начальник, полетевший для исполнения моих велений на крылех ветра, простерши на мягкой постеле свои члены, упоялся негою и любовию в объятиях наемной возбудительницы его сладострастия. На изготованном велением его чертеже совершенного в мечтании плавания уже видны были во всех частях мира новые острова, климату их свойственными плодами изобилующие.

Обширные земли и многочисленные народы изображались из кисти новых сих путешествователей. Уже при блеске нощных светильников начерталося величественное описание сего путешествия и сделанных приобретений слогом цветущим и великолепным. <...>

Подвиг мой, коим в ослеплении моем душа моя наиболее гордилася, отпущение казни и прощение преступников едва видны были в обширности гражданских деяний. Веление мое или было совсем нарушено, обращаяся не в ту сторону, или не имело желаемого действия превратным оного толкованием и медлительным исполнением. Милосердие мое сделалося торговлею, и тому, кто давал больше, стучал молот жалости и великодушия. Вместо того, чтобы в народе моем чрез отпущение вины прослыть милосердым, я прослыл обманщиком, ханжою и пагубным комедиантом.

— Удержи свое милосердие, — вещали тысящи гласов, — не возвещай нам его великолепным словом, если не хощешь его исполнити. Не соплощай с обидою насмешку, с тяжестию ее ощущение. Мы спали и были покойны, ты возмутил наш сон; мы бдеть не желали, ибо не над чем.

В созидании городов видел я одно расточение государственныя казны, нередко омытой кровию и слезами моих подданных. В воздвижении великолепных зданий к расточению нередко присовокуплялося и непонятие о истинном искусстве. Я зрел расположение их внутренное и внешное без малейшего вкуса. <...>

Но паче всего уязвило душу мою излияние моих щедрот. Я мнил в ослеплении моем, что ненужная казна общественная на государственные надобности не может лучше употребиться, как на вспоможение нищего, на одеяние нагого, на прокормление алчущего, или на поддержание погибающего противным случаем, или на мзду не радящему о стяжании достоинству и заслуге. Но сколь прискорбно было видеть, что щедроты мои изливалися на богатого, на льстеца, на вероломного друга, на убийцу иногда тайного, на предателя и нарушителя общественной доверенности, на уловившего мое пристрастие, на снисходящего моим слабостям, на жену, кичащуюся своим бесстыдством. Едва, едва досязали слабые источники моея щедроты застенчивого достоинства и стыдливыя заслуги. Слезы пролились из очей моих и сокрыли от меня столь бедственные представления безрассудной моей щедроты.

Теперь ясно я видел, что знаки почестей, мною раздаваемые, всегда доставалися в удел недостойным. <...> Видя во всем толикую превратность, от слабости моей и коварства министров моих проистекшую, видя, что нежность моя обращалася на жену, ищущую в любви моей удовлетворения своего только тщеславия и внешность только свою на услаждение мое устрояющую, когда сердце ее ощущало ко мне отвращение, — возревел я яростию гнева.

— Недостойные преступники, злодеи! вещайте, почто во зло употребили доверенность господа[1] вашего? предстаньте ныне пред судию вашего. Вострепещите в окаменелости злодеяния вашего. Чем можете оправдать дела ваши? Что скажете во извинение ваше? Се он, его же призову из хижины уничижения. Прииди, — вещал я старцу, коего созерцал в крае обширныя моея области, кроющегося под заросшею мхом хижиною, — прииди облегчить мое бремя; прииди и возврати покой томящемуся сердцу и востревоженному уму.

Изрекши сие, обратил я взор мой на мой сан, познал обширность моея обязанности, познал, откуда проистекает мое право и власть. Вострепетал во внутренности моей, убоялся служения моего. Кровь моя пришла в жестокое волнение, и я пробудился. Еще не опомнившись, схватил я себя за палец, но тернового кольца на нем не было. О, если бы оно пребывало хотя на мизинце царей!

Властитель мира, если, читая сон мой, ты улыбнешься с насмешкою или нахмуришь чело, ведай, что виденная мною странница отлетела от тебя далеко и чертогов твоих гнушается.

ЕДРОВО

Доехав до жилья, я вышел из кибитки. Неподалеку от дороги над водою стояло много баб и девок. Страсть, господствовавшая во всю жизнь надо мною, но уже угасшая, по обыкшему ее стремлению направила стопы мои к толпе сельских сих красавиц. Толпа сия состояла более нежели из тридцати женщин. Все они были в праздничной одежде, шеи голые, ноги босые, локти наруже, платье заткнутое спереди за пояс, рубахи белые, взоры веселые, здоровье на щеках начертанное.

<...> Покуда я глядел на моющих платье деревенских нимф, кибитка моя от меня уехала. Я намерялся идти за нею

[1] Здесь: господина.

вслед, как одна девка, по виду лет двадцати, а, конечно, не более семнадцати, положа мокрое свое платье на коромысло, пошла одною со мной дорогою. Поровнявшись с ней, начал я с нею разговор. <...>

— Душа моя, Аннушка, я хотел знать, есть ли у тебя отец и мать, как ты живешь, богато ли или убого, весело ли, есть ли у тебя жених?

— А на что это тебе, барин? Отроду в первый раз такие слышу речи.

— Из сего судить можешь, Анюта, что я не негодяй, не хочу тебя обругать или обесчестить. Я люблю женщин для того, что они соответственное имеют сложение моей нежности; а более люблю сельских женщин или крестьянок для того, что они не знают еще притворства, не налагают на себя личины притворныя любви, а когда любят, то любят от всего сердца и искренно...

Девка в сие время смотрела на меня, выпяля глаза с удивлением. Да и так быть должно; ибо кто не знает, с какою наглостию дворянская дерзкая рука поползается на непристойные и оскорбительные целомудрию шутки с деревенскими девками. Они в глазах дворян старых и малых суть твари, созданные на их угождение. Так они и поступают; а особливо с несчастными, подвластными их велениям. В бывшее Пугачевское возмущение, когда все служители вооружились на своих господ, некакие крестьяне (повесть сия нелжива), связав своего господина, везли его на неизбежную казнь. Какая тому была причина? Он во всем был господин добрый и человеколюбивый, но муж не был безопасен в своей жене, отец в дочери. Каждую ночь посланные его приводили к нему на жертву бесчестия ту, которую он того дня назначил. Известно в деревне было, что он омерзил 60 девиц, лишив их непорочности. Наехавшая команда выручила сего варвара из рук на него злобствовавших. Глупые крестьяне, вы искали правосудия в самозванце! но почто не поведали вы сего законным судиям вашим? Они бы предали его гражданской смерти, и вы бы невинны остались. А теперь злодей сей спасен. Блажен, если близкий взор смерти образ мыслей его переменил и дал жизненным его сокам другое течение. Но крестьянин в законе мертв[1], сказали мы... Нет, нет, он жив, он жив будет, если того восхочет.

[1] Т. е. крестьянин лишен защиты законов, бесправен.

— Если, барин, ты не шутишь, — сказала мне Анюта, — то вот что я тебе скажу: у меня отца нет, он умер уже года с два, есть матушка да маленькая сестра. Батюшка нам оставил пять лошадей и три коровы. Есть и мелкого скота и птиц довольно; но нет в дому работника. Меня было сватали в богатый дом за парня десятилетнего; но я не захотела. Что мне в таком ребенке; я его любить не буду. А как он придет в пору, то я состареюсь, и он будет таскаться с чужими. Да сказывают, что свекор сам с молодыми невестками спит, покуда сыновья вырастают. Мне для того-то не захотелось идти к нему в семью. Я хочу себе ровню. Мужа буду любить, да и он меня любить будет, в том не сомневаюсь. Гулять с молодцами не люблю, а замуж, барин, хочется. Да знаешь ли для чего? — говорила Анюта, потупя глаза.

— Скажи, душа моя Анютушка, не стыдись; все слова в устах невинности непорочны.

— Вот что я тебе скажу. Прошлым летом, год тому назад, у соседа нашего женился сын на моей подруге, с которой я хаживала всегда в посиделки. Муж ее любит, а она его столько любит, что на десятом месяце после венчанья родила ему сынка. Всякий вечер она выходит пестовать его за ворота. Она на него не наглядится. Кажется, будто и паренек-то матушку свою уж любит. Как она скажет ему: агу, агу, он и засмеется. Мне-то до слез всякий день; мне бы уж хотелось самой иметь такого же паренька... <...>

— <...> Но почто же, моя любезная Анюта, ты лишена удовольствия наслаждаться счастием в объятиях твоего милого друга?

— Ах, барин, для того, что его не отдают к нам в дом. Просят ста рублей. А матушка меня не отдает; я у ней одна работница.

— Да любит ли он тебя?

— Как же не так. Он приходит по вечерам к нашему дому, и мы вместе смотрим на паренька моей подруги... Ему хочется такого же паренька. Грустно мне будет; но быть терпеть. Ванюха мой хочет идти на барках в Питер в работу и не воротится, покуда не выработает ста рублей для своего выкупа.

— Нет, моя любезная Анютушка, ты завтра же будешь за ним. Поведи меня к своей матери.

— Да вот наш двор, — сказала она, остановясь. — Проходи мимо, матушка меня увидит и худое подумает.

А хотя она меня и не бьет, но одно ее слово мне тяжелее всяких побоев.

— Нет, моя Анюта, я пойду с тобою... — и, не дожидаясь ее ответа, вошел в ворота и прямо пошел на лестницу в избу. Анюта мне кричала вслед:

— Постой, барин, постой.

Но я ей не внимал. В избе нашел я Анютину мать, которая квашню месила; подле нее на лавке сидел будущий ее зять. Я без дальних околичностей ей сказал, что я желаю, чтобы дочь ее была замужем за Иваном, и для того принес ей то, что надобно для отвлечения препятствия в сем деле.

— Спасибо, барин, — сказала старуха, — в этом теперь уж нет нужды. Ванюха теперь пришед сказывал, что отец уж отпускает его ко мне в дом. И у нас в воскресенье будет свадьба.

— Пускай же посуленное от меня будет Анюте в приданое.

— И на том спасибо. Приданого бояре девкам даром не дают. Если ты над моей Анютой что сделал и за то даешь ей приданое, то Бог тебя накажет за твое беспутство; а денег я не возьму. Если же ты добрый человек и не ругаешься над бедными, то, взяв от тебя деньги, лихие люди мало ли что подумают.

Я не мог надивиться, нашед толико благородства в образе мыслей у сельских жителей. Анюта между тем вошла в избу и матери своей меня расхвалила. Я было еще попытался дать им денег, отдавая их Ивану на заведение дому; но он мне сказал:

— У меня, барин, есть две руки, я ими дом и заведу. <...>

Едущу мне из Едрова, Анюта из мысли моей не выходила. Невинная ее откровенность мне нравилась безмерно. Благородный поступок ее матери меня пленил. <...>

Но что такое за обыкновение, о котором мне Анюта сказывала? Ее хотели отдать за десятилетнего ребенка. Кто мог такой союз дозволить? Почто не ополчится рука, законы хранящая, на искоренение толикого злоупотребления? В христианском законе брак есть таинство, в гражданском — соглашение или договор. Какой священнослужитель может неравный брак благословить, или какой судия может его вписать в свой дневник? Где нет соразмерности в летах, там и брака быть не может. Сие запрещают правила естественности, яко вещь бесполезную для человека; сие запрещать долженствовал бы закон гражданский, яко вредное для общества. <...>

МЕДНОЕ

<...> Каждую неделю два раза вся Российская империя извещается, что Н. Н. или Б. Б. в несостоянии или не хочет платить того, что занял, или взял, или чего от него требуют. Занятое либо проиграно, проезжено, прожито, проедено, пропито, про... или раздарено, потеряно в огне или воде, или Н. Н. или Б. Б. другими какими-либо случаями вошел в долг или под взыскание. То и другое наравне в ведомостях[1] приемлется. Публикуется: «Сего... дня пополуночи в 10 часов, по определению уездного суда или городового магистрата, продаваться будет с публичного торга отставного капитана Г... недвижимое имение, дом, состоящий в... части, под №..., и при нем шесть душ мужеского и женского полу; продажа будет при оном доме. Желающие могут осмотреть заблаговременно».

На дешевое охотников всегда много. Наступил день и час продажи. Покупщики съезжаются. В зале, где оная производится, стоят неподвижны на продажу осужденные.

Старик лет в 75, опершись на вязовой дубинке, жаждет угадать, кому судьба его отдаст в руки, кто закроет его глаза. С отцом господина своего он был в Крымском походе, при фельдмаршале Минихе[2]; в Франкфуртскую баталию[3] он раненого своего господина унес на плечах из строю. Возвратясь домой, был дядькою своего молодого барина. Во младенчестве он спас его от утопления, бросясь за ним в реку, куда сей упал, переезжая на пароме, и с опасностию своей жизни спас его. В юношестве выкупил его из тюрьмы, куда посажен был за долги в бытность свою в гвардии унтер-офицером.

Старуха 80 лет, жена его, была кормилицею матери своего молодого барина; его была нянькою и имела надзирание за домом до самого того часа, как выведена на сие торжище. Во все время службы своея ничего у господ своих не утратила, ничем не покорыстовалась, никогда не лгала, а если иногда им досадила, то разве своим праводушием.

Женщина лет в 40, вдова, кормилица молодого своего барина. И доднесь чувствует она еще к нему некоторую неж-

---

[1] В газетах.

[2] *Крымский поход* — поход русской армии в Крым под командованием Миниха в 1736 г.

[3] Имеется в виду сражение русских войск с армией прусского короля Фридриха II в 1759 г.

ность. В жилах его льется ее кровь. Она ему вторая мать, и ей он более животом своим обязан, нежели своей природной матери. Сия зачала его в веселии, о младенчестве его не радела. Кормилица и нянька его были его воспитанницы[1]. Они с ним расстаются, как с сыном.

Молодица 18 лет, дочь ее и внучка стариков. Зверь лютый, чудовище, изверг! Посмотри на нее, посмотри на румяные ее ланиты, на слезы, лиющиеся из ее прелестных очей. Не ты ли, не возмогши прельщением и обещаниями уловить ее невинности, ни устрашить ее непоколебимости угрозами и казнию, наконец употребил обман, обвенчав ее за спутника твоих мерзостей, и в виде его насладился веселием, которого она делить с тобой гнушалася. Она узнала обман твой. Венчанный с нею не коснулся более ее ложа, и ты, лишен став твоея утехи, употребил насилие. <...> На челе ее скорбь, в глазах отчаяние. Она держит младенца, плачевный плод обмана или насилия, но живой слепок прелюбодейного его отца. Родив его, позабыла отцово зверство, и сердце начало чувствовать к нему нежность. Она боится, чтобы не попасть в руки ему подобного.

Младенец... Твой сын, варвар, твоя кровь. Иль думаешь, что где не было обряда церковного, тут нет и обязанности? <...>

Детина лет в 25, венчанный ее муж, спутник и наперсник своего господина. Зверство и мщение в его глазах. Раскаивается о своих к господину своему угождениях. В кармане его нож; он его схватил крепко; мысль его отгадать нетрудно... Бесплодное рвение. Достанешься другому. Рука господина твоего, носящаяся над главою раба непрестанно, согнет выю твою на всякое угождение. Глад, стужа, зной, казнь, все будет против тебя. Твой разум чужд благородных мыслей. Ты умереть не умеешь. Ты склонишься и будешь раб духом, как и состоянием. А если бы восхотел противиться, умрешь в оковах томною смертию. Судии между вами нет. Не захочет мучитель твой сам тебя наказывать. Он будет твой обвинитель. Отдаст тебя градскому правосудию. — Правосудие! — где обвиняемый не имеет почти власти оправдаться. — Пройдем мимо других несчастных, выведенных на торжище.

Едва ужасоносный молот[2] испустил тупой свой звук и четверо несчастных узнали свою ж участь, — слезы, рыдание, стон пронзили уши всего собрания. Наитвердейшие были тро-

---

[1] Т. е. воспитательницы.

[2] Удары молота на торгах возвещали о продаже крестьянина.

нуты. Окаменелые сердца! почто бесплодное соболезнование? О квакеры[1]! если бы мы имели вашу душу, мы бы сложилися и, купив сих несчастных, даровали бы им свободу. Жив многие лета в объятиях один другого, несчастные сии к поносной продаже восчувствуют тоску разлуки. Но если закон иль, лучше сказать, обычай варварский, ибо в законе того не писано, дозволяет толикое человечеству посмеяние, какое право имеете продавать сего младенца? Он незаконнорожденный. Закон его освобождает. Постойте, я буду доноситель; я избавлю его. Если бы с ним мог спасти и других! О счастие! почто ты так обидело меня в твоем разделе? Днесь жажду вкусити прелестного твоего взора, впервые ощущать начинаю страсть к богатству. — Сердце мое столь было стеснено, что, выскочив из среды собрания и отдав несчастным последнюю гривну из кошелька, побежал вон. На лестнице встретился мне один чужестранец, мой друг.

— Что тебе сделалось? ты плачешь!

— Возвратись, — сказал я ему: — не будь свидетелем срамного позорища. Ты проклинал некогда обычай варварский в продаже черных невольников в отдаленных селениях твоего отечества; возвратись, — повторил я, — не будь свидетелем нашего затмения и да не возвестиши стыда нашего твоим согражданам, беседуя с ними о наших нравах.

— Не могу сему я верить, — сказал мне мой друг: — невозможно, чтобы там, где мыслить и верить дозволяется всякому, кто как хочет, столь постыдное существовало обыкновение.

— Не дивись, — сказал я ему, — установление свободы в исповедании обидит одних попов и чернецов, да и те скорее пожелают приобрести себе овцу, нежели овцу во Христово стадо. Но свобода сельских жителей обидит, как то говорят, право собственности. А все те, кто бы мог свободе поборствовать, все великие отчинники[2], и свободы не от их советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения.

ПЕШКИ

Сколь мне ни хотелось поспешать в окончании моего путешествия, но, по пословице, голод — не свой брат — принудил меня зайти в избу и, доколе не доберуся опять до рагу, фри-

---

[1] *Ква́керы* — религиозная секта в Англии и Северной Америке, проповедовавшая любовь к ближнему.

[2] *О́тчинник* (во́тчинник) — владелец родового имения.

касе, паштетов и прочего французского кушанья, на отраву изобретенного, принудил меня пообедать старым куском жареной говядины, которая со мною ехала в запасе. Пообедав сей раз гораздо хуже, нежели иногда обедают многие полковники (не говорю о генералах) в дальних походах, я, по похвальному общему обыкновению, налил в чашку приготовленного для меня кофию и услаждал прихотливость мою плодами пота несчастных африканских невольников.

Увидев предо мною сахар, месившая квашню хозяйка подослала ко мне маленького мальчика попросить кусочек сего боярского кушанья.

— Почему боярское? — сказал я ей, давая ребенку остаток моего сахара, — неужели и ты его употреблять не можешь?

— Потому и боярское, что нам купить его не на что, а бояре его употребляют для того, что не сами достают деньги. Правда, что и бурмистр наш, когда ездит к Москве, то его покупает, но также на наши слезы.

— Разве ты думаешь, что тот, кто употребляет сахар, заставляет вас плакать?

— Не все; но все господа — дворяне. Не слезы ли ты крестьян своих пьешь, когда они едят такой же хлеб, как и мы? — Говоря сие, показывала она мне состав своего хлеба. Он состоял из трех четвертей мякины и одной части несеяной муки. — Да и то слава богу при нынешних неурожаях. У многих соседей наших и того хуже. Что ж вам, бояре, в том прибыли, что вы едите сахар, а мы голодны? Ребята мрут, мрут и взрослые. Но как быть? Потужишь, потужишь, а делай то, что господин велит. — И начала сажать хлебы в печь.

Сия укоризна, произнесенная не гневом или негодованием, но глубоким ощущением душевныя скорби, исполнила сердце мое грустию. Я обозрел в первый раз внимательно всю утварь крестьянской избы. Первый раз обратил сердце к тому, что доселе на нем скользило. — Четыре стены, до половины покрытые, так, как и весь потолок, сажею; пол в щелях, на вершок, по крайней мере, поросший грязью; печь без трубы, но лучшая защита от холода, и дым, всякое утро зимою и летом наполняющий избу; окончины, в коих натянутый пузырь смеркающийся в полдень пропускал свет; горшка два или три (счастлива изба, коли в одном из них всякий день есть пустые шти!). Деревянная чашка и кружки, тарелками называемые; стол, топором срубленный, который скоблят скребком по праздникам. Корыто кормить свиней или телят, буде есть,

спать с ними вместе, глотая воздух, в коем горящая свеча как будто в тумане или за завесою кажется. К счастию, кадка с квасом, на уксус похожим, и на дворе баня, в коей коли не парятся, то спит скотина. Посконная рубаха, обувь, данная природою, онучки с лаптями для выхода. — Вот в чем почитается по справедливости источник государственного избытка, силы, могущества; но тут же видны слабость, недостатки и злоупотребления законов и их шероховатая, так сказать, сторона. Тут видна алчность дворянства, грабеж, мучительство наше и беззащитное нищеты состояние. — Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем? то, чего отнять не можем, — воздух. Да, один воздух. Отъемлем нередко у него не токмо дар земли, хлеб и воду, но и самый свет. Закон запрещает отъяти у него жизнь. Но разве мгновенно. Сколько способов отъяти ее у него постепенно! С одной стороны — почти всесилие; с другой — немощь беззащитная. Ибо помещик в отношении крестьянина есть законодатель, судия, исполнитель своего решения и, по желанию своему, истец, против которого ответчик ничего сказать не смеет. Се жребий заклепанного во узы, се жребий заключенного в смрадной темнице, се жребий вола во ярме...

Жестокосердый помещик! посмотри на детей крестьян, тебе подвластных. Они почти наги. Отчего? не ты ли родших их в болезни и горести обложил сверх всех полевых работ оброком? Не ты ли не сотканное еще полотно определяешь себе в пользу? На что тебе смрадное рубище, которое к неге привыкшая твоя рука подъяти гнушается? едва послужит оно на отирание служащего тебе скота. Ты собираешь и то, что тебе не надобно, несмотря на то, что неприкрытая нагота твоих крестьян тебе в обвинение будет. Если здесь нет на тебя суда, — но пред судиею, не ведающим лицеприятия, давшим некогда и тебе путеводителя благого, совесть, но коего развратный твой рассудок давно изгнал из своего жилища, из сердца твоего. Но не ласкайся безвозмездием. Неусыпный сей деяний твоих страж уловит тебя наедине, и ты почувствуешь его кары. О! если бы они были тебе и подвластным тебе на пользу... О! если бы человек, входя почасту во внутренность свою, исповедал бы неукротимому судии своему, совести, свои деяния. Претворенный в столп неподвижный громоподобным ее гласом, не пускался бы он на тайные злодеяния. <...>

1790

Николай Михайлович

КАРАМЗИН

БЕДНАЯ ЛИЗА

Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели — куда глаза глядят — по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты.

Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные, готические башни Си...нова[1] монастыря. Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного *амфитеатра*: великолепная картина, особливо когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных златых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются тучные, густо-зеленые цветущие луга, а за ними, по желтым пескам, течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбачьих лодок или шумящая под рулем грузных стругов, которые плывут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом.

На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя под тению дерев, поют простые, унылые песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные. Подалее, в густой зелени древних вязов, блистает златоглавый Данилов монастырь; еще далее, почти на краю горизонта, синеются Воробьевы горы. На левой же стороне видны обширные, хлебом покрытые поля, лесочки, три или четыре деревеньки и вдали село Коломенское с высоким дворцом своим.

Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего мо-

[1] Симонова.

настыря, между гробов[1], заросших высокою травою, и в темных переходах келий. Там, опершись на развалины гробных камней, внимаю глухому стону времен, бездною минувшего поглощенных, — стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет. Иногда вхожу в келии и представляю себе тех, которые в них жили, — печальные картины! Здесь вижу седого старца, преклонившего колена перед распятием и молящегося о скором разрешении земных оков своих, ибо все удовольствия исчезли для него в жизни, все чувства его умерли, кроме чувства болезни и слабости. Там юный монах — с бледным лицом, с томным взором — смотрит в поле сквозь решетку окна, видит веселых птичек, свободно плавающих в море воздуха, видит — и проливает горькие слезы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет — и унылый звон колокола возвещает мне безвременную смерть его. Иногда на вратах храма рассматриваю изображение чудес, в сем монастыре случившихся, там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осажденного многочисленными врагами; тут образ Богоматери обращает неприятелей в бегство. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего отечества — печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного Бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях.

Но всего чаще привлекает меня к стенам Си...нова монастыря воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! Я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!

Саженях в семидесяти от монастырской стены, подле березовой рощицы, среди зеленого луга, стоит пустая хижина, без дверей, без окончин[2], без полу; кровля давно сгнила и обвалилась. В этой хижине лет за тридцать перед сим жила прекрасная, любезная Лиза с старушкою, матерью своею.

Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь. Но скоро по смерти его жена и дочь обедняли. Ленивая рука наемника худо обработывала поле, и хлеб перестал хорошо родиться. Они принуждены были отдать свою землю внаем, и за весьма небольшие деньги. К тому же бедная

---

[1] *Гроб* — здесь: памятник.

[2] *Око́нчина* — оконное стекло.

вдова, почти беспрестанно проливая слезы о смерти мужа своего — ибо и крестьянки любить умеют! — день ото дня становилась слабее и совсем не могла работать. Одна Лиза, которая осталась после отца пятнадцати лет, — одна Лиза, не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь — ткала холсты, вязала чулки, весною рвала цветы, а летом брала ягоды — и продавала их в Москве. Чувствительная, добрая старушка, видя неутомимость дочери, часто прижимала ее к слабо биющемуся сердцу, называла Божескою милостию, кормилицею, отрадою старости своей и молила Бога, чтобы он наградил ее за все то, что она делает для матери.

«Бог дал мне руки, чтобы работать, — говорила Лиза, — ты кормила меня своею грудью и ходила за мною, когда я была ребенком; теперь пришла моя очередь ходить за тобою. Перестань только крушиться, перестань плакать; слезы наши не оживят батюшки».

Но часто нежная Лиза не могла удержать собственных слез своих — ах! она помнила, что у нее был отец и что его не стало, но для успокоения матери старалась таить печаль сердца своего и казаться покойною и веселою. «На том свете, любезная Лиза, — отвечала горестная старушка, — на том свете перестану я плакать. Там, сказывают, будут все веселы; я, верно, весела буду, когда увижу отца твоего. Только теперь не хочу умереть — что с тобою без меня будет? На кого тебя покинуть? Нет, дай бог прежде пристроить тебя к месту! Может быть, скоро сыщется добрый человек. Тогда, благословя вас, милых детей моих, перекрещусь и спокойно лягу в сырую землю».

Прошло два года после смерти отца Лизина. Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами. Молодой, хорошо одетый человек, приятного вида, встретился ей на улице. Она показала ему цветы — и закраснелась. «Ты продаешь их, девушка?» — спросил он с улыбкою. «Продаю», — отвечала она. «А что тебе надобно?» — «Пять копеек». — «Это слишком дешево. Вот тебе рубль». Лиза удивилась, осмелилась взглянуть на молодого человека, — еще более закраснелась и, потупив глаза в землю, сказала ему, что она не возьмет рубля. «Для чего же?» — «Мне не надобно лишнего». — «Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля. Когда же ты не берешь его, вот тебе пять копеек. Я хотел бы всегда покупать у

тебя цветы; хотел бы, чтоб ты рвала их только для меня». Лиза отдала цветы, взяла пять копеек, поклонилась и хотела идти, но незнакомец остановил ее за руку. «Куда же ты пойдешь, девушка?» — «Домой». — «А где дом твой?» Лиза сказала, где она живет, сказала и пошла. Молодой человек не хотел удерживать ее, может быть для того, что мимоходящие начали останавливаться и, смотря на них, коварно усмехались.

Лиза, пришедши домой, рассказала матери, что с нею случилось. «Ты хорошо сделала, что не взяла рубля. Может быть, это был какой-нибудь дурной человек...» — «Ах нет, матушка! Я этого не думаю. У него такое доброе лицо, такой голос...» — «Однако ж, Лиза, лучше кормиться трудами своими и ничего не брать даром. Ты еще не знаешь, друг мой, как злые люди могут обидеть бедную девушку! У меня всегда сердце бывает не на своем месте, когда ты ходишь в город; я всегда ставлю свечу перед образ и молю Господа Бога, чтобы он сохранил тебя от всякой беды и напасти». У Лизы навернулись на глазах слезы; она поцеловала мать свою.

На другой день нарвала Лиза самых лучших ландышей и опять пошла с ними в город. Глаза ее тихонько чего-то искали.

Многие хотели у нее купить цветы, но она отвечала, что они непродажные, и смотрела то в ту, то в другую сторону. Наступил вечер, надлежало возвратиться домой, и цветы были брошены в Москву-реку. «Никто не владей вами!» — сказала Лиза, чувствуя какую-то грусть в сердце своем.

На другой день ввечеру сидела она под окном, пряла и тихим голосом пела жалобные песни, но вдруг вскочила и закричала: «Ах!..» Молодой незнакомец стоял под окном.

«Что с тобой сделалось?» — спросила испугавшаяся мать, которая подле нее сидела. «Ничего, матушка, — отвечала Лиза робким голосом, — я только его увидела». — «Кого?» — «Того господина, который купил у меня цветы». Старуха выглянула в окно.

Молодой человек поклонился ей так учтиво, с таким приятным видом, что она не могла подумать об нем ничего, кроме хорошего. «Здравствуй, добрая старушка! — сказал он. — Я очень устал; нет ли у тебя свежего молока?» Услужливая Лиза, не дождавшись ответа от матери своей — может быть, для того, что она его знала наперед, — побежала на погреб — принесла чистую кринку, покрытую чистым деревянным кружком, — схватила стакан, вымыла, вытерла его белым

полотенцем, налила и подала в окно, но сама смотрела в землю. Незнакомец выпил — и нектар из рук Гебы[1] не мог бы показаться ему вкуснее. Всякий догадается, что он после того благодарил Лизу, и благодарил не столько словами, сколько взорами.

Между тем добродушная старушка успела рассказать ему о своем горе и утешении — о смерти мужа и о милых свойствах дочери своей, об ее трудолюбии и нежности, и проч. и проч. Он слушал ее со вниманием, но глаза его были — нужно ли сказывать где? И Лиза, робкая Лиза посматривала изредка на молодого человека; но не так скоро молния блестит и в облаке исчезает, как быстро голубые глаза ее обращались к земле, встречаясь с его взором. «Мне хотелось бы, — сказал он матери, — чтобы дочь твоя никому, кроме меня, не продавала своей работы. Таким образом, ей незачем будет часто ходить в город, и ты не принуждена будешь с нею расставаться. Я сам по временам могу заходить к вам». Тут в глазах Лизиных блеснула радость, которую она тщетно сокрыть хотела; щеки ее пылали, как заря в ясный летний вечер; она смотрела на левый рукав свой и щипала его правою рукою. Старушка с охотою приняла сие предложение, не подозревая в нем никакого худого намерения, и уверяла незнакомца, что полотно, вытканное Лизой, и чулки, вывязанные Лизой, бывают отменно хороши и носятся долее всяких других.

Становилось темно, и молодой человек хотел уже идти. «Да как же нам называть тебя, добрый, ласковый барин?» — спросила старуха. «Меня зовут Эрастом[2]», — отвечал он. «Эрастом, — сказала тихонько Лиза, — Эрастом!» Она раз пять повторила сие имя, как будто бы стараясь затвердить его. Эраст простился с ними до свидания и пошел. Лиза провожала его глазами, а мать сидела в задумчивости и, взяв за руку дочь свою, сказала ей: «Ах, Лиза! Как он хорош и добр! Если бы жених твой был таков!» Все Лизино сердце затрепетало. «Матушка! Матушка! Как этому статься? Он барин, а между крестьянами...» — Лиза не договорила речи своей.

Теперь читатель должен знать, что сей молодой человек, сей Эраст был довольно богатый дворянин, с изрядным ра-

---

[1] Ге́ба — в древнегреч. мифологии богиня вечной юности, подносившая богам напиток бессмертия.

[2] Эра́ст — от греч. слова «эрос» (любовь).

зумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным. Он вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил: скучал и жаловался на судьбу свою. Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце. Он читывал романы, идиллии, имел довольно живое воображение и часто переселялся мысленно в те времена (бывшие или не бывшие), в которые, если верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в счастливой праздности все дни свои провождали. Ему казалось, что он нашел в Лизе то, чего сердце его давно искало. «Натура[1] призывает меня в свои объятия, к чистым своим радостям», — думал он и решился — по крайней мере на время — оставить большой свет.

Обратимся к Лизе. Наступила ночь — мать благословила дочь свою и пожелала ей кроткого сна, но на сей раз желание ее не исполнилось: Лиза спала очень худо. Новый гость души ее, образ Эрастов, столь живо ей представлялся, что она почти всякую минуту просыпалась, просыпалась и вздыхала. Еще до восхождения солнечного Лиза встала, сошла на берег Москвы-реки, села на траве и, подгорюнившись, смотрела на белые туманы, которые волновались в воздухе и, подымаясь вверх, оставляли блестящие капли на зеленом покрове натуры. Везде царствовала тишина. Но скоро восходящее светило дня пробудило все творение: рощи, кусточки оживились, птички вспорхнули и запели, цветы подняли свои головки, чтобы напиться животворными лучами света. Но Лиза все еще сидела подгорюнившись. Ах, Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось? До сего времени, просыпаясь вместе с птичками, ты вместе с ними веселилась утром, и чистая, радостная душа светилась в глазах твоих, подобно как солнце светится в каплях росы небесной; но теперь ты задумчива, и общая радость природы чужда твоему сердцу. — Между тем молодой пастух по берегу реки гнал стадо, играя на свирели. Лиза устремила на него взор свой и думала: «Если бы тот, кто занимает теперь мысли мои, рожден был простым крестьянином, пастухом, — и если бы он теперь мимо меня гнал стадо свое: ах! я поклонилась бы ему с улыбкою и сказала бы приветливо: "Здравствуй, любезный пастушок! Куда гонишь ты стадо свое? И здесь растет зе-

[1] *Натýра* — здесь: природа.

леная трава для овец твоих, и здесь алеют цветы, из которых можно сплести венок для шляпы твоей". Он взглянул бы на меня с видом ласковым — взял бы, может быть, руку мою... Мечта!» Пастух, играя на свирели, прошел мимо и с пестрым стадом своим скрылся за ближним холмом.

Вдруг Лиза услышала шум весел — взглянула на реку и увидела лодку, а в лодке — Эраста.

Все жилки в ней забились, и, конечно, не от страха. Она встала, хотела идти, но не могла. Эраст выскочил на берег, подошел к Лизе и — мечта ее отчасти исполнилась: ибо *он взглянул на нее с видом ласковым, взял ее за руку*... А Лиза, Лиза стояла с потупленным взором, с огненными щеками, с трепещущим сердцем — не могла отнять у него руки, не могла отворотиться, когда он приближился к ней с розовыми губами своими... Ах! Он поцеловал ее, поцеловал с таким жаром, что вся вселенная показалась ей в огне горящею! «Милая Лиза! — сказал Эраст. — Милая Лиза! Я люблю тебя!», и сии слова отозвались во глубине души ее, как небесная, восхитительная музыка; она едва смела верить ушам своим и...

Но я бросаю кисть. Скажу только, что в сию минуту восторга исчезла Лизина робость — Эраст узнал, что он любим, любим страстно новым, чистым, открытым сердцем.

Они сидели на траве, и так, что между ими оставалось не много места, — смотрели друг другу в глаза, говорили друг другу: «Люби меня!», и два часа показались им мигом. Наконец Лиза вспомнила, что мать ее может об ней беспокоиться. Надлежало расстаться. «Ах, Эраст! — сказала она. — Всегда ли ты будешь любить меня?» — «Всегда, милая Лиза, всегда!» — отвечал он. «И ты можешь мне дать в этом клятву?» — «Могу, любезная Лиза, могу!» — «Нет! Мне не надобно клятвы. Я верю тебе, Эраст, верю. Ужели ты обманешь бедную Лизу? Ведь этому нельзя быть?» — «Нельзя, нельзя, милая Лиза!» — «Как я счастлива, и как обрадуется матушка, когда узнает, что ты меня любишь!» — «Ах нет, Лиза! Ей не надобно ничего сказывать». — «Для чего же?» — «Старые люди бывают подозрительны. Она вообразит себе что-нибудь худое». — «Нельзя статься». — «Однако ж прошу тебя не говорить ей об этом ни слова». — «Хорошо: надобно тебя послушаться, хотя мне и не хотелось бы ничего таить от нее».

Они простились, поцеловались в последний раз и обещались всякий день ввечеру видеться или на берегу реки, или

в березовой роще, или где-нибудь близ Лизиной хижины, только верно, непременно видеться. Лиза пошла, но глаза ее сто раз обращались на Эраста, который все еще стоял на берегу и смотрел вслед за нею.

Лиза возвратились в хижину свою совсем не в таком расположении, в каком из нее вышла. На лице и во всех ее движениях обнаруживалась сердечная радость. «Он меня любит!» — думала она и восхищалась сею мыслию. «Ах, матушка! — сказала Лиза матери своей, которая лишь только проснулась. — Ах, матушка! Какое прекрасное утро! Как все весело в поле! Никогда жаворонки так хорошо не певали, никогда солнце так светло не сияло, никогда цветы так приятно не пахли!» Старушка, подпираясь клюкою, вышла на луг, чтобы насладиться утром, которое Лиза такими прелестными красками описывала. Оно в самом деле показалось ей отменно приятным; любезная дочь весельем своим развеселяла для нее всю натуру. «Ах, Лиза! — говорила она. — Как все хорошо у Господа Бога! Шестой десяток доживаю на свете, а все еще не могу наглядеться на дела Господни, не могу наглядеться на чистое небо, похожее на высокий шатер, и на землю, которая всякий год новою травою и новыми цветами покрывается. Надобно, чтобы Царь Небесный очень любил человека, когда он так хорошо убрал для него здешний свет. Ах, Лиза! Кто бы захотел умереть, если бы иногда не было нам горя?.. Видно, так надобно. Может быть, мы забыли бы душу свою, если бы из глаз наших никогда слезы не капали». А Лиза думала: «Ах! Я скорее забуду душу свою, нежели милого моего друга!»

После сего Эраст и Лиза, боясь не сдержать слова своего, всякий вечер виделись (тогда, как Лизина мать ложилась спать) или на берегу реки, или в березовой роще, но всего чаще под тению столетних дубов (саженях в осьмидесяти от хижины) — дубов, осеняющих глубокий чистый пруд, еще в древние времена ископанный. Там часто тихая луна, сквозь зеленые ветви, посребляла лучами своими светлые Лизины волосы, которыми играли зефиры[1] и рука милого друга; часто лучи сии освещали в глазах нежной Лизы блестящую слезу любви, осушаемую всегда Эрастовым поцелуем. Они обнимались — но целомудренная, стыдливая Цинтия[2] не скрыва-

[1] *Зефи́р* — здесь: ветерок.

[2] *Ци́нтия* — в древнеримск. мифологии имя богини Луны.

лась от них за облако: чисты и непорочны были их объятия. «Когда ты, — говорила Лиза Эрасту, — когда ты скажешь мне: "Люблю тебя, друг мой!", когда прижмешь меня к своему сердцу и взглянешь на меня умильными своими глазами, ах! тогда бывает мне так хорошо, так хорошо, что я себя забываю, забываю все, кроме Эраста. Чудно́! Чудно́, мой друг, что я, не знав тебя, могла жить спокойно и весело! Теперь мне это непонятно, теперь думаю, что без тебя жизнь не жизнь, а грусть и скука. Без глаз твоих темен светлый месяц; без твоего голоса скучен соловей поющий; без твоего дыхания ветерок мне неприятен». Эраст восхищался своей пастушкой — так называл Лизу — и, видя, сколь она любит его, казался сам себе любезнее. Все блестящие забавы большого света представлялись ему ничтожными в сравнении с теми удовольствиями, которыми страстная дружба невинной души питала сердце его. С отвращением помышлял он о презрительном сладострастии, которым прежде упивались его чувства. «Я буду жить с Лизою, как брат с сестрою, — думал он, — не употреблю во зло любви ее и буду всегда счастлив!» Безрассудный молодой человек! Знаешь ли ты свое сердце? Всегда ли можешь отвечать за свои движения? Всегда ли рассудок есть царь чувств твоих?

Лиза требовала, чтобы Эраст часто посещал мать ее. *«Я люблю ее, — говорила она, — и хочу ей добра, а мне* кажется, что видеть тебя есть великое благополучие для всякого». Старушка в самом деле всегда радовалась, когда его видела. Она любила говорить с ним о покойном муже и рассказывать ему о днях свой молодости, о том, как она в первый раз встретилась с милым своим Иваном, как он полюбил ее и в какой любви, в каком согласии жил с нею. «Ах! Мы никогда не могли друг на друга наглядеться — до самого того часа, как лютая смерть подкосила ноги его. Он умер на руках моих!» Эраст слушал ее с непритворным удовольствием. Он покупал у нее Лизину работу и хотел всегда платить в десять раз дороже назначаемой ею цены, но старушка никогда не брала лишнего.

Таким образом прошло несколько недель. Однажды ввечеру Эраст долго ждал своей Лизы. Наконец пришла она, но так невесела, что он испугался; глаза ее от слез покраснели. «Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось?» — «Ах, Эраст! Я плакала!» — «О чем? Что такое?» — «Я должна сказать тебе все. За меня сватается жених, сын богатого крестьянина из сосед-

ней деревни; матушка хочет, чтобы я за него вышла». — «И ты соглашаешься?» — «Жестокий! Можешь ли об этом спрашивать? Да, мне жаль матушки; она плачет и говорит, что я не хочу ее спокойствия, что она будет мучиться при смерти, если не выдаст меня при себе замуж. Ах! Матушка не знает, что у меня есть такой милый друг!» Эраст поцеловал Лизу, говорил, что ее счастие дороже ему всего на свете, что по смерти матери ее он возьмет ее к себе и будет жить с нею неразлучно, в деревне и в дремучих лесах, как в раю. «Однако ж тебе нельзя быть моим мужем!» — сказала Лиза с тихим вздохом. «Почему же?» — «Я крестьянка». — «Ты обижаешь меня. Для твоего друга важнее всего душа, чувствительная невинная душа, — и Лиза будет всегда ближайшая к моему сердцу».

Она бросилась в его объятия — и в сей час надлежало погибнуть непорочности! Эраст чувствовал необыкновенное волнение в крови своей — никогда Лиза не казалась ему столь прелестною — никогда ласки ее не трогали его так сильно — никогда ее поцелуи не были столь пламенны — она ничего не знала, ничего не подозревала, ничего не боялась — мрак вечера питал желания — ни одной звездочки не сияло на небе — никакой луч не мог осветить заблуждения. — Эраст чувствует в себе трепет — Лиза также, не зная, отчего, не зная, что с нею делается... Ах, Лиза, Лиза! Где ангел-хранитель твой? Где — твоя невинность?

Заблуждение прошло в одну минуту. Лиза не понимала чувств своих, удивлялась и спрашивала. Эраст молчал — искал слов и не находил их. «Ах, я боюсь, — говорила Лиза, — боюсь того, что случилось с нами! Мне казалось, что я умираю, что душа моя... нет, не умею сказать этого!.. Ты молчишь, Эраст? Вздыхаешь?.. Боже мой! Что такое?» Между тем блеснула молния и грянул гром. Лиза вся задрожала. «Эраст, Эраст! — сказала она. — Мне страшно! Я боюсь, чтобы гром не убил меня, как преступницу!» Грозно шумела буря, дождь лился из черных облаков — казалось, что натура сетовала о потерянной Лизиной невинности. Эраст старался успокоить Лизу и проводил ее до хижины. Слезы катились из глаз ее, когда она прощалась с ним. «Ах, Эраст! Уверь меня, что мы будем по-прежнему счастливы!» — «Будем, Лиза, будем!» — отвечал он.— «Дай Бог! Мне нельзя не верить словам твоим: ведь я люблю тебя! Только в сердце моем... Но полно! Прости! Завтра, завтра увидимся».

Свидания их продолжались; но как все переменилось! Эраст не мог уже доволен быть одними невинными ласками своей Лизы — одними ее любви исполненными взорами — одним прикосновением руки, одним поцелуем, одними чистыми объятиями. Он желал больше, больше и, наконец, ничего желать не мог, — а кто знает сердце свое, кто размышлял о свойстве нежнейших его удовольствий, тот, конечно, согласится со мною, что исполнение всех желаний есть самое опасное искушение любви. Лиза не была уже для Эраста сим ангелом непорочности, который прежде воспалял его воображение и восхищал душу. Платоническая любовь уступила место таким чувствам, которыми он не мог *гордиться* и которые были для него уже не новы. Что принадлежит до Лизы, то она, совершенно ему отдавшись, им только жила и дышала, во всем, как агнец, повиновалась его воле и в удовольствии его полагала свое счастие. Она видела в нем перемену и часто говорила ему: «Прежде бывал ты веселее, прежде бывали мы покойнее и счастливее, и прежде я не так боялась потерять любовь твою!» Иногда, прощаясь с ней, он говорил ей: «Завтра, Лиза, не могу с тобою видеться: мне встретилось важное дело», — и всякий раз при сих словах Лиза вздыхала.

Наконец пять дней сряду она не видала его и была в величайшем беспокойстве; в шестой пришел он с печальным лицом и сказал ей: «Любезная Лиза! Мне должно на несколько времени с тобою проститься. Ты знаешь, что у нас война, я в службе, полк мой идет в поход». Лиза побледнела и едва не упала в обморок.

Эраст ласкал ее, говорил, что он всегда будет любить милую Лизу и надеется по возвращении своем уже никогда с нею не расставаться. Долго она молчала, потом залилась горькими слезами, схватила руку его и, взглянув на него со всею нежностью любви, спросила: «Тебе нельзя остаться?» — «Могу, — отвечал он, — но с величайшим бесславием, с величайшим пятном для моей чести. Все будут презирать меня; все будут гнушаться мною, как трусом, как недостойным сыном отечества». — «Ах, когда так, — сказала Лиза, — то поезжай, поезжай, куда Бог велит! Но тебя могут убить». — «Смерть за отечество не страшна, любезная Лиза». — «Я умру, как скоро тебя не будет на свете». — «Но зачем это думать? Я надеюсь остаться жив, надеюсь возвратиться к тебе, моему другу». — «Дай Бог! Дай Бог! Всякий день, всякий час буду о том

молиться. Ах, для чего не умею ни читать, ни писать! Ты бы уведомлял меня обо всем, что с тобою случится, а я писала б к тебе — о слезах своих!» — «Нет, береги себя, Лиза, береги для друга твоего. Я не хочу, чтобы ты без меня плакала». — «Жестокий человек! Ты думаешь лишить меня и этой отрады! Нет! Расставшись с тобою, разве тогда перестану плакать, когда высохнет сердце мое». — «Думай о приятной минуте, в которую опять мы увидимся». — «Буду, буду думать об ней! Ах, если бы она пришла скорее! Любезный, милый Эраст! Помни, помни свою бедную Лизу, которая любит тебя более, нежели самое себя!»

Но я не могу описать всего, что они при сем случае говорили. На другой день надлежало быть последнему свиданию.

Эраст хотел проститься и с Лизиною матерью, которая не могла от слез удержаться, слыша, что *ласковый, пригожий барин* ее должен ехать на войну. Он принудил ее взять у него несколько денег, сказав: «Я не хочу, чтобы Лиза в мое отсутствие продавала работу свою, которая, по уговору, принадлежит мне». Старушка осыпала его благословениями. «Дай Господи, — говорила она, — чтобы ты к нам благополучно возвратился и чтобы я тебя еще раз увидела в здешней жизни! Авось-либо моя Лиза к тому времени найдет себе жениха по мыслям. Как бы я благодарила Бога, если б ты приехал к нашей свадьбе! Когда же у Лизы будут дети, знай, барин, что ты должен крестить их! Ах! Мне бы очень хотелось дожить до этого!» Лиза стояла подле матери и не смела взглянуть на нее. Читатель легко может вообразить себе, что она чувствовала в сию минуту.

Но что же чувствовала она тогда, когда Эраст, обняв ее в последний раз, в последний раз прижав к своему сердцу, сказал: «Прости, Лиза!..» Какая трогательная картина! Утренняя заря, как алое море, разливалась по восточному небу. Эраст стоял под ветвями высокого дуба, держа в объятиях свою бедную, томную, горестную подругу, которая, прощаясь с ним, прощалась с душою своею. Вся натура пребывала в молчании.

Лиза рыдала — Эраст плакал — оставил ее — она упала — стала на колени, подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который удалялся — далее — далее — и, наконец, скрылся — воссияло солнце, и Лиза, оставленная, бледная, лишилась чувств и памяти.

Она пришла в себя — и свет показался ей уныл и печален. Все приятности натуры сокрылись для нее вместе с любезным ее сердцу. «Ах! — думала она. — Для чего я осталась в этой пустыне? Что удерживает меня летать вслед за милым Эрастом? Война не страшна для меня; страшно там, где нет моего друга. С ним жить, с ним умереть хочу или смертию своею спасти его драгоценную жизнь. Постой, постой, любезный! Я лечу к тебе!» Уже хотела она бежать за Эрастом, но мысль: «У меня есть мать!» — остановила ее. Лиза вздохнула и, преклонив голову, тихими шагами пошла к своей хижине. С сего часа дни ее были днями тоски и горести, которую надлежало скрывать от нежной матери: тем более страдало сердце ее! Тогда только облегчалось оно, когда Лиза, уединясь в густоту леса, могла свободно проливать слезы и стенать о разлуке с милым. Часто печальная горлица соединяла жалобный голос свой с ее стенанием. Но иногда — хотя весьма редко — златой луч надежды, луч утешения освещал мрак ее скорби. «Когда он возвратится ко мне, как я буду счастлива! Как все переменится!» От сей мысли прояснялся взор ее, розы на щеках освежались, и Лиза улыбалась, как майское утро после бурной ночи. Таким образом прошло около двух месяцев.

В один день Лиза должна была идти в Москву, затем чтобы купить розовой воды, которою мать ее лечила глаза свои. На одной из больших улиц встретилась ей великолепная карета, и в сей карете увидела она Эраста. «Ах!» — закричала Лиза и бросилась к нему, но карета проехала мимо и поворотила на двор. Эраст вышел и хотел уже идти на крыльцо огромного дому, как вдруг почувствовал себя в Лизиных объятиях. Он побледнел — потом, не отвечая ни слова на ее восклицания, взял ее за руку, привел в свой кабинет, запер дверь и сказал ей: «Лиза! Обстоятельства переменились; я помолвил[1] жениться; ты должна оставить меня в покое и для собственного своего спокойствия забыть меня. Я любил тебя и теперь люблю, то есть желаю тебе всякого добра. Вот сто рублей — возьми их, — он положил ей деньги в карман, — позволь мне поцеловать тебя в последний раз — и поди домой». Прежде нежели Лиза могла опомниться, он вывел ее из кабинета и сказал слуге: «Проводи эту девушку со двора».

---

[1] *Помóлвил* — обещал.

Сердце мое обливается кровью в сию минуту. Я забываю человека в Эрасте — готов проклинать его — но язык мой не движется — смотрю на небо, и слеза катится по лицу моему. Ах! Для чего пишу не роман, а печальную быль?

Итак, Эраст обманул Лизу, сказав ей, что он едет в армию? Нет, он в самом деле был в армии, но, вместо того чтобы сражаться с неприятелем, играл в карты и проиграл почти все свое имение. Скоро заключили мир, и Эраст возвратился в Москву, отягченный долгами. Ему оставался один способ поправить свои обстоятельства — жениться на пожилой богатой вдове, которая давно была влюблена в него. Он решился на то и переехал жить к ней в дом, посвятив искренний вздох Лизе своей. Но все сие может ли оправдать его?

Лиза очутилась на улице, и в таком положении, которого никакое перо описать не может. «Он, он выгнал меня? Он любит другую? Я погибла!» — вот ее мысли, ее чувства! Жестокий обморок перервал их на время. Одна добрая женщина, которая шла по улице, остановилась над Лизою, лежавшею на земле, и старалась привести ее в память. Несчастная открыла глаза — встала с помощью сей доброй женщины, — благодарила ее и пошла, сама не зная куда. «Мне нельзя жить, — думала Лиза, — нельзя!.. О, если бы упало на меня небо! Если бы земля поглотила бедную!.. Нет! Небо не падает; земля не колеблется! Горе мне!» Она вышла из города и вдруг увидела себя на берегу глубокого пруда, под тенью древних дубов, которые за несколько недель перед тем были безмолвными свидетелями ее восторгов. Сие воспоминание потрясло ее душу; страшнейшее сердечное мучение изобразилось на лице ее. Но через несколько минут погрузилась она в некоторую задумчивость — осмотрелась вокруг себя, увидела дочь своего соседа (пятнадцатилетнюю девушку), идущую по дороге, — кликнула ее, вынула из кармана десять империалов[1] и, подавая ей, сказала: «Любезная Анюта, любезная подружка! Отнеси эти деньги к матушке — они не краденые — скажи ей, что Лиза против нее виновата, что я таила от нее любовь свою к одному жестокому человеку, — к Э... На что знать его имя? — Скажи, что он изменил мне, — попроси, чтобы она меня простила, — Бог будет ее помощником, поцелуй у нее руку так, как я теперь твою целую, скажи, что бедная Лиза

[1] *Империа́л* — золотая монета в 10 рублей.

велела поцеловать ее, — скажи, что я...» Тут она бросилась в воду. Анюта закричала, заплакала, но не могла спасти ее, побежала в деревню — собрались люди и вытащили Лизу, но она была уже мертвая.

Таким образом скончала жизнь свою прекрасная душою и телом. Когда мы *там*, в новой жизни увидимся, я узнаю тебя, нежная Лиза!

Ее погребли близ пруда, под мрачным дубом, и поставили деревянный крест на ее могиле. Тут часто сижу в задумчивости, опершись на вместилище Лизина праха; в глазах моих струится пруд; надо мною шумят листья.

Лизина мать услышала о страшной смерти дочери своей, и кровь ее от ужаса охладела — глаза навек закрылись. Хижина опустела. В ней воет ветер, и суеверные поселяне, слыша по ночам сей шум, говорят: «Там стонет мертвец; там стонет бедная Лиза!»

Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судьбе Лизиной, он не мог утешиться и почитал себя убийцею. Я познакомился с ним за год до его смерти. Он сам рассказал мне сию историю и привел меня к Лизиной могиле. Теперь, может быть, они уже примирились!

1792

Денис Иванович

ФОНВИЗИН

ВСЕОБЩАЯ ПРИДВОРНАЯ ГРАММАТИКА

(фрагменты)

В о п р. Что есть Придворная Грамматика?

О т в. Придворная Грамматика есть наука хитро льстить языком и пером.

В о п р. Что значит хитро льстить?

О т в. Значит говорить и писать такую ложь, которая была бы знатным приятна, а льстецу полезна.

В о п р. Что есть придворная ложь?

О т в. Есть выражение души подлой пред душою надменною. Она состоит из бесстыдных похвал большому барину за те заслуги, которых он не делал, и за те достоинства, которых не имеет.

<...>

В о п р. Что при словах примечать должно?

О т в. Род, число и падеж.

В о п р. Что есть придворный род?

О т в. Есть различие между душою мужскою и женскою. Сие различие от пола не зависит; ибо у двора иногда женщина сто́ит мужчины, а иной мужчина хуже бабы.

В о п р. Что есть число?

О т в. Число у двора значит счет: за сколько подлостей сколько милостей достать можно.

<...>

В о п р. Что есть придворный падеж?

О т в. Придворный падеж есть наклонение сильных к наглости, а бессильных к подлости. Впрочем, бо́льшая часть бояр думает, что все находятся перед ними в *винительном падеже*; снискивают же их расположение и покровительство обыкновенно *падежом дательным*.

В о п р. Сколько у двора глаголов?

О т в. Три: *действительный, страдательный*, а чаще всего *отложительный*.

В о п р. Какие наклонения обыкновенно у двора употребляются?

О т в. Повелительное и неопределенное.

В о п р. У людей заслуженных, но беспомощных какое время употребляется по большей части в разговорах с большими господами?

О т в. Прошедшее, например: *я изранен, я служил* и тому подобное.

В о п р. В каком времени бывает их ответ?

О т в. В будущем, например: *посмотрю, доложу* и так далее.

<...>

В о п р. Какой глагол спрягается чаще всех и в каком времени?

О т в. Как у двора, так и в столице никто без долгу не живет, для того чаще всех спрягается глагол: *быть должным*. (Для примера прилагается здесь спряжение *настоящего времени*, чаще всех употребительнейшего.)

Н а с т о я щ е е

Я должен.	Мы должны.
Ты должен.	Вы должны.
Он должен.	Они должны.

В о п р. Спрягается ли сей глагол в прошедшем времени?

О т в. Весьма редко: ибо никто долгов своих не платит.

В о п р. А в будущем?

О т в. В будущем спряжение сего глагола употребительно; ибо само собою разумеется, что всякий непременно в долгу будет, если еще не есть.

Около 1783

Гаврила Романович

ДЕРЖАВИН

Властителям и судиям

Восстал всевышний Бог, да судит
Земных богов во сонме[1] их;
Доколе, рек[2], доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?

Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.

Ваш долг: спасать от бед невинных,
Несчастливым подать покров;
От сильных защищать бессильных,
Исторгнуть бедных из оков.

Не внемлют! Видят — и не знают!
Покрыты мздою[3] очеса[4]:
Злодействы землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.

Цари! Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я подобно, страстны,
И так же смертны, как и я.

И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!

---

[1] *Сонм* — здесь: множество.
[2] Сказал, произнес.
[3] *Мзда* — корысть (*мздоимец* — продажная душа).
[4] *Очеса́* — то же, что очи.

Воскресни, Боже! Боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых,
И будь един царем земли!

1780(?)

Фелица

(фрагменты)

.....

Подай, Фелица, наставленье:
Как пышно и правдиво жить,
Как укрощать страстей волненье
И счастливым на свете быть?
Меня твой голос возбуждает,
Меня твой сын препровождает;
Но им последовать я слаб.
Мятясь житейской суетою,
Сегодня властвую собою,
А завтра прихотям я раб.

Мурзам[1] твоим не подражая,
Почасту ходишь ты пешком,
И пища самая простая
Бывает за твоим столом;
Не дорожа твоим покоем,
Читаешь, пишешь пред налоем[2]
И всем из твоего пера
Блаженство смертным проливаешь,
Подобно в карты не играешь,
Как я от утра до утра.

Не слишком любишь маскарады,
А в клоб[3] не ступишь и ногой,
Храня обычаи, обряды,
Не донкишоствуешь[4] собой;

---

[1] *Мурза́* — мусульманский князек. Здесь: приближенны
трицы, вельможа.

[2] *Нало́й* — здесь: высокий столик, конторка.

[3] *Клоб* — клуб (написание XVIII века).

[4] *Донкишо́тствовать* — от имени *Дон Кихот*: составлять
ные проекты, ввязываться в бессмысленные приключения.

Коня парнасска[1] не седлаешь,
К духа́м в собранье не въезжаешь,
Не ходишь с трона на Восток[2],
Но кротости ходя стезею,
Благотворящею душою,
Полезных дней проводишь ток[3].

А я, проспавши до полудни,
Курю табак и кофе пью:
Преобращая в праздник будни,
Кружу в химерах мысль мою:
То плен от персов похищаю,
То стрелы к туркам обращаю;
То, возмечтав, что я султан,
Вселенну устрашаю взглядом;
То вдруг, прельщаяся нарядом,
Скачу к портному по кафтан.

Или в пиру я пребогатом,
Где праздник для меня дают,
Где блещет стол сребром и златом,
Где тысячи различных блюд;
Где славный окорок вестфальской,
Там звенья рыбы астраханской,
Там плов и пироги стоят,
Шампанским вафли запивают
И все на свете забываю
Средь вин, сластей и аромат.
.....[4]

---

[1] *Парна́сский конь* — Пега́с, мифический конь, символ поэтического вдохновения. Поэт ставит в заслугу героине оды то, что она не занимается поэтическим творчеством.

[2] Намек на собрания *масо́нов*, религиозной организации, возникшей в XVIII веке, ставившей целью духовное объединение человечества. Взгляды масонов во многом расходились с принципами официальной церкви.

[3] *Ток* — здесь: течение.

[4] В последних десяти строках Державин говорит не столько о себе, сколько о екатерининских вельможах. Далее он в шутливой форме продолжает рисовать детали их быта (якобы вспоминая о себе) и, наконец, возвращается к своему времяпрепровождению.

Иль, сидя дома, я прокажу,
Играя в дураки с женой;
То с ней на голубятню лажу,
То в жмурки резвимся порой;
То в свайку с нею веселюся,
То ею в голове ищуся;
То в книгах рыться я люблю,
Мой ум и сердце просвещаю,
Полкана и Бову[1] читаю;
За Библией, зевая, сплю.
.....

Едина ты лишь не обидишь,
Не оскорбляешь никого,
Дурачествы сквозь пальцы видишь,
Лишь зла не терпишь одного;
Проступки снисхожденьем правишь,
Как волк овец, людей не давишь,
Ты знаешь прямо цену их.
Царей они подвластны воле, —
Но Богу правосудну боле,
Живущему в законах их.
.....

Слух и́дет о твоих поступках,
Что ты нимало не горда;
Любезна и в делах, и в шутках,
Приятна в дружбе и тверда;
Что ты в напастях равнодушна,
А к славе так великодушна,
Что отреклась и мудрой слыть.
Еще же говорят неложно,
Что будто завсегда возможно
Тебе и правду говорить.

Неслыханное также дело,
Достойное тебя одной,
Что будто ты народу смело
О всем, и въявь, и под рукой,
И знать, и мыслить позволяешь,

[1] Полка́н и Бова́ — персонажи массовой дешевой (лубо́чной) литературы (романа о Бове Королевиче).

И о себе не запрещаешь
И быль и небыль говорить;
Что будто самым крокодилам,
Твоих всех милостей зоилам[1]
Всегда склоняешься простить.
.....

Вещай, премудрая Фелица!
Где отличён от честных плут?
Где старость по миру не бродит?
Заслуга хлеб себе находит?
Где месть не гонит никого?
Где совесть с правдой обитают?
Где добродетели сияют? —
У трона разве твоего!

Но где твой трон сияет в мире?
Где, ветвь небесная, цветешь?
В Багдаде, Смирне, Кашемире?
Послушай, где ты ни живешь, —
Хвалы мои тебе приметя,
Не мни, чтоб шапки иль бешметя[2]
За них я от тебя желал.
Почувствовать добра приятство
Такое есть души богатство,
Какого Крез[3] не собирал.

Прошу великого пророка,
Да праха ног твоих коснусь,
Да слов твоих сладчайша тока
И лицезреньем наслаждусь!
Небесные прошу я силы,
Да, их простря сафирны[4] крылы,
Невидимо тебя хранят

---

[1] *Зои́л* — древнегреческий философ (IV в. до нашей эры). Имя стало нарицательным для обозначения злобного, недоброжелательного критика.

[2] *Бешме́т* — вид верхней мужской одежды.

[3] Крез (595—546 до нашей эры) — последний царь Лидии. Богатство Креза вошло в поговорку.

[4] *Сафирны* — от *сафи́р* (*сапфи́р*), драгоценный камень голубого цвета. Здесь: голубой цвет.

От всех болезней, зол и скуки,
Да дел твоих в потомстве звуки,
Как в небе звезды, возблестят.

1782

Русские девушки

Зрел ли ты, певец Тииский[1],
Как в лугу весной бычка
Пляшут девушки российски
Под свирелью пастушка?
Как, склонясь главами, ходят,
Башмаками в лад стучат,
Тихо руки, взор поводят
И плечами говорят?
Как их лентами златыми
Челы[2] белые блестят,
Под жемчугами драгими
Груди нежные дышáт?
Как сквозь жилки голубые
Льется розовая кровь,
На ланитах[3] огневые
Ямки врезала любовь?
Как их брови соболины,
Полный искр соколий взгляд,
Их усмешки — души львины
И орлов сердца разят?
Коль бы видел дев сих красных,
Ты б гречанок позабыл
И на крыльях сладострастных
Твой Эрот прикован был.

1799

---

[1] Имеется в виду Анакреон.

[2] *Чéлы* — от слова *челó* — лоб.

[3] *Ланúты* — щеки.



Александр Сергеевич
ПУШКИН

ПИКОВАЯ ДАМА

Пиковая дама означает тайную недоброжелательность.
Новейшая гадательная книга

I

А в ненастные дни
Собирались они
Часто:
Гнули — Бог их прости! —
От пятидесяти
На сто,
И выигрывали,
И отписывали
Мелом.
Так, в ненастные дни,
Занимались они
Делом.

Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом; прочие, в рассеянности, сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие.

— Что ты сделал, Сурин? — спросил хозяин.

— Проиграл, по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив: играю мирандолем[1], никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а все проигрываюсь!

[1] Играть *мирандо́лем* — играть, увеличивая ставку.

— И ты ни разу не соблазнился? ни разу не поставил на руте?..[1] Твердость твоя для меня удивительна.

— А каков Германн! — сказал один из гостей, указывая на молодого инженера, — отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного пароли[2], а до пяти часов сидит с нами и смотрит на нашу игру!

— Игра занимает меня сильно, — сказал Германн, — но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее.

— Германн немец: он расчетлив, вот и все! — заметил Томский. — А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка графиня Анна Федотовна.

— Как? что? — закричали гости.

— Не могу постигнуть, — продолжал Томский, — каким образом бабушка моя не понтирует[3]!

— Да что ж тут удивительного, — сказал Нарумов, — что осьмидесятилетняя старуха не понтирует?

— Так вы ничего про нее не знаете?

— Нет! право, ничего!

— О, так послушайте:

Надобно знать, что бабушка моя, лет шестьдесят тому назад, ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтоб увидеть la Vénus moscovite[4]; Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости.

В то время дамы играли в фараон[5]. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки[6] с лица и отвязывая фижмы[7], объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить.

Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся, как огня; однако, услышав о таком

---

[1] Ставить на *руте́* — ставить на одну и ту же карту, рассчитывая на выигрыш.

[2] *Пароли́* (или с «углом») — утроенная ставка.

[3] *Понти́ровать* — играть против банкомета (объявлявшего сумму, на которую шла игра).

[4] Московскую Венеру *(фр.)*.

[5] *Фарао́н* (или *штосс*) — азартная карточная игра.

[6] *Му́шки* — кусочки черного пластыря или тафты, приклеивавшиеся на лицо в виде родинки (своеобразное украшение в те времена).

[7] *Фи́жмы* — юбка на каркасе из китового уса.

ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости.

На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений; думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рознь и что есть разница между принцем и каретником. — Куда! дедушка бунтовал. Нет, да и только! Бабушка не знала, что делать.

С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного. Вы знаете, что он выдавал себя за Вечного жида[1], за изобретателя жизненного эликсира и философского камня, и прочая. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова[2] в своих Записках говорит, что он был шпион; впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть. Написала ему записку и просила немедленно к ней приехать.

Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность.

Сен-Жермен задумался.

«Я могу вам услужить этой суммою, — сказал он, — но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство: вы можете отыграться». — «Но, любезный граф, — отвечала бабушка, — я говорю вам, что у нас денег вовсе нет». — «Деньги тут не нужны, — возразил Сен-Жермен: — извольте меня выслушать». Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал...

---

[1] Вечный жид (Агасфе́р) — герой средневековых сказаний, осужден Богом на вечные скитания.

[2] Казано́ва (1725—1798) — итальянский писатель.

Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал.

В тот же самый вечер бабушка явилась в Версаль, au jeu de la Reine[1]. Герцог Орлеанский метал; бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдание сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала три карты, поставила их одну за другою: все три выиграли ей соника[2], и бабушка отыгралась совершенно.

— Случай! — сказал один из гостей.

— Сказка! — заметил Германн.

— Может статься, порошковые карты[3]? — подхватил третий.

— Не думаю, — отвечал важно Томский.

— Как! — сказал Нарумов, — у тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряду, а ты до сих пор не перенял у ней ее кабалистики[4]?

— Да, черта с два! — отвечал Томский, — у ней было четверо сыновей, в том числе и мой отец: все четыре отчаянные игроки, и ни одному не открыла она своей тайны; хоть это было бы не худо для них, и даже для меня. Но вот что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, и в чем он меня уверял честью. Покойный Чаплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл — помнится Зоричу, — около трехсот тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалостям молодых людей, как-то сжалилась над Чаплицким. Она дала ему три карты, с тем, чтобы он поставил их одну за другою, и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю: они сели играть. Чаплицкий поставил на первую карту пятьдесят тысяч и выиграл соника; загнул пароли, пароли-пе[5], — отыгрался и остался еще в выигрыше...

Однако пора спать: уже без четверти шесть.

В самом деле, уже рассветало: молодые люди допили свои рюмки и разъехались.

---

[1] На карточную игру у королевы *(фр.)*.

[2] *Соника* — сразу.

[3] Крапленые карты с особой разметкой; применялись шулерами.

[4] *Каббали́стика* — *перен.* тайна, нечто непонятное, имеющее магическую силу.

[5] *Паро́ли-пе* — ушестеренная ставка.

II

— Il paraît que monsieur est décidément pour les suivantes.
— Que voulez-vous, madame? Elles sont plus fraîches.[1]

Светский разговор

Старая графиня *** сидела в своей уборной перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая коробку со шпильками, третья высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам семидесятых годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и шестьдесят лет тому назад. У окошка сидела за пяльцами барышня, ее воспитанница.

— Здравствуйте, grand'maman[2], — сказал, вошедши, молодой офицер. — Bonjour[3], mademoiselle Lise. Grand'maman, я к вам с просьбою.

— Что такое, Paul?

— Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привезти его к вам в пятницу на бал.

— Привези мне его прямо на бал, и тут мне его и представишь. Был ты вчерась у ***?

— Как же! очень было весело; танцевали до пяти часов. Как хороша была Елецкая!

— И, мой милый! Что в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна?.. Кстати: я чай, она уж очень постарела, княгиня Дарья Петровна?

— Как, постарела? — отвечал рассеянно Томский, — она лет семь как умерла.

Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таили смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня услышала весть, для нее новую, с большим равнодушием.

— Умерла! — сказала она, — а я и не знала! Мы вместе были пожалованы во фрейлины, и когда мы представились, то государыня...

---

[1] — Вы, кажется, решительно предпочитаете камеристок?
— Что делать, сударыня? Они свежее (*камери́стка* — служанка) *(фр.)*.

[2] Бабушка *(фр.)*.

[3] Здравствуйте, мадемуазель Лиза *(фр.)*.

И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот.

— Ну, Paul, — сказала она потом, — теперь помоги мне встать. Лизанька, где моя табакерка?

И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет. Томский остался с барышнею.

— Кого это вы хотите представить? — тихо спросила Лизавета Ивановна.

— Нарумова. Вы его знаете?

— Нет! Он военный или статский?

— Военный.

— Инженер?

— Нет! кавалерист. А почему вы думали, что он инженер?

Барышня засмеялась и не отвечала ни слова.

— Paul! — закричала графиня из-за ширмов, — пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних.

— Как это, grand'maman?

— То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников!

— Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?

— А разве есть русские романы?.. Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли!

— Простите, grand'maman: я спешу... Простите, Лизавета Ивановна! Почему же вы думали, что Нарумов инженер?

И Томский вышел из уборной.

Лизавета Ивановна осталась одна: она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки: она принялась опять за работу и наклонила голову над самой канвою. В это время вошла графиня, совсем одетая.

— Прикажи, Лизанька, — сказала она, — карету закладывать, и поедем прогуляться.

Лизанька встала из-за пяльцев и стала убирать свою работу.

— Что ты, мать моя! глуха, что ли! — закричала графиня. — Вели скорей закладывать карету.

— Сейчас! — отвечала тихо барышня и побежала в переднюю.

Слуга вошел и подал графине книги от князя Павла Александровича.

— Хорошо! Благодарить, — сказала графиня. — Лизанька, Лизанька! да куда ж ты бежишь?

— Одеваться.

— Успеешь, матушка. Сиди здесь. Раскрой-ка первый том; читай вслух...

Барышня взяла книгу и прочла несколько строк.

— Громче! — сказала графиня. — Что с тобою, мать моя? с голосу спала, что ли?.. Погоди: подвинь мне скамеечку, ближе... ну!

Лизавета Ивановна прочла еще две страницы. Графиня зевнула.

— Брось эту книгу, — сказала она, — что за вздор! Отошли это князю Павлу и вели благодарить... Да что ж карета?

— Карета готова, — сказала Лизавета Ивановна, взглянув на улицу.

— Что ж ты не одета? — сказала графиня, — всегда надобно тебя ждать! Это, матушка, несносно.

Лиза побежала в свою комнату. Не прошло двух минут, графиня начала звонить изо всей мочи. Три девушки вбежали в одну дверь, а камердинер в другую.

— Что это вас не докличешься? — сказала им графиня. — Сказать Лизавете Ивановне, что я ее жду.

Лизавета Ивановна вошла в капоте и в шляпке.

— Наконец, мать моя! — сказала графиня. — Что за наряды! Зачем это?.. кого прельщать?.. А какова погода? — кажется, ветер.

— Никак нет-с, ваше сиятельство! очень тихо-с! — отвечал камердинер.

— Вы всегда говорите наобум! Отворите форточку. Так и есть: ветер! и прехолодный! Отложить карету! Лизанька, мы не поедем: нечего было наряжаться.

«И вот моя жизнь!» — подумала Лизавета Ивановна.

В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастное создание. Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца, а кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи? Графиня ***, конечно, не имела злой души; но была своенравна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие в свой век и чуждые настоящему. Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы, где сидела в углу, разрумяненная и оде-

тая по старинной моде, как уродливое и необходимое украшение бальной залы; к ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду, и потом уже никто ею не занимался. У себя принимала она весь город, наблюдая строгий этикет и не узнавая никого в лицо. Многочисленная челядь ее, разжирев и поседев в ее передней и девичьей, делала что хотела, наперерыв обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицею. Она разливала чай и получала выговоры за лишний расход сахара; она вслух читала романы и виновата была во всех ошибках автора; она сопровождала графиню в ее прогулках и отвечала за погоду и за мостовую. Ей было назначено жалованье, которое никогда не доплачивали; а между тем требовали от нее, чтоб она одета была, как и все, то есть как очень немногие. В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали, и никто не замечал; на балах она танцевала только тогда, как недоставало vis-à-vis[1], и дамы брали ее под руку всякий раз, как им нужно было идти в уборную поправить что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбива, живо чувствовала свое положение и глядела кругом себя, — с нетерпением ожидая избавителя; но молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостаивали ее внимания, хотя Лизавета Ивановна была сто раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз, оставя тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоями, комод, зеркальце и крашеная кровать и где сальная свеча темно горела в медном шандале[2]!

Однажды, — это случилось два дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились, — однажды Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой; через пять минут взглянула опять, — молодой офицер стоял на том же месте. Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шила около двух часов, не приподнимая головы. Подали обедать. Она встала, начала убирать свои пяльцы и, взглянув нечаянно

[1] Партнера *(фр.)*.

[2] *Шандáл* — подсвечник.

на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было, — и она про него забыла...

Дня через два, выходя с графиней садиться в карету, она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником: черные глаза его сверкали из-под шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым.

Возвратясь домой, она подбежала к окошку, — офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза: она отошла, мучась любопытством и волнуемая чувством, для нее совершенно новым.

С того времени не проходило дня, чтоб молодой человек, в известный час, не являлся под окнами их дома. Между им и ею учредились неусловленные сношения. Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение, — подымала голову, смотрела на него с каждым днем долее и долее. Молодой человек, казалось, был за то ей благодарен: она видела острым взором молодости, как быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась...

Когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилось. Но узнав, что Нарумов не инженер, а конногвардеец, она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому.

Германн был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Германн не касался и процентов, жил одним жалованьем, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему (как сказывал он) *жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее*, — а между тем целые ночи просиживал за карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры.

Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы. «Что, если, — думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу, — что, если старая графиня откроет мне свою тайну! — или назначит мне эти три верные карты! Почему ж не попробовать своего счастия?.. Представиться ей, подбиться в ее милость, — пожалуй, сделаться ее любовником, — но на это все требуется время — а ей восемьдесят семь лет, — она может умереть через неделю, — через два дня!.. Да и самый анекдот?.. Можно ли ему верить?.. Нет! расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость!»

Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга, перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, кареты одна за другою катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Германн остановился.

— Чей это дом? — спросил он у углового будочника.

— Графини ***, — отвечал будочник.

Германн затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок; долго не мог заснуть, и, когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини ***. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Германн увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь.

III

Vous m'écrivez, mon ange, des lettres de quatre pages plus vite que je ne puis les lire[1].

Переписка

Только Лизавета Ивановна успела снять капот и шляпу, как уже графиня послала за нею и велела опять подавать карету. Они пошли садиться. В то самое время, как два лакея приподняли старуху и просунули в дверцы, Лизавета Ивановна у самого колеса увидела своего инженера; он схватил ее руку; она не могла опомниться от испугу, молодой человек исчез: письмо осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку и во всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня имела обыкновение поминутно делать в карете вопросы: кто это с нами встретился? — как зовут этот мост? — что там написано на вывеске? Лизавета Ивановна на сей раз отвечала наобум и невпопад и рассердила графиню.

— Что с тобою сделалось, мать моя! Столбняк ли на тебя нашел, что ли? Ты меня или не слышишь или не понимаешь?.. Слава богу, я не картавлю и из ума еще не выжила!

Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из-за перчатки письмо: оно было не запечатано. Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало в себе признание в любви: оно было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна.

Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она в тайные, тесные сношения с молодым мужчиною. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном поведении и не знала, что делать: перестать ли сидеть у окошка и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям? — отослать ли ему письмо? — отвечать ли холодно и решительно? Ей не с кем было посоветоваться, у ней не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета Ивановна решилась отвечать.

Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу — и задумалась. Несколько раз начинала она свое письмо, — и рвала его: то выражения казались ей слишком снисходительны-

---

[1] Вы пишете мне, мой ангел, письма по четыре страницы быстрее, чем я успеваю их прочитать *(фр.)*.

ми, то слишком жестокими. Наконец ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна. «Я уверена, — писала она, — что вы имеете честные намерения и что вы не хотели оскорбить меня необдуманным поступком; но знакомство наше не должно бы начаться таким образом. Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение».

На другой день, увидя идущего Германна, Лизавета Ивановна встала из-за пяльцев, вышла в залу, отворила форточку и бросила письмо на улицу, надеясь на проворство молодого офицера. Германн подбежал, поднял его и вошел в кондитерскую лавку. Сорвав печать, он нашел свое письмо и ответ Лизаветы Ивановны. Он того и ожидал и возвратился домой, очень занятый своей интригою.

Три дня после того Лизавете Ивановне молоденькая, быстроглазая мамзель принесла записочку из модной лавки. Лизавета Ивановна открыла ее с беспокойством, предвидя денежные требования, и вдруг узнала руку Германна.

— Вы, душенька, ошиблись, — сказала она, — эта записка не ко мне.

— Нет, точно к вам! — отвечала смелая девушка, не скрывая лукавой улыбки. — Извольте прочитать!

Лизавета Ивановна пробежала записку. Германн требовал свидания.

— Не может быть! — сказала Лизавета Ивановна, испугавшись и поспешности требований, и способу, им употребленному. — Это писано верно не ко мне! — И разорвала письмо в мелкие кусочки.

— Коли письмо не к вам, зачем же вы его разорвали? — сказала мамзель, — я бы возвратила его тому, кто его послал.

— Пожалуйста, душенька! — сказала Лизавета Ивановна, вспыхнув от ее замечания, — вперед ко мне записок не носите. А тому, кто вас послал, скажите, что ему должно быть стыдно...

Но Германн не унялся. Лизавета Ивановна каждый день получала от него письма, то тем, то другим образом. Они уже не были переведены с немецкого. Германн их писал, вдохновенный страстию, и говорил языком, ему свойственным: в них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать: она упивалась ими; стала на них отвечать, — и ее

записки час от часу становились длиннее и нежнее. Наконец, она бросила ему в окошко следующее письмо:

«Сегодня бал у ***ского посланника. Графиня там будет. Мы останемся часов до двух. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся, в сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою каморку. Приходите в половине двенадцатого. Ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут нет, — и делать нечего. Вы должны будете воротиться. Но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят у себя, все в одной комнате. Из передней ступайте налево, идите все прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите две маленькие двери: справа в кабинет, куда графиня никогда не входит, слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница: она ведет в мою комнату».

Германн трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. В десять часов вечера он уж стоял перед домом графини. Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари светились тускло; улицы были пусты. Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока. Германн стоял в одном сертуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец графинину карету подали. Германн видел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху, укутанную в соболью шубу, и как вослед за нею, в холодном плаще, с головой, убранною свежими цветами мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись. Карета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Швейцар запер двери. Окна померкли. Германн стал ходить около опустевшего дома: он подошел к фонарю, взглянул на часы, — было двадцать минут двенадцатого. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно в половине двенадцатого Германн ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Германн взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою, в старинных, запачканных креслах. Легким и твердым шагом Германн прошел мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Германн вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные

кресла и диваны с пуховыми подушками, с сошедшей позолотою, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже m-me Lebrun. Один из них изображал мужчину лет сорока, румяного и полного, в светло-зеленом мундире и со звездою; другой — молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудреных волосах. По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Leroy, коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с Монгольфьеровым[1] шаром и Месмеровым[2] магнетизмом. Германн пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать; справа находилась дверь, ведущая в кабинет; слева, другая — в коридор. Германн ее отворил, увидел узкую, витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы... Но он воротился и вошел в темный кабинет.

Время шло медленно. Все было тихо. В гостиной пробило двенадцать; по всем комнатам часы одни за другими прозвонили двенадцать, — и все умолкло опять. Германн стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен; сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра, — и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса, и дом осветился. В спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в вольтеровы кресла. Германн глядел в щелку: Лизавета Ивановна прошла мимо его. Германн услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло. Он окаменел.

Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами; сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее

---

[1] Монгольфье́ Жозе́ф и Этье́нн — братья, изобретатели воздушного шара (1783).

[2] Ме́смер Франц (1734—1815) — австрийский врач, автор теории, по которой каждый человек обладает «животным магнетизмом», оказывающим влияние на других людей.

распухлым ногам. Германн был свидетелем отвратительных таинств ее туалета; наконец, графиня осталась в спальной кофте и ночном чепце: в этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасна и безобразна.

Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницею. Раздевшись, она села у окна в вольтеровы кресла и отослала горничных. Свечи вынесли, комната опять осветилась одною лампадою. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли; смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма.

Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились: перед графинею стоял незнакомый мужчина.

— Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь! — сказал он внятным и тихим голосом. — Я не имею намерения вредить вам; я пришел умолять вас об одной милости.

Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слыхала. Германн вообразил, что она глуха, и, наклонясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему.

— Вы можете, — продолжал Германн, — составить счастие моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить: я знаю, что вы можете угадать три карты сряду...

Германн остановился. Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали; казалось, она искала слов для своего ответа.

— Это была шутка, — сказала она наконец, — клянусь вам! это была шутка!

— Этим нечего шутить, — возразил сердито Германн. — Вспомните Чаплицкого, которому помогли вы отыграться.

Графиня видимо смутилась. Черты ее изобразили сильное движение души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность.

— Можете ли вы, — продолжал Германн, — назначить мне эти три верные карты?

Графиня молчала; Германн продолжал:

— Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков? Они богаты и без того; они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши три карты. Кто не умеет беречь отцовское на-

следство, тот все-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия. Я не мот; я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут. Ну!..

Он остановился и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала; Германн стал на колени.

— Если когда-нибудь, — сказал он, — сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына, если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас чувствами супруги, любовницы, матери, — всем, что ни есть святого в жизни, — не откажите мне в моей просьбе! — откройте мне вашу тайну! — что вам в ней?.. Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубою вечного блаженства, с дьявольским договором... Подумайте: вы стары; жить вам уже недолго, — я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастие человека находится в ваших руках; что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить как святыню...

Старуха не отвечала ни слова.

Германн встал.

— Старая ведьма! — сказал он, стиснув зубы, — так я ж заставлю тебя отвечать...

С этим словом он вынул из кармана пистолет.

При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она закивала головою и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела... Потом покатилась навзничь... и осталась недвижима.

— Перестаньте ребячиться, — сказал Германн, взяв ее руку. — Спрашиваю в последний раз: хотите ли назначить мне ваши три карты? — да или нет?

Графиня не отвечала. Германн увидел, что она умерла.

IV

7 Mai 18**

Homme sans moeurs et sans religion![1]

Переписка

Лизавета Ивановна сидела в своей комнате, еще в бальном своем наряде, погруженная в глубокие размышления. Приехав

[1] 7 мая 18**. Человек, у которого нет никаких нравственных правил и ничего святого! *(фр.)*.

домой, она спешила отослать заспанную девку, нехотя предлагавшую ей свою услугу, — сказала, что разденется сама и с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германна и желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и благодарила судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства, в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло трех недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека, — и уже она была с ним в переписке, — и он успел вытребовать от нее ночное свидание! Она знала имя его потому только, что некоторые из его писем были им подписаны; никогда с ним не говорила, не слыхала его голоса, никогда о нем не слыхала... до самого сего вечера. Странное дело! В самый тот вечер, на бале, Томский, дуясь на молодую княжну Полину ***, которая, против обыкновения, кокетничала не с ним, желал отомстить, оказывая равнодушие: он позвал Лизавету Ивановну и танцевал с нею бесконечную мазурку. Во все время шутил он над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать, и некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна.

— От кого вы все это знаете? — спросила она, смеясь.

— От приятеля известной вам особы, — отвечал Томский, — человека очень замечательного!

— Кто ж этот замечательный человек?

— Его зовут Германном.

Лизавета Ивановна не отвечала ничего, но ее руки и ноги поледенели...

— Этот Германн, — продолжал Томский, — лицо истинно романическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести по крайней мере три злодейства. Как вы побледнели!

— У меня голова болит... Что же говорил вам Германн, — или как бишь его?..

— Германн очень недоволен своим приятелем: он говорит, что на его месте он поступил бы совсем иначе... Я даже полагаю, что Германн сам имеет на вас виды, по крайней мере он очень неравнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля.

— Да где ж он меня видел?

— В церкви, может быть, — на гулянье!.. Бог его знает! может быть в вашей комнате, во время вашего сна: от него станет...

Подошедшие к ним три дамы с вопросами — oubli ou regret[1]? — прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны.

Дама, выбранная Томским, была сама княжна ***. Она успела с ним изъясниться, обежав лишний круг и лишний раз повертевшись перед своим стулом. Томский, возвратясь на свое место, уже не думал ни о Германне, ни о Лизавете Ивановне. Она непременно хотела возобновить прерванный разговор; но мазурка кончилась, и вскоре после старая графиня уехала.

Слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня, но они глубоко заронились в душу молодой мечтательницы. Портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображением, составленным ею самою, и, благодаря новейшим романам, это, уже пошлое, лицо пугало и пленяло ее воображение. Она сидела, сложа крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, еще убранную цветами... Вдруг дверь отворилась, и Германн вошел. Она затрепетала...

— Где же вы были? — спросила она испуганным шепотом.

— В спальне у старой графини, — отвечал Германн, — я сейчас от нее. Графиня умерла.

— Боже мой!.. что вы говорите?..

— И кажется, — продолжал Германн, — я причиною ее смерти.

Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздались в ее душе: *у этого человека по крайней мере три злодейства на душе*! Германн сел на окошко подле нее и все рассказал.

Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. Итак, эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое, упорное преследование, все это было не любовь! Деньги, — вот чего алкала его душа! Не она могла утолить его желания и осчастливить его! Бедная воспитанница была не что иное, как слепая помощница разбойника, убийцы старой ее благодетельницы!.. Горько заплакала она в позднем, мучительном

[1] Забвение или сожаление *(фр.)* — дама, чье слово было отгадано, становилась в танце в пару с кавалером.

своем раскаянии. Германн смотрел на нее молча: сердце его также терзалось, но ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало: невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения.

— Вы чудовище! — сказала наконец Лизавета Ивановна.

— Я не хотел ее смерти, — отвечал Германн, — пистолет мой не заряжен.

Они замолчали.

Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу: бледный свет озарил ее комнату. Она отерла заплаканные глаза и подняла их на Германна: он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну.

— Как вам выйти из дому? — сказала наконец Лизавета Ивановна. — Я думала провести вас по потаенной лестнице, но надобно идти мимо спальни, а я боюсь.

— Расскажите мне, как найти эту потаенную лестницу; я выйду.

Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ, вручила его Германну и дала ему подробное наставление. Германн пожал ее холодную безответную руку, поцеловал ее наклоненную голову и вышел.

Он спустился вниз по витой лестнице и вошел опять в спальню графини. Мертвая старуха сидела, окаменев; лицо ее выражало глубокое спокойствие. Германн остановился перед нею, долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в ужасной истине; наконец вошел в кабинет, ощупал за обоями дверь и стал сходить по темной лестнице, волнуемый странными чувствованиями. По этой самой лестнице, думал он, может быть, лет шестьдесят назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанный à l'oiseau royal[1], прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться...

Под лестницею Германн нашел дверь, которую отпер тем же ключом, и очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу.

---

[1] «Королевской птицей» («журавлем», т. е. с шапочкой набекрень) *(фр.)*.

V

> В эту ночь явилась ко мне покойница баронесса фон В***. Она была вся в белом, и сказала мне: «Здравствуйте, господин советник!»
>
> *Шведенборг*

Три дня после роковой ночи, в девять часов утра, Германн отправился в *** монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог однако совершенно заглушить голос совести, твердившей ему: ты убийца старухи! Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь, — и решился явиться на ее похороны, чтобы испросить у ней прощения.

Церковь была полна. Германн насилу мог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце и в белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние: слуги в черных кафтанах с гербовыми лентами на плече и со свечами в руках; родственники в глубоком трауре, — дети, внуки и правнуки. Никто не плакал; слезы были бы — une affectation[1]. Графиня так была стара, что смерть ее никого не могла поразить и что ее родственники давно смотрели на нее, как на отжившую. Молодой архиерей произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которой долгие годы были тихим, умилительным приготовлением к христианской кончине. «Ангел смерти обрел ее, — сказал оратор, — бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полунощного». Служба совершилась с печальным приличием. Родственники первые пошли прощаться с телом. Потом двинулись и многочисленные гости, приехавшие поклониться той, которая так давно была участницею в их суетных увеселениях. После них и все домашние. Наконец приблизилась старая барская барыня[2], ровесница покойницы. Две молодые девушки вели ее под руки. Она не в силах была поклониться до земли, — и одна пролила несколько слез, поцеловав холодную руку госпожи своей. После нее Германн решился

---

[1] Притворство *(фр.)*.

[2] *Барская барыня* — ключница, доверенное лицо в барском доме.

подойти ко гробу. Он поклонился в землю и несколько минут лежал на холодном полу, усыпанном ельником. Наконец приподнялся, бледен как сама покойница, взошел на ступени катафалка и наклонился... В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Германн, поспешно подавшись назад, оступился и навзничь грянулся об земь. Его подняли. В то же самое время Лизавету Ивановну вынесли в обмороке на паперть. Этот эпизод возмутил на несколько минут торжественность мрачного обряда. Между посетителями поднялся глухой ропот, а худощавый камергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоящему подле него англичанину, что молодой офицер ее побочный сын, на что англичанин отвечал холодно: Oh?

Целый день Германн был чрезвычайно расстроен. Обедая в уединенном трактире, он, против обыкновения своего, пил очень много, в надежде заглушить внутреннее волнение. Но вино еще более горячило его воображение. Возвратясь домой, он бросился, не раздеваясь, на кровать и крепко заснул.

Он проснулся уже ночью: луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы: было без четверти три. Сон у него прошел; он сел на кровать и думал о похоронах старой графини.

В это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко, — и тотчас отошел. Германн не обратил на то никакого внимания. Чрез минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Германн думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку: кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась, вошла женщина в белом платье. Германн принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним, — и Германн узнал графиню!

— Я пришла к тебе против своей воли, — сказала она твердым голосом, — но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду, — но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил и чтоб во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть, с тем чтоб ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне...

С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Германн слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко.

Германн долго не мог опомниться. Он вышел в другую комнату. Денщик его спал на полу; Германн насилу его добудился. Денщик был пьян по обыкновению: от него нельзя было добиться никакого толку. Дверь в сени была заперта. Германн возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал свое видение.

VI

— Ата́нде[1]! — Как вы смели мне сказать *ата́нде*?
— Ваше превосходительство, я сказал *ата́нде-с*!

Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз — скоро заслонили в воображении Германна образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз — не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил: «Как она стройна!.. Настоящая тройка червонная». У него спрашивали: «который час», он отвечал: «без пяти минут семерка». Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз — преследовали его во сне, принимая все возможные виды: тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора, семерка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком. Все мысли его слились в одну, — воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых игрецких домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот.

В Москве составилось общество богатых игроков, под председательством славного Чекалинского, проведшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, а открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели уважение публики. Он приехал в Петербург. Молодежь к нему нахлынула, забывая балы для карт и предпочитая соблазны фараона обольщениям волокитства. Нарумов привез к нему Германна.

Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. Несколько генералов и тайных советников играли в вист; молодые люди сидели, развалясь на

[1] *Ата́нде* — не делать ставки (*фр.* attendez — подождите).

штофных диванах, ели мороженое и курили трубки. В гостиной за длинным столом, около которого теснилось человек двадцать игроков, сидел хозяин и метал банк. Он был человек лет шестидесяти, самой почтенной наружности; голова покрыта была серебряной сединою; полное и свежее лицо изображало добродушие; глаза блистали, оживленные всегдашнею улыбкою. Нарумов представил ему Германна. Чекалинский дружески пожал ему руку, просил не церемониться и продолжал метать.

Талья[1] длилась долго. На столе стояло более тридцати карт. Чекалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянною рукою. Наконец талья кончилась. Чекалинский стасовал карты и приготовился метать другую.

— Позвольте поставить карту, — сказал Германн, протягивая руку из-за толстого господина, тут же понтировавшего. Чекалинский улыбнулся и поклонился, молча, в знак покорного согласия. Нарумов, смеясь, поздравил Германна с разрешением долговременного поста и пожелал ему счастливого начала.

— Идет! — сказал Германн, надписав мелом куш над своею картою.

— Сколько-с? — спросил, прищуриваясь, банкомет, — извините-с, я не разгляжу.

— Сорок семь тысяч, — отвечал Германн.

При этих словах все головы обратились мгновенно, и все глаза устремились на Германна. — Он с ума сошел! — подумал Нарумов.

— Позвольте заметить вам, — сказал Чекалинский с неизменной своею улыбкою, — что игра ваша сильна: никто более двухсот семидесяти пяти семпелем[2] здесь еще не ставил.

— Что ж? — возразил Германн, — бьете вы мою карту или нет?

Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия.

— Я хотел только вам доложить, — сказал он, — что, будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе,

---

[1] *Та́лья* — партия игры в карты.

[2] *Се́мпель* — простая, неудвоенная ставка.

как на чистые деньги. С моей стороны я конечно уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту.

Германн вынул из кармана банковый билет и подал его Чекалинскому, который, бегло посмотрев его, положил на Германнову карту.

Он стал метать. Направо легла девятка, налево тройка.

— Выиграла! — сказал Германн, показывая свою карту.

Между игроками поднялся шепот. Чекалинский нахмурился, но улыбка тотчас возвратилась на его лицо.

— Изволите получить? — спросил он Германна.

— Сделайте одолжение.

Чекалинский вынул из кармана несколько банковых билетов и тотчас расчелся. Германн принял свои деньги и отошел от стола. Нарумов не мог опомниться. Германн выпил стакан лимонаду и отправился домой.

На другой день вечером он опять явился у Чекалинского. Хозяин метал. Германн подошел к столу; понтеры тотчас дали ему место. Чекалинский ласково ему поклонился.

Германн дождался новой тальи, поставил карту, положив на нее свои сорок семь тысяч и вчерашний выигрыш.

Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево.

Германн открыл семерку.

Все ахнули. Чекалинский видимо смутился. Он отсчитал девяноста четыре тысячи и передал Германну. Германн принял их с хладнокровием и в ту же минуту удалился.

В следующий вечер Германн явился опять у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист, чтоб видеть игру столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов; все официанты собрались в гостиной. Все обступили Германна. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Германн стоял у стола, готовясь один понтировать противу бледного, но все улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский стасовал. Германн снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом.

Чекалинский стал метать, руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз.

— Туз выиграл! — сказал Германн и открыл свою карту.

— Дама ваша убита, — сказал ласково Чекалинский.

Германн вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться.

В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его...

— Старуха! — закричал он в ужасе.

Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Германн стоял неподвижно. Когда отошел он от стола, поднялся шумный говор. «Славно спонтировал!» — говорили игроки. Чекалинский снова стасовал карты: игра пошла своим чередом.

Заключение

Германн сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м нумере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: «Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..»

Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека; он где-то служит и имеет порядочное состояние: он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница.

Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине.

1833

МОЦАРТ И САЛЬЕРИ

СЦЕНА I

Комната.

Сальери

Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет — и выше. Для меня
Так это ясно, как простая гамма.
Родился я с любовию к искусству;
Ребенком будучи, когда высоко
Звучал орган в старинной церкви нашей,
Я слушал и заслушивался — слезы

Невольные и сладкие текли.
Отверг я рано праздные забавы;
Науки, чуждые музыке, были
Постылы мне; упрямо и надменно
От них отрекся я и предался
Одной музыке. Труден первый шаг
И скучен первый путь. Преодолел
Я ранние невзгоды. Ремесло
Поставил я подножием искусству;
Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную, сухую беглость
И верность уху. Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию. Тогда
Уже дерзнул, в науке искушенный,
Предаться неге творческой мечты.
Я стал творить, но в тишине, но втайне,
Не смея помышлять еще о славе.
Нередко, просидев в безмолвной келье
Два, три дня, позабыв и сон и пищу,
Вкусив восторг и слезы вдохновенья,
Я жег мой труд и холодно смотрел,
Как мысль моя и звуки, мной рожденны,
Пылая, с легким дымом исчезали.
Что говорю? Когда великий Глюк[1]
Явился и открыл нам новы тайны
(Глубокие, пленительные тайны),
Не бросил ли я все, что прежде знал,
Что так любил, чему так жарко верил,
И не пошел ли бодро вслед за ним
Безропотно, как тот, кто заблуждался
И встречным послан в сторону иную?
Усильным, напряженным постоянством
Я наконец в искусстве безграничном
Достигнул степени высокой. Слава
Мне улыбнулась; я в сердцах людей
Нашел созвучия своим созданьям.
Я счастлив был: я наслаждался мирно
Своим трудом, успехом, славой; также

[1] Глюк Кри́стоф (1714—1787) — австрийский композитор, создатель жанра трагической оперы.

Трудами и успехами друзей,
Товарищей моих в искусстве дивном.
Нет! никогда я зависти не знал,
О, никогда! — ниже́, когда Пиччинни[1]
Пленить умел слух диких парижан,
Ниже́, когда услышал в первый раз
Я Ифигении[2] начальны звуки.
Кто скажет, чтоб Сальери гордый был
Когда-нибудь завистником презренным,
Змеей, людьми растоптанною, вживе
Песок и пыль грызущею бессильно?
Никто!.. А ныне — сам скажу — я ныне
Завистник. Я завидую; глубоко,
Мучительно завидую. — О небо!
Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений — не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!

Входит Моцарт.

Моцарт

Ага! увидел ты! а мне хотелось
Тебя нежданной шуткой угостить.

Сальери

Ты здесь! — Давно ль?

Моцарт

Сейчас. Я шел к тебе,
Нес кое-что тебе я показать;
Но, проходя перед трактиром, вдруг
Услышал скрыпку... Нет, мой друг Сальери!
Смешнее отроду ты ничего
Не слыхивал... Слепой скрыпач в трактире
Разыгрывал voi che sapete[3]. Чудо!

---

[1] Пиччи́нни Никко́ло (1728—1800) — итальянский комп

[2] «Ифигения в Авлиде», «Ифигения в Тавриде» — оперы Глю

[3] «О вы, которые знаете» *(ит.)*. Ария Керубино из оперы М «Свадьба Фигаро».

Не вытерпел, привел я скрыпача,
Чтоб угостить тебя его искусством.
Войди!

Входит слепой старик со скрыпкой.

Из Моцарта нам что-нибудь!

Старик играет арию из Дон-Жуана;
Моцарт хохочет.

Сальери

И ты смеяться можешь?

Моцарт

Ах, Сальери!
Ужель и сам ты не смеешься?

Сальери

Нет!
Мне не смешно, когда маляр негодный
Мне пачкает Мадонну Рафаэля,
Мне не смешно, когда фигляр презренный
Пародией бесчестит Алигьери.
Пошел, старик.

Моцарт

Постой же: вот тебе,
Пей за мое здоровье.

Старик уходит.

Ты, Сальери,
Не в духе нынче. Я приду к тебе
В другое время.

Сальери

Что ты мне принес?

Моцарт

Нет — так; безделицу. Намедни ночью
Бессонница моя меня томила,
И в голову пришли мне две, три мысли.
Сегодня я их набросал. Хотелось
Твое мне слышать мненье; но теперь
Тебе не до меня.

Сальери

Ах, Моцарт, Моцарт!
Когда же мне не до тебя? Садись;
Я слушаю.

Моцарт

(за фортепиано)

Представь себе... кого бы?
Ну, хоть меня — немного помоложе;
Влюбленного — не слишком, а слегка —
С красоткой, или с другом — хоть с тобо
Я весел... Вдруг: виденье гробовое,
Незапный мрак или что-нибудь такое...
Ну, слушай же.

(Играет.)

Сальери

Ты с этим шел ко мне
И мог остановиться у трактира
И слушать скрыпача слепого! — Боже!
Ты, Моцарт, недостоин сам себя.

Моцарт

Что ж, хорошо?

Сальери

Какая глубина!
Какая смелость и какая стройность!
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь;
Я знаю, я.

Моцарт

Ба! право? может быть...
Но божество мое проголодалось.

Сальери

Послушай: отобедаем мы вместе
В трактире Золотого Льва.

Моцарт

Пожалуй;

Я рад. Но дай схожу домой сказать
Жене, чтобы меня она к обеду
Не дожидалась.

(Уходит.)

Сальери

Жду тебя; смотри ж.
Нет! не могу противиться я доле
Судьбе моей: я избран, чтоб его
Остановить — не то мы все погибли,
Мы все, жрецы, служители музыки,
Не я один с моей глухою славой...
Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?
Подымет ли он тем искусство? Нет;
Оно падет опять, как он исчезнет:
Наследника нам не оставит он.
Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Так улетай же! чем скорей, тем лучше.

Вот яд, последний дар моей Изоры.
Осьмнадцать лет ношу его с собою —
И часто жизнь казалась мне с тех пор
Несносной раной, и сидел я часто
С врагом беспечным за одной трапезой,
И никогда на шепот искушенья
Не преклонился я, хоть я не трус,
Хотя обиду чувствую глубоко,
Хоть мало жизнь люблю. Все медлил я.
Как жажда смерти мучила меня,
Что умирать? я мнил: быть может, жизнь
Мне принесет незапные дары;
Быть может, посетит меня восторг
И творческая ночь и вдохновенье;
Быть может, новый Гайден[1] сотворит
Великое — и наслажуся им...
Как пировал я с гостем ненавистным,

---

[1] Гайден (Гайдн) Франц (1732—1809) — австрийский композитор

Быть может, мнил я, злейшего врага
Найду; быть может, злейшая обида
В меня с надменной грянет высоты —
Тогда не пропадешь ты, дар Изоры.
И я был прав! и наконец нашел
Я моего врага, и новый Гайден
Меня восторгом дивно упоил!
Теперь — пора! заветный дар любви,
Переходи сегодня в чашу дружбы.

СЦЕНА II

Особая комната в трактире; фортепиано.
Моцарт и Сальери за столом.

Сальери

Что ты сегодня пасмурен?

Моцарт

Я? Нет!

Сальери

Ты, верно, Моцарт, чем-нибудь расстро
Обед хороший, славное вино,
А ты молчишь и хмуришься.

Моцарт

Признатьс
Мой Requiem меня тревожит.

Сальери

А!
Ты сочиняешь Requiem? Давно ли?

Моцарт

Давно, недели три. Но странный случа
Не сказывал тебе я?

Сальери

Нет.

Моцарт

Так слушай.
Недели три тому, пришел я поздно

Домой. Сказали мне, что заходил
За мною кто-то. Отчего — не знаю,
Всю ночь я думал: кто бы это был?
И что ему во мне? Назавтра тот же
Зашел и не застал опять меня.
На третий день играл я на полу
С моим мальчишкой. Кликнули меня;
Я вышел. Человек, одетый в черном,
Учтиво поклонившись, заказал
Мне Requiem и скрылся. Сел я тотчас
И стал писать — и с той поры за мною
Не приходил мой черный человек;
А я и рад: мне было б жаль расстаться
С моей работой, хоть совсем готов
Уж Requiem. *Но между тем я...*

Сальери

Что?

Моцарт

Мне совестно признаться в этом...

Сальери

В чем же?

Моцарт

Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек. За мною всюду,
Как тень, он гонится. Вот и теперь
Мне кажется, он с нами сам-третей
Сидит.

Сальери

И, полно! что за страх ребячий?
Рассей пустую думу. Бомарше[1]
Говаривал мне: «Слушай, брат Сальери,
Как мысли черные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку
Иль перечти "Женитьбу Фигаро"».

[1] *Бомарше́* (1732—1799) — французский драматург, автор комедии «Женитьба Фигаро».

Моцарт

Да! Бомарше ведь был тебе приятель;
Ты для него «Тара́ра»[1] сочинил,
Вещь славную. Там есть один мотив...
Я все твержу его, когда я счастлив...
Ла ла ла ла... Ах, правда ли, Сальери,
Что Бомарше кого-то отравил?

Сальери

Не думаю: он слишком был смешон
Для ремесла такого.

Моцарт

Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство —
Две вещи несовместные. Не правда ль?

Сальери

Ты думаешь?

(Бросает яд в стакан Моцарта.)

Ну, пей же.

Моцарт

За твое
Здоровье, друг, за искренний союз,
Связующий Моцарта и Сальери,
Двух сыновей гармонии.

(Пьет.)

Сальери

Постой,
Постой, постой!.. Ты выпил!.. без меня?

Моцарт

(Бросает салфетку на стол.)

Довольно, сыт я.

(Идет к фортепиано.)

---

[1] ера Сальери на слова Бомарше.

Слушай же, Сальери,
Мой Requiem.

(Играет.)

Ты плачешь?

Сальери

Эти слезы
Впервые лью: и больно и приятно,
Как будто тяжкий совершил я долг,
Как будто нож целебный мне отсек
Страдавший член! Друг Моцарт, эти слезы...
Не замечай их. Продолжай, спеши
Еще наполнить звуками мне душу...

Моцарт

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! Но нет: тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни;
Все предались бы вольному искусству.
Нас мало избранных, счастливцев праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов.
Не правда ль? Но я нынче нездоров,
Мне что-то тяжело; пойду засну.
Прощай же!

Сальери

До свиданья.

(Один.)

Ты заснешь
Надолго, Моцарт! Но ужель он прав,
И я не гений? Гений и злодейство
Две вещи несовместные. Неправда:
А Бонаротти[1]? или это сказка
Тупой, бессмысленной толпы — и не был
Убийцею создатель Ватикана?

1830

[1] Бонаротти — Микела́нджело Буонарро́ти (1475—1564) — итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт. По ложной легенде, убил натурщика, чтобы точнее передать предсмертные мучения Христа.

Николай Васильевич

ГОГОЛЬ

ШИНЕЛЬ

В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным все общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно всуе[1]. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического сочинения, где чрез каждые десять страниц является капитан-исправник, местами даже совершенно в пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идет дело, мы назовем одним департаментом. Итак, в одном департаменте служил один чиновник; чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица что называется геморроидальным[2]... Что ж делать! виноват петербургский климат. Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого не известно.

---

[1] *Всу́е* — напрасно.

[2] *Геморроида́льный* — болезненный, изжелта-серый, какой бывает при геморрое.

И отец, и дед, и даже шурин[1], и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки. Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько странным и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени, и это произошло именно вот как. Родился Акакий Акакиевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта. Покойница матушка, чиновница и очень хорошая женщина, расположилась, как следует, окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кровати против дверей, а по правую руку стоял кум, превосходнейший человек, Иван Иванович Ерошкин, служивший столоначальником в сенате, и кума, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей, Арина Семеновна Белобрюшкова. Родильнице предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать: Моккия, Соссия, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. «Нет, — подумала покойница, — имена-то все такие». Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. «Вот это наказание, — проговорила старуха, — какие все имена; я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахасий». Еще переворотили страницу — вышли: Павсикахий и Вахтисий. «Ну, уж я вижу, — сказала старуха, — что, видно, его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий». Таким образом и произошел Акакий Акакиевич. Ребенка окрестили, причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник. Итак, вот каким образом произошло все это. Мы привели потому это, чтобы читатель мог сам видеть, что это случилось совершенно по необходимости, и другого имени дать было никак невозможно. Когда и в какое время он поступил в департамент и кто определил его, этого никто не мог припомнить. Сколько ни переменялось директоров и всяких начальников, его видели все на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма, так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове. В департаменте не ока-

[1] *Шу́рин* — брат жены (здесь: дальний родственник).

зывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже «перепишите», или «вот интересное, хорошенькое дельце», или что-нибудь приятное, как употребляется в благовоспитанных службах. И он брал, посмотрев только на бумагу, не глядя, кто ему подложил и имел ли на то право. Он брал и тут же пристраивался писать ее. Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории; про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним; это не имело даже влияния на занятия его: среди всех этих докук[1] он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных, светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» — и в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой». И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и, Боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным...

[1] *Докýки* — здесь: надоедливые приставания.

Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать: он служил ревностно, — нет, он служил с любовью. Там, в этом переписыванье, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы соразмерно его рвению давали ему награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советники; но выслужил он, как выражались остряки, его товарищи, пряжку в петлицу[1] да нажил геморрой в поясницу. Впрочем, нельзя сказать, чтобы не было к нему никакого внимания. Один директор, будучи добрый человек и желая вознаградить его за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписыванье; именно из готового уже дела велено было ему сделать какое-то отношение в другое присутственное место; дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул[2] да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тер лоб и наконец сказал: «Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь». С тех пор оставили его навсегда переписывать. Вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не существовало. Он не думал вовсе о своем платье: вицмундир у него был не зеленый, а какого-то рыжевато-мучного цвета. Воротничок на нем был узенький, низенький, так что шея его, несмотря на то что не была длинна, выходя из воротника, казалась необыкновенно длинною, как у тех гипсовых котенков, болтающих головами, которых носят на головах целыми десятками русские иностранцы[3]. И всегда что-нибудь да прилипало к его вицмундиру: или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка; к тому же он имел особенное искусство, ходя по улице, поспевать под окно именно в то самое время, когда из него выбрасывали всякую дрянь, и оттого вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор. Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то, что делает-

---

[1] Т. е. не получил никакой награды.

[2] Т. е. заглавие, обращение.

[3] Некоторые комментаторы полагают, что речь идет о заезжих торговцах, которые носили на головах лотки с сувенирами на продажу.



ся и происходит всякий день на улице, на что, как известно, всегда посмотрит его же брат, молодой чиновник, простирающий до того проницательность своего бойкого взгляда, что заметит даже, у кого на другой стороне тротуара отпоролась внизу панталон стремешка[1], — что вызывает всегда лукавую усмешку на лице его.

Но Акакий Акакиевич если и глядел на что, то видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки, и только разве если, неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер в щеку, тогда только замечал он, что он не на середине строки, а скорее на средине улицы. Приходя домой, он садился тот же час за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса, ел все это с мухами и со всем тем, что ни посылал Бог на ту пору. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал из-за стола, вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом. Если же таких не случалось, он снимал нарочно, для собственного удовольствия, копию для себя, особенно если бумага была замечательна не по красоте слога, но по адресу к какому-нибудь новому или важному лицу.

Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо и весь чиновный народ наелся и отобедал, кто как мог, сообразно с получаемым жалованьем и собственной прихотью, — когда все уже отдохнуло после департаментского скрыпенья перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего того, что задает себе добровольно, больше даже, чем нужно, неугомонный человек, — когда чиновники спешат предать наслаждению оставшееся время: кто побойчее, несется в театр; кто на улицу, определяя его на рассматриванье кое-каких шляпенок; кто на вечер — истратить его в комплиментах какой-нибудь смазливой девушке, звезде небольшого чиновного круга; кто, и это случается чаще всего, идет просто к своему брату в четвертый или третий этаж, в две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-какими модными претензиями, лампой или иной вещицей, стоившей многих пожертвований, отказов от обедов, гуляний, — словом, даже в то время, когда все чиновники рассеиваются по маленьким квартиркам своих приятелей поиграть в штурмовой вист, прихлебывая чай из стаканов с копеечными сухарями, затягиваясь дымом из

[1] *Стремёшка* — штрипка, тесьма от штанины под подошву.

длинных чубуков, рассказывая во время сдачи какую-нибудь сплетню, занесшуюся из высшего общества, от которого никогда и ни в каком состоянии не может отказаться русский человек, или даже, когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади Фальконетова монумента[1], — словом, даже тогда, когда все стремится развлечься, — Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению. Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел его на каком-нибудь вечере. Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне: что-то Бог пошлет переписывать завтра? Так протекала мирная жизнь человека, который с четырьмястами жалованья умел быть довольным своим жребием, и дотекла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было разных бедствий, рассыпанных на жизненной дороге не только титулярным, но даже тайным, действительным, надворным и всяким советникам, даже и тем, которые не дают никому советов, ни от кого не берут их сами.

Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья или около того. Враг этот не кто другой, как наш северный мороз, хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. В девятом часу утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их. В это время, когда даже у занимающих высшие должности болит от морозу лоб и слезы выступают в глазах, бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны. Все спасение состоит в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебежать как можно скорее пять-шесть улиц и потом натопаться хорошенько ногами в швейцарской, пока не оттают таким образом все замерзнувшие на дороге способности и дарованья к должностным отправлениям. Акакий Акакиевич с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало пропекать в спину и плечо, несмотря на то что он старался перебежать как можно скорее законное пространство. Он подумал наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. Рассмотрев ее хорошенько у себя дома, он открыл, что в двух-трех местах, именно на спине и на плечах,

[1] Памятник Петру I работы Фальконе́ (Медный всадник).

она сделалась точная серпянка[1]; сукно до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась. Надобно знать, что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновникам; от нее отнимали даже благородное имя шинели и называли ее капотом. В самом деле, она имела какое-то странное устройство: воротник ее уменьшался с каждым годом все более и более, ибо служил на подтачиванье других частей ее. Подтачиванье не показывало искусства портного и выходило, точно, мешковато и некрасиво. Увидевши, в чем дело, Акакий Акакиевич решил, что шинель нужно будет снести к Петровичу, портному, жившему где-то в четвертом этаже по черной лестнице, который, несмотря на свой кривой глаз и рябизну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков, — разумеется, когда бывал в трезвом состоянии и не питал в голове какого-нибудь другого предприятия. Об этом портном, конечно, не следовало бы много говорить, но так как уже заведено, чтобы в повести характер всякого лица был совершенно означен, то, нечего делать, подавайте нам и Петровича сюда. Сначала он назывался просто Григорий и был крепостным человеком у какого-то барина; Петровичем он начал называться с тех пор, как получил отпускную и стал попивать довольно сильно по всяким праздникам, сначала по большим, а потом, без разбору, по всем церковным, где только стоял в календаре крестик. С этой стороны он был верен дедовским обычаям, и, споря с женой, называл ее мирскою женщиной и немкой. Так как мы уже заикнулись про жену, то нужно будет и о ней сказать слова два; но, к сожалению, о ней не много было известно, разве только то, что у Петровича есть жена, носит даже чепчик, а не платок; но красотою, как кажется, она не могла похвастаться; по крайней мере, при встрече с нею одни только гвардейские солдаты заглядывали ей под чепчик, моргнувши усом и испустивши какой-то особый голос.

Взбираясь по лестнице, ведшей к Петровичу, которая, надобно отдать справедливость, была вся умащена[2] водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах петербургских домов, — взбираясь по

---

[1] *Серпя́нка* — бумажная ткань редкого плетения.

[2] *Умасти́ть* — полить, напитать душистыми веществами. Здесь слово употреблено в ироническом смысле.

лестнице, Акакий Акакиевич уже подумывал о том, сколько запросит Петрович, и мысленно положил не давать больше двух рублей. Дверь была отворена, потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму в кухне, что нельзя было видеть даже и самых тараканов. Акакий Акакиевич прошел через кухню, не замеченный даже самою хозяйкою, и вступил наконец в комнату, где увидел Петровича, сидевшего на широком деревянном некрашеном столе и подвернувшего под себя ноги свои, как турецкий паша. Ноги, по обычаю портных, сидящих за работою, были нагишом. И прежде всего бросился в глаза большой палец, очень известный Акакию Акакиевичу, с каким-то изуродованным ногтем, толстым и крепким, как у черепахи череп. На шее у Петровича висел моток шелку и ниток, а на коленях была какая-то ветошь. Он уже минуты с три продевал нитку в иглиное ухо, не попадал и потому очень сердился на темноту и даже на самую нитку, ворча вполголоса: «Не лезет, варварка; уела ты меня, шельма этакая!» Акакию Акакиевичу было неприятно, что он пришел именно в ту минуту, когда Петрович сердился: он любил что-либо заказывать Петровичу тогда, когда последний был уже несколько под куражем, или, как выражалась жена его, «осадился сивухой, одноглазый черт». В таком состоянии Петрович обыкновенно очень охотно уступал и соглашался, всякий раз даже кланялся и благодарил. Потом, правда, приходила жена, плачась, что муж-де был пьян и потому дешево взялся; но гривенник, бывало, один прибавишь, и дело в шляпе. Теперь же Петрович был, казалось, в трезвом состоянии, а потому крут, несговорчив и охотник заламливать черт знает какие цены. Акакий Акакиевич смекнул это и хотел было уже, как говорится, на попятный двор[1], но уж дело было начато. Петрович прищурил на него очень пристально свой единственный глаз, и Акакий Акакиевич невольно выговорил:

— Здравствуй, Петрович!

— Здравствовать желаю, сударь, — сказал Петрович и покосил свой глаз на руки Акакия Акакиевича, желая высмотреть, какого рода добычу тот нес.

— А я вот к тебе, Петрович, того...

Нужно знать, что Акакий Акакиевич изъяснялся большею частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения. Если

[1] Т. е. отказаться. Выражение употреблено в ироническом смысле.

же дело было очень затруднительно, то он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы, так что весьма часто, начавши речь словами: «Это, право, совершенно того...» — а потом уже и ничего не было, и сам он позабывал, думая, что все уже выговорил.

— Что ж такое? — сказал Петрович и обсмотрел в то же время своим единственным глазом весь вицмундир его, начиная с воротника до рукавов, спинки, фалд и петлей, — что все было ему очень знакомо, потому что было собственной его работы. Таков уж обычай у портных: это первое, что он сделает при встрече.

— А я вот того, Петрович... шинель-то, сукно... вот видишь, везде в других местах, совсем крепкое, оно немножко запылилось, и кажется, как будто старое, а оно новое, да вот только в одном месте немного того... на спине, да еще вот на плече одном немного попротерлось, да вот на этом плече немножко — видишь, вот и все. И работы немного...

Петрович взял капот, разложил его сначала на стол, рассматривал долго, покачал головою и полез рукою на окно за круглой табакеркой с портретом какого-то генерала, какого именно, неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено четвероугольным лоскуточком бумажки. Понюхав табаку, Петрович растопырил капот на руках и рассмотрел его против света и опять покачал головою. Потом обратил его подкладкой вверх и вновь покачал, вновь снял крышку с генералом, заклеенным бумажкой, и, натащивши в нос табаку, закрыл, спрятал табакерку и наконец сказал:

— Нет, нельзя поправить: худой гардероб!

У Акакия Акакиевича при этих словах екнуло сердце.

— Отчего же нельзя, Петрович? — сказал он почти умоляющим голосом ребенка, — ведь только всего что на плечах поистерлось, ведь у тебя есть же какие-нибудь кусочки...

— Да кусочки-то можно найти, кусочки найдутся, — сказал Петрович, — да нашить-то нельзя: дело совсем гнилое, тронешь иглой — а вот уж оно и ползет.

— Пусть ползет, а ты тотчас заплаточку.

— Да заплаточки не на чем положить, укрепиться ей не за что, подержка больно велика. Только слава что сукно, а подуй ветер, так разлетится.

— Ну, да уж прикрепи. Как же этак, право, того!..

— Нет, — сказал Петрович решительно, — ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое. Уж вы лучше, как придет зимнее холодное время, наделайте из нее себе онучек[1], потому что чулок не греет. Это немцы выдумали, чтобы побольше себе денег забирать (Петрович любил при случае кольнуть немцев); а шинель уж, видно, вам придется новую делать.

При слове «новую» у Акакия Акакиевича затуманило в глазах, и все, что ни было в комнате, так и пошло пред ним путаться. Он видел ясно одного только генерала с заклеенным бумажкой лицом, находившегося на крышке Петровичевой табакерки.

— Как же новую? — сказал он, все еще как будто находясь во сне, — ведь у меня и денег на это нет.

— Да, новую, — сказал с варварским спокойствием Петрович.

— Ну, а если бы пришлось новую, как бы она того...

— То есть что будет стоить?

— Да.

— Да три полсотни с лишком надо будет приложить, — сказал Петрович и сжал при этом значительно губы. Он очень любил сильные эффекты, любил вдруг как-нибудь озадачить совершенно и потом поглядеть искоса, какую озадаченный сделает рожу после таких слов.

— Полтораста рублей за шинель! — вскрикнул бедный Акакий Акакиевич, вскрикнул, может быть, в первый раз от роду, ибо отличался всегда тихостью голоса.

— Да-с, — сказал Петрович, — да еще какова шинель. Если положить на воротник куницу да пустить капишон[2] на шелковой подкладке, так и в двести войдет.

— Петрович, пожалуйста, — говорил Акакий Акакиевич умоляющим голосом, не слыша и не стараясь слышать сказанных Петровичем слов и всех его эффектов, — как-нибудь поправь, чтобы хоть сколько-нибудь еще послужила.

— Да нет, это выйдет: и работу убивать и деньги попусту тратить,— сказал Петрович, и Акакий Акакиевич после таких слов вышел совершенно уничтоженный.

А Петрович по уходе его долго еще стоял, значительно сжавши губы и не принимаясь за работу, будучи доволен, что и себя не уронил, да и портного искусства тоже не выдал.

---

[1] *Ону́чи* — обмотки на ноги, портянки.

[2] Искаженное слово «капюшон».

Вышед на улицу, Акакий Акакиевич был как во сне. «Этаково-то дело этакое, — говорил он сам себе, — я, право, и не думал, чтобы оно вышло того... — а потом, после некоторого молчания, прибавил: — Так вот как! наконец вот что вышло, а я, право, совсем и предполагать не мог, чтобы оно было этак». Засим последовало опять долгое молчание, после которого он произнес: «Так этак-то! вот какое уж, точно, никак неожиданное, того... этого бы никак... этакое-то обстоятельство!» Сказавши это, он, вместо того чтобы идти домой, пошел совершенно в противную сторону, сам того не подозревая. Дорогою задел его всем нечистым своим боком трубочист и вычернил все плечо ему; целая шапка извести высыпалась на него с верхушки строившегося дома. Он ничего этого не заметил, и потом уже, когда натолкнулся на будочника, который, поставя около себя свою алебарду, натряхивал из рожка на мозолистый кулак табаку, тогда только немного очнулся, и то потому, что будочник сказал: «Чего лезешь в самое рыло, разве нет тебе трухтуара[1]?» Это заставило его оглянуться и поворотить домой. Здесь только он начал собирать мысли, увидел в ясном и настоящем виде свое положение, стал разговаривать с собою уже не отрывисто, но рассудительно и откровенно, как с благоразумным приятелем, с которым можно поговорить о деле, самом сердечном и близком. «Ну нет, — сказал Акакий Акакиевич, — теперь с Петровичем нельзя толковать: он теперь того... жена, видно, как-нибудь поколотила его. А вот я лучше приду к нему в воскресный день утром: он после канунешной[2] субботы будет косить глазом и заспавшись, так ему нужно будет опохмелиться, а жена денег не даст, а в это время я ему гривенничек и того, в руку, он и будет сговорчивее и шинель тогда и того...» Так рассудил сам с собою Акакий Акакиевич, ободрил себя и дождался первого воскресенья, и, увидев издали, что жена Петровича куда-то выходила из дому, он прямо к нему. Петрович, точно, после субботы сильно косил глазом, голову держал к полу и был совсем заспавшись; но при всем том, как только узнал, в чем дело, точно как будто его черт толкнул. «Нельзя, — сказал, — извольте заказать новую». Акакий Акакиевич тут-то и всунул ему гривенничек. «Благодарствую, судырь, подкреплюсь маленечко за ваше здоровье, — сказал Петрович, — а

[1] Искаженное слово «тротуар».

[2] *Кану́н* — день перед праздником (здесь: перед воскресеньем).

уж об шинели не извольте беспокоиться: она ни на какую годность не годится. Новую шинель уж я вам сошью на славу, уж на этом постоим».

Акакий Акакиевич еще было насчет починки, но Петрович не дослышал и сказал: «Уж новую я вам сошью беспременно, в этом извольте положиться, старанье приложим. Можно будет даже так, как пошла мода: воротник будет застегиваться на серебряные лапки под аплике[1]».

Тут-то увидел Акакий Акакиевич, что без новой шинели нельзя обойтись, и поник совершенно духом. Как же, в самом деле, на что, на какие деньги ее сделать? Конечно, можно бы отчасти положиться на будущее награждение к празднику, но эти деньги давно уж размещены и распределены вперед. Требовалось завести новые панталоны, заплатить сапожнику старый долг за приставку новых головок к старым голенищам, да следовало заказать швее три рубахи да штуки две того белья, которое неприлично называть в печатном слоге, — словом, все деньги совершенно должны были разойтися; и если бы даже директор был так милостив, что вместо сорока рублей наградных определил бы сорок пять или пятьдесят, то все-таки останется какой-нибудь самый вздор, который в шинельном капитале будет капля в море. Хотя, конечно, он знал, что за Петровичем водилась блажь заломить вдруг черт знает какую непомерную цену, так что уж, бывало, сама жена не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть: «Что ты с ума сходишь, дурак такой! В другой раз ни за что возьмет работать, а теперь разнесла его нелегкая запросить такую цену, какой и сам не стоит». Хотя, конечно, он знал, что Петрович и за восемьдесят рублей возьмется сделать; однако все же откуда взять эти восемьдесят рублей? Еще половину можно бы найти: половина бы отыскалась; может быть, даже немножко и больше; но где взять другую половину?.. Но прежде читателю должно узнать, где взялась первая половина. Акакий Акакиевич имел обыкновение со всякого истрачиваемого рубля откладывать по грошу в небольшой ящичек, запертый на ключ, с прорезанною в крышке дырочкой для бросания туда денег. По истечении всякого полугода он ревизовал накопившуюся медную сумму и заменял ее мелким серебром. Так продолжал он с давних пор, и, таким образом, в продолжение нескольких лет оказалось накопившейся суммы более чем на

[1] *Аплике́* — накладное серебро.

сорок рублей. Итак, половина была в руках; но где же взять другую половину? Где взять другие сорок рублей? Акакий Акакиевич думал, думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, хотя, по крайней мере, в продолжение одного года: изгнать употребление чаю по вечерам, не зажигать по вечерам свечи, а если что понадобится делать, идти в комнату к хозяйке и работать при ее свечке; ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее по камням и плитам, почти на цыпочках, чтобы таким образом не истереть скороременно подметок; как можно реже отдавать прачке мыть белье, а чтобы не занашивалось, то всякий раз, приходя домой, скидать его и оставаться в одном только демикотоновом халате, очень давнем и щадимом даже самим временем. Надобно сказать правду, что сначала ему было несколько трудно привыкнуть к таким ограничениям, но потом как-то привыклось и пошло на лад; даже он совершенно приучился голодать по вечерам; но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу. Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель. С лица и с поступков его исчезло само собою сомнение, нерешительность — словом, все колеблющиеся и неопределенные черты. Огонь порою показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли: не положить ли, точно, куницу на воротник? Размышления об этом чуть не навели на него рассеянности. Один раз, переписывая бумагу, он чуть было даже не сделал ошибки, так что почти вслух вскрикнул «ух!» и перекрестился. В продолжение каждого месяца он хотя один раз наведывался к Петровичу, чтобы поговорить о шинели, где лучше купить сукна, и какого цвета, и в какую цену, и хотя несколько озабоченный, но всегда довольный возвращался домой, помышляя, что наконец придет же время, когда все это купится и когда шинель будет сделана. Дело пошло даже скорее, чем он ожидал. Противу всякого чаяния, директор назначил Акакию Акакиевичу не сорок или сорок

пять, а целых шестьдесят рублей; уж предчувствовал ли он, что Акакию Акакиевичу нужна шинель, или само собой так случилось, но только у него чрез это очутилось лишних двадцать рублей. Это обстоятельство ускорило ход дела. Еще каких-нибудь два-три месяца небольшого голодания — и у Акакия Акакиевича набралось точно около восьмидесяти рублей. Сердце его, вообще весьма покойное, начало биться. В первый же день он отправился вместе с Петровичем в лавки. Купили сукна очень хорошего — и не мудрено, потому что об этом думали еще за полгода прежде и редкий месяц не заходили в лавки применяться к ценам; зато сам Петрович сказал, что лучше сукна и не бывает. На подкладку выбрали коленкору, но такого добротного и плотного, который, по словам Петровича, был еще лучше шелку и даже на вид казистей и глянцевитей. Куницы не купили, потому что была, точно, дорога; а вместо ее выбрали кошку, лучшую, какая только нашлась в лавке, кошку, которую издали можно было всегда принять за куницу. Петрович провозился за шинелью всего две недели, потому что много было стеганья, а иначе она была бы готова раньше. За работу Петрович взял двенадцать рублей — меньше никак нельзя было: все было решительно шито на шелку, двойным мелким швом, и по всякому шву Петрович потом проходил собственными зубами, вытесняя ими разные фигуры. Это было... трудно сказать, в который именно день, но, вероятно, в день самый торжественнейший в жизни Акакия Акакиевича, когда Петрович принес наконец шинель. Он принес ее поутру, перед самым тем временем, как нужно было идти в департамент. Никогда бы в другое время не пришлась так кстати шинель, потому что начинались уже довольно крепкие морозы и, казалось, грозили еще более усилиться. Петрович явился с шинелью, как следует хорошему портному. В лице его показалось выражение такое значительное, какого Акакий Акакиевич никогда еще не видал. Казалось, он чувствовал в полной мере, что сделал немалое дело и что вдруг показал в себе бездну, разделяющую портных, которые подставляют только подкладки и переправляют, от тех, которые шьют заново. Он вынул шинель из носового платка, в котором ее принес; платок был только что от прачки, он уже потом свернул его и положил в карман для употребления. Вынувши шинель, он весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках, набросил весьма ловко на плеча Акакию Акакиевичу; потом

потянул и осадил ее сзади рукой книзу; потом драпировал ею Акакия Акакиевича несколько нараспашку. Акакий Акакиевич, как человек в летах, хотел попробовать в рукава; Петрович помог надеть и в рукава, — вышло, что и в рукава была хороша. Словом, оказалось, что шинель была совершенно и как раз впору. Петрович не упустил при сем случае сказать, что он так только, потому что живет без вывески на небольшой улице и притом давно знает Акакия Акакиевича, потому взял так дешево; а на Невском проспекте с него бы взяли за одну только работу семьдесят пять рублей. Акакий Акакиевич об этом не хотел рассуждать с Петровичем, да и боялся всех сильных сумм, какими Петрович любил запускать пыль. Он расплатился с ним, поблагодарил и вышел тут же в новой шинели в департамент. Петрович вышел вслед за ним и, оставаясь на улице, долго еще смотрел издали на шинель и потом пошел нарочно в сторону, чтобы, обогнувши кривым переулком, забежать вновь на улицу и посмотреть еще раз на свою шинель с другой стороны, то есть прямо в лицо. Между тем Акакий Акакиевич шел в самом праздничном расположении всех чувств. Он чувствовал всякий миг минуты, что на плечах его новая шинель, и несколько раз даже усмехнулся от внутреннего удовольствия. В самом деле, две выгоды: одно то, что тепло, а другое, что хорошо. Дороги он не приметил вовсе и очутился вдруг в департаменте; в швейцарской он скинул шинель, осмотрел ее кругом и поручил в особенный надзор швейцару. Неизвестно, каким образом в департаменте все вдруг узнали, что у Акакия Акакиевича новая шинель и что уже капота более не существует. Все в ту же минуту выбежали в швейцарскую смотреть новую шинель Акакия Акакиевича. Начали поздравлять его, приветствовать, так что тот сначала только улыбался, а потом сделалось ему даже стыдно. Когда же все, приступив к нему, стали говорить, что нужно вспрыснуть новую шинель и что, по крайней мере, он должен задать им всем вечер, Акакий Акакиевич потерялся совершенно, не знал, как ему быть, что такое отвечать и как отговориться. Он уже минут через несколько, весь закрасневшись, начал было уверять довольно простодушно, что это совсем не новая шинель, что это так, что это старая шинель. Наконец один из чиновников, какой-то даже помощник столоначальника, вероятно для того, чтобы показать, что он ничуть не гордец и знается даже с низшими себя,

сказал: «Так и быть, я вместо Акакия Акакиевича даю вечер и прошу ко мне сегодня на чай: я же, как нарочно, сегодня именинник». Чиновники, натурально, тут же поздравили помощника столоначальника и приняли с охотою предложение. Акакий Акакиевич начал было отговариваться, но все стали говорить, что неучтиво, что просто стыд и срам, и он уж никак не мог отказаться. Впрочем, ему потом сделалось приятно, когда вспомнил, что он будет иметь чрез то случай пройтись даже и ввечеру в новой шинели. Этот весь день был для Акакия Акакиевича точно самый большой торжественный праздник. Он возвратился домой в самом счастливом расположении духа, скинул шинель и повесил ее бережно на стене, налюбовавшись еще раз сукном и подкладкой, и потом нарочно вытащил, для сравненья, прежний капот свой, совершенно расползшийся. Он взглянул на него, и сам даже засмеялся: такая была далекая разница! И долго еще потом за обедом он все усмехался, как только приходило ему на ум положение, в котором находился капот. Пообедал он весело и после обеда уж ничего не писал, никаких бумаг, а так немножко посибаритствовал[1] на постеле, пока не потемнело. Потом, не затягивая дела, оделся, надел на плеча шинель и вышел на улицу. Где именно жил пригласивший чиновник, к сожалению, не можем сказать: память начинает нам сильно изменять, и все, что ни есть в Петербурге, все улицы и домы слились и смешались так в голове, что весьма трудно достать оттуда что-нибудь в порядочном виде. Как бы то ни было, но верно, по крайней мере, то, что чиновник жил в лучшей части города, — стало быть, очень не близко от Акакия Акакиевича. Сначала надо было Акакию Акакиевичу пройти кое-какие пустынные улицы с тощим освещением, но по мере приближения к квартире чиновника улицы становились живее, населенней и сильнее освещены. Пешеходы стали мелькать чаще, начали попадаться и дамы, красиво одетые, на мужчинах попадались бобровые воротники, реже встречались ваньки[2] с деревянными решетчатыми своими санками, утыканными позолоченными гвоздочками, — напротив, все попадались лихачи в малиновых бархатных шапках, с лакированными санками, с медвежьими одеялами, и пролетали улицу, визжа колесами по сне-

[1] *Сибари́тствовать* — здесь: нежиться.

[2] *Ва́нька* — здесь: легковой извозчик на плохой лошаденке с бедной упряжью.

гу, кареты с убранными козлами. Акакий Акакиевич глядел на все это, как на новость. Он уже несколько лет не выходил по вечерам на улицу. Остановился с любопытством перед освещенным окошком магазина посмотреть на картину, где изображена была какая-то красивая женщина, которая скидала с себя башмак, обнаживши, таким образом, всю ногу, очень недурную; а за спиной ее, из дверей другой комнаты, выставил голову какой-то мужчина с бакенбардами и красивой эспаньолкой[1] под губой. Акакий Акакиевич покачнул головой и усмехнулся и потом пошел своею дорогою. Почему он усмехнулся, потому ли, что встретил вещь вовсе не знакомую, но о которой, однако же, все-таки у каждого сохраняется какое-то чутье, или подумал он, подобно многим другим чиновникам, следующее: «Ну, уж эти французы! что и говорить, уж ежели захотят что-нибудь того, так уж точно того...» А может быть, даже и этого не подумал — ведь нельзя же залезть в душу человека и узнать все, что он ни думает. Наконец достигнул он дома, в котором квартировал помощник столоначальника. Помощник столоначальника жил на большую ногу: на лестнице светил фонарь, квартира была во втором этаже. Вошедши в переднюю, Акакий Акакиевич увидел на полу целые ряды калош. Между ними, посреди комнаты, стоял самовар, шумя и испуская клубами пар. На стенах висели все шинели да плащи, между которыми некоторые были даже с бобровыми воротниками или с бархатными отворотами. За стеной был слышен шум и говор, которые вдруг сделались ясными и звонкими, когда отворилась дверь и вышел лакей с подносом, уставленным опорожненными стаканами, сливочником и корзиною сухарей. Видно, что уж чиновники давно собрались и выпили по первому стакану чаю. Акакий Акакиевич, повесивши сам шинель свою, вошел в комнату, и перед ним мелькнули в одно время свечи, чиновники, трубки, столы для карт, и смутно поразили слух его беглый, со всех сторон подымавшийся разговор и шум передвигаемых стульев. Он остановился весьма неловко среди комнаты, ища и стараясь придумать, что ему сделать. Но его уже заметили, приняли с криком, и все пошли тот же час в переднюю и вновь осмотрели его шинель. Акакий Акакиевич хотя было отчасти и сконфузился, но, будучи человеком чистосердечным, не мог не порадоваться, видя, как все похвалили шинель. Потом, ра-

[1] *Эспаньóлка* — короткая остроконечная бородка.

зумеется, все бросили и его и шинель и обратились, как водится, к столам, назначенным для виста. Все это: шум, говор и толпа людей, — все это было как-то чудно Акакию Акакиевичу. Он просто не знал, как ему быть, куда деть руки, ноги и всю фигуру свою; наконец подсел он к игравшим, смотрел в карты, засматривал тому и другому в лица и чрез несколько времени начал зевать, чувствовать, что скучно, тем более что уж давно наступило то время, в которое он, по обыкновению, ложился спать. Он хотел проститься с хозяином, но его не пустили, говоря, что непременно надо выпить в честь обновки по бокалу шампанского. Через час подали ужин, состоявший из винегрета, холодной телятины, паштета, кондитерских пирожков и шампанского. Акакия Акакиевича заставили выпить два бокала, после которых он почувствовал, что в комнате сделалось веселее, однако ж никак не мог позабыть, что уже двенадцать часов и что давно пора домой. Чтобы как-нибудь не вздумал удерживать хозяин, он вышел потихоньку из комнаты, отыскал в передней шинель, которую не без сожаления увидел лежавшею на полу, стряхнул ее, снял с нее всякую пушинку, надел на плеча и опустился по лестнице на улицу. На улице все еще было светло. Кое-какие мелочные лавчонки, эти бессменные клубы дворовых и всяких людей, были отперты, другие же, которые были заперты, показывали, однако ж, длинную струю света во всю дверную щель, означавшую, что они не лишены еще общества и, вероятно, дворовые служанки или слуги еще доканчивают свои толки и разговоры, повергая своих господ в совершенное недоумение насчет своего местопребывания. Акакий Акакиевич шел в веселом расположении духа, даже подбежал было вдруг, неизвестно почему, за какою-то дамою, которая, как молния, прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения. Но, однако ж, он тут же остановился и пошел опять по-прежнему очень тихо, подивясь даже сам неизвестно откуда взявшейся рыси. Скоро потянулись перед ним те пустынные улицы, которые даже и днем не так веселы, а тем более вечером. Теперь они сделались еще глуше и уединеннее: фонари стали мелькать реже — масла, как видно, уже меньше отпускалось; пошли деревянные домы, заборы; нигде ни души; сверкал только один снег по улицам, да печально чернели с закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачужки. Он приблизился к тому месту,

где перерезывалась улица бесконечною площадью с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела страшною пустынею.

Вдали, бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшею на краю света. Веселость Акакия Акакиевича как-то здесь значительно уменьшилась. Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно как будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад и по сторонам: точное море вокруг него. «Нет, лучше и не глядеть», — подумал и шел, закрыв глаза, и когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом какие-то люди с усами, какие именно, уж этого он не мог даже различить. У него затуманило в глазах и забилось в груди. «А ведь шинель-то моя!» — сказал один из них громовым голосом, схвативши его за воротник. Акакий Акакиевич хотел было уже закричать «караул», как другой приставил ему к самому рту кулак величиною в чиновничью голову, примолвив: «А вот только крикни!» Акакий Акакиевич чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал навзничь в снег и ничего уж больше не чувствовал. Чрез несколько минут он опомнился и поднялся на ноги, но уж никого не было. Он чувствовал, что в поле холодно и шинели нет, стал кричать, но голос, казалось, и не думал долетать до концов площади. Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле которой стоял будочник и, опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с любопытством, желая знать, какого черта бежит к нему издали и кричит человек. Акакий Акакиевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни за чем не смотрит, не видит, как грабят человека. Будочник отвечал, что он не видал ничего, что видел, как остановили его среди площади какие-то два человека, да думал, что то были его приятели; а что пусть он, вместо того чтобы понапрасну браниться, сходит завтра к надзирателю, так надзиратель отыщет, кто взял шинель. Акакий Акакиевич прибежал домой в совершенном беспорядке: волосы, которые еще водились у него в небольшом количестве на висках и затылке, совершенно растрепались; бок и грудь и все панталоны были в снегу. Старуха, хозяйка квартиры его, услыша страшный стук в дверь, поспешно вскочила с постели и с башмаком на одной

только ноге побежала отворять дверь, придерживая на груди своей, из скромности, рукою рубашку; но, отворив, отступила назад, увидя в таком виде Акакия Акакиевича. Когда же рассказал он, в чем дело, она всплеснула руками и сказала, что нужно идти прямо к частному[1], что квартальный надует, пообещается и станет водить; а лучше всего идти прямо к частному, что он даже ей знаком, потому что Анна, чухонка, служившая прежде у нее в кухарках, определилась теперь к частному в няньки, что она часто видит его самого, как он проезжает мимо их дома, и что он бывает также всякое воскресенье в церкви, молится, а в то же время весело смотрит на всех, и что, стало быть, по всему видно, должен быть добрый человек. Выслушав такое решение, Акакий Акакиевич печальный побрел в свою комнату, и как он провел там ночь, предоставляется судить тому, кто может сколько-нибудь представить себе положение другого. Поутру рано отправился он к частному; но сказали, что спит; он пришел в десять — сказали опять: спит; он пришел в одиннадцать часов — сказали: да нет частного дома; он в обеденное время — но писаря в прихожей никак не хотели пустить его и хотели непременно узнать, за каким делом и какая надобность привела и что такое случилось. Так что наконец Акакий Акакиевич раз в жизни захотел показать характер и сказал наотрез, что ему нужно лично видеть самого частного, что они не смеют его не допустить, что он пришел из департамента за казенным делом, а что вот как он на них пожалуется, так вот тогда они увидят. Против этого писаря ничего не посмели сказать, и один из них пошел вызвать частного. Частный принял как-то чрезвычайно странно рассказ о грабительстве шинели. Вместо того чтобы обратить внимание на главный пункт дела, он стал расспрашивать Акакия Акакиевича: да почему он так поздно возвращался, да не заходил ли он и не был ли в каком непорядочном доме, так что Акакий Акакиевич сконфузился совершенно и вышел от него, сам не зная, возымеет ли надлежащий ход дело о шинели или нет. Весь этот день он не был в присутствии (единственный случай в его жизни). На другой день он явился весь бледный и в старом капоте своем, который сделался еще плачевнее. Повествование о грабеже шинели, несмотря на то что нашлись такие чиновники, которые не пропустили даже и тут посмеяться над Акакием Акакиевичем,

[1] К частному приставу.

однако же, многих тронуло. Решились тут же сделать для него складчину, но собрали самую безделицу, потому что чиновники и без того уже много истратились, подписавшись на директорский портрет и на одну какую-то книгу, по предложению начальника отделения, который был приятелем сочинителю, — так, сумма оказалась самая бездельная. Один кто-то, движимый состраданием, решился, по крайней мере, помочь Акакию Акакиевичу добрым советом, сказавши, чтоб он пошел не к квартальному, потому что хоть и может случиться, что квартальный, желая заслужить одобрение начальства, отыщет каким-нибудь образом шинель, но шинель все-таки останется в полиции, если он не представит законных доказательств, что она принадлежит ему; а лучше всего, чтобы он обратился к одному *значительному лицу*, что *значительное лицо*, спишась и снесясь с кем следует, может заставить успешнее идти дело. Нечего делать, Акакий Акакиевич решился идти к *значительному лицу*. Какая именно и в чем состояла должность *значительного лица*, это осталось до сих пор неизвестным. Нужно знать, что *одно значительное лицо* недавно сделался значительным лицом, а до того времени он был незначительным лицом. Впрочем, место его и теперь не почиталось значительным в сравнении с другими, еще значительнейшими. Но всегда найдется такой круг людей, для которых незначительное в глазах прочих есть уже значительное. Впрочем, он старался усилить значительность многими другими средствами, именно: завел, чтобы низшие чиновники встречали его еще на лестнице, когда он приходил в должность; чтобы к нему являться прямо никто не смел, а чтоб шло все порядком строжайшим: коллежский регистратор докладывал бы губернскому секретарю, губернский секретарь — титулярному или какому приходилось другому, и чтобы уже, таким образом, доходило дело до него. Так уж на святой Руси все заражено подражанием, всякий дразнит и корчит своего начальника. Говорят даже, какой-то титулярный советник, когда сделали его правителем какой-то отдельной небольшой канцелярии, тотчас же отгородил себе особенную комнату, назвавши ее «комнатой присутствия», и поставил у дверей каких-то капельдинеров[1] с красными воротниками, в галунах, которые брались за ручку дверей и отворяли ее всякому приходившему, хотя в «комнате присутствия» насилу мог уста-

[1] *Капельди́нер* — служитель, контролер.

виться обыкновенный письменный стол. Приемы и обычаи *значительного лица* были солидны и величественны, но не многосложны. Главным основанием его системы была строгость. «Строгость, строгость и — строгость», — говаривал он обыкновенно и при последнем слове обыкновенно смотрел очень значительно в лицо тому, которому говорил. Хотя, впрочем, этому и не было никакой причины, потому что десяток чиновников, составлявших весь правительственный механизм канцелярии, и без того был в надлежащем страхе; завидя его издали, оставлял уже дело и ожидал стоя ввытяжку, пока начальник пройдет через комнату. Обыкновенный разговор его с низшими отзывался строгостью и состоял почти из трех фраз: «Как вы смеете? Знаете ли вы, с кем говорите? Понимаете ли, кто стоит перед вами?» Впрочем, он был в душе добрый человек, хорош с товарищами, услужлив, но генеральский чин совершенно сбил его с толку. Получивши генеральский чин, он как-то спутался, сбился с пути и совершенно не знал, как ему быть. Если ему случалось быть с ровными себе, он был еще человек как следует, человек очень порядочный, во многих отношениях даже не глупый человек; но как только случалось ему быть в обществе, где были люди хоть одним чином пониже его, там он был просто хоть из рук вон: молчал, и положение его возбуждало жалость, тем более что он сам даже чувствовал, что мог бы провести время несравненно лучше. В глазах его иногда видно было сильное желание присоединиться к какому-нибудь интересному разговору и кружку, но останавливала его мысль: не будет ли это уж очень много с его стороны, не будет ли фамильярно[1], и не уронит ли он чрез то своего значения? И вследствие таких рассуждений он оставался вечно в одном и том же молчаливом состоянии, произнося только изредка какие-то односложные звуки, и приобрел таким образом титул скучнейшего человека. К такому-то *значительному лицу* явился наш Акакий Акакиевич, и явился во время самое неблагоприятное, весьма некстати для себя, хотя, впрочем, кстати для *значительного лица*. *Значительное лицо* находился в своем кабинете и разговорился очень-очень весело с одним недавно приехавшим старинным знакомым и товарищем детства, с которым несколько лет не видался. В это время доложили ему, что пришел какой-то Башмачкин. Он спросил отрывисто: «Кто та-

[1] *Фамилья́рный* — развязный, желающий быть с кем-то запросто.

кой?» Ему отвечали: «Какой-то чиновник». — «А! может подождать, теперь не время», — сказал значительный человек. Здесь надобно сказать, что значительный человек совершенно прилгнул: ему было время, они давно уже с приятелем переговорили обо всем и уже давно перекладывали разговор весьма длинными молчаньями, слегка только потрепливая друг друга по ляжке и приговаривая: «Так-то, Иван Абрамович!» — «Этак-то, Степан Варламович!» Но при всем том, однако же, велел он чиновнику подождать, чтобы показать приятелю, человеку давно не служившему и зажившемуся дома в деревне, сколько времени чиновники дожидаются у него в передней. Наконец наговорившись, а еще более намолчавшись вдоволь и выкуривши сигарку в весьма покойных креслах с откидными спинками, он наконец как будто вдруг вспомнил и сказал секретарю, остановившемуся у дверей с бумагами для доклада: «Да, ведь там стоит, кажется, чиновник; скажите ему, что он может войти». Увидевши смиренный вид Акакия Акакиевича и его старенький вицмундир, он оборотился к нему вдруг и сказал: «Что вам угодно?» — голосом отрывистым и твердым, которому нарочно учился заране у себя в комнате, в уединении и перед зеркалом, еще за неделю до получения нынешнего своего места и генеральского чина. Акакий Акакиевич уже заблаговременно почувствовал надлежащую робость, несколько смутился и, как мог, сколько могла позволить ему свобода языка, изъяснил с прибавлением даже чаще, чем в другое время, частиц «того», что была-де шинель совершенно новая, и теперь ограблен бесчеловечным образом, и что он обращается к нему, чтоб он ходатайством своим как-нибудь того, списался бы с господином обер-полицмейстером или другим кем и отыскал шинель. Генералу, неизвестно почему, показалось такое обхождение фамильярным.

— Что вы, милостивый государь, — продолжал он отрывисто, — не знаете порядка? куда вы зашли? не знаете, как водятся дела? Об этом вы должны были прежде подать просьбу в канцелярию; она пошла бы к столоначальнику, к начальнику отделения, потом передана была бы секретарю, а секретарь доставил бы ее уже мне...

— Но, ваше превосходительство, — сказал Акакий Акакиевич, стараясь собрать всю небольшую горсть присутствия духа, какая только в нем была, и чувствуя в то же время, что

он вспотел ужасным образом, — я ваше превосходительство осмелился утрудить потому, что секретари того... ненадежный народ...

— Что, что, что? — сказал *значительное лицо*. — Откуда вы набрались такого духу? откуда вы мыслей таких набрались? что за буйство такое распространилось между молодыми людьми против начальников и высших!

Значительное лицо, кажется, не заметил, что Акакию Акакиевичу забралось уже за пятьдесят лет. Стало быть, если бы он и мог назваться молодым человеком, то разве только относительно, то есть в отношении к тому, кому уже было за семьдесят лет.

— Знаете ли вы, кому это говорите? понимаете ли вы, кто стоит перед вами? понимаете ли вы это, понимаете ли это? я вас спрашиваю.

Тут он топнул ногою, возведя голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию Акакиевичу сделалось бы страшно. Акакий Акакиевич так и обмер, пошатнулся, затрясся всем телом и никак не мог стоять: если бы не подбежали тут же сторожа поддержать его, он бы шлепнулся на пол; его вынесли почти без движения. А *значительное лицо*, довольный тем, что эффект превзошел даже ожидание, и совершенно упоенный мыслью, что слово его может лишить даже чувств человека, искоса взглянул на приятеля, чтобы узнать, как он на это смотрит, и не без удовольствия увидел, что приятель его находился в самом неопределенном состоянии и начинал даже с своей стороны сам чувствовать страх.

Как сошел с лестницы, как вышел на улицу, ничего уж этого не помнил Акакий Акакиевич. Он не слышал ни рук, ни ног. В жизнь свою он не был еще так сильно распечен генералом, да еще и чужим. Он шел по вьюге, свистевшей в улицах, разинув рот, сбиваясь с тротуаров; ветер, по петербургскому обычаю, дул на него со всех четырех сторон, из всех переулков. Вмиг надуло ему в горло жабу, и добрался он домой, не в силах будучи сказать ни одного слова; весь распух и слег в постель. Так сильно иногда бывает надлежащее распеканье! На другой же день обнаружилась у него сильная горячка. Благодаря великодушному вспомоществованию петербургского климата болезнь пошла быстрее, чем можно было ожидать, и когда явился доктор, то он, пощупавши пульс, ничего не нашелся сделать, как только прописать припарку, единственно

уже для того, чтобы больной не остался без благодетельной помощи медицины; а впрочем, тут же объявил ему чрез полтора суток непременный капут. После чего обратился к хозяйке и сказал: «А вы, матушка, и времени даром не теряйте, закажите ему теперь же сосновый гроб, потому что дубовый будет для него дорог». Слышал ли Акакий Акакиевич эти произнесенные роковые для него слова, а если и слышал, произвели ли они на него потрясающее действие, пожалел ли он о горемычной своей жизни, — ничего это не известно, потому что он находился все время в бреду и жару. Явления, одно другого страннее, представлялись ему беспрестанно: то видел он Петровича и заказывал ему сделать шинель с какими-то западнями для воров, которые чудились ему беспрестанно под кроватью, и он поминутно призывал хозяйку вытащить у него одного вора даже из-под одеяла; то спрашивал, зачем висит перед ним старый капот его, что у него есть новая шинель; то чудилось ему, что он стоит перед генералом, выслушивая надлежащее распеканье, и приговаривает: «Виноват, ваше превосходительство!» — то, наконец, даже сквернохульничал, произнося самые страшные слова, так что старушка хозяйка даже крестилась, отроду не слыхав от него ничего подобного, тем более что слова эти следовали непосредственно за словом «ваше превосходительство». Далее он говорил совершенную бессмыслицу, так что ничего нельзя было понять; можно было только видеть, что беспорядочные слова и мысли ворочались около одной и той же шинели. Наконец бедный Акакий Акакиевич испустил дух. Ни комнаты, ни вещей его не опечатывали, потому что, во-первых, не было наследников, а во-вторых, оставалось очень немного наследства, именно: пучок гусиных перьев, десть белой казенной бумаги, три пары носков, две-три пуговицы, оторвавшиеся от панталон, и уже известный читателю капот. Кому все это досталось, бог знает: об этом, признаюсь, даже не интересовался рассказывающий сию повесть. Акакия Акакиевича свезли и похоронили. И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя внимания и естествонаблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп; существо, переносившее покорно канцелярские насмешки и без всякого

чрезвычайного дела сошедшее в могилу, но для которого все же таки, хотя перед самым концом жизни, мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь, и на которое так же потом нестерпимо обрушилось несчастие, как обрушивалось на царей и повелителей мира... Несколько дней после его смерти послан был к нему на квартиру из департамента сторож, с приказанием немедленно явиться: начальник-де требует; но сторож должен был возвратиться ни с чем, давши отчет, что не может больше прийти, и на запрос «почему?» выразился словами: «Да так, уж он умер, четвертого дня похоронили». Таким образом узнали в департаменте о смерти Акакия Акакиевича, и на другой день уже на его месте сидел новый чиновник, гораздо выше ростом и выставлявший буквы уже не таким прямым почерком, а гораздо наклоннее и косее.

Но кто бы мог вообразить, что здесь еще не все об Акакии Акакиевиче, что суждено ему на несколько дней прожить шумно после своей смерти, как бы в награду за не примеченную никем жизнь. Но так случилось, и бедная история наша неожиданно принимает фантастическое окончание. По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели и под видом стащенной шинели сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели: на кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы — словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной. Один из департаментских чиновников видел своими глазами мертвеца и узнал в нем тотчас Акакия Акакиевича; но это внушило ему, однако же, такой страх, что он бросился бежать со всех ног и оттого не мог хорошенько рассмотреть, а видел только, как тот издали погрозил ему пальцем. Со всех сторон поступали беспрестанно жалобы, что спины и плечи, пускай бы еще только титулярных, а то даже самих тайных советников, подвержены совершенной простуде по причине ночного сдергивания шинелей. В полиции сделано было распоряжение поймать мертвеца во что бы то ни стало, живого или мертвого, и наказать его, в пример другим, жесточайшим образом, и в том едва было даже не успели. Именно будочник какого-то квартала в Кирюшкином переулке схватил было уже совершенно мертвеца за ворот на самом месте злодеяния,

на покушении сдернуть фризовую шинель с какого-то отставного музыканта, свиставшего в свое время на флейте. Схвативши его за ворот, он вызвал своим криком двух других товарищей, которым поручил держать его, а сам полез только на одну минуту за сапог, чтобы вытащить оттуда тавлинку с табаком, освежить на время шесть раз на веку приморожен-ный нос свой; но табак, верно, был такого рода, которого не мог вынести даже и мертвец. Не успел будочник, закрывши пальцем свою правую ноздрю, потянуть левою полгорсти, как мертвец чихнул так сильно, что совершенно забрызгал им всем троим глаза. Покамест они поднесли кулаки протереть их, мертвеца и след пропал, так что они не знали даже, был ли он, точно, в их руках. С этих пор будочники получили такой страх к мертвецам, что даже опасались хватать и живых, и только издали покрикивали: «Эй, ты, ступай своею дорогою!» — и мертвец-чиновник стал показываться даже за Калинкиным мостом, наводя немалый страх на всех робких людей. Но мы, однако же, совершенно оставили *одно значительное лицо*, который, по-настоящему, едва ли не был причиною фантастического направления, впрочем, совершенно истинной истории. Прежде всего долг справедливости требует сказать, что *одно значительное лицо* скоро по уходе бедного, распеченного в пух Акакия Акакиевича почувствовал что-то вроде сожаления. Сострадание было ему не чуждо; его сердцу были доступны многие добрые движения, несмотря на то что чин весьма часто мешал им обнаруживаться. Как только вышел из его кабинета приезжий приятель, он даже задумался о бедном Акакии Акакиевиче. И с этих пор почти всякий день представлялся ему бледный Акакий Акакиевич, не выдержавший должностного распеканья. Мысль о нем до такой степени тревожила его, что неделю спустя он решился даже послать к нему чиновника узнать, что́ он и как и нельзя ли в самом деле чем помочь ему; и когда донесли ему, что Акакий Акакиевич умер скоропостижно в горячке, он остался даже пораженным, слышал упреки совести и весь день был не в духе. Желая сколько-нибудь развлечься и позабыть неприятное впечатление, он отправился на вечер к одному из приятелей своих, у которого нашел порядочное общество, а что всего лучше — все там были почти одного и того же чина, так что он совершенно ничем не мог быть связан. Это имело удивительное действие на душевное его расположение. Он развер-

нулся, сделался приятен в разговоре, любезен — словом, провел вечер очень приятно. За ужином выпил он стакана два шампанского — средство, как известно, недурно действующее в рассуждении веселости. Шампанское сообщило ему расположение к разным экстренностям, а именно: он решил не ехать еще домой, а заехать к одной знакомой даме, Каролине Ивановне, даме, кажется, немецкого происхождения, к которой он чувствовал совершенно приятельские отношения. Надобно сказать, что *значительное лицо* был уже человек немолодой, хороший супруг, почтенный отец семейства. Два сына, из которых один служил уже в канцелярии, и миловидная шестнадцатилетняя дочь с несколько выгнутым, но хорошеньким носиком приходили всякий день целовать его руку, приговаривая: «bon jour, papa»[1]. Супруга его, еще женщина свежая и даже ничуть не дурная, давала ему прежде поцеловать свою руку и потом, переворотивши ее на другую сторону, целовала его руку. Но *значительное лицо*, совершенно, впрочем, довольный домашними семейными нежностями, нашел приличным иметь для дружеских отношений приятельницу в другой части города. Эта приятельница была ничуть не лучше и не моложе жены его; но такие уж задачи бывают на свете, и судить об них не наше дело. Итак, *значительное лицо* сошел с лестницы, сел в сани и сказал кучеру: «К Каролине Ивановне», — а сам, закутавшись весьма роскошно в теплую шинель, оставался в том приятном положении, лучше которого и не выдумаешь для русского человека, то есть когда сам ни о чем не думаешь, а между тем мысли сами лезут в голову, одна другой приятнее, не давая даже труда гоняться за ними и искать их. Полный удовольствия, он слегка припоминал все веселые места проведенного вечера, все слова, заставившие хохотать небольшой круг; многие из них он даже повторял вполголоса и нашел, что они все так же смешны, как и прежде, а потому не мудрено, что и сам посмеивался от души. Изредка мешал ему, однако же, порывистый ветер, который, выхватившись вдруг бог знает откуда и невесть от какой причины, так и резал в лицо, подбрасывая ему туда клочки снега, хлобуча, как парус, шинельный воротник или вдруг с неестественною силою набрасывая ему его на голову и доставляя, таким образом, вечные хлопоты из него выкарабкиваться. Вдруг почувствовал *значительное лицо*, что его ухватил кто-то весь-

[1] Добрый день, папа́ *(фр.)*.

ма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста, в старом поношенном вицмундире, и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича. Лицо чиновника было бледно, как снег, и глядело совершенным мертвецом. Но ужас *значительного лица* превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился и, пахнувши на него страшно могилою, произнес такие речи: «А! так вот ты наконец! наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно! не похлопотал об моей, да еще и распек, — отдавай же теперь свою!» Бедное *значительное лицо* чуть не умер. Как ни был он характерен в канцелярии и вообще перед низшими, и хотя, взглянувши на один мужественный вид его и фигуру, всякий говорил: «У, какой характер!» — но здесь он, подобно весьма многим, имеющим богатырскую наружность, почувствовал такой страх, что не без причины даже стал опасаться насчет какого-нибудь болезненного припадка. Он сам даже скинул поскорее с плеч шинель свою и закричал кучеру не своим голосом: «Пошел во весь дух домой!» Кучер, услышавши голос, который произносится обыкновенно в решительные минуты и даже сопровождается кое-чем гораздо действительнейшим, упрятал на всякий случай голову свою в плечи, замахнулся кнутом и помчался как стрела. Минут в шесть с небольшим *значительное лицо* уже был пред подъездом своего дома. Бледный, перепуганный и без шинели, вместо того чтобы к Каролине Ивановне, он приехал к себе, доплелся кое-как до своей комнаты и провел ночь весьма в большом беспорядке, так что на другой день поутру за чаем дочь ему сказала прямо: «Ты сегодня совсем бледен, папа». Но папа молчал и никому ни слова о том, что с ним случилось, и где он был, и куда хотел ехать. Это происшествие сделало на него сильное впечатление. Он даже гораздо реже стал говорить подчиненным: «Как вы смеете, понимаете ли, кто перед вами?»; если же и произносил, то уж не прежде, как выслушавши сперва, в чем дело. Но еще более замечательно то, что с этих пор совершенно прекратилось появление чиновника-мертвеца: видно, генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечам; по крайней мере, уже не было нигде слышно таких случаев, чтобы сдергивали с кого шинели. Впрочем, многие деятельные и заботливые люди никак не хотели успокоиться и поговаривали, что в дальних частях города все еще показывался чиновник-мертвец. И точно, один коломенский будоч-

ник видел собственными глазами, как показалось из-за одного дома привидение; но, будучи по природе своей несколько бессилен, так что один раз обыкновенный взрослый поросенок, кинувшись из какого-то частного дома, сшиб его с ног, к величайшему смеху стоявших вокруг извозчиков, с которых он вытребовал за такую издевку по грошу на табак, — итак, будучи бессилен, он не посмел остановить его, а так шел за ним в темноте до тех пор, пока наконец привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило: «Тебе чего хочется?» — и показало такой кулак, какого и у живых не найдешь. Будочник сказал: «Ничего», — да и поворотил тот же час назад. Привидение, однако же, было уже гораздо выше ростом, носило преогромные усы и, направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылось совершенно в ночной темноте.

1842

Александр Николаевич
ОСТРОВСКИЙ

СВОИ ЛЮДИ — СОЧТЕМСЯ!

КОМЕДИЯ В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

(в сокращении)

Действующие лица:

Самсон Силыч Большов, купец.
Аграфена Кондратьевна, его жена.
Олимпиада Самсоновна (Липочка), их дочь.
Лазарь Елизарыч Подхалюзин, приказчик.
Устинья Наумовна, сваха.
Сысой Псоич Ризположенский, стряпчий[1].
Фоминишна, ключница } В доме Большова.
Тишка, мальчик }

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Гостиная в доме Большова.

Явление первое

Липочка *(сидит у окна с книгой)*. Какое приятное занятие эти танцы! Ведь уж как хорошо! Что может быть восхитительнее? Приедешь в Собранье[2] али к кому на свадьбу, сидишь, натурально, вся в цветах, разодета, как игрушка али картинка журнальная, — вдруг подлетает кавалер: «удостойте счастия, сударыня!» Ну, видишь: если человек с понятием али армейской какой — возьмешь да и прищуришься, отвечаешь: «извольте, с удовольствием!» Ах! *(С жаром.)* Оча-ро-ва-тель-но! Это, просто, уму непостижимо! *(Вздыхает.)* Больше всего не люблю я танцевать с студентами да с приказными[3]. То ли дело

[1] *Стря́пчий* — ходатай по делам.

[2] *Приедешь в Собранье*, т. е. в Купеческое собрание или Купеческий клуб. В Купеческом собрании устраивались балы, маскарады, концерты, спектакли, торжественные обеды и ужины, карточные игры.

[3] *Прика́зный* — мелкий чиновник, канцелярист, ходатай по делам.

отличаться с военными! Ах, прелесть! восхищение. И усы, и эполеты, и мундир, а у иных даже шпоры с колокольчиками. Одно убийственно, что сабли нет! И для чего они ее отвязывают? Странно, ей-богу! Сами не понимают, как блеснуть очаровательнее! Ведь, посмотрели бы на шпоры, как они звенят, особливо, если улан али полковник какой разрисовывает — чудо! Любоваться мило-дорого! Ну, а прицепи-ко он еще саблю: просто, ничего не увидишь любопытнее, одного грома лучше музыки наслушаешься. Уж какое же есть сравнение: военный или штатский? Военный — уж это сейчас видно: и ловкость, и все, а штатский что? Так, какой-то неодушевленный! *(Молчание.)* Удивляюсь, отчего это многие дамы, поджавши ножки, сидят? Формально нет никакой трудности выучиться! Вот, уж я на что совестилась учителя, а в двадцать уроков все решительно поняла. Отчего это не учиться танцевать! Это одно только суеверие! Вот, маменька, бывало, сердится, что учитель все за коленки хватает. Все это от необразования! Что за важность! Он танцмейстер, а не кто-нибудь другой. *(Задумывается.)* Воображаю я себе: вдруг за меня посватается военный, вдруг у нас парадный сговор, горят везде свечки, ходят официанты в белых перчатках; я, натурально, в тюлевом либо в газовом платье[1], тут вдруг заиграют вальс. — А ну как я перед ним оконфужусь! Ах, страм какой! Куда тогда деваться-то? Что он подумает? Вот, скажет, дура необразованная! Да нет, как это можно! Однако я вот уж полтора года не танцевала! Попробую-ко теперь на досуге. *(Дурно вальсируя.)* Раз... два... три... раз... два... три...

Явление пятое

Аграфена Кондратьевна. Ну, что, новенького нет ли чего, Устинья Наумовна? Ишь у меня девка-то стосковалась совсем.

Липочка. И в самом деле, Устинья Наумовна, ты ходишь, ходишь, а толку нет никакого.

Устинья Наумовна. Да ишь ты, с вами не скоро сообразишь, бралиянтовые. Тятенька-то твой ладит за богатого: мне, говорит, хотя Федот от проходных ворот, лишь бы денежки водились, да приданого поменьше ломил. Маменька-то вот, Аграфена Кондратьевна, тоже норовит в свое удоволь-

[1] *...в тюлевом, либо в газовом платье* — в платье из особенно легкой, полупрозрачной узорной или гладкой ткани.

ствие: подавай ты ей беспременно купца, да чтобы был жалованный[1], да лошадей бы хороших держал, да и лоб-то крестил бы по-старинному. У тебя тоже свое на уме. Как на вас угодишь?

Явление шестое

Те же и Фоминишна, входит, ставит на стол водку с закуской.

Липочка. Не пойду я за купца, ни за что не пойду. — За тем разве я так воспитана: училась и по-французски, и на фортепьянах, и танцевать! Нет, нет! где хочешь возьми, а достань благородного.

Аграфена Кондратьевна. Вот ты и толкуй с ней.

Фоминишна. Да что тебе дались эти благородные? Что в них за особенный скус? голый и на голом, да и христианства-то никакого нет: ни в баню не ходит, ни пирогов по праздникам не печет: а, ведь, хошь и замужем будешь, а надоест тебе соус-то с подливкой.

Липочка. Ты, Фоминишна, родилась между мужиков и ноги протянешь мужичкой. Что мне в твоем купце? Какой он может иметь вес? Где у него амбиция[2]? Мочалка-то его что ли мне нужна?

Фоминишна. Не мочалка, а божий волос, сударыня, так-то-сь!

Аграфена Кондратьевна. Ведь, и тятенька твой не оболванненный какой, и борода-то тоже не обшарканная, да целуешь же ты его как-нибудь.

Липочка. Одно дело тятенька, а другое дело — муж. Да что вы пристали, маменька? Уж сказала, что не пойду за купца, так и не пойду! Лучше умру сейчас, до конца всю жизнь выплачу: слез не достанет, перцу наемся.

Фоминишна. Никак ты плакать сбираешься? И думать не моги! И тебе как в охоту дразнить, Аграфена Кондратьевна!

Аграфена Кондратьевна. А кто ее дразнит? Сама привередничает.

Устинья Наумовна. Пожалуй, уж коли тебе такой апекит[3], найдем тебе и благородного. Какого тебе: посолидней али поподжаристей?

---

[1] *Жа́лованный* — награжденный чинами, орденами или медалями.

[2] *Амби́ция* — чувство собственного достоинства, самолюбие, важность, представительность.

[3] *Апеки́т* — аппетит.

Липочка. Ничего и потолще, был бы собою не мал. Конечно, лучше уж рослого, чем какого-нибудь мухортика. И пуще всего, Устинья Наумовна, чтобы не курносого, беспременно, чтобы был бы брюнет; ну понятное дело, чтоб и одет был по-журнальному. *(Смотрит в зеркало.)* Ах, господи! а сама-то я нынче вся, как веник, растрепана.

Устинья Наумовна. А есть у меня теперь жених вот точно такой, как ты, бралиянтовая, расписываешь: и благородный, и рослый, и брюле.

Липочка. Ах, Устинья Наумовна! Совсем не брюле, а брюнет.

Устинья Наумовна. Да, очень мне нужно, на старости лет, язык-то ломать по-твоему: как сказалось, так и живет. И крестьяне есть, и орген на шее; ты вот поди оденься, а мы с маменькой-то потолкуем об этом деле.

Липочка. Ах, голубушка Устинья Наумовна, зайди ужо ко мне в комнату: мне нужно поговорить с тобой. Пойдем, Фоминишна.

Фоминишна. Ох, уж ты мне егоза!

Уходят.

Явление восьмое

Те же и Ризположенский.

Ризположенский *(входя)*. А я к вам, матушка Аграфена Кондратьевна. Толконулся было к Самсону Силычу, да занят, вижу; так я думаю: зайду, мол, я к Аграфене Кондратьевне. Что это, водочка у вас? Я, Аграфена Кондратьевна, рюмочку выпью. *(Пьет.)*

Аграфена Кондратьевна. Кушай, батюшко, на здоровье! Садиться милости просим: как живете-можете?

Ризположенский. Какое уж наше житье. Так, небо коптим, Аграфена Кондратьевна; сами знаете: семейство большое, делишки маленькие. А не ропщу, роптать грех, Аграфена Кондратьевна.

Аграфена Кондратьевна. Уж это, батюшко, последнее дело.

Ризположенский. Кто ропщет, значит, тот Богу противится, Аграфена Кондратьевна. Вот какая была история...

Аграфена Кондратьевна. Как тебя звать-то, батюшко? Я все позабываю.

Ризположенский. Сысой Псоич, матушка Аграфена Кондратьевна.

Устинья Наумовна. Как же это так: Псович, серебряный? По-каковски же это?

Ризположенский. Не умею вам сказать доподлинно: отца звали Псой — ну, стало быть, я Псоич и выхожу.

Устинья Наумовна. А Псович, так Псович; что ж, это ничего, и хуже бывает, бралиянтовый.

Аграфена Кондратьевна. Так какую же ты, Сысой Псович, историю-то хотел рассказать?

Ризположенский. Так вот, матушка Аграфена Кондратьевна, была история: не то, чтобы притча, али сказка какая, а истинное происшествие. Я, Аграфена Кондратьевна, рюмочку выпью. *(Пьет.)*

Аграфена Кондратьевна. Кушай, батюшко, кушай.

Ризположенский *(садится)*. Жил старец, маститый старец... Вот уж я, матушка, забыл, где, а только в стороне такой... необитаемой. Было у него, сударыня ты моя, двенадцать дочерей — мал-мала меньше. Сам работать не в силах, жена тоже старуха старая, дети еще малые, а пить, есть надобно. Что было добра, под старость все прожили, поить, кормить некому! Куда деться с малыми ребятами? Вот он так думать, эдак думать — нет, сударыня ты моя, ничего уж тут не придумаешь. «Пойду, говорит, я на распутие: не будет ли чего от доброхотных дателей». День сидит — Бог подаст, другой сидит — Бог подаст: вот он, матушка, и возроптал.

Аграфена Кондратьевна. А, батюшки!

Ризположенский. Господи, говорит, не мздоимец я, не лихоимец я... лучше, говорит, на себя руки наложить.

Аграфена Кондратьевна. Ах, батюшко мой!

Ризположенский. И бысть ему, сударыня ты моя, сон в нощи...

Входит Большов.

Явление девятое

Те же и Большов.

Большов. А! и ты, барин, здесь! Что это ты тут проповедуешь?

Ризположенский *(кланяется)*. Все ли здоровы, Самсон Силыч?

Устинья Наумовна. Что это ты, яхонтовый, похудел словно? Аль увечье какое напало?

Большов *(садясь)*. Простудился, должно быть, либо геморрой, что ли, расходился...

Аграфена Кондратьевна. Ну, так, Сысой Псович, что же ему дальше-то было?

Ризположенский. После, Аграфена Кондратьевна, после доскажу, на свободе как-нибудь забегу в сумеречки и расскажу.

Большов. Что это ты, али за святость взялся! Ха, ха, ха! Пора очувствоваться.

Аграфена Кондратьевна. Ну, уж ты начнешь! Не дашь по душе потолковать.

Большов. По душе!.. Ха, ха, ха... А ты спроси-ко, как у него из суда дело пропало; вот эту историю-то он тебе лучше расскажет.

Ризположенский. Ан нет же, и не пропало! Вот и не правда, Самсон Силыч!

Большов. А за что ж тебя оттудова выгнали?

Ризположенский. А вот за что, матушка Аграфена Кондратьевна. Взял я одно дело из суда домой, да дорогой-то с товарищем и завернули, человек слаб, ну, понимаете... с позволенья сказать, хошь бы в погребок[1]... там я его оставил, да хмельной-то, должно быть, и забыл. Что ж, со всяким может случиться. Потом, сударыня моя, в суде и хватились того дела-то: искали, искали, я и на дом-то ездил два раза с экзекутором[2] — нет как нет! Хотели меня суду предать, а тут я и вспомнил, что, должно быть, мол, я его в погребке забыл. Поехали с экзекутором — оно там и есть.

Аграфена Кондратьевна. Что ж! Не токма что с пьющим, и с непьющим бывает. Что ж за беда такая?

Большов. Как же тебя в Камчатку не сослали?

Ризположенский. Уж и в Камчатку! А за что, позвольте вас спросить, за что в Камчатку-то сослать?

Большов. За что! За безобразие! Так неужели ж вам потакать? Этак вы с кругу сопьетесь.

---

[1] *Погребо́к* — лавка в полуподвальном помещении, где торговали вином.

[2] *Экзеку́тор* — чиновник, наблюдавший за исполнением судебных приговоров.

Ризположенский. Ан вот простили. Вот, матушка Аграфена Кондратьевна, хотели меня суду предать за это за самое. — Я сейчас к генералу к нашему, бух ему в ноги! Ваше, говорю, превосходительство! Не погубите! Жена, говорю, дети маленькие! Ну, говорит, бог с тобой, лежачего не бьют, подавай, говорит, в отставку, чтоб я и не видал тебя здесь. — Так и простил. — Что ж! Дай Бог ему здоровья! Он меня и теперь не забывает; иногда забежишь к нему на празднике: что, говорит, ты, Сысой Псоич? — С праздником, мол, ваше превосходительство, поздравить пришел. — Вот, к Троице ходил недавно, просвирку ему принес. Я, Аграфена Кондратьевна, рюмочку выпью. *(Пьет.)*

Аграфена Кондратьевна. Кушай, батюшко, на здоровье! А мы с тобой, Устинья Наумовна, пойдем-ко, чай, уж самовар готов; да покажу я тебе, есть у нас кой-что из приданого новенького.

Устинья Наумовна. У вас, чай, и так вороха наготовлены, бралиянтовая.

Аграфена Кондратьевна. Что делать-то! Материи новые вышли, а нам будто не стать за них деньги платить.

Устинья Наумовна. Что говорить, жемчужная! Свой магазин, все равно, что в саду растет.

Уходят.

Явление десятое

Большов и Ризположенский.

Большов. А что, Сысой Псоич, чай, ты с этим крючкотворством на своем веку много чернил извел?

Ризположенский. Хе, хе..? Самсон Силыч, материал не дорогой. А я вот забежал понаведаться, как ваши делишки.

Большов. Забежал ты! А тебе больно знать нужно! То-то вот вы подлый народ такой, кровопийцы какие-то: только б вам пронюхать что-нибудь эдакое, так уж вы и вьетесь тут с вашим дьявольским наущением.

Ризположенский. Какое же может произойти, Самсон Силыч, от меня наущение? Да и что я за учитель такой, когда вы сами, может быть, в десять раз меня умнее? — Меня что попросят, я сделаю. Что ж не сделать! Я бы свинья был, когда б не сделал; потому что я, можно сказать, облагодетельство-

ван вами и с ребятишками. А я еще довольно глуп, чтобы вам советовать: вы свое дело сами лучше всякого знаете.

Большов. Сами знаете! То-то вот и беда, что наш брат, купец, дурак, ничего он не понимает, а таким пиявкам, как ты, это и на руку. Ведь вот, ты теперь все пороги у меня обобьешь таскамшись-то.

Ризположенский. Как же мне не таскаться-то! Кабы я вас не любил, я бы к вам и не таскался. Разве я не чувствую? Что ж я, в самом деле, скот что ли какой бессловесный?

Большов. Знаю я, что ты любишь, — все вы нас любите; только путного от вас ничего не добьешься. Вот я теперь маюсь, маюсь с делом-то, так измучился, поверишь ли ты, мнением только этим одним. Уж хоть бы поскорей что ли, да из головы вон.

Ризположенский. Что ж, Самсон Силыч, не вы первый, не вы последний; нешто другие-то не делают?

Большов. Как не делать, брат; и другие делают. Да еще как делают-то: без стыда, без совести! На лежачих лесорах ездят, в трехэтажных домах живут; другой такой бельведер[1] с колоннами выведет, что ему с своей образиной и войти-то туда совестно; а там и капут, и взять с него нечего. Коляски эти разъедутся неизвестно куда, дома все заложены, останется ль, нет ли кредиторам-то[2] старых сапогов пары три. Вот тебе вся недолга. Да еще и обманет-то кого: так бедняков каких-нибудь, пустит в одной рубашке по миру. А у меня кредиторы все люди богатые, что им сделается!

Ризположенский. Известное дело. Что ж, Самсон Силыч, все это в наших руках.

Большов. Знаю, что в наших руках, да сумеешь ли ты это дело сделать-то? Ведь, вы народец тоже! Я уж вас знаю! На словах-то вы прытки, а там и пошел блудить.

Ризположенский. Да что вы, Самсон Силыч, помилуйте, нешто мне в первый раз! Уж еще этого-то не знать! хе, хе, хе... Да такие ли я дела делал, да с рук сходило. Другого-то за такие штуки уж заслали бы давно, куда Макар телят не гонял.

Большов. Ой-ли? Так какую же ты механику подсмолишь?

---

[1] *Бельведе́р* — здесь: легкое, возвышенное строение, откуда открывается широкий обзор.

[2] *Кредито́р* — заимодавец; человек, дающий деньги в долг, т. е. в кредит.

Ризположенский. А там, глядя по обстоятельствам. Я, Самсон Силыч, рюмочку выпью. *(Пьет.)* Вот, первое дело, Самсон Силыч, надобно дом да лавки заложить[1], либо продать. Это уж первое дело.

Большов. Да, это точно надобно сделать заблаговременно. На кого бы только эту обузу свалить? Да вот разве на жену?

Ризположенский. Не законно, Самсон Силыч! Это не законно! В законах изображено, что таковые продажи не действительны. Оно, ведь, сделать-то недолго, да чтоб крючков после не вышло. Уж делать, так надо, Самсон Силыч, прочней.

Большов. И то дело, чтоб оглядок не было.

Ризположенский. Как на чужого-то закрепишь, так уж и придраться-то не к чему. Спорь после, поди против подлинных-то[2] бумаг.

Большов. Только вот что беда-то: как закрепишь на чужого дом-то, а он, пожалуй, там и застрянет, как блоха на войне.

Ризположенский. Уж вы ищите, Самсон Силыч, такого человека, чтобы он совесть знал.

Большов. А где ты его найдешь нынче? Нынче всякий норовит, как тебя за ворот ухватить, а ты совести захотел.

Ризположенский. А я вот как мекаю, Самсон Силыч, хотите вы меня слушайте, хотите вы нет: каков человек у вас приказчик?

Большов. Который? Лазарь, что ли?

Ризположенский. Да, Лазарь Елизарыч.

Большов. Ну, а на Лазаря, так и пускай на него; он малый с понятием, да и капиталец есть.

Ризположенский. Что же, прикажете, Самсон Силыч, закладную или купчую?

Большов. А с чего процентов меньше, то и варгань. Как сделаешь все в аккурате, такой тебе, Сысой Псоич, магарыч[3] поставлю, просто сказать, угоришь.

Ризположенский. Уж будьте покойны, Самсон Силыч, мы свое дело знаем. А вы Лазарю-то Елизарычу говорили об этом деле али нет? Я, Самсон Силыч, рюмочку выпью. *(Пьет.)*

---

[1] *Заложи́ть* — предоставить лицу или учреждению имущество как вещественное обеспечение будущей уплаты займа.

[2] *По́длинных* — действительных.

[3] *Магары́ч* — угощение в вознаграждение за что-либо.

Большов. Нет еще. Вот нынче потолкуем. Он у меня парень-то дельный, ему только мигни, он и понимает. А уж сделает-то что, так пальца не подсунешь. — Ну! заложим мы дом, а потом что?

Ризположенский. А потом напишем реестрик, что вот, мол, так и так, по двадцати пяти копеек за рубль[1]: ну, и ступайте по кредиторам. — Коли кто больно заартачится, так можно и прибавить, а другому сердитому и все заплатить... Вы ему заплатите, а он чтобы писал, что по сделке получил по двадцати пяти копеек, так, для видимости, чтобы другим показать. Вот, мол, так и так, ну, и другие, глядя на них, согласятся.

Большов. Это точно, поторговаться не мешает: не возьмут по двадцати пяти, так полтину возьмут; а если полтины не возьмут, так за семь гривен[2] обеими руками ухватятся. Все-таки барыш. Там, что хошь говори, а у меня дочь невеста, хоть сейчас из полы в полу, да с двора долой. Да и самому-то, братец ты мой, отдохнуть пора; проклажались бы мы лежа на боку, и торговлю всю эту к черту. Да вот и Лазарь идет.

Явление одиннадцатое

Те же и Подхалюзин (входит).

Большов. Что скажешь, Лазарь? Ты из городу, что ль? Как у вас там?

Подхалюзин. Слава богу-с, идет помаленьку. Сысою Псоичу! *(Кланяется.)*

Ризположенский. Здравствуйте, батюшка Лазарь Елизарыч! *(Кланяется.)*

Большов. А идет, так и пусть идет. *(Помолчав.)* А вот ты бы, Лазарь, когда на досуге баланец[3] для меня сделал, учел бы розничную по панской-то части[4], ну и остальное, что там еще. А то торгуем, торгуем, братец, а пользы ни на грош. Али сидельцы, что ли, грешат, таскают родным да полюбовницам;

---

[1] Ризположенский предлагает Большову выплатить кредиторам вместо всей взятой у них суммы по 25 копеек с рубля, а имущество перевести на имя Подхалюзина, объявив себя банкротом.

[2] *Семь гри́вен* — семьдесят копеек.

[3] Искаж. *бала́нс.*

[4] Речь идет о товарах, покупаемых «господами».

их бы маленечко усовещевал. Что так без барыша-то небо коптить? Аль сноровки не знают? Пора бы, кажется.

Подхалюзин. Как же это можно, Самсон Силыч, чтобы сноровки не знать? Кажется, сам завсегда в городе бываю-с и завсегда толкуешь им-с.

Большов. Да что же ты толкуешь-то?

Подхалюзин. Известное дело-с, стараюсь, чтобы все было в порядке и как следует-с. Вы, говорю, ребята, не зевайте: видишь, чуть дело подходящее, покупатель что ли тумак какой подвернулся, али цвет с узором какой барышне понравился, взял, говорю, да и накинул рубль али два на аршин.

Большов. Чай, брат, знаешь, как немцы в магазинах наших бар обирают. Положим, что мы не немцы, а христиане православные, да тоже пироги-то с начинкой едим. Так ли? А?

Ризположенский смеется.

Подхалюзин. Дело понятное-с. И мерять-то, говорю, надо тоже поестественнее: тяни да потягивай, только-только чтоб, боже сохрани, как не лопнуло, ведь не нам, говорю, после носить. Ну, а зазеваются, так никто не виноват, можно, говорю, и просто через руку лишний раз аршин[1] шмыгнуть.

Большов. Все единственно: ведь портной украдет же. А? Украдет ведь?

Ризположенский. Украдет, Самсон Силыч, беспременно, мошенник, украдет; уж я этих портных знаю.

Большов. То-то вот; все они кругом мошенники, а на нас слава.

Ризположенский. Это точно, Самсон Силыч, это вы правду говорить изволите.

Большов. Эх, Лазарь, плохи нынче барыши: не прежние времена. *(Помолчав.)* Что, ведомости[2] принес?

Подхалюзин *(вынимая из кармана и подавая)*. Извольте получить-с.

Большов. Давай-кось, посмотрим. *(Надевает очки и просматривает.)*

Ризположенский. Я, Самсон Силыч, рюмочку выпью. *(Пьет, потом надевает очки, садится подле Большова и смотрит в газеты.)*

---

[1] *Аршúн* — мера длины = 0,711 м.

[2] *Вéдомости* — газета «Московские ведомости».

Большов *(читает вслух)*. «Объявления казенные и разных обществ: 1, 2, 3, 4, 5 и 6, от Воспитательного Дома». Это не по нашей части, нам крестьян не покупать. «7 и 8, от Московского Новерситета, от Губернских Правлений, от Приказов Общественного Призрения». Ну, и это мимо. «От Городской Шестигласной Думы»[1]. А нутко-сь, нет ли чего! *(Читает.)* «От Московской Городской Шестигласной Думы сим объявляется: не пожелают ли кто взять в содержание нижеозначенные оброчные статьи». Не наше дело: залоги надоть представлять. «Контора Вдовьего Дома сим приглашает...» Пускай приглашает, а мы не пойдем. «От Сиротского Суда». У самих ни отца, ни матери. *(Просматривает дальше.)* Эге! Вон оно куды пошло! Слушай-ко, Лазарь! «Такого-то года, Сентября 12-го дня, по определению Коммерческого Суда, первой гильдии[2] купец Федот Селиверстов Плешков объявлен несостоятельным должником[3]; вследствие чего...» Что тут толковать! Известно, что вследствие бывает. Вот-те и Федот Селиверстыч! Каков был туз, а в трубу вылетел. А что, Лазарь, не должен ли он нам?

Подхалюзин. Малость должен-с. Сахару для дома брали пудов[4] никак тридцать, не то сорок.

Большов. Плохо дело, Лазарь. Ну, да мне-то он сполна отдаст по-приятельски.

Подхалюзин. Сумнительно-с.

Большов. Сочтемся как-нибудь. *(Читает.)* «Московский 1-й гильдии купец Антип Сысоев Енотов объявлен несостоятельным должником». — За этим ничего нет?

Подхалюзин. За масло постное-с, об Великом посту брали бочонка с три-с.

Большов. Вот сухоядцы-то, постники! И Богу-то угодить на чужой счет норовят. Ты, брат, степенству-то этому не верь! Этот народ одной рукой крестится, а другой в чужую пазуху

---

[1] *Шестигла́сная Ду́ма* — городская дума, в которой каждый из шести разрядов городских обывателей имел один голос.

[2] *Ги́льдии* — три разряда (первый — высший), на которые в России делилось купечество в зависимости от величины капитала и от рода торговли. Объявление величины капитала предоставлялось на совесть каждого.

[3] *Несостоя́тельный должни́к* — банкрот, человек, который не может или не желает заплатить долги; последнего называли злостным, так как банкротство его умышленно, подложно.

[4] *Пуд* — мера веса = 16,3 кг.

лезет! Вот и третий: «Московский 2-й гильдии купец Ефрем Лукин Полуаршинников объявлен несостоятельным должником». Ну, а этот как?

Подхалюзин. Вексель[1] есть-с!

Большов. Протестован[2]?

Подхалюзин. Протестован-с. Сам-то скрывается-с.

Большов. Ну! и четвертый тут, Самопалов. Да что они, сговорились что ли?

Подхалюзин. Уж такой расподлеющий народ-с.

Большов *(ворочая листы)*. Да тут их не перечитаешь до завтрашнего числа. Возьми прочь!

Подхалюзин. Газету-то только пакостят. На все купечество мораль эдакая.

Молчание.

Ризположенский. Прощайте, Самсон Силыч, я теперь домой побегу: делишки есть кой-какие.

Большов. Да ты бы посидел немножко.

Ризположенский. Нет, ей-богу, Самсон Силыч, не время. Я уж к вам завтра пораньше зайду.

Большов. Ну, как знаешь!

Ризположенский. Прощайте!.. Прощайте, Лазарь Елизарыч! *(Уходит.)*

Явление двенадцатое

Большов и Подхалюзин.

Большов. Вот ты и знай, Лазарь, какова торговля-то! Ты думаешь что! Так вот даром и бери деньги. Как не деньги, скажет, — видал, как лягушки прыгают. На-ко, говорит, вексель. А по векселю-то с иных что возьмешь! Вот у меня есть завалящих тысяч на сто, и с протестами; только и дела, что каждый год подкладывай. Хошь за полтину серебра все отдам! Должников-то по ним, чай, и с собаками не сыщешь: которые повымерли, а которые поразбежались, некого и в яму[3] посадить. А и посадишь-то, Лазарь, так сам не рад: другой

---

[1] *Ве́кселъ* — письменное обязательство уплатить указанную сумму денег в определенный срок, написанное на гербовой бумаге по установленной форме.

[2] *Протестова́н* — предъявлен в суд для взыскания денег.

[3] *Я́ма* — здесь: долговая тюрьма.

так обдержится, что его оттедова куревом не выкуришь. Мне, говорит, и здесь хорошо, а ты проваливай. Так ли, Лазарь?

Подхалюзин. Уж это, как и водится.

Большов. Все вексель, да вексель! А что такое это вексель? Так, с позволения сказать, бумага, да и все тут. И на дисконту[1] отдашь, так проценты слупят, что в животе забурчит, да еще после своим добром отвечай. *(Помолчав.)* С городовыми[2] лучше не связывайся: все в долг, да в долг; а привезет ли, нет ли, так слепой мелочью да арабчиками[3], поглядишь — ни ног, ни головы, а на мелочи никакого звания давно уж нет. А вот ты тут, как хошь! Здешним торговцам лучше не показывай: в любой анбар[4] взойдет, только и дела, что нюхает, поковыряет, поковыряет да и прочь пойдет. Уж диви бы товару не было, — каким еще рожном торговать. Одна лавка москательная, другая красная, третья с бакалеей[5]; так нет, ничто не везет. На торги хошь не являйся; сбивают цены пуще черт знает чего; а наденешь хомут да еще и вязку подай, да магарычи, да угощенья, да разные там недочеты с провесами. Вон оно что! Чувствуешь ли ты это?

Подхалюзин. Кажется, должен чувствовать-с.

Большов. Вот какова торговля-то, вот тут и торгуй! *(Помолчав.)* Что, Лазарь, как ты думаешь?

Подхалюзин. Да как думать-с! Уж это как вам угодно. Наше дело подначальное.

Большов. Что тут подначальное: ты говори по душе. Я у тебя про дело спрашиваю.

Подхалюзин. Это опять-таки, Самсон Силыч, как вам угодно-с.

Большов. Наладил одно: как вам угодно. Да ты-то как?

Подхалюзин. Это я не могу знать-с.

Большов *(помолчав)*. Скажи, Лазарь, по совести, любишь ты меня?

---

[1] *Дисконт* — скидка при получении денег по векселю до срока.

[2] *Городовые* — здесь: провинциальные.

[3] *Арабчик* — червонец (около 3 рублей серебром).

[4] *Анбар* (искаж. *амбар*) — помещение для хранения товаров или торговое помещение.

[5] *Москательная* — торгующая красками, клеем, маслом; *красная* — мануфактурная, торгующая тканями, текстильными изделиями; *бакалейная* — торгующая сухими съестными товарами (чай, кофе, сахар, крупа и др.).

Молчание.

Любишь, что ли? Что ж ты молчишь? Поил, кормил, в люди вывел, кажется.

Молчание.

Подхалюзин. Эх, Самсон Силыч! Да что тут разговаривать-то-с. Уж вы во мне-то не сумневайтесь! Уж одно слово: вот как есть, весь тут.

Большов. Да что ж, что ты весь-то?

Подхалюзин. Уж коли того, а либо что, так останетесь довольны: себя не пожалею.

Большов. Ну так и разговаривать нечего. По мне, Лазарь, теперь самое настоящее время: денег наличных у нас довольно, векселям всем сроки подошли. Чего ж ждать-то? Дождешься, пожалуй, что какой-нибудь свой же брат, собачий сын, оберет тебя дочиста, а там, глядишь, сделает сделку по гривне за рубль, да и сидит в миллионе, и плевать на тебя не хочет. А ты, честный-то торговец, и смотри да казнись, хлопай глазами-то. Вот я и думаю, Лазарь, предложить кредиторам-то такую статью: не возьмут ли они у меня копеек по двадцати пяти за рубль. Как ты думаешь?

Подхалюзин. А уж по мне, Самсон Силыч, коли платить по двадцати пяти, так пристойнее совсем не платить.

Большов. А что? Ведь и правда. Храбростью-то никого не удивишь, а лучше тихим-то манером дельце обделать. Там после суди владыка на втором пришествии. Хлопот-то только куча. Дом-то и лавки я на тебя заложу.

Подхалюзин. Нельзя ж без хлопот-с. Вот векселя надо за что-нибудь сбыть-с, товар перевезти куда подальше. Станем хлопотать-с!

Большов. Оно так. Да старенек уж я становлюсь хлопотать-то. А ты помогать станешь?

Подхалюзин. Помилуйте, Самсон Силыч, в огонь и в воду полезу-с.

Большов. Эдак-то лучше. Черта ли там по грошам-то наживать! Махну сразу, да и шабаш. Только напусти Бог смелости. Спасибо тебе, Лазарь. Удружил! *(Встает.)* Ну, хлопочи! *(Подходит к нему и треплет по плечу.)* Сделаешь дело аккуратно, так мы с тобой барышами-то поделимся. Награжу на всю жизнь. *(Идет к двери.)*

Подхалюзин. Мне, Самсон Силыч, окромя вашего спокойствия ничего не нужно-с. Как жимши у вас с малолетства и видемши все ваши благодеяния; можно сказать, мальчишкой взят-с лавки подметать, следовательно, должен я чувствовать.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Контора в доме Большова. Прямо дверь, на левой стороне лестница наверх.

Явление первое

Тишка *(со щеткой на авансцене)*. Эх, житье, житье! Вот чем свет тут, ты полы мети! А мое ли дело полы мести? У нас все не как у людей! У других-то хозяев, коли уж мальчишка, так и живет в мальчиках, — стало быть при лавке присутствует. А у нас то туда, то сюда, целый день шаркай по мостовой, как угорелый. Скоро руку набьешь, держи карман-то. У добрых-то людей для разгонки держат дворника, а у нас он с котятами на печке лежит либо с кухаркой проклажается; а на тебе спросится. У других все-таки вольготность есть; иным часом проштрафишься што либо-о́што, по малолетствию тебе спускается; а у нас — коли не тот, так другой, коли не сам, так сама задаст вытрепку; а то вот приказчик Лазарь, а то вот Фоминишна, а то вот... всякая шваль над тобой командует. Вот она жисть-то какая анафемская. А уж это, чтобы урваться когда из дому, с приятелями в три листика[1], али в пристенок сразиться — и не думай лучше! Да, уж и в голове-то, правда, не то! *(Лезет на стул коленками и смотрит в зеркало.)* Здравствуйте, Тихон Савостьянович! Как вы поживаете? Все ли вы слава богу?.. А ну, Тишка, выкинь коленце. *(Делает гримасу.)* Вот оно что! *(Другую.)* Эвось оно как... *(Хохочет.)*

Явление второе

Тишка и Подхалюзин (крадется и хватает его за ворот).

Подхалюзин. А это ты, чертенок, что делаешь?

Тишка. Что! известно что! пыль стирал.

Подхалюзин. Языком-то стирал! Что ты за пыль на зеркале нашел! Покажу я тебе пыль. Ишь ломаешься! А вот я тебе заклею подзатыльника, так ты и будешь знать.

---

[1] *Три ли́стика* — название карточной игры.

Тишка. Будешь знать! Да было бы еще за что?

Подхалюзин. А за то, что за что! Поговоришь, так и увидишь, за что! Вот пикни еще!

Тишка. Да, пикни еще! Я ведь и хозяину скажу, не что́ возьмешь!

Подхалюзин. Хозяину скажу!.. Что мне твой хозяин?.. Я, коли на то пошло... хозяин мне твой!.. На то ты и мальчишка, чтоб тебя учить, а ты думал что! Вас, пострелят, не бить, так и добра не видать. Прахтика-то эта известная. Я, брат, и сам огни, и воды, и медные трубы прошел.

Тишка. Знаем, что прошел.

Подхалюзин. Цыц, дьяволенок! *(Замахивается.)*

Тишка. Накось, попробуй! нешто не скажу, ей-богу скажу!

Подхалюзин. Да что ты скажешь-то, чертова перечница?

Тишка. Что скажу? А то, что лаешься!

Подхалюзин. Важное кушанье! Ишь ты барин какой! Подитко-сь! Был Сысой Псоич?

Тишка. Известно, был.

Подхалюзин. Да ты, чертенок, говори толком! Зайти что ль хотел?

Тишка. Зайти хотел!

Подхалюзин. Ну, так ты сбегай на досуге.

Тишка. Рябиновки, что ли?

Подхалюзин. Да, рябиновки. Надо Сысоя Псоича попотчевать. *(Дает деньги.)* Купи полштофа, а сдачу возьми уж себе на пряники. Только ты, смотри, проворней, чтобы не хватились!

Тишка. Стриженая девка косы не заплетет. Так начну порхать — живым манером.

Явление третье

Подхалюзин *(один)*. Вот беда-то! Вот она где беда-то пришла на нас! Что теперь делать-то? Ну, плохо дело! Не миновать теперь несостоятельным объявиться! Ну, положим, хозяину что-нибудь и останется, а я-то при чем буду? Мне-то куда деться? В проходном ряду пылью торговать! Служил, служил лет двадцать, а там ступай мостовую грани. Как теперь это дело рассудить надо? Товаром, что ли? Вот векселя

велел продать *(вынимает и читает)*: тут, должно быть, попользоваться будет можно. *(Ходит по комнате.)* Говорят, надо совесть знать! Да, известное дело, надо совесть знать, да в каком это смысле понимать нужно? Против хорошего человека у всякого есть совесть; а коли он сам других обманывает, так какая же тут совесть! Самсон Силыч купец богатейший, и теперича все это дело, можно сказать, так, для препровождения времени затеял. А я человек бедный! Если и попользуюсь в этом деле чем-нибудь лишним — так и греха нет никакого: потому он сам несправедливо поступает, против закона идет. А мне что его жалеть. Вышла линия, ну и не плошай: он свою политику ведет, а ты свою статью гони. Еще то ли бы я с ним сделал, да не приходится. Хм! — Ведь залезет эдакая фантазия в голову человеку! Конечно, Алимпияда Самсоновна барышня образованная, и, можно сказать, каких в свете нет; а ведь этот жених ее теперича не возьмет, скажет, денег дай! А денег где взять? И уж не быть ей теперь за благородным, потому денег нет. Рано ли, поздно ли, а придется за купца отдавать! *(Ходит молча.)* А понабравши деньжонок да поклониться Самсону Силычу, дескать, я, Самсон Силыч, в таких летах, что должен подумать о продолжении потомства, и я, мол, Самсон Силыч, для вашего спокойствия пота-крови не жалел. Конечно, мол, Алимпияда Самсоновна барышня образованная, да ведь и я, Самсон Силыч, не лыком шит, сами изволите видеть, имею капиталец и могу кругом себя ограничить на этот предмет. — Отчего не отдать за меня? Чем я не человек? Ни в чем не замечен, к старшим почтителен! Да при всем том, как заложили мне Самсон Силыч дом и лавки, так и закладной-то можно пугнуть. А знамши-то характер Самсона Силыча, каков он есть, — это и очень может случиться. У них такое заведение: коли им что попало в голову, уж ничем не выбьешь оттедова. Все равно, как в четвертом году захотели бороду обрить: сколько ни просили Аграфена Кондратьевна, сколько ни плакали, — нет, говорит, после опять отпущу, а теперь поставлю на своем: взяли да и обрили. Так вот и это дело: потрафь я по них или так взойди им в голову — завтра же под венец, и баста, и разговаривать не смей. Да от этакого удовольствия с Ивана Великого[1] спрыгнуть можно!

---

[1] *Иван Великий* — колокольня в Московском Кремле высотой около 83 м.

Явление пятое

Подхалюзин и Ризположенский.

Подхалюзин. А, наше вам-с!

Ризположенский. К вам, батюшка Лазарь Елизарыч! к вам! Право. Думаю, мол, мало ли что, может, что и нужно. Это водочка у вас? Я, Лазарь Елизарыч, рюмочку выпью. Что-то руки стали трястись по утрам, особенно вот правая; как писать что, Лазарь Елизарыч, так все левой придерживаю. Ей-богу! А выпьешь водочки, словно лучше. *(Пьет.)*

Подхалюзин. От чего же это у вас руки трясутся?

Ризположенский *(садится к столу).* От заботы, Лазарь Елизарыч, от заботы, батюшка.

Подхалюзин. Так-с? А я так полагаю, от того, что больно народ грабите. За неправду Бог наказывает.

Ризположенский. Эх, хе, хе... Лазарь Елизарыч! Где нам грабить! Делишки наши маленькие. Мы, как птицы небесные, по зернышку клюем.

Подхалюзин. Вы, стало быть, по мелочам?

Ризположенский. Будешь и по мелочам, как взять-то негде. Ну, еще нешто, кабы один, а то, ведь, у меня жена да четверо ребятишек. Все есть просят, голубчики. Тот говорит — тятенька, дай, другой говорит — тятенька, дай. Одного вот в гимназию определил: мундирчик надобно, то, другое. А домишко-то эвоно где!.. Что сапогов одних истреплешь, ходимши к Воскресенским воротам с Бутырок-то.

Подхалюзин. Это точно-с.

Ризположенский. А зачем ходишь-то: кому просьбишку изобразишь, кого в мещане припишешь. Иной день и полтины серебром домой не принесешь. Ей-богу, не лгу. Чем тут жить? Я, Лазарь Елизарыч, рюмочку выпью. *(Пьет.)* А я думаю: забегу, мол, я к Лазарю Елизарычу, не даст ли он мне деньжонок что-нибудь.

Подхалюзин. А за какие же это провинности-с?

Ризположенский. Как за какие провинности! Вот уж грех, Лазарь Елизарыч! Нешто я вам не служу? По гроб слуга, что хотите, заставьте. А закладную-то вам выхлопотал.

Подхалюзин. Ведь, уж вам заплачено! И толковать-то вам об одном и том же не приходится!

Ризположенский. Это точно, Лазарь Елизарыч, заплачено. Это точно! Эх, Лазарь Елизарыч, бедность-то меня одолела.

Подхалюзин. Бедность одолела! Это бывает-с. *(Подходит и садится к столу.)* А у нас вот лишние есть-с: девать некуда. *(Кладет бумажник на стол.)*

Ризположенский. Что вы, Лазарь Елизарыч, неужто лишние? Небось, шутите?

Подхалюзин. Окромя всяких шуток-с.

Ризположенский. А коли лишние, так отчего же бедному человеку не помочь. Вам Бог пошлет за это.

Подхалюзин. А много ли вам требуется?

Ризположенский. Дайте три целковеньких[1].

Подхалюзин. Что так мало-с?

Ризположенский. Ну, дайте пять.

Подхалюзин. А вы просите больше.

Ризположенский. Ну уж, коли милость будет, дайте десять.

Подхалюзин. Десять-с! Так, задаром?

Ризположенский. Как задаром! Заслужу, Лазарь Елизарыч, когда-нибудь сквитаемся.

Подхалюзин. Все это буки-с. Улита едет, да когда-то она будет. А мы теперь с вами вот какую материю заведем: много ли вам Самсон Силыч обещали за всю эту механику?

Ризположенский. Стыдно сказать, Лазарь Елизарыч, тысячу рублей да старую шубу енотовую. Уж меньше меня никто не возьмет, ей-богу, вот хоть приценитесь подите.

Подхалюзин. Ну, так вот что, Сысой Псоич, я вам дам две тысячи-с за этот же самый предмет-с.

Ризположенский. Благодетель вы мой, Лазарь Елизарыч! С женой и с детьми в кабалу пойду.

Подхалюзин. Сто серебром теперь же-с, а остальные после, по окончании этого происшествия-с.

Ризположенский. Ну, вот, как за эдаких людей Богу не молить! Только какая-нибудь свинья необразованная может не чувствовать этого. Я вам в ножки поклонюсь, Лазарь Елизарыч!

Подхалюзин. Это уж на что же-с! Только, Сысой Псоич, уж хвостом не вертеть туда и сюда, а ходи в аккурате, — попал на эту точку и вертись на этой линии. Понимаете-с?

Ризположенский. Как не понимать! Что вы, Лазарь Елизарыч, маленький, что ли, я! Пора понимать!

Подхалюзин. Да что вы понимаете-то? Вот дела-то какие-с. Вы прежде выслушайте. Приезжаем мы с Самсоном

---

[1] *Целко́вый* — один рубль.

Силычем в город, и эрестрик[1] этот привезли, как следует. — Вот он и пошел по кредиторам: тот не согласен, другой не согласен; да так, ни один-таки нейдет на эту штуку. Вот она какая статья-то.

Ризположенский. Что вы это говорите, Лазарь Елизарыч! А! Вот поди ж ты! Вот народ-то!

Подхалюзин. Как бы нам теперича с этим делом не опростоволоситься! Понимаете вы меня, али нет?

Ризположенский. То есть насчет несостоятельности, Лазарь Елизарыч?

Подхалюзин. Несостоятельность там сама по себе; а насчет моих-то делов.

Ризположенский. Хе, хе, хе... то есть дом-то с лавками... эдак... дом-то... хе, хе, хе.

Подхалюзин. Что-о-с?

Ризположенский. Нет-с, это я так, Лазарь Елизарыч, по глупости, как будто для шутки.

Подхалюзин. То-то для шутки! А вы этим не шутите-с. Тут не то что дом, у меня теперь такая фантазия в голове об этом предмете, что надо с вами обширно потолковать-с! Пойдемте ко мне-с... Тишка!

Явление седьмое

Устинья Наумовна и Подхалюзин.

Подхалюзин. А! Устинья Наумовна! Сколько лет, сколько зим-с!

Устинья Наумовна. Здравствуй, живая душа, каково попрыгиваешь?

Подхалюзин. Что нам делается-с. *(Садится.)*

Устинья Наумовна. Мамзельку, коли хочешь, высватаю.

Подхалюзин. Покорно благодарствуйте, — нам пока не требуется.

Устинья Наумовна. Сам, серебряный, не хочешь, приятелю удружу. У тебя ведь, чай, знакомых-то по городу, что собак.

Подхалюзин. Да есть-таки около того-с.

---

[1] Искаж. *реéстрик* (перечень, список).

Устинья Наумовна. Ну, а коли есть, так и слава тебе господи! Чуть мало-мальски жених, холостой ли он, не женатый ли, вдовец ли какой, — прямо и тащи ко мне.

Подхалюзин. Так вы его и жените?

Устинья Наумовна. Так и женю. Отчего ж не женить, и не увидишь, как женю.

Подхалюзин. Это дело хорошее-с. А вот теперича я у вас спрошу, Устинья Наумовна, за чем это вы к нам больно часто повадились?

Устинья Наумовна. А тебе что за печаль! За чем бы я ни ходила. Я ведь не краденая какая, не овца без имени. Ты что за спрос?

Подхалюзин. Да так-с, не напрасно ли ходите-то?

Устинья Наумовна. Как напрасно? С чего это ты, серебряный, выдумал! Посмотри-ко, какого жениха нашла. — Благородный, крестьяне есть, и из себя молодец.

Подхалюзин. За чем же дело стало-с?

Устинья Наумовна. Ни за чем не стало! Хотел завтра приехать да обзнакомиться. А там обвертим, да и вся недолга.

Подхалюзин. Обвертите, попробуйте — задаст он вам копоти.

Устинья Наумовна. Что ты, здоров ли, яхонтовый?

Подхалюзин. Вот вы увидите!

Устинья Наумовна. До вечера не дожить; ты, алмазный, либо пьян, либо вовсе с ума свихнул.

Подхалюзин. Уж об этом-то вы не извольте беспокоиться, вы об себе-то подумайте, а мы знаем, что знаем.

Устинья Наумовна. Да что ты знаешь-то?

Подхалюзин. Мало ли что знаем-с.

Устинья Наумовна. А коли что знаешь, так и нам скажи; авось язык-то не отвалится.

Подхалюзин. В том-то и сила, что сказать-то нельзя.

Устинья Наумовна. Отчего ж нельзя, меня что ль совестишься, бралиянтовый, ничего — говори, нужды нет.

Подхалюзин. Тут не об совести дело. А вам скажи, вы, пожалуй, и разболтаете.

Устинья Наумовна. Анафема хочу быть, коли скажу, — руку даю на отсечение.

Подхалюзин. То-то же-с. Уговор лучше денег-с.

Устинья Наумовна. Известное дело. Ну, что же ты знаешь-то?

Подхалюзин. А вот что-с, Устинья Наумовна, нельзя ли как этому вашему жениху отказать-с?

Устинья Наумовна. Да что ты, белены что ль объелся?

Подхалюзин. Ничего не объелся-с! А если вам угодно говорить по душе, по совести-с, так это вот какого рода дело-с: у меня есть один знакомый купец из русских, и они оченно влюблены в Алимпияду Самсоновну-с. Что, говорит, ни дать, только бы жениться; ничего, говорит, не пожалею.

Устинья Наумовна. Что ж ты мне прежде-то, алмазный, не сказал?

Подхалюзин. Сказать-то было нечего, по тому самому, что я и сам-то недавно узнал-с.

Устинья Наумовна. Уж теперь поздно, бралиянтовый!

Подхалюзин. Уж какой жених-то, Устинья Наумовна! Да он вас с ног до головы золотом осыплет-с, из живых соболей шубу сошьет.

Устинья Наумовна. Да, голубчик, нельзя! Рада бы я радостью, да уж я слово дала.

Подхалюзин. Ну, как угодно-с! А за этого высватаете, так беды наживете, что после и не расхлебаете.

Устинья Наумовна. Ну, ты сам рассуди, с каким я рылом покажусь к Самсону-то Силычу? — Наговорила им с три короба, что и богат-то, и красавец-то, и влюблен-то так, что и жить не может; а теперь что скажу? Ведь ты сам знаешь, каково у вас чадочко Самсон-то Силыч, ведь он, неровён час, и чепчик помнет.

Подхалюзин. Ничего не помнет-с.

Устинья Наумовна. Да и девку-то раздразнила, на дню два раза присылает: что жених, да как жених?

Подхалюзин. А вы, Устинья Наумовна, не бегайте от своего счастья-с. Хотите две тысячи рублей и шубу соболью, чтобы только свадьбу эту расстроить-с? А за сватовство у нас особый уговор будет-с. Я вам говорю-с, что жених такой, что вы сроду и не видывали; только вот одно-с: происхождения не благородного.

Устинья Наумовна. А они-то разве благородные? То-то и беда, яхонтовый! Нынче заведение такое пошло, что всякая тебе лапотница в дворянство норовит. — Вот хоть бы и Алимпияда-то Самсоновна, конечно, дай ей Бог доброго

здоровья, жалует по-княжески, а происхождения-то небось хуже нашего. — Отец-то, Самсон Силыч, голицами[1] торговал на Балчуге; добрые люди Самсошкою звали, подзатыльниками кормили. Да и матушка-то, Аграфена Кондратьевна, чуть-чуть не панёвница[2], — из Преображенского взята. А нажили капитал, да в купцы вылезли, так и дочка в прынцесы норовит. А все это денежки. Вот я, чем хуже ее, а за ее же хвостом наблюдай. Воспитанья-то тоже не бог знает какого: пишет-то, как слон брюхом ползает, по-французскому, али на фортопьянах тоже сям, тям, да и нет ничего; ну а танец-то отколоть — я и сама пыли в нос пущу.

Подхалюзин. Ну вот видите ли — за купцом-то быть ей гораздо пристойнее.

Устинья Наумовна. Да как же мне с женихом-то быть, серебряный? Я его-то уж больно уверила, что такая Алимпияда Самсоновна красавица, что настоящий тебе патрет: и образованная, говорю, и по-французскому, и на разные манеры знает. Что ж я ему теперь-то скажу?

Подхалюзин. Да вы и теперь то же ему скажите, что, мол, и красавица, и образованная, и на всякие манеры, только, мол, они деньгами порасстроились, так он сам откажется!

Устинья Наумовна. А что ведь, и правда, бриллиантовый. Да нет, постой! Как же! Ведь я ему сказала, что у Самсона Силыча денег куры не клюют.

Подхалюзин. То-то, прытки вы очень рассказывать-то. А почем вы знаете, сколько у Самсона Силыча денег-то, нешто вы считали?

Устинья Наумовна. Да уж это кого ни спроси, всякий скажет, что Самсон Силыч купец богатейший.

Подхалюзин. Да! Много вы знаете! А что после того будет, как высватаете значительного человека, а Самсон Силыч денег-то не даст? А он после всего этого вступится, да скажет: я, дескать, не купец, что меня можно приданым обманывать! Да еще, как значительный-то человек, подаст жалобу в суд, потому что значительному человеку везде ход есть-с: мы-то с Самсон Силычем попались, да и вам-то не уйти. Ведь вы сами знаете: можно обмануть приданым нашего брата, с рук

---

[1] *Голи́цы* — кожаные рукавицы без теплой подкладки.

[2] *Панёвница* — простолюдинка (от слова *панёва* — бабья шерстяная юбка).

сойдет, а значительного человека обманú-ко поди, так после и не уйдешь.

Устинья Наумовна. Уж полно тебе путать-то меня! Сбил с толку совсем.

Подхалюзин. А вы вот возьмите задаточку сто серебра, да и по рукам-с.

Устинья Наумовна. Так ты, яхонтовый, говоришь, что две тысячи рублей да шубу соболью?

Подхалюзин. Точно так-с. Уж будьте покойны! А надемши-то шубу соболью, Устинья Наумовна, да по гулянью пройдетесь, — другой подумает, генеральша какая.

Устинья Наумовна. А что ты думаешь, да и в самом деле! Как надену соболью шубу-то, поприбодрюсь, да руки-то в боки, так ваша братья — бородастые, рты разинете. Разахаются так, что пожарной трубой не зальешь; жены-то с ревности вам все носы пообборвут.

Подхалюзин. Это точно-с!

Устинья Наумовна. Давай задаток! Была не была!

Подхалюзин. А вы, Устинья Наумовна, вольным духом, не робейте!

Устинья Наумовна. Чего робеть-то. Только смотри: две тысячи рублей да соболью шубу.

Подхалюзин. Говорю вам, из живых сошьем. Уж что толковать!

Устинья Наумовна. Ну, прощай, изумрудный. Побегу теперь к жениху. Завтра увидимся, так я тебе все отлепартую.

Подхалюзин. Погодите! куда бежать-то! Зайдите ко мне — водочки выпьем-с. Тишка! Тишка!

Входит Тишка.

Ты смотри, коли хозяин приедет, так ты в те поры прибеги за мной.

Уходят.

Явление десятое

Подхалюзин, Большов и Тишка.

Большов. Убирайся к свиньям!

Фоминишна уходит.

(К Тишке.) Что ты рот-то разинул! Аль тебе дела нет?

Подхалюзин *(к Тишке)*. Говорили тебе, кажется!

Тишка уходит.

Большов. Стряпчий был?

Подхалюзин. Был-с.

Большов. Говорил ты с ним?

Подхалюзин. Да что, Самсон Силыч, разве он чувствует? Известно, чернильная душа-с! Одно ладит — объявиться несостоятельным.

Большов. Что ж, объявиться, так объявиться — один конец.

Подхалюзин. Ах, Самсон Силыч, что это вы изволите говорить!

Большов. Что же, деньги заплатить? Да с чего же это ты взял? Да я лучше все огнем сожгу, а уж им ни копейки не дам. Перевози товар, продавай векселя, пусть тащут, воруют, кто хочет, а уж я им не плательщик.

Подхалюзин. Помилуйте, Самсон Силыч, заведение было у нас такое превосходное, и теперь должно все в расстройство прийти.

Большов. А тебе что за дело? Не твое было. Ты старайся только, — от меня забыт не будешь.

Подхалюзин. Не нуждаюсь я ни в чем после вашего благодеяния. И напрасно вы такой сюжет обо мне имеете. Я теперича готов всю душу отдать за вас, а не то, чтобы какой фальш сделать. Вы подвигаетесь к старости, Аграфена Кондратьевна дама изнеженная, Алимпияда Самсоновна барышня образованная, и в таких годах; надобно и об ней заботливость приложить-с. А теперь такие обстоятельства: мало ли что может произойти из всего этого.

Большов. А что такое произойти может? Я один в ответе.

Подхалюзин. Что об вас-то толковать! Вы, Самсон Силыч, отжили свой век; слава богу, пожили, а Алимпияда-то Самсоновна, известное дело, барышня, каких в свете нет. Я вам, Самсон Силыч, по совести говорю, то есть как это все по моим чувствам: если я теперича стараюсь для вас, и все мои усердия, можно сказать, не жалея пота-крови, прилагаю, — так это все больше по тому самому, что жаль мне вашего семейства.

Большов. Полно, так ли?

Подхалюзин. Позвольте-с: ну, положим, что это все благополучно кончится-с; хорошо-с. Останется у вас чем пристроить Алимпияду Самсоновну. Ну, об этом и толковать нечего-с; были бы деньги, а женихи найдутся-с. Ну, а грех какой, сохрани Господи! как придерутся, да начнут по судам таскать, да на все семейство эдакая мораль пойдет, а еще, пожалуй, и имение-то все отнимут: должны будут они-с голод и холод терпеть, и без всякого призрения, как птенцы какие беззащитные. Да это сохрани Господи! это что ж будет тогда? *(Плачет.)*

Большов. Да об чем же ты плачешь-то?

Подхалюзин. Конечно, Самсон Силыч, я это к примеру говорю — в добрый час молвить, в худой промолчать, от слова не станется; а ведь враг-то силен — горами шатает.

Большов. Что ж делать-то, братец, уж знать такая воля Божия, против ее не пойдешь.

Подхалюзин. Это точно, Самсон Силыч! А все-таки, по моему глупому рассуждению, пристроить бы до поры до времени Алимпияду Самсоновну за хорошего человека; так уж тогда будет она, по крайности, как за каменной стеной-с. Да, главное, чтобы была душа у человека, так он будет чувствовать. А то вон, что сватался за Алимпияду Самсоновну, благородный-то — и оглобли назад поворотил.

Большов. Как назад? Да с чего это ты выдумал?

Подхалюзин. Я, Самсон Силыч, не выдумал, — вы спросите Устинью Наумовну. Должно быть, что-нибудь прослышал, кто его знает.

Большов. А ну его! По моим делам теперь не такого нужно.

Подхалюзин. Вы, Самсон Силыч, возьмите в рассуждение: я посторонний человек, не родной, — а для вашего благополучия ни дня, ни ночи себе покою не знаю, да и сердце-то у меня все изныло; а за него отдают барышню, можно сказать, красоту неописанную; да и денег еще дают-с, а он ломается, да важничает, ну есть ли в нем душа после всего этого?

Большов. Ну, а не хочет, так и не надо, не заплачем!

Подхалюзин. Нет, вы, Самсон Силыч, рассудите об этом: есть ли душа у человека? Я вот посторонний совсем, да не могу же без слез видеть всего этого. Поймите вы это, Самсон Силыч! Другой бы и внимания не взял так убиваться из-за чужого дела-с; а ведь меня теперь вы хоть гоните, хоть

бейте, а я уж вас не оставлю; потому не могу — сердце у меня не такое.

Большов. Да как же тебе оставить-то меня, только ведь и надежды-то теперь, что ты. Сам я стар, дела подошли тесные. Погоди: может, еще такое дело сделаем, что ты и не ожидаешь.

Подхалюзин. Да не могу же я этого сделать, Самсон Силыч. Поймите вы из этого: не такой я совсем человек! Другому, Самсон Силыч, конечно, это все равно-с, ему хоть трава не расти, а уж я не могу-с; сами изволите видеть-с, хлопочу я али нет-с. Как черт какой, убиваюсь я теперича из-за вашего дела-с; потому что не такой я человек-с. Жалеючи вас, это делается, и не столько вас, сколько семейство ваше. Сами изволите знать, Аграфена Кондратьевна дама изнеженная, Алимпияда Самсоновна барышня, каких в свете нет-с...

Большов. Неужто и в свете нет? — Уж ты, брат, не того ли?..

Подхалюзин. Чего-с?.. Нет, я ничего-с!..

Большов. То-то, брат, ты уж лучше откровенно говори. — Влюблен ты что ли в Алимпияду Самсоновну?

Подхалюзин. Вы, Самсон Силыч, может, шутить изволите.

Большов. Что за шутка! Я тебя без шуток спрашиваю.

Подхалюзин. Помилуйте, Самсон Силыч, смею ли я это подумать-с.

Большов. А что ж бы такое не сметь-то? Что она княжна что ли какая?

Подхалюзин. Хотя и не княжна; да как бымши вы моим благодетелем и вместо отца родного... Да нет, Самсон Силыч, помилуйте, как же это можно-с, неужели же я этого не чувствую!

Большов. Так ты, стало быть, ее не любишь?

Подхалюзин. Как же не любить-с, помилуйте, кажется, больше всего на свете. Да нет-с, Самсон Силыч, как же это можно-с.

Большов. Ты бы так и говорил, что люблю, мол, больше всего на свете.

Подхалюзин. Да как же не любить-с. Сами извольте рассудить: день думаю, ночь думаю... то бишь, известное дело, Алимпияда Самсоновна барышня, каких в свете нет... Да нет, этого нельзя-с. Где же нам-с!..

Большов. Да чего же нельзя-то, дура-голова?

Подхалюзин. Да как же можно, Самсон Силыч? Как знамши я вас, как отца родного, и Алимпияду Самсоновну-с, и опять знамши себя, что я такое значу, — где же мне с суконным-то рылом-с.

Большов. Ничего не суконное. Рыло как рыло. Был бы ум в голове, — а тебе ума-то не занимать стать, этим добром Бог наградил. Так что же, Лазарь, посватать тебе Алимпияду-то Самсоновну, а? Красавицу-то неописанную?

Подхалюзин. Да помилуйте, смею ли я? Алимпияда-то Самсоновна, может быть, на меня глядеть-то не захочет-с!

Большов. Важное дело! Не плясать же мне по ее дудочке на старости лет. За кого велю, за того и пойдет. Мое детище: хочу с кашей ем, хочу масло пахтаю. — Ты со мной-то толкуй.

Подхалюзин. Не смею я, Самсон Силыч, об этом с вами говорить-с. Не хочу быть подлецом против вас.

Большов. Экой ты, братец, глупый! Кабы я тебя не любил, нешто бы я так с тобой разговаривал? Понимаешь ли ты, что я могу на всю жизнь тебя счастливым сделать! Всю жизнь могу тебе даровать.

Подхалюзин. А нешто я вас не люблю, Самсон Силыч, больше отца родного? Да накажи меня Бог!.. Да что я за скотина!

Большов. Ну, а дочь любишь?

Подхалюзин. Изныл весь-с! Вся душа-то у меня перевернулась давно-с!

Большов. Ну, а коли душа перевернулась, так мы тебя поправим. Владей, Фаддей, нашей Маланьей.

Подхалюзин. Тятенька, за что жалуете? Не сто́ю я этого, не сто́ю! И физиономия у меня совсем не такая.

Большов. Ну ее, физиономию! А вот я на тебя все имение переведу; так после кредиторы-то и пожалеют, что по двадцати пяти копеек не взяли.

Подхалюзин. Еще как пожалеют-то-с!

Большов. Ну, ты ступай теперь в город, а ужотко заходи к невесте: мы над ними шутку подшутим.

Подхалюзин. Слушаю, тятенька-с!

Уходят.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Декорация первого действия.

Явление третье

Устинья Наумовна *(входя)*. Здравствуйте, золотые! Что вы не веселы — носы повесили? *(Целуются.)*

Аграфена Кондратьевна. А уж мы заждались тебя.

Липочка. Что, Устинья Наумовна, скоро приедет?

Устинья Наумовна. Виновата, сейчас провалиться, виновата! А дела-то наши, серебряные, не очень хороши!

Липочка. Как? что такое за новости?

Аграфена Кондратьевна. Что ты еще там выдумала?

Устинья Наумовна. А то, бралиянтовые, что жених-то наш что-то мнется.

Большов. Ха, ха, ха! А еще сваха! Где тебе сосватать!

Устинья Наумовна. Уперся, как лошадь — ни тпру ни ну; слова от него не добьешься путного.

Липочка. Да что ж это, Устинья Наумовна? Да как же это ты, право!

Аграфена Кондратьевна. Ах, батюшки! Да как же это быть-то?

Липочка. Да давно ль ты его видела?

Устинья Наумовна. Нынче утром была. Вышел как есть в одном шлафорке[1], а уж употчевал, — можно чести приписать. И кофию велел, и ромку-то, а уж сухарей навалил — видимо-невидимо. Кушайте, говорит, Устинья Наумовна! Я было об деле-то, знаешь ли — надо, мол, чем-нибудь порешить; ты, говорю, нынче хотел ехать обзнакомиться-то; а он мне на это ничего путного не сказал. — Вот, говорит, подумамши, да посоветамшись, а сам только что опояску поддергивает.

Липочка. Что ж он там спустя рукава-то сантиментальничает? Право, уж тошно смотреть, как все это продолжается.

Аграфена Кондратьевна. И в самом деле, что он ломается-то? Мы разве хуже его?

Устинья Наумовна. А, лягушка его заклюй, нешто мы другого не найдем?

Большов. Ну уж ты другого-то не ищи, а то опять то же будет. Уж другого-то я вам сам найду.

---

[1] Искаж. *шла́фрок* — халат.

Аграфена Кондратьевна. Да, найдешь, на печи-то сидя; ты уж и забыл, кажется, что у тебя дочь-то есть.

Большов. А вот увидим!

Аграфена Кондратьевна. Что увидать-то! Увидать-то нечего! Уж не говори ты мне, пожалуйста, — не расстравай ты меня. *(Садится.)*

Большов хохочет, Устинья Наумовна отходит с Липочкой на другую сторону сцены. Устинья Наумовна рассматривает ее платье.

Устинья Наумовна. Ишь ты, как вырядилась, — платьице-то на тебе какое авантажное[1]. Уж не сама ль смастерила?

Липочка. Вот ужасно нужно самой! Что мы нищие, что ли, по-твоему? А мадамы-то на что?

Устинья Наумовна. Фу ты, уж и нищие! Кто тебе говорит такие глупости? Тут рассуждают об хозяйстве, что не сама ль, дескать, шила, — а то, известное дело, и платье-то твое дрянь.

Липочка. Что ты, что ты! Никак с ума сошла? Где у тебя глаза-то? С чего это ты конфузить вздумала?

Устинья Наумовна. Что это ты так разъерепенилась?

Липочка. Вот оказия! Стану я терпеть такую напраслину! Да что я, девчонка, что ли, какая необразованная?

Устинья Наумовна. С чего это ты взяла? Откуда нашел на тебя эдакой каприз? Разве я хулю твое платье? Чем не платье — и всякий скажет, что платье. Да тебе-то оно не годится, по красоте-то твоей совсем не такое надобно, — исчезни душа, коли лгу. Для тебя золотого мало: подавай нам шитое жемчугом. — Вот и улыбнулась, изумрудная! Я ведь знаю, что говорю!

Тишка *(входит)*. Сысой Псоич приказали спросить, можно ли, дескать, взойти. Они тамотка у Лазаря Елизарыча.

Большов. Пошел, зови его сюда и с Лазарем.

Тишка уходит.

Аграфена Кондратьевна. Что ж, — недаром же закуска-то приготовлена — вот и закусим. А уж тебе, чай, Устинья Наумовна, давно водочки хочется?

Устинья Наумовна. Известное дело — адмиральский час — самое настоящее время.

---

[1] *Авантáжное* — видное, красивое.

Аграфена Кондратьевна. Ну, Самсон Силыч, трогайся с места-то, что так-то сидеть.

Большов. Погоди, вот те подойдут — еще успеешь.

Липочка. Я, маменька, пойду разденусь.

Аграфена Кондратьевна. Поди, дитятко, поди.

Большов. Погоди раздеваться-то — жених приедет.

Аграфена Кондратьевна. Какой там еще жених — полно дурачиться-то.

Большов. Погоди, Липа, жених приедет.

Липочка. Кто же это, тятенька? Знаю я его или нет?

Большов. А вот увидишь, так, может, и узнаешь.

Аграфена Кондратьевна. Что ты его слушаешь, какой там еще шут приедет! Так язык чешет.

Большов. Говорят тебе, что приедет, так уж я, стало быть, знаю, что говорю.

Аграфена Кондратьевна. Коли кто в самом деле приедет, так уж ты бы путем говорил, — а то приедет, приедет, а бог знает кто приедет. Вот всегда так.

Липочка. Ну, так я, маменька, останусь. *(Подходит к зеркалу и смотрится; потом к отцу.)* Тятенька!

Большов. Что тебе?

Липочка. Стыдно сказать, тятенька!

Аграфена Кондратьевна. Что за стыд, дурочка! Говори, коли что нужно.

Устинья Наумовна. Стыд не дым — глаза не выест.

Липочка. Нет, ей-богу, стыдно!

Большов. Ну, закройся, коли стыдно.

Аграфена Кондратьевна. Шляпку что ли новую хочется?

Липочка. Вот и не угадали, вовсе не шляпку.

Большов. Так чего ж тебе?

Липочка. Выйти замуж за военного!

Большов. Эк ведь что вывезла!

Аграфена Кондратьевна. Акстись, беспутная! Христос с тобой!

Липочка. Что ж, — ведь другие выходят же.

Большов. Ну и пускай их выходят, а ты сиди у моря да жди погодки.

Аграфена Кондратьевна. Да ты у меня и заикаться не смей! Я тебе и родительского благословенья не дам.

Аграфена Кондратьевна. Да, найдешь, на печи-то сидя; ты уж и забыл, кажется, что у тебя дочь-то есть.

Большов. А вот увидим!

Аграфена Кондратьевна. Что увидать-то! Увидать-то нечего! Уж не говори ты мне, пожалуйста, — не расстравай ты меня. *(Садится.)*

Большов хохочет, Устинья Наумовна отходит с Липочкой на другую сторону сцены. Устинья Наумовна рассматривает ее платье.

Устинья Наумовна. Ишь ты, как вырядилась, — платьице-то на тебе какое авантажное[1]. Уж не сама ль смастерила?

Липочка. Вот ужасно нужно самой! Что мы нищие, что ли, по-твоему? А мадамы-то на что?

Устинья Наумовна. Фу ты, уж и нищие! Кто тебе говорит такие глупости? Тут рассуждают об хозяйстве, что не сама ль, дескать, шила, — а то, известное дело, и платье-то твое дрянь.

Липочка. Что ты, что ты! Никак с ума сошла? Где у тебя глаза-то? С чего это ты конфузить вздумала?

Устинья Наумовна. Что это ты так разъерепенилась?

Липочка. Вот оказия! Стану я терпеть такую напраслину! Да что я, девчонка, что ли, какая необразованная?

Устинья Наумовна. С чего это ты взяла? Откуда нашел на тебя эдакой каприз? Разве я хулю твое платье? Чем не платье — и всякий скажет, что платье. Да тебе-то оно не годится, по красоте-то твоей совсем не такое надобно, — исчезни душа, коли лгу. Для тебя золотого мало: подавай нам шитое жемчугом. — Вот и улыбнулась, изумрудная! Я ведь знаю, что говорю!

Тишка *(входит)*. Сысой Псоич приказали спросить, можно ли, дескать, взойти. Они тамотка у Лазаря Елизарыча.

Большов. Пошел, зови его сюда и с Лазарем.

Тишка уходит.

Аграфена Кондратьевна. Что ж, — недаром же закуска-то приготовлена — вот и закусим. А уж тебе, чай, Устинья Наумовна, давно водочки хочется?

Устинья Наумовна. Известное дело — адмиральский час — самое настоящее время.

---

[1] *Авантáжное* — видное, красивое.

Аграфена Кондратьевна. Ну, Самсон Силыч, трогайся с места-то, что так-то сидеть.

Большов. Погоди, вот те подойдут — еще успеешь.

Липочка. Я, маменька, пойду разденусь.

Аграфена Кондратьевна. Поди, дитятко, поди.

Большов. Погоди раздеваться-то — жених приедет.

Аграфена Кондратьевна. Какой там еще жених — полно дурачиться-то.

Большов. Погоди, Липа, жених приедет.

Липочка. Кто же это, тятенька? Знаю я его или нет?

Большов. А вот увидишь, так, может, и узнаешь.

Аграфена Кондратьевна. Что ты его слушаешь, какой там еще шут приедет! Так язык чешет.

Большов. Говорят тебе, что приедет, так уж я, стало быть, знаю, что говорю.

Аграфена Кондратьевна. Коли кто в самом деле приедет, так уж ты бы путем говорил, — а то приедет, приедет, а бог знает кто приедет. Вот всегда так.

Липочка. Ну, так я, маменька, останусь. *(Подходит к зеркалу и смотрится; потом к отцу.)* Тятенька!

Большов. Что тебе?

Липочка. Стыдно сказать, тятенька!

Аграфена Кондратьевна. Что за стыд, дурочка! Говори, коли что нужно.

Устинья Наумовна. Стыд не дым — глаза не выест.

Липочка. Нет, ей-богу, стыдно!

Большов. Ну, закройся, коли стыдно.

Аграфена Кондратьевна. Шляпку что ли новую хочется?

Липочка. Вот и не угадали, вовсе не шляпку.

Большов. Так чего ж тебе?

Липочка. Выйти замуж за военного!

Большов. Эк ведь что вывезла!

Аграфена Кондратьевна. Акстись, беспутная! Христос с тобой!

Липочка. Что ж, — ведь другие выходят же.

Большов. Ну и пускай их выходят, а ты сиди у моря да жди погодки.

Аграфена Кондратьевна. Да ты у меня и заикаться не смей! Я тебе и родительского благословенья не дам.

Явление четвертое

Те же и Лазарь, Ризположенский и Фоминишна. *(У дверей.)*

Ризположенский. Здравствуйте, батюшка Самсон Силыч! Здравствуйте, матушка Аграфена Кондратьевна! Олимпиада Самсоновна, здравствуйте!

Большов. Здравствуй, братец, здравствуй! Садиться милости просим! Садись и ты, Лазарь!

Аграфена Кондратьевна. Закусить не угодно ли? а у меня закусочка приготовлена.

Ризположенский. Отчего ж, матушка, не закусить; я бы теперь рюмочку выпил.

Большов. А вот сейчас пойдем все вместе, а теперь пока побеседуем маненько.

Устинья Наумовна. Отчего ж и не побеседовать! Вот, золотые мои, слышала я, будто в газете напечатано, правда ли, нет ли, что другой Бонапарт народился, и будто бы, золотые мои...

Большов. Бонапарт Бонапартом, а мы пуще всего надеемся на милосердие Божие; да не об этом теперь речь.

Устинья Наумовна. Так об чем же, яхонтовый?

Большов. А о том, что лета наши подвигаются, преклонные, здоровье тоже ежеминутно прерывается, и один Создатель только ведает, что будет вперед: то и положили мы, еще при жизни своей, отдать в замужество единственную дочь нашу, и в рассуждении приданого тоже можем надеяться, что она не острамит нашего капитала и происхождения, а равномерно и перед другими прочими.

Устинья Наумовна. Ишь ведь, как сладко рассказывает, бралиянтовый.

Большов. А так как теперь дочь наша здесь налицо, и при всем том, будучи уверены в честном поведении и достаточности нашего будущего зятя, что для нас оченно чувствительно, в рассуждении Божеского благословения, то и назначаем его теперича в общем лицезрении. — Липа, поди сюда.

Липочка. Что вам, тятенька, угодно?

Большов. Поди ко мне, не укушу, не бось. Ну, теперь ты, Лазарь, ползи.

Подхалюзин. Давно готов-с!

Большов. Ну, Липа, давай руку!

Липочка. Как, что за вздор? С чего это вы выдумали?

Большов. Хуже, как силой возьму!

Устинья Наумовна. Вот тебе, батюшка, и Юрьев день!

Аграфена Кондратьевна. Господи, да что ж это такое?

Липочка. Не хочу, не хочу! Не пойду я за такого противного!

Фоминишна. С нами крестная сила!

Подхалюзин. Видно, тятенька, не видать мне счастья на этом свете! Видно, не бывать-с по вашему желанию!

Большов *(берет Липочку насильно за руку и Лазаря)*. Как же не бывать, коли я того хочу? На что ж я и отец, коли не приказывать? Даром, что ли, я ее кормил?

Аграфена Кондратьевна. Что ты! что ты! опомнись!

Большов. Знай сверчок свой шесток! Не твое дело! Ну, Липа! Вот тебе жених! Прошу любить да жаловать! Садитесь рядком, да потолкуйте ладком, а там честным пирком да за свадебку.

Липочка. Как же, нужно мне очень с неучем сидеть! — Вот оказия!

Большов. А не сядешь, так насильно посажу, да заставлю жеманиться.

Липочка. Где это видано, чтобы воспитанные барышни выходили за своих работников?

Большов. Молчи лучше! Велю, так и за дворника выйдешь.

Молчание.

Устинья Наумовна. Вразуми, Аграфена Кондратьевна, что это за беда такая.

Аграфена Кондратьевна. Сама, родная, затмилась, ровно чулан какой. И понять не могу, — откуда это такое взялось?

Фоминишна. Господи! Седьмой десяток живу, сколько свадеб праздновала, а такой скверности не видывала.

Аграфена Кондратьевна. За что ж вы это, душегубцы, девку-то опозорили?

Большов. Да, очень мне нужно слушать вашу фанаберию[1]. Захотел выдать дочь за приказчика, и поставлю на сво-

[1] *Фанабе́рия* — кичливые рассуждения.

ем, и разговаривать не смей; я и знать никого не хочу. — Вот теперь закусить пойдемте, а они пусть побалясничают, может быть, и поладят как-нибудь.

Ризположенский. Пойдемте, Самсон Силыч, и я с вами, для компании, рюмочку выпью. А уж это, Аграфена Кондратьевна, первый долг, чтобы дети слушались родителей. Это не нами заведено, не нами и кончится.

Встают и уходят все, кроме Липочки, Подхалюзина и Аграфены Кондратьевны.

Липочка. Да что же это, маменька, такое? Что я им кухарка, что ли, досталась? *(Плачет.)*

Подхалюзин. Маменька-с! вам зятя такого, который бы вас уважал и, значит, старость вашу покоил — окромя меня не найтить-с.

Аграфена Кондратьевна. Да как же это ты, батюшко?

Подхалюзин. Маменька-с! В меня Бог вложил такое намерение, по тому самому-с, что другой вас, маменька-с, и знать не захочет, а я по гроб моей жизни *(плачет)* должен чувствовать-с.

Аграфена Кондратьевна. Ах, батюшки! Да как же это быть?

Большов *(из двери)*. Жена, поди сюда!

Аграфена Кондратьевна. Сейчас, батюшко, сейчас!

Подхалюзин. Вы, маменька, вспомните это слово, что я сейчас сказал.

Аграфена Кондратьевна уходит.

Явление пятое

Липочка и Подхалюзин.
Молчание.

Подхалюзин. Алимпияда Самсоновна! Алимпияда Самсоновна! Но, кажется, вы мною гнушаетесь? Скажите хоть одно слово-с! Позвольте вашу ручку поцеловать.

Липочка. Вы дурак, необразованный!

Подхалюзин. За что вы, Алимпияда Самсоновна, обижать изволите-с?

Липочка. Я вам один раз навсегда скажу, что не пойду я за вас, — не пойду.

Подхалюзин. Это как вам будет угодно-с! Насильно мил не будешь. Только я вам вот что доложу-с...

Липочка. Я вас слушать не хочу, отстаньте от меня! Как бы вы были учтивый кавалер: вы видите, что я ни за какие сокровища не хочу за вас идти — вы бы должны отказаться.

Подхалюзин. Вот вы, Алимпияда Самсоновна, изволите говорить — отказаться. Только если я откажусь, что потом будет-с?

Липочка. А то и будет, что я выйду за благородного.

Подхалюзин. За благородного-с! Благородный-то без приданого не возьмет.

Липочка. Как без приданого? Что вы городите-то! Посмотрите-ко, какое у меня приданое-то — в нос бросится.

Подхалюзин. Тряпки-то-с! Благородный тряпок-то не возьмет. Благородному-то деньги нужны-с.

Липочка. Что ж! Тятенька и денег даст!

Подхалюзин. Хорошо, как даст-с! А как дать-то нечего? Вы дел-то тятенькиных не знаете, а я их очинно хорошо знаю: тятенька-то ваш банкрут-с.

Липочка. Как банкрут? А дом-то, а лавки?

Подхалюзин. А дом-то и лавки — мои-с!

Липочка. Ваши?! Подите вы — что вы меня дурачить хотите? глупее себя нашли!

Подхалюзин. А вот у нас законные документы есть. *(Вынимает.)*

Липочка. Так вы купили у тятеньки?

Подхалюзин. Купил-с!

Липочка. Где же вы денег взяли?

Подхалюзин. Денег! У нас, слава богу, денег-то побольше, чем у какого благородного.

Липочка. Что ж это такое со мной делают? Воспитывали, воспитывали, потом и обанкрутились!

Молчание.

Подхалюзин. Ну, положим, Алимпияда Самсоновна, что вы выйдете за благородного, — да что ж в этом будет толку-с? Только одна слава, что барыня, а приятности никакой нет-с. Вы извольте рассудить-с: барыни-то часто сами на рынок пешком ходят-с. А если и выедут-то куда, так только слава, что четверня-то, а хуже одной-с купеческой-то. Ей-богу,

хуже-с! Одеваются тоже не больно пышно-с. А если за меня-то вы, Алимпияда Самсоновна, выйдете-с, — так первое слово: вы и дома-то будете в шелковых платьях ходить-с, а в гости, али в театр-с, — окромя бархатных и надевать не станем. В рассуждении шляпок или салопов — не будем смотреть на разные дворянские приличия, а наденем какую чудней! Лошадей заведем орловских.

Молчание.

Если вы насчет физиономии сумневаетесь, так это, как вам будет угодно-с, мы также и фрак наденем, да бороду обреем либо так подстрижем, по моде-с, это для нас все одно-с.

Л и п о ч к а. Да вы все перед свадьбой так говорите, а там и обманете.

П о д х а л ю з и н. С места не сойти, Алимпияда Самсоновна! Анафемой хочу быть, коли лгу! Да это что-с, Алимпияда Самсоновна! Нешто мы в эдаком доме будем жить? — В Каретном ряду купим-с, распишем как: на потолках это райских птиц нарисуем, сиренов[1], капидонов[2] разных — поглядеть только будут деньги давать.

Л и п о ч к а. Нынче уж капидонов-то не рисуют.

П о д х а л ю з и н. Ну, так мы пукетами пустим.

Молчание.

Было бы только с вашей стороны согласие, а то мне в жизни ничего не надобно.

Молчание.

Как я несчастлив в своей жизни, что не могу никаких комплиментов говорить.

Л и п о ч к а. Для чего вы, Лазарь Елизарыч, по-французски не говорите?

П о д х а л ю з и н. А для того, что нам не для чего.

Молчание.

Осчастливьте, Алимпияда Самсоновна, окажите эдакое благоволение-с.

Молчание.

---

[1] *Сире́на* — в греч. мифологии — морская нимфа, дева с рыбьим хвостом.

[2] Искаж. *купидо́н* — у римлян бог любви.

Прикажите на колени стать.

Липочка. Станьте!

Подхалюзин становится.

Липочка. Вот у вас какая жилетка скверная!

Подхалюзин. Эту я Тишке подарю-с, а себе на Кузнецком мосту закажу, только не погубите!

Молчание.

Что же, Алимпияда Самсоновна-с?

Липочка. Дайте подумать.

Подхалюзин. Да об чем же думать-с?

Липочка. Как же можно не думать?

Подхалюзин. Да вы не думамши.

Липочка. Знаете что, Лазарь Елизарыч!

Подхалюзин. Что прикажете-с?

Липочка. Увезите меня потихоньку.

Подхалюзин. Да зачем же потихоньку-с, когда и так тятенька с маменькой согласны?

Липочка. Да так делают. Ну а коли не хотите увезти — так уж, пожалуй, и так.

Подхалюзин. Алимпияда Самсоновна! Позвольте ручку поцеловать! *(Целует; потом вскакивает и подбегает к двери.)* Тятенька-с!..

Липочка. Лазарь Елизарыч, Лазарь Елизарыч! Подите сюда!

Подхалюзин. Что вам угодно-с?

Липочка. Ах, если бы вы знали, Лазарь Елизарыч, какое мне житье здесь! У маменьки семь пятниц на неделе; тятенька, как не пьян, так молчит, а как пьян, так прибьет, того и гляди. Каково это терпеть образованной барышне! Вот как бы я вышла за благородного, так я бы и уехала из дому и забыла бы обо всем этом. А теперь все опять пойдет по-старому.

Подхалюзин. Нет-с, Алимпияда Самсоновна, не будет этого! Мы, Алимпияда Самсоновна, как только сыграем свадьбу, так перейдем в свой дом-с. А уж мы им-то командовать не дадим-с. Нет, уж теперь кончено-с! Будет с них — почудили на своем веку, теперь нам пора!

Липочка. Так смотрите же, Лазарь Елизарыч, мы будем жить сами по себе, а они сами по себе. Мы заведем все по моде, а они как хотят.

Подхалюзин. Уж это как и водится-с.

Липочка. Ну, теперь зовите тятеньку. *(Встает и охорашивается перед зеркалом.)*

Подхалюзин. Тятенька-с! тятенька-с! маменька-с!

Явление шестое

Те же, Большов и Аграфена Кондратьевна.

Подхалюзин *(идет навстречу Самсону Силычу и бросается к нему в объятия)*. Алимпияда Самсоновна согласны-с!

Аграфена Кондратьевна. Бегу, батюшко, бегу!

Большов. Ну, вот и дело! То-то же. Я знаю, что делаю; уж не вам меня учить.

Подхалюзин *(к Аграфене Кондратьевне)*. Маменька-с! позвольте ручку поцеловать.

Аграфена Кондратьевна. Целуй, батюшко, обе чистые. Ах ты, дитятко, да как же это давича-то так? а? Ей-богу! Что ж это такое? А уж я и не знала, как это дело и рассудить-то. Ах, ненаглядная ты моя!

Липочка. Я совсем, маменька, не воображала, что Лазарь Елизарыч такой учтивый кавалер! А теперь вдруг вижу, что он гораздо почтительнее других.

Аграфена Кондратьевна. Вот то-то же, дурочка! Уж отец тебе худа не пожелает. Ах ты, голубушка моя! Эка ведь притча-то! а? Ах, матушки вы мои! Что ж это такое? Фоминишна! Фоминишна!

Фоминишна. Бегу, бегу, матушка, бегу. *(Входит.)*

Большов. Постой ты, таранта! Вот вы садитесь рядом — а мы на вас посмотрим. Да подай-ко ты нам бутылочку шипучки.

Подхалюзин и Липочка садятся.

Фоминишна. Сейчас, батюшка, сейчас! *(Уходит.)*

Явление седьмое

Те же, Устинья Наумовна и Ризположенский.

Аграфена Кондратьевна. Поздравь жениха-то с невестой, Устинья Наумовна! Вот Бог привел на старости лет, дожили до радости.

Устинья Наумовна. Да чем же поздравить-то вас, изумрудные? Сухая ложка рот дерет.

Большов. А вот мы тебе горлышко промочим.

Явление восьмое

Те же, Фоминишна и Тишка (с вином на подносе).

Устинья Наумовна. Вот это дело другого рода. Ну, дай вам Бог жить да молодеть, толстеть да богатеть. *(Пьет.)* Горько, бралиянтовые!

Липочка и Лазарь целуются.

Большов. Дай-ко я поздравлю. *(Берет бокал.)*

Липочка и Лазарь встают.

Живите как знаете — свой разум есть. А чтоб вам жить-то не было скучно, так вот тебе, Лазарь, дом и лавки пойдут вместо приданого, да из наличного отсчитаем.

Подхалюзин. Помилуйте, тятенька, я и так вами много доволен.

Большов. Что тут миловать-то! Свое добро, сам нажил. Кому хочу — тому и даю. Наливай еще!

Тишка наливает.

Да что тут разговаривать-то. На милость суда нет. Бери все, только нас со старухой корми, да кредиторам заплати копеек по десяти.

Подхалюзин. Стоит ли, тятенька, об этом говорить-с. Нешто я не чувствую? Свои люди — сочтемся.

Большов. Говорят тебе, бери все, да и кончено дело. И никто мне не указ! Заплати только кредиторам. Заплатишь?

Подхалюзин. Помилуйте, тятенька, первый долг-с!

Большов. Только ты смотри — им много-то не давай. А то ты, чай, рад сдуру-то все отдать.

Подхалюзин. Да уж там, тятенька, как-нибудь сочтемся. Помилуйте, свои люди.

Большов. То-то же! Ты им больше десяти копеек не давай. Будет с них... Ну, поцелуйтеся!

Липочка и Лазарь целуются.

Аграфена Кондратьевна. Ах, голубчики вы мои! Да как же это так! Совсем вот как полоумная.

Устинья Наумовна.

Уж и где же это видано,
Уж и где же это слыхано,

Чтобы курочка бычка родила,
Поросеночек яичко снес!

(Наливает вина и подходит к Ризположенскому.*)*

Ризположенский кланяется и отказывается.

Большов. Выпей, Сысой Псоич, на радости.

Ризположенский. Не могу, Самсон Силыч — претит.

Большов. Полно ты! Выпей на радости.

Устинья Наумовна. Еще туда же ломается!

Ризположенский. Претит, Самсон Силыч! Ей-богу, претит. Вот я водочки рюмочку выпью. А это натура не принимает. Уж такая слабая комплекция.

Устинья Наумовна. Ах ты, проволочная шея! Ишь ты — у него натура не принимает! Да давайте, я ему за шиворот вылью, коли не выпьет.

Ризположенский. Неприлично, Устинья Наумовна! Даме это неприлично. Самсон Силыч! не могу-с! Разве бы я стал отказываться? Хе, хе, хе, да что ж я за дурак, чтобы я такое невежество сделал; видали мы людей-то, знаем, как жить; вот я от водочки никогда не откажусь, пожалуй, хоть теперь рюмочку выпью! А вы, Самсон Силыч, бесчинства не допускайте, обидеть не долго, а не хорошо.

Большов. Хорошенько его, Устинья Наумовна, хорошенько!

Ризположенский бежит от нее.

Устинья Наумовна *(ставит вино на стол)*. Врешь, купоросная душа, не уйдешь! *(Прижимает его в угол и хватает за шиворот.)*

Ризположенский. Караул!!

Все хохочут.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

В доме Подхалюзина. Богато меблированная гостиная.

Явление первое

Олимпиада Самсоновна сидит у окна в роскошном положении; на ней шелковая блуза, чепчик последнего фасона. Подхалюзин в модном сюртуке стоит перед зеркалом. Тишка за ним, обдергивает и охорашивает.

Тишка. Ишь ты, как оно пригнато, в самый раз!

Подхалюзин. А что, Тишка, похож я на француза? а? Да издали погляди!

Тишка. Две капли воды.

Подхалюзин. То-то, дурак! Вот ты теперь и смотри на нас! *(Ходит по комнате.)* Так-то-с, Алимпияда Самсоновна! А вы хотели за офицера идти-с. Чем же мы не молодцы? — Вот сюртучок новенький взяли да и надели.

Олимпиада Самсоновна. Да вы, Лазарь Елизарыч, танцевать не умеете.

Подхалюзин. Что ж, нешто не выучимся; еще как выучимся-то — важнейшим манером. Зимой в Купеческое собрание будем ездить-с. Вот и знай наших-с! Польку станем танцевать.

Олимпиада Самсоновна. Уж вы, Лазарь Елизарыч, купите ту коляску-то, что смотрели у Арбатского.

Подхалюзин. Как же, Алимпияда Самсоновна-с! Надать купить, надать-с.

Олимпиада Самсоновна. А мне новую мантелью[1] принесли, вот мы бы с вами в пятницу и поехали в Сокольники.

Подхалюзин. Как же-с, непременно поедем-с; и в парк поедем-с в воскресенье. Ведь коляска-то тысячу целковых стоит, да и лошади-то тысячу целковых и сбруя накладного серебра, — так пущай их смотрят. Тишка! трубку!

Тишка уходит.

(Садится подле Олимпиады Самсоновны.*)* Так-то-с, Алимпияда Самсоновна! Пущай себе смотрят.

Молчание.

Олимпиада Самсоновна. Что это вы, Лазарь Елизарыч, меня не поцелуете?

Подхалюзин. Как же! Помилуйте-с! С нашим удовольствием! Пожалуйте ручку-с! *(Целует. Молчание.)* Скажите, Алимпияда Самсоновна, мне что-нибудь на французском диалекте-с.

Олимпиада Самсоновна. Да что же вам сказать?

Подхалюзин. Да что-нибудь скажите — так, малость самую-с. Мне все равно-с!

---

[1] Искаж. *мантúлья* — короткая женская накидка без рукавов.

Олимпиада Самсоновна. Ком ву зет жоли.

Подхалюзин. А это что такое-с?

Олимпиада Самсоновна. Как вы милы!

Подхалюзин *(вскакивает со стула)*. Вот она у нас жена-то какая-с! Ай да Алимпияда Самсоновна! уважили! Пожалуйте ручку!

Входит Тишка с трубкой.

Тишка. Устинья Наумовна пришла.

Подхалюзин. Зачем ее еще черт принес!

Тишка уходит.

Явление второе

Те же и Устинья Наумовна.

Устинья Наумовна. Как живете-можете, бралиянтовые?

Подхалюзин. Вашими молитвами, Устинья Наумовна, вашими молитвами.

Устинья Наумовна *(целуясь)*. Что это ты как будто похорошела, поприпухла?

Олимпиада Самсоновна. Ах, какой ты вздор городишь, Устинья Наумовна! Ну, с чего это ты взяла?

Устинья Наумовна. Что за вздор, золотая; уж к тому дело идет. Рада не рада — нечего делать!.. Любишь кататься, люби и саночки возить!.. Что ж это вы меня позабыли совсем, бралиянтовые? Али еще осмотреться не успели? Все, чай, друг на друга любуетесь, да миндальничаете.

Подхалюзин. Есть тот грех, Устинья Наумовна, есть тот грех!

Устинья Наумовна. То-то же: какую я тебе сударушку подздобила.

Подхалюзин. Много довольны, Устинья Наумовна, много довольны.

Устинья Наумовна. Еще б недоволен, золотой! Чего ж тебе! Вы теперь, чай, все об нарядах хлопочете. Много еще модного-то напроказила?

Олимпиада Самсоновна. Не так чтобы много. Да и то больше оттого, что новые материи вышли.

Устинья Наумовна. Известное дело, жемчужная, нельзя ж комиссару без штанов: хоть худенькие, да голубень-

кие. А каких же больше настряпала — шерстяных али шелковых?

Олимпиада Самсоновна. Разных — и шерстяных и шелковых; да вот недавно креповое с золотом сшила.

Устинья Наумовна. Сколько ж всего-то-навсего у тебя, изумрудная?

Олимпиада Самсоновна. А вот считай: подвенечное блондовое[1] на атласном чехле да три бархатных — это будет четыре; два газовых да креповое шитое золотом — это семь; три атласных да три грогроновых[2] — это тринадцать; гроденаплевых да гродафриковых семь — это двадцать; три марселиновых, два муслинделиновых, два шинероялевых — много ли это? — три да четыре семь, да двадцать — двадцать семь; крепрашелевых четыре — это тридцать одно. Ну там еще кисейных, буфмуслиновых да ситцевых штук до двадцати; да там блуз да капотов — не то девять, не то десять. Да вот недавно из персидской материи сшила.

Устинья Наумовна. Ишь ты, бог с тобой, сколько нагородила. А ты поди-ко выбери мне какое пошире из гродафриковых.

Олимпиада Самсоновна. Гродафрикового не дам, у самой только три; да оно и не сойдется на твою талию; пожалуй, коли хочешь, возьми крепрашелевое.

Устинья Наумовна. На какого мне жида крепрашельчатое-то: ну, уж видно нечего с тобой делать, помирюсь и на атласном, так и быть.

Олимпиада Самсоновна. Ну и атласные тоже — как-то не того, сшиты по-бальному, открыто очень — понимаешь? А из крепрашелевых сыщем капот, распустим складочки, и будет в самую припорцию.

Устинья Наумовна. Ну, давай крепрашельчатое! Твое взяло, бралиянтовая! Поди отпирай шкап.

Олимпиада Самсоновна. Я сейчас, подожди немножко.

Устинья Наумовна. Подожду, золотая, подожду. Вот еще мне с супругом твоим поговорить надо.

Олимпиада Самсоновна уходит.

---

[1] *Бло́нды (фр.)* — шелковые кружева тонкой работы, белого или кремового цвета.

[2] *Грогро́новый* и далее — названия разных видов плотных шелковых тканей.

Что же это ты, бралиянтовый, никак забыл совсем свое обещание?

Подхалюзин. Как можно забыть-с, помним! *(Вынимает бумажник и дает ей ассигнацию.)*

Устинья Наумовна. Что ж это такое, алмазный?

Подхалюзин. Сто целковых-с!

Устинья Наумовна. Как так сто целковых? Да ты мне полторы тысячи обещал.

Подхалюзин. Что-о-с?

Устинья Наумовна. Ты мне полторы тысячи обещал.

Подхалюзин. Не жирно ли будет, неравно облопаетесь?

Устинья Наумовна. Что ж ты, курицын сын, шутить, что ли, *со мной вздумал? Я, брат, и сама дама разухабистая.*

Подхалюзин. Да за что вам деньги-то давать? Диви бы за дело за какое?

Устинья Наумовна. За дело ли, за безделье ли, а давай, — ты сам обещал.

Подхалюзин. Мало ли что я обещал! Я обещал с Ивана Великого прыгнуть, коли женюсь на Алимпияде Самсоновне, — так и прыгать?

Устинья Наумовна. Что ж ты думаешь, я на тебя суда не найду? Велика важность, что ты купец второй гильдии, я сама на 14-м классе сижу, какая ни на есть, все-таки чиновница.

Подхалюзин. Да хоть бы генеральша — мне все равно; я вас и знать-то не хочу, — вот и весь разговор.

Устинья Наумовна. Ан врешь — не весь: ты мне еще соболий салоп обещал.

Подхалюзин. Чего-с?

Устинья Наумовна. Соболий салоп! Что ты оглох, что ли?

Подхалюзин. Соболий-с! Хе, хе, хе...

Устинья Наумовна. Да, соболий! Что ты смеешься-то, что горло-то пялишь!

Подхалюзин. Еще рылом не вышли-с в собольих-то салопах ходить!

Олимпиада Самсоновна выносит платье и отдает Устинье Наумовне.

Явление третье

Те же и Олимпиада Самсоновна.

Устинья Наумовна. Что же это вы в самом деле — ограбить меня, что ли, хотите?

Подхалюзин. Что за грабеж, а ступайте с Богом, вот и все тут.

Устинья Наумовна. Уж ты гнать меня стал; да и я-то, дура бестолковая, связалась с вами, — сейчас видно: мещанская-то кровь!

Подхалюзин. Так-с! Скажите, пожалуйста!

Устинья Наумовна. А коли так, я и смотреть на вас не хочу! Ни за какие сокровища и водиться-то с вами не соглашусь! Кругом обегу тридцать верст, а мимо вас не пойду! Скорей зажмурюсь, да на лошадь наткнусь, чем стану глядеть на ваше логовище! Плюнуть захочется, и то в эту улицу не заверну! Лопнуть на десять частей, коли лгу! Провалиться в тартарары, коли меня здесь увидите!

Подхалюзин. Да вы, тетенька, легонько!

Устинья Наумовна. Уж я вас, золотые, распечатаю: будете знать! Я вас так по Москве-то расславлю, что стыдно будет в люди глаза показать!.. Ах, я дура, дура, с кем связалась! Даме-то с званием, с чином... Тфу! Тфу! Тфу! *(Уходит.)*

Подхалюзин. Ишь ты, расходилась дворянская-то кровь! Ах ты, господи! Туда же чиновница! Вот пословица-то говорится: гром-то гремит не из тучи, а из навозной кучи. Ах ты, господи! Вот и смотри на нее, дама какая!

Олимпиада Самсоновна. Охота вам была, Лазарь Елизарыч, с ней связываться!

Подхалюзин. Да помилуйте, совсем несообразная женщина!

Олимпиада Самсоновна *(глядит в окно)*. Никак тятеньку из ямы выпустили — посмотрите, Лазарь Елизарыч!

Подхалюзин. Ну нет-с: из ямы-то тятеньку не скоро выпустят; а надо полагать, его в конкурс[1] выписывали, так отпросился домой... Маменька-с! Аграфена Кондратьевна! Тятенька идет-с!

---

[1] *Ко́нкурс* — здесь: собрание заимодавцев для рассмотрения дел несостоятельных должников.

Явление четвертое

Те же, Большов и Аграфена Кондратьевна.

Аграфена Кондратьевна. Где он? Где он? Родные вы мои, голубчики вы мои! *(Целуются.)*

Подхалюзин. Тятенька, здравствуйте, наше почтение!

Аграфена Кондратьевна. Голубчик ты мой, Самсон Силыч, золотой ты мой! Оставил ты меня сиротой на старости лет!

Большов. Полно, жена, перестань!

Олимпиада Самсоновна. Что это вы, маменька, точно по покойнике плачете! Не бог знает что случилось.

Большов. Оно точно, дочка, не бог знает что, а все-таки отец твой в яме сидит.

Олимпиада Самсоновна. Что ж, тятенька, сидят и лучше нас с вами.

Большов. Сидят-то сидят, да каково сидеть-то. Каково по улице-то идти с солдатом! Ох, дочка! Ведь меня сорок лет в городе-то все знают, сорок лет все в пояс кланялись, а теперь мальчишки пальцами показывают.

Аграфена Кондратьевна. И лица-то нет на тебе, голубчик ты мой! Словно ты с того света выходец!

Подхалюзин. Э, тятенька, Бог милостив! Все перемелется — мука будет. Что же, тятенька, кредиторы-то говорят?

Большов. Да что: на сделку согласны. Что, говорят, тянуть-то, — еще возьмешь ли, нет ли, а ты что-нибудь чистыми дай, да и бог с тобой.

Подхалюзин. Отчего же не дать-с! Надать дать-с! А много ли, тятенька, просят?

Большов. Просят-то двадцать пять копеек.

Подхалюзин. Это, тятенька, много-с!

Большов. И сам, брат, знаю, что много, да что ж делать-то? Меньше не берут.

Подхалюзин. Кабы десять копеек, так бы ладно-с. Семь с половиною на удовлетворение, а две с половиною на конкурсные расходы.

Большов. Я так-то говорил, да и слышать не хотят.

Подхалюзин. Зазнались больно! А не хотят они восемь копеек в пять лет?

Большов. Что ж, Лазарь, придется и двадцать пять дать, ведь мы сами прежде так предлагали.

Подхалюзин. Да как же, тятенька-с! Ведь вы тогда сами изволили говорить-с, больше десяти копеек не давать-с. Вы сами рассудите: по двадцати пяти копеек денег много. Вам, тятенька, закусить чего не угодно ли-с? Маменька! прикажите водочки подать, да велите самоварчик поставить, уж и мы, для компании, выпьем-с. — А двадцать пять копеек много-с!

Аграфена Кондратьевна. Сейчас, батюшко, сейчас! *(Уходит.)*

Большов. Да что ты мне толкуешь-то: я и сам знаю, что много, да как же быть-то? Потомят года полтора в яме-то, да каждую неделю будут с солдатом по улицам водить, а еще, того гляди, в острог переместят: так рад будешь и полтину дать. От одного страма-то не знаешь куда спрятаться.

Аграфена Кондратьевна с водкой; Тишка вносит закуску и уходит.

Аграфена Кондратьевна. Голубчик ты мой! Кушай, батюшко, кушай! Чай, тебя там голодом изморили!

Подхалюзин. Кушайте, тятенька! Не взыщите, чем Бог послал!

Большов. Спасибо, Лазарь! Спасибо! *(Пьет.)* Пей-ко сам.

Подхалюзин. За ваше здоровье! *(Пьет.)* Маменька! не угодно ли-с! Сделайте одолжение!

Аграфена Кондратьевна. А, батюшко, до того ли мне теперь! Эдакое Божеское попущение! Ах ты, Господи Боже мой! Ах ты, голубчик ты мой!

Подхалюзин. Э, маменька, Бог милостив, как-нибудь отделаемся! Не вдруг-с!

Аграфена Кондратьевна. Дай-то, Господи! А то уж и я-то, на него глядя, вся измаялась.

Большов. Ну, как же, Лазарь?

Подхалюзин. Десять копеек, извольте, дам-с, как говорили.

Большов. А пятнадцать-то где же я возьму? Не из рогожи ж мне их шить.

Подхалюзин. Я, тятенька, не могу-с! Видит Бог, не могу-с!

Большов. Что ты, Лазарь, что ты! Да куда ж ты деньги-то дел?

Подхалюзин. Да вы извольте рассудить: я вот торговлей завожусь, домишко отделал. Да выкушайте чего-нибудь,

тятенька! Вот хоть мадерцы, что ли-с! Маменька! попотчуйте тятеньку.

Аграфена Кондратьевна. Кушай, батюшко Самсон Силыч! Кушай! Я тебе, батюшко, пуншик налью.

Большов *(пьет)*. Выручайте, детушки, выручайте!

Подхалюзин. Вот вы, тятенька, изволите говорить, куда я деньги дел? Как же-с? Рассудите сами: торговать начинаем, известное дело, без капитала нельзя-с, взяться нечем; вот домик купил, заведеньице всякое домашнее завели, лошадок, то, другое. Сами извольте рассудить! Об детях подумать надо.

Олимпиада Самсоновна. Что ж, тятенька, нельзя же нам самим ни при чем остаться. Ведь мы не мещане какие-нибудь.

Подхалюзин. Вы, тятенька, извольте рассудить: нынче без капитала нельзя-с, без капиталу-то не много наторгуешь.

Олимпиада Самсоновна. Я у вас, тятенька, до двадцати лет жила — света не видала. Что ж мне прикажете отдать вам деньги, да самой опять в ситцевых платьях ходить?

Большов. Что вы! Что вы! Опомнитесь! Ведь я у вас не милостыню прошу, а свое же добро. Люди ли вы?

Олимпиада Самсоновна. Известное дело, тятенька, люди, а не звери же.

Большов. Лазарь! да ты вспомни то, ведь я тебе все отдал, все дочиста; вот что себе оставил, видишь! Ведь я тебя мальчишкой в дом взял, подлец ты бесчувственный! Поил, кормил вместо отца родного, в люди вывел. А видел ли я от тебя благодарность какую? Видел ли? Вспомни то, Лазарь, сколько раз я замечал, что ты на руку не чист! Что ж? Я ведь не прогнал тебя, как скота какого, не ославил на весь город. Я тебя сделал главным приказчиком, тебе я все свое состояние отдал, да тебе же, Лазарь, я отдал и дочь-то своими руками. А не случись со мною этого попущения, ты бы на нее и глядеть-то не смел.

Подхалюзин. Помилуйте, тятенька, я все это очень хорошо чувствую-с!

Большов. Чувствуешь ты! Ты бы должен все отдать, как я, в одной рубашке остаться, только бы своего благодетеля выручить. Да не прошу я этого, не надо мне; ты заплати за меня только, что теперь следует.

Подхалюзин. Отчего бы не заплатить-с, да просят цену, которую совсем несообразную.

Большов. Да разве я прошу! Я из-за каждой вашей копейки просил, просил, в ноги кланялся, да что же мне сделать, когда не хотят уступить ничего?

Олимпиада Самсоновна. Мы, тятенька, сказали вам, что больше десяти копеек дать не можем — и толковать об этом нечего.

Большов. Уж ты скажи, дочка: ступай, мол, ты, старый черт, в яму! Да, в яму! В острог его, старого дурака. И за дело! Не гонись за большим, будь доволен тем, что есть. А за большим погонишься, и последнее отнимут, оберут тебя дочиста. И придется тебе бежать на Каменный мост да бросаться в Москву-реку. Да и оттедова тебя за язык вытянут да в острог посадят.

Все молчат.

(Большов пьет.) А вы подумайте, каково мне теперь в яму-то идти. Что ж мне зажмуриться, что ли? Мне Ильинка-то[1] за сто верст покажется. Вы подумайте только, каково по Ильинке-то идти. Это все равно, что грешную душу дьяволы, прости Господи, по мытарствам тащат. А там мимо Иверской[2]: как мне взглянуть-то на нее, на матушку?.. Знаешь, Лазарь, Иуда, ведь он тоже Христа за деньги продал, как мы совесть за деньги продаем... А что ему за это было?.. А там Присутственные места, Уголовная палата... Ведь я злостный — умышленный... Ведь меня в Сибирь сошлют. Господи!.. Коли так не дадите денег, дайте Христа ради. *(Плачет.)*

Подхалюзин. Что вы, что вы, тятенька? Полноте! Бог милостив! Что это вы? Поправим как-нибудь. Все в наших руках!

Большов. Денег надо, Лазарь, денег. Больше нечем поправить. Либо денег, либо в Сибирь.

Подхалюзин. И денег дадим-с, только бы отвязались! Я, так и быть, еще пять копеечек прибавлю.

Большов. Эки года! Есть ли в вас христианство? Двадцать пять копеек надо, Лазарь.

Подхалюзин. Нет, это, тятенька, много-с, ей-богу, много!

---

[1] *Ильи́нка* — улица в центре Москвы; на ней были сосредоточены магазинчики и лавки.

[2] *И́верская* — икона Божьей Матери, хранившаяся в часовне у Китай-города в Москве.

Большов. Змеи вы подколодные! *(Опускается головой на стол.)*

Аграфена Кондратьевна. Варвар ты, варвар! Разбойник ты эдакой! Нет тебе моего благословения! Иссохнешь ведь и с деньгами-то, иссохнешь, не доживя веку. Разбойник ты, эдакой разбойник!

Подхалюзин. Полноте, маменька, Бога-то гневить! Что это вы клянете нас, не разобравши дела-то! Вы видите, тятенька захмелел маненько, а вы уж и на́-поди.

Олимпиада Самсоновна. Уж вы, маменька, молчали бы лучше! А то вы рады проклясть в треисподнюю. Знаю я: вас на это станет. За то вам, должно быть, и других детей-то Бог не дал.

Аграфена Кондратьевна. Сама ты молчи, беспутная! И одну-то тебя Бог в наказание послал.

Олимпиада Самсоновна. У вас все беспутные — вы одни хороши. На себя-то посмотрели бы: только что понедельничаете[1], а то дня не пройдет, чтоб не облаять кого-нибудь.

Аграфена Кондратьевна. Ишь ты! Ишь ты! Ах, ах, ах!.. Да я прокляну тебя на всех соборах[2]!

Олимпиада Самсоновна. Проклинайте, пожалуй!

Аграфена Кондратьевна. Да! Вот как! Умрешь, не сгниешь! Да!

Олимпиада Самсоновна. Очень нужно!

Большов *(встает)*. Ну, прощайте, дети.

Подхалюзин. Что вы, тятенька, посидите! Надобно же как-нибудь дело-то кончить!

Большов. Да что кончать-то? Уж я вижу, что дело-то кончено. Сама себя раба бьет, коли не чисто жнет! Ты уж не плати за меня ничего: пусть что хотят, то и делают. Прощайте, пора мне!

Подхалюзин. Прощайте, тятенька! Бог милостив — как-нибудь обойдется!

Большов. Прощай, жена!

Аграфена Кондратьевна. Прощай, батюшко Самсон Силыч! Когда к вам в яму-то пущают?

Большов. Не знаю!

---

[1] *Понеде́льничать* — поститься из особого усердия, кроме среды и пятницы, еще и по понедельникам.

[2] *Прокляну на всех соборах* — имеется в виду собор церковный, где предавали проклятью отступивших от веры.

Аграфена Кондратьевна. Ну, так я наведаюсь: а то умрешь тут, не видамши-то тебя!

Большов. Прощай, дочка! Прощайте, Алимпияда Самсоновна! Ну, вот вы теперь будете богаты, заживете по-барски. По гуляньям это, по балам — дьявола тешить. А не забудьте вы, Алимпияда Самсоновна, что есть клетки с железными решетками, сидят там бедные заключенные. Не забудьте нас, бедных заключенных. *(Уходит с Аграфеной Кондратьевной.)*

Подхалюзин. Эх! Алимпияда Самсоновна-с! Неловко-с! Жаль тятеньку, ей-богу, жаль-с! Нешто поехать самому поторговаться с кредиторами! Аль не надо-с? Он-то сам лучше их разжалобит. А? Аль ехать? Поеду-с! Тишка!

Олимпиада Самсоновна. Как хотите, так и делайте — ваше дело.

Подхалюзин. Тишка! *(Входит.)* Подай старый сюртук, которого хуже нет.

Тишка уходит.

А то подумают: богат, должно быть, в те поры и не сговоришь.

Явление пятое

Те же, Ризположенский и Аграфена Кондратьевна.

Ризположенский. Вы, матушка Аграфена Кондратьевна, огурчиков еще не изволили солить?

Аграфена Кондратьевна. Нет, батюшко! Какие теперь огурчики! До того ли уж мне! А вы посолили?

Ризположенский. Как же, матушка, посолили. Дороги нынче очень; говорят, морозом хватило. Лазарь Елизарыч, батюшка, здравствуйте! Это водочка? Я, Лазарь Елизарыч, рюмочку выпью.

Аграфена Кондратьевна уходит с Олимпиадой Самсоновной.

Подхалюзин. А за чем это вы к нам пожаловали, не слыхать ли?

Ризположенский. Хе, хе, хе!.. Какой вы шутник, Лазарь Елизарыч! Известное дело, за чем!

Подхалюзин. А за чем бы это, желательно знать-с?

Ризположенский. За деньгами, Лазарь Елизарыч, за деньгами-то! Кто за чем, а я все за деньгами!

Подхалюзин. Да уж вы за деньгами-то больно часто ходите.

Ризположенский. Да как же не ходить-то, Лазарь Елизарыч, когда вы по пяти целковых даете. Ведь у меня семейство.

Подхалюзин. Что ж, вам не по сту же давать.

Ризположенский. А уж отдали бы за раз, так я бы к вам не ходил.

Подхалюзин. То-то вы ни уха, ни рыла не смыслите, а еще хапанцы берете. За что вам давать-то?

Ризположенский. Как за что? Сами обещали!

Подхалюзин. Сами обещали! Ведь давали тебе — попользовался, ну и будет, пора честь знать.

Ризположенский. Как пора честь знать? Да вы мне еще тысячи полторы должны.

Подхалюзин. Должны! Тоже должны! Словно у него документ! А за что — за мошенничество!

Ризположенский. Как за мошенничество? За труды, а не за мошенничество!

Подхалюзин. За труды!

Ризположенский. Ну да там за что бы то ни было, а давайте деньги, а то документ.

Подхалюзин. Чего-с? Документ! Нет уж, это после придите.

Ризположенский. Так что ж ты меня грабить, что ли, хочешь с малыми детьми?

Подхалюзин. Что за грабеж! А вот возьми еще пять целковых, да и ступай с Богом.

Ризположенский. Нет, погоди! от меня этим не отделаешься!

Тишка входит.

Подхалюзин. А что же ты со мной сделаешь?

Ризположенский. Язык-то у меня некупленный.

Подхалюзин. Что же ты лизать, что ли, меня хочешь?

Ризположенский. Нет, не лизать, а добрым людям рассказывать.

Подхалюзин. Об чем рассказывать-то, купоросная душа! Да кто тебе поверит-то еще?

Ризположенский. Кто поверит?

Подхалюзин. Да! Кто поверит? Погляди-тко ты на себя.

Ризположенский. Кто поверит? Кто поверит? А вот увидишь! А вот увидишь! Батюшки мои, да что ж мне делать-то? Смерть моя! Грабит меня, разбойник, грабит! Нет, ты погоди! Ты увидишь! Грабить не приказано.

Подхалюзин. Да что увидать-то?

Ризположенский. А вот что увидишь! Постой еще, постой, постой! Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Погоди!

Подхалюзин. Погоди, да погоди! Уж я и так ждал довольно. Ты полно пужать-то: не страшно.

Ризположенский. Ты думаешь, мне никто не поверит? Не поверит? Ну, пускай обижают! Я... я вот что сделаю. Почтеннейшая публика!

Подхалюзин. Что ты! Что ты! Очнись!

Тишка. Ишь ты, с пьяных-то глаз куда лезет!

Ризположенский. Постой, постой!.. Почтеннейшая публика! Жена, четверо детей — вот сапоги худые!

Подхалюзин. Все врет-с! Самый пустой человек-с! Полно ты, полно... Ты прежде на себя-то посмотри, ну куда ты лезешь!

Ризположенский. Пусти! Тестя обокрал! И меня грабит... Жена, четверо детей, сапоги худые!

Тишка. Подметки подкинуть можно!

Ризположенский. Ты что? Ты такой же грабитель!

Тишка. Ничего-с, проехали!

Подхалюзин. Ах! Ну что ты мораль-то эдакую пущаешь!

Ризположенский. Нет, ты погоди! Я тебе припомню! Я тебя в Сибирь упеку!

Подхалюзин. Не верьте, все врет-с! Так-с, самый пустой человек-с, внимания не стоящий! Эх, братец, какой ты безобразный! Ну, не знал я тебя — ни за какие бы благополучия и связываться не стал.

Ризположенский. Что, взял! а! что, взял! Вот тебе, собака! Ну, теперь подавись моими деньгами, черт с тобой! *(Уходит.)*

Подхалюзин. Какой горячий-с! *(К публике.)* Вы ему не верьте, это он, что говорил-с, — это все врет. Ничего этого и не было. Это ему, должно быть, во сне приснилось. А вот мы магазинчик открываем: милости просим! Малого робенка пришлете — в луковице не обочтем.

1849

Федор Михайлович

ДОСТОЕВСКИЙ

БЕЛЫЕ НОЧИ

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН

Из воспоминаний мечтателя

...Иль был он создан для того,
Чтобы побыть хотя мгновенье
В соседстве сердца твоего?..

Ив. Тургенев

НОЧЬ ПЕРВАЯ

Была чудная ночь, такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды, любезный читатель. Небо было такое звездное, такое светлое небо, что, взглянув на него, невольно нужно было спросить себя: неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди? Это тоже молодой вопрос, любезный читатель, очень молодой, но пошли его вам Господь чаще на душу!.. Говоря о капризных и разных сердитых господах, я не мог не припомнить и своего благонравного поведения во весь этот день. С самого утра меня стала мучить какая-то удивительная тоска. Мне вдруг показалось, что меня, одинокого, все покидают и что все от меня отступаются. Оно, конечно, всякий вправе спросить: кто ж эти все? потому что вот уже восемь лет, как я живу в Петербурге и почти ни одного знакомства не умел завести. Но к чему мне знакомства? Мне и без того знаком весь Петербург; вот почему мне и показалось, что меня все покидают, когда весь Петербург поднялся и вдруг уехал на дачу. Мне страшно стало оставаться одному, и целых три дня я бродил по городу в глубокой тоске, решительно не понимая, что со мной делается. Пойду ли на Невский, пойду ли в сад, брожу ли по набережной — ни одного лица из тех, кого привык встречать в том же месте в известный час, целый год. Они, конечно, не знают меня, да я-то их знаю. Я коротко их

знаю; я почти изучил их физиономии — и любуюсь на них, когда они веселы, и хандрю, когда они затуманятся. Я почти свел дружбу с одним старичком, которого встречаю каждый божий день, в известный час, на Фонтанке. Физиономия такая важная, задумчивая; все шепчет под нос и махает левой рукой, а в правой у него длинная сучковатая трость с золотым набалдашником. Даже он заметил меня и принимает во мне душевное участие. Случись, что я не буду в известный час на том же месте Фонтанки, я уверен, что на него нападет хандра. Вот отчего мы иногда чуть не кланяемся друг с другом, особенно когда оба в хорошем расположении духа. Намедни, когда мы не видались целые два дня и на третий день встретились, мы уже было и схватились за шляпы, да благо опомнились вовремя, опустили руки и с участием прошли друг подле друга. Мне тоже и дома знакомы. Когда я иду, каждый как будто забегает вперед меня на улицу, глядит на меня во все окна и чуть не говорит: «Здравствуйте; как ваше здоровье? и я, слава Богу, здоров, а ко мне в мае месяце прибавят этаж». Или: «Как ваше здоровье? а меня завтра в починку». Или: «Я чуть не сгорел и притом испугался» и т. д. Из них у меня есть любимцы, есть короткие приятели; один из них намерен лечиться это лето у архитектора. Нарочно буду заходить каждый день, чтоб не залечили как-нибудь, сохрани его Господи!.. Но никогда не забуду истории с одним прехорошеньким светло-розовым домиком. Это был такой миленький каменный домик, так приветливо смотрел на меня, так горделиво смотрел на своих неуклюжих соседей, что мое сердце радовалось, когда мне случалось проходить мимо. Вдруг на прошлой неделе я прохожу по улице, и как посмотрел на приятеля — слышу жалобный крик: «А меня красят в желтую краску!» Злодеи! варвары! они не пощадили ничего: ни колонн, ни карнизов, и мой приятель пожелтел, как канарейка. У меня чуть не разлилась желчь по этому случаю, и я еще до сих пор не в силах был повидаться с изуродованным моим бедняком, которого раскрасили под цвет поднебесной империи[1].

Итак, вы понимаете, читатель, каким образом я знаком со всем Петербургом.

Я уже сказал, что меня целые три дня мучило беспокойство, покамест я догадался о причине его. И на улице мне было

---

[1] До 1912 г. национальным флагом Китая (Поднебесной империи) было изображение дракона на желтом фоне.

худо (того нет, этого нет, куда делся такой-то?) — да и дома я был сам не свой. Два вечера добивался я: чего недостает мне в моем углу? отчего так неловко было в нем оставаться? — и с недоумением осматривал я свои зеленые, закоптелые стены, потолок, завешанный паутиной, которую с большим успехом разводила Матрена, пересматривал всю свою мебель, осматривал каждый стул, думая, не тут ли беда? (потому что коль у меня хоть один стул стоит не так, как вчера стоял, так я сам не свой) смотрел на окно, и все понапрасну... нисколько не было легче! Я даже вздумал было призвать Матрену и тут же сделал ей отеческий выговор за паутину и вообще за неряшество; но она только посмотрела на меня в удивлении и пошла прочь, не ответив ни слова, так что паутина еще до сих пор благополучно висит на месте. Наконец, я только сегодня поутру догадался, в чем дело. Э! да ведь они от меня удирают на дачу! Простите за тривиальное словцо, но мне было не до высокого слога... потому что ведь все, что только ни было в Петербурге, или переехало, или переезжало на дачу; потому что каждый почтенный господин солидной наружности, нанимавший извозчика, на глазах моих тотчас же обращался в почтенного отца семейства, который после обыденных должностных занятий отправляется налегке в недра своей фамилии, на дачу; потому что у каждого прохожего был теперь уже совершенно особый вид, который чуть-чуть не говорил всякому встречному: «Мы, господа, здесь только так, мимоходом, а вот через два часа мы уедем на дачу». Отворялось ли окно, по которому побарабанили сначала тоненькие, белые, как сахар, пальчики, и высовывалась головка хорошенькой девушки, подзывавшей разносчика с горшками цветов, — мне тотчас же, тут же представлялось, что эти цветы только так покупаются, то есть вовсе не для того, чтоб наслаждаться весной и цветами в душной городской квартире, а что вот очень скоро все переедут на дачу и цветы с собою увезут. Мало того, я уже сделал такие успехи в своем новом, особенном роде открытий, что уже мог безошибочно, по одному виду, обозначить, на какой кто даче живет. Обитатели Каменного и Аптекарского островов или Петергофской дороги отличались изученным изяществом приемов, щегольскими летними костюмами и прекрасными экипажами, в которых они приехали в город. Жители Парголова и там, где подальше, с первого взгляда «внушали» своим благоразумием и солидностью; посетитель

Крестовского острова отличался невозмутимо-веселым видом. Удавалось ли мне встретить длинную процессию ломовых извозчиков, лениво шедших с возжами в руках подле возов, нагруженных целыми горами всякой мебели, столов, стульев, диванов турецких и нетурецких и прочим домашним скарбом, на котором, сверх всего этого, зачастую восседала, на самой вершине воза, тщедушная кухарка, берегущая барское добро как зеницу ока; смотрел ли я на тяжело нагруженные домашнею утварью лодки, скользившие по Неве иль Фонтанке, до Черной речки иль островов, — воза и лодки удесятерялись, усотерялись в глазах моих; казалось, все поднялось и поехало, все переселялось целыми караванами на дачу, казалось, весь Петербург грозил обратиться в пустыню, так что, наконец, мне стало стыдно, обидно и грустно; мне решительно некуда и незачем было ехать на дачу. Я готов был уйти с каждым возом, уехать с каждым господином почтенной наружности, нанимавшим извозчика; но ни один, решительно никто не пригласил меня: словно забыли меня, словно я для них был и в самом деле чужой!

Я ходил много и долго, так что уже совсем успел, по своему обыкновению, забыть, где я, как вдруг очутился у заставы. Вмиг мне стало весело, и я шагнул за шлагбаум, пошел между засеянных полей и лугов, не слышал усталости, но чувствовал только всем составом своим, что какое-то бремя спадает с души моей. Все проезжие смотрели на меня так приветливо, что решительно чуть не кланялись; все были так рады чему-то, все до одного курили сигары. И я был рад, как еще никогда со мной не случалось. Точно я вдруг очутился в Италии — так сильно поразила природа меня, полубольного горожанина, чуть не задохнувшегося в городских стенах.

Есть что-то неизъяснимо-трогательное в нашей петербургской природе, когда она, с наступлением весны, вдруг выкажет всю мощь свою, все дарованные ей небом силы, опушится, разрядится, упестрится цветами... Как-то невольно напоминает она мне ту девушку, чахлую и хворую, на которую вы смотрите иногда с сожалением, иногда с какою-то сострадательною любовью, иногда же просто не замечаете ее, но которая вдруг, на один миг, как-то нечаянно сделается неизъяснимо, чудно прекрасною, а вы, пораженный, упоенный, невольно спрашиваете себя: какая сила заставила блистать таким огнем эти грустные, задумчивые глаза? что вызвало кровь на эти

бледные, похудевшие щеки? что облило страстью эти нежные черты лица? отчего так вздымается эта грудь? что так внезапно вызвало силу, жизнь и красоту на лицо бедной девушки, заставило его заблистать такой улыбкой, оживиться таким сверкающим, искрометным смехом? Вы смотрите кругом, вы кого-то ищете, вы догадываетесь... Но миг проходит, и, может быть, назавтра же вы встретите опять тот же задумчивый и рассеянный взгляд, как и прежде, то же бледное лицо, ту же покорность и робость в движениях и даже раскаяние, даже следы какой-то мертвящей тоски и досады за минутное увлечение... И жаль вам, что так скоро, так безвозвратно завяла мгновенная красота, что так обманчиво и напрасно блеснула она перед вами — жаль оттого, что даже полюбить ее вам не было времени...

А все-таки моя ночь была лучше дня! Вот как это было.

Я пришел назад в город очень поздно, и уже пробило десять часов, когда я стал подходить к квартире. Дорога моя шла по набережной канала, на которой в этот час не встретишь живой души. Правда, я живу в отдаленнейшей части города. Я шел и пел, потому что, когда я счастлив, я непременно мурлыкаю что-нибудь про себя, как и всякий счастливый человек, у которого нет ни друзей, ни добрых знакомых и которому в радостную минуту не с кем разделить свою радость. Вдруг со мной случилось самое неожиданное приключение.

В сторонке, прислонившись к перилам канала, стояла женщина; облокотившись на решетку, она, по-видимому, очень внимательно смотрела на мутную воду канала. Она была одета в премиленькой желтой шляпке и в кокетливой черной мантильке. «Это девушка, и непременно брюнетка», — подумал я. Она, кажется, не слыхала шагов моих, даже не шевельнулась, когда я прошел мимо, затаив дыхание и с сильно забившимся сердцем. «Странно! — подумал я, — верно, она о чем-нибудь очень задумалась», и вдруг я остановился как вкопанный. Мне послышалось глухое рыдание. Да! я не обманулся: девушка плакала, и через минуту еще и еще всхлипывание. Боже мой! У меня сердце сжалось. И как я ни робок с женщинами, но ведь это была такая минута!.. Я воротился, шагнул к ней и непременно бы произнес: «Сударыня!» — если б только не знал, что это восклицание уже тысячу раз произносилось во всех русских великосветских романах. Это одно и остановило меня. Но покамест я приискивал слово, девушка

очнулась, оглянулась, спохватилась, потупилась и скользнула мимо меня по набережной. Я тотчас же пошел вслед за ней, но она догадалась, оставила набережную, перешла через улицу и пошла по тротуару. Я не посмел перейти через улицу. Сердце мое трепетало, как у пойманной птички. Вдруг один случай пришел ко мне на помощь.

По той стороне тротуара, недалеко от моей незнакомки, вдруг появился господин во фраке, солидных лет, но нельзя сказать, чтоб солидной походки. Он шел, пошатываясь и осторожно опираясь об стенку. Девушка же шла, словно стрелка, торопливо и робко, как вообще ходят все девушки, которые не хотят, чтоб кто-нибудь вызвался провожать их ночью домой, и, конечно, качавшийся господин ни за что не догнал бы ее, если б судьба моя не надоумила его поискать искусственных средств. Вдруг, не сказав никому ни слова, мой господин срывается с места и летит со всех ног, бежит, догоняя мою незнакомку. Она шла как ветер, но колыхавшийся господин настигал, настиг, девушка вскрикнула — и... я благословляю судьбу за превосходную сучковатую палку, которая случилась на этот раз в моей правой руке. Я мигом очутился на той стороне тротуара, мигом незваный господин понял, в чем дело, принял в соображение неотразимый резон, замолчал, отстал и, только когда уже мы были очень далеко, протестовал против меня в довольно энергических терминах. Но до нас едва долетели слова его.

— Дайте мне руку, — сказал я моей незнакомке, — и он не посмеет больше к нам приставать.

Она молча подала мне свою руку, еще дрожавшую от волнения и испуга. О, незваный господин! как я благословлял тебя в эту минуту! Я мельком взглянул на нее: она была премиленькая и брюнетка — я угадал; на ее черных ресницах еще блестели слезинки недавнего испуга или прежнего горя, — не знаю. Но на губах уже сверкала улыбка. Она тоже взглянула на меня украдкой, слегка покраснела и потупилась.

— Вот видите, зачем же вы тогда отогнали меня? Если б я был тут, ничего бы не случилось...

— Но я вас не знала: я думала, что вы тоже...

— А разве вы теперь меня знаете?

— Немножко. Вот, например, отчего вы дрожите?

— О, вы угадали с первого раза! — отвечал я в восторге, что моя девушка умница: это при красоте никогда не меша-

ет. — Да, вы с первого взгляда угадали, с кем имеете дело. Точно, я робок с женщинами, я в волненье, не спорю, не меньше, как были вы минуту назад, когда этот господин испугал вас... Я в каком-то испуге теперь. Точно сон, а я даже и во сне не гадал, что когда-нибудь буду говорить хоть с какой-нибудь женщиной.

— Как? не-уже-ли?

— Да, если рука моя дрожит, то это оттого, что никогда еще ее не обхватывала такая хорошенькая маленькая ручка, как ваша. Я совсем отвык от женщин; то есть я к ним и не привыкал никогда; я ведь один... Я даже не знаю, как говорить с ними. Вот и теперь не знаю — не сказал ли вам какой-нибудь глупости? Скажите мне прямо; предупреждаю вас, я не обидчив...

— Нет, ничего, ничего; напротив. И если уже вы требуете, чтоб я была откровенна, так я вам скажу, что женщинам нравится такая робость; а если вы хотите знать больше, то и мне она тоже нравится, и я не отгоню вас от себя до самого дома.

— Вы сделаете со мной, — начал я, задыхаясь от восторга, — что я тотчас же перестану робеть и тогда — прощай все мои средства!..

— Средства? какие средства, к чему? вот это уж дурно.

— Виноват, не буду, у меня с языка сорвалось; но как же вы хотите, чтоб в такую минуту не было желания...

— Понравиться, что ли?

— Ну да; да будьте, ради бога, будьте добры. Посудите, кто я! Ведь вот уж мне двадцать шесть лет, а я никого никогда не видал. Ну, как же я могу хорошо говорить, ловко и кстати? Вам же будет выгоднее, когда все будет открыто, наружу... Я не умею молчать, когда сердце во мне говорит. Ну, да все равно... Поверите ли, ни одной женщины, никогда, никогда! Никакого знакомства! и только мечтаю каждый день, что наконец-то когда-нибудь я встречу кого-нибудь. Ах, если б вы знали, сколько раз я был влюблен таким образом!..

— Но как же, в кого же?..

— Да ни в кого, в идеал, в ту, которая приснится во сне. Я создаю в мечтах целые романы. О, вы меня не знаете! Правда, нельзя же без того, я встречал двух-трех женщин, но какие они женщины? это все такие хозяйки, что... Но я вас насмешу, я расскажу вам, что несколько раз думал заговорить, так, запросто, с какой-нибудь аристократкой

на улице, разумеется, когда она одна; заговорить, конечно, робко, почтительно, страстно; сказать, что погибаю один, чтоб она не отгоняла меня, что нет средства узнать хоть какую-нибудь женщину, внушить ей, что даже в обязанностях женщины не отвергнуть робкой мольбы такого несчастного человека, как я. Что, наконец, и все, чего я требую, состоит в том только, чтоб сказать мне какие-нибудь два слова братские, с участием, не отогнать меня с первого шага, поверить мне на слово, выслушать, что я буду говорить, посмеяться надо мной, если угодно, обнадежить меня, сказать мне два слова, только два слова, потом пусть хоть мы с ней никогда не встречаемся!.. Но вы смеетесь.. Впрочем, я для того и говорю...

— Не досадуйте; я смеюсь тому, что вы сами себе враг, и если б вы попробовали, то вам и удалось, может быть, хоть бы и на улице дело было; чем проще, тем лучше... Ни одна добрая женщина, если только она не глупа или особенно не сердита на что-нибудь в эту минуту, не решилась бы отослать вас без этих двух слов, которых вы так робко вымаливаете... Впрочем, что я! конечно, приняла бы вас за сумасшедшего. Я ведь судила по себе. Сама-то я много знаю, как люди на свете живут!

— О, благодарю вас, — закричал я, — вы не знаете, что вы для меня теперь сделали!

— Хорошо, хорошо! Но скажите мне, почему вы узнали, что я такая женщина, с которой... ну, которую вы считали достойной... внимания и дружбы... одним словом, не хозяйка, как вы называете. Почему вы решились подойти ко мне?

— Почему? почему? Но вы были одни, тот господин был слишком смел, теперь ночь: согласитесь сами, что это обязанность...

— Нет, нет, еще прежде, там, на той стороне. Ведь вы хотели же подойти ко мне?

— Там, на той стороне? Но я, право, не знаю, как отвечать; я боюсь... Знаете ли, я сегодня был счастлив; я шел, пел; я был за городом; со мной еще никогда не бывало таких счастливых минут. Вы... мне, может быть, показалось... Ну, простите меня, если я напомню: мне показалось, что вы плакали, и я... я не мог слышать это... у меня стеснилось сердце... О боже мой! Ну, да неужели же я не мог потосковать об вас? Неужели же был грех почувствовать к вам братское сострадание?.. Извините, я сказал сострадание... Ну, да, одним

словом, неужели я мог вас обидеть тем, что невольно вздумалось мне к вам подойти?..

— Оставьте, довольно, не говорите... — сказала девушка, потупившись и сжав мою руку. — Я сама виновата, что заговорила об этом; но я рада, что не ошиблась в вас... но вот уже я дома; мне нужно сюда в переулок; тут два шага... Прощайте, благодарю вас...

— Так неужели же, неужели мы больше никогда не увидимся?.. Неужели это так и останется?

— Видите ли, — сказала, смеясь, девушка, — вы хотели сначала только двух слов, а теперь... Но, впрочем, я вам ничего не скажу... Может быть, встретимся...

— Я приду сюда завтра, — сказал я. — О, простите меня, я уже требую...

— Да, вы нетерпеливы... вы почти требуете...

— Послушайте, послушайте! — прервал я ее. — Простите, если я вам скажу опять что-нибудь такое... Но вот что: я не могу не прийти сюда завтра. Я мечтатель; у меня так мало действительной жизни, что я такие минуты, как эту, как теперь, считаю так редко, что не могу не повторять этих минут в мечтаньях. Я промечтаю об вас целую ночь, целую неделю, весь год. Я непременно приду сюда завтра, именно сюда, на это же место, именно в этот час, и буду счастлив, припоминая вчерашнее. Уж это место мне мило. У меня уже есть такие два-три места в Петербурге. Я даже один раз заплакал от воспоминанья, как вы... Почем знать, может быть, и вы, тому назад десять минут, плакали от воспоминанья... Но простите меня, я опять забылся; вы, может быть, когда-нибудь были здесь особенно счастливы...

— Хорошо, — сказала девушка, — я, пожалуй, приду сюда завтра, тоже в десять часов. Вижу, что я уже не могу вам запретить... Вот в чем дело, мне нужно быть здесь; не подумайте, чтоб я вам назначала свидание; я предупреждаю вас, мне нужно быть здесь для себя. Но вот... ну, уж я вам прямо скажу: это будет ничего, если и вы придете; во-первых, могут быть опять неприятности, как сегодня, но это в сторону... одним словом, мне просто хотелось бы вас видеть... чтоб сказать вам два слова. Только, видите ли, вы не осудите меня теперь? не подумайте, что я так легко назначаю свидания... Я бы и не назначила, если б... Но пусть это будет моя тайна! Только вперед уговор...

— Уговор! говорите, скажите, скажите все заранее; я на все согласен, на все готов, — вскричал я в восторге, — я отвечаю за себя — буду послушен, почтителен... вы меня знаете...

— Именно оттого, что знаю вас, и приглашаю вас завтра, — сказала, смеясь, девушка. — Я вас совершенно знаю. Но смотрите, приходите с условием; во-первых (только будьте добры, исполните, что я попрошу, — видите ли, я говорю откровенно), не влюбляйтесь в меня... Это нельзя, уверяю вас. На дружбу я готова, вот вам рука моя... А влюбиться нельзя, прошу вас!

— Клянусь вам, — закричал я, схватив ее ручку...

— Полноте, не клянитесь, я ведь знаю, вы способны вспыхнуть, как порох. Не осуждайте меня, если я так говорю. Если б вы знали... У меня тоже никого нет, с кем бы мне можно было слово сказать, у кого бы совета спросить. Конечно, не на улице же искать советников, да вы исключение. Я вас так знаю, как будто уже мы двадцать лет были друзьями... Не правда ли, вы не измените?..

— Увидите... только я не знаю, как уж я доживу хотя сутки.

— Спите покрепче; доброй ночи — и помните, что я вам уже вверилась. Но вы так хорошо воскликнули давеча: неужели ж давать отчет в каждом чувстве, даже в братском сочувствии! Знаете ли, это было так хорошо сказано, что у меня тотчас же мелькнула мысль довериться вам...

— Ради бога, но в чем? что?

— До завтра. Пусть это будет покамест тайной. Тем лучше для вас; хоть издали будет на роман похоже. Может быть, я вам завтра же скажу, а может быть, нет...

Я еще с вами наперед поговорю, мы познакомимся лучше...

— О, да, я вам завтра же все расскажу про себя! Но что это? точно чудо со мной совершается... Где я, боже мой? Ну, скажите, неужели вы недовольны тем, что не рассердились, как бы сделала другая, не отогнали меня в самом начале? Две минуты, и вы сделали меня навсегда счастливым. Да! счастливым; почем знать, может быть, вы меня с собой помирили, разрешили мои сомнения... Может быть, на меня находят такие минуты... Ну, да я вам завтра все расскажу, вы все узнаете, все...

— Хорошо, принимаю; вы и начнете...

— Согласен.

— До свиданья!

— До свиданья!

И мы расстались. Я ходил всю ночь; я не мог решиться воротиться домой. Я был так счастлив... до завтра!

НОЧЬ ВТОРАЯ

— Ну, вот и дожили! — сказала она мне, смеясь и пожимая мне обе руки.

— Я здесь уже два часа; вы не знаете, что было со мной целый день!

— Знаю, знаю... но к делу. Знаете, зачем я пришла? Ведь не вздор болтать, как вчера. Вот что: нам нужно вперед умней поступать. Я обо всем этом вчера долго думала.

— В чем же, в чем быть умнее? С моей стороны, я готов; но, право, в жизнь не случалось со мною ничего умнее, как теперь.

— В самом деле? Во-первых, прошу вас, не жмите так моих рук; во-вторых, объявляю вам, что я об вас сегодня долго раздумывала.

— Ну, и чем же кончилось?

— Чем кончилось? Кончилось тем, что нужно все снова начать, потому что в заключение всего я решила сегодня, что вы еще мне совсем неизвестны, что я вчера поступила, как ребенок, как девочка, и, разумеется, вышло так, что всему виновато мое доброе сердце, то есть я похвалила себя, как и всегда кончается, когда мы начнем свое разбирать. И потому, чтоб поправить ошибку, я решила разузнать об вас самым подробнейшим образом. Но так как разузнавать о вас не у кого, то вы и должны мне сами все рассказать, всю подноготную. Ну, что вы за человек? Поскорее — начинайте же, рассказывайте свою историю.

— Историю! — закричал я, испугавшись, — историю! Но кто вам сказал, что у меня есть моя история? у меня нет истории...

— Так как же вы жили, коль нет истории? — перебила она смеясь.

— Совершенно без всяких историй! так жил, как у нас говорится, сам по себе, то есть один совершенно, — один, один вполне, — понимаете, что такое один?

— Да как один? То есть вы никого никогда не видали?

— О нет, видеть-то вижу, — а все-таки я один.

— Что же, вы разве не говорите ни с кем?

— В строгом смысле, ни с кем.

— Да кто же вы такой, объяснитесь! Постойте, я догадываюсь: у вас, верно, есть бабушка, как и у меня. Она слепая, и вот уже целую жизнь меня никуда не пускает, так что я почти разучилась совсем говорить. А когда я нашалила тому назад года два, так она видит, что меня не удержишь, взяла призвала меня, да и пришпилила булавкой мое платье к своему — и так мы с тех пор и сидим по целым дням; она чулок вяжет, хоть и слепая; а я подле нее сиди, шей или книжку вслух ей читай — такой странный обычай, что вот уже два года пришпиленная...

— Ах, боже мой, какое несчастье! Да нет же, у меня нет такой бабушки.

— А коль нет, так как это вы можете дома сидеть?..

— Послушайте, вы хотите знать, кто я таков?

— Ну, да, да!

— В строгом смысле слова?

— В самом строгом смысле слова!

— Извольте, я — тип.

— Тип, тип! какой тип? — закричала девушка, захохотав так, как будто ей целый год не удавалось смеяться. — Да с вами превесело! Смотрите: вот здесь есть скамейка; сядем! Здесь никто не ходит, нас никто не услышит, и — начинайте же вашу историю! потому что, уж вы меня не уверите, у вас есть история, а вы только скрываетесь. Во-первых, что это такое тип?

— Тип? тип — это оригинал, это такой смешной человек! — отвечал я, сам расхохотавшись вслед за ее детским смехом. — Это такой характер. Слушайте: знаете вы, что такое мечтатель?

— Мечтатель! позвольте, да как не знать? я сама мечтатель! Иной раз сидишь подле бабушки и чего-чего в голову не войдет. Ну, вот и начнешь мечтать, да так раздумаешься — ну, просто за китайского принца выхожу... А ведь это в другой раз и хорошо — мечтать! Нет, впрочем, Бог знает! Особенно если есть и без этого о чем думать, — прибавила девушка на этот раз довольно серьезно.

— Превосходно! Уж коли раз вы выходили за богдыхана китайского, так, стало быть, совершенно поймете меня. Ну, слушайте... Но позвольте: ведь я еще не знаю, как вас зовут?

— Наконец-то! вот рано вспомнили!

— Ах, Боже мой! да мне и на ум не пришло, мне было и так хорошо...

— Меня зовут — Настенька.

— Настенька! и только?

— Только! да неужели вам мало, ненасытный вы этакой!

— Мало ли? Много, много, напротив, очень много, Настенька, добренькая вы девушка, коли с первого разу вы для меня стали Настенькой!

— То-то же! ну!

— Ну, вот, Настенька, слушайте-ка, какая тут выходит смешная история.

Я уселся подле нее, принял педантски-серьезную позу и начал словно по-писаному:

— Есть, Настенька, если вы того не знаете, есть в Петербурге довольно странные уголки. В эти места как будто не заглядывает то же солнце, которое светит для всех петербургских людей, а заглядывает какое-то другое, новое, как будто нарочно заказанное для этих углов, и светит на все иным, особенным светом. В этих углах, милая Настенька, выживается как будто совсем другая жизнь, не похожая на ту, которая возле нас кипит, а такая, которая может быть в тридесятом неведомом царстве, а не у нас, в наше серьезное-пресерьезное время. Вот эта-то жизнь и есть смесь чего-то чисто фантастического, горячо-идеального и вместе с тем (увы, Настенька!) тускло-прозаичного и обыкновенного, чтоб не сказать: до невероятности пошлого.

— Фу! Господи Боже мой! какое предисловие! Что же это я такое услышу?

— Услышите вы, Настенька (мне кажется, я никогда не устану называть вас Настенькой), услышите вы, что в этих углах проживают странные люди — мечтатели. Мечтатель — если нужно его подробное определение — не человек, а, знаете, какое-то существо среднего рода. Селится он большею частию где-нибудь в неприступном углу, как будто таится в нем даже от дневного света, и уж если заберется к себе, то так и прирастет к своему углу, как улитка, или по крайней мере он очень похож в этом отношении на то занимательное животное, которое и животное и дом вместе, которое называется черепахой. Как вы думаете, отчего он так любит свои четыре стены, выкрашенные непременно зеленою краскою, закоп-

телые, унылые и непозволительно обкуренные? Зачем этот смешной господин, когда его приходит навестить кто-нибудь из его редких знакомых (а кончает он тем, что знакомые у него все переводятся), зачем этот смешной человек встречает его так сконфузившись, так изменившись в лице и в таком замешательстве, как будто он только что сделал в своих четырех стенах преступление, как будто он фабриковал фальшивые бумажки или какие-нибудь стишки для отсылки в журнал при анонимном письме, в котором обозначается, что настоящий поэт уже умер и что друг его считает священным долгом опубликовать его вирши? Отчего, скажите мне, Настенька, разговор так не вяжется у этих двух собеседников? отчего ни смех, ни какое-нибудь бойкое словцо не слетает с языка внезапно вошедшего и озадаченного приятеля, который в другом случае очень любит и смех, и бойкое словцо, и разговоры о прекрасном поле, и другие веселые темы? Отчего же, наконец, этот приятель, вероятно недавний знакомый, и при первом визите, — потому что второго в таком случае уже не будет, и приятель другой раз не придет, — отчего сам приятель так конфузится, так костенеет, при всем своем остроумии (если только оно есть у него), глядя на опрокинутое лицо хозяина, который в свою очередь уже совсем успел потеряться и сбиться с последнего толка после исполинских, но тщетных усилий разгладить и упестрить разговор, показать, и с своей стороны, знание светскости, тоже заговорить о прекрасном поле и хоть такою покорностию понравиться бедному, не туда попавшему человеку, который ошибкою пришел к нему в гости? Отчего, наконец, гость вдруг хватается за шляпу и быстро уходит, внезапно вспомнив о самонужнейшем деле, которого никогда не бывало, и кое-как высвобождает свою руку из жарких пожатий хозяина, всячески старающегося показать свое раскаяние и поправить потерянное? Отчего уходящий приятель хохочет, выйдя за дверь, тут же дает самому себе слово никогда не приходить к этому чудаку, хотя этот чудак в сущности и превосходнейший малый, и в то же время никак не может отказать своему воображению в маленькой прихоти: сравнить, хоть отдаленным образом, физиономию своего недавнего собеседника во все время свидания с видом того несчастного котеночка, которого измяли, застращали и всячески обидели дети, вероломно захватив его в плен, сконфузили в прах, который забился, наконец, от них под стул, в темноту, и там це-

лый час на досуге принужден ощетиниваться, отфыркиваться и мыть свое обиженное рыльце обеими лапами и долго еще после того враждебно взирать на природу и жизнь и даже на подачку с господского обеда, припасенную для него сострадательною ключницею?

— Послушайте, — перебила Настенька, которая все время слушала меня в удивлении, открыв глаза и ротик, — послушайте: я совершенно не знаю, отчего все это произошло и почему именно вы мне предлагаете такие смешные вопросы; но что я знаю наверно, так то, что все эти приключения случились непременно с вами, от слова до слова.

— Без сомнения, — отвечал я с самою серьезной миной.

— Ну, коли без сомнения, так продолжайте, — ответила Настенька, — потому что мне очень хочется знать, чем это кончится.

— Вы хотите знать, Настенька, что такое делал в своем углу наш герой, или, лучше сказать, я, потому что герой всего дела — я, своей собственной скромной особой; вы хотите знать, отчего я так переполошился и потерялся на целый день от неожиданного визита приятеля? Вы хотите знать, отчего я так вспорхнулся, так покраснел, когда отворили дверь в мою комнату, почему я не умел принять гостя и так постыдно погиб под тяжестью собственного гостеприимства?

— Ну да, да! — отвечала Настенька, — в этом и дело. Послушайте: вы прекрасно рассказываете, но нельзя ли рассказывать как-нибудь не так прекрасно? А то вы говорите, точно книгу читаете.

— Настенька! — отвечал я важным и строгим голосом, едва удерживаясь от смеха, — милая Настенька, я знаю, что я рассказываю прекрасно, но — виноват, иначе я рассказывать не умею. Теперь, милая Настенька, теперь я похож на дух царя Соломона, который был тысячу лет в кубышке, под семью печатями, и с которого, наконец, сняли все эти семь печатей. Теперь, милая Настенька, когда мы сошлись опять после такой долгой разлуки, — потому что я вас давно уже знал, Настенька, потому что я уже давно кого-то искал, а это знак, что я искал именно вас и что нам было суждено теперь свидеться, — теперь в моей голове открылись тысячи клапанов, и я должен пролиться рекою слов, не то я задохнусь. Итак, прошу не перебивать меня, Настенька, а слушать и покорно, и послушно; иначе — я замолчу.

— Ни-ни-ни! никак! говорите! Теперь я не скажу ни слова.

— Продолжаю: есть, друг мой Настенька, в моем дне один час, который я чрезвычайно люблю. Это тот самый час, когда кончаются почти всякие дела, должности и обязательства, и все спешат по домам пообедать, прилечь отдохнуть, и тут же, в дороге, изобретают и другие веселые темы, касающиеся вечера, ночи и всего остающегося свободного времени. В этот час и наш герой, — потому что уж позвольте мне, Настенька, рассказывать в третьем лице, затем, что в первом лице все это ужасно стыдно рассказывать, — итак, в этот час и наш герой, который тоже был не без дела, шагает за прочими. Но странное чувство удовольствия играет на его бледном, как будто несколько измятом лице. Неравнодушно смотрит он на вечернюю зарю, которая медленно гаснет на холодном петербургском небе. Когда я говорю — смотрит, так я лгу: он не смотрит, но созерцает как-то безотчетно, как будто усталый или занятый в то же время каким-нибудь другим, более интересным предметом, так что разве только мельком, почти невольно, может уделить время на все окружающее. Он доволен, потому что покончил до завтра с досадными для него *делами*, и рад, как школьник, которого выпустили с классной скамьи к любимым играм и шалостям. Посмотрите на него сбоку, Настенька: вы тотчас увидите, что радостное чувство уже счастливо подействовало на его слабые нервы и болезненно раздраженную фантазию. Вот он об чем-то задумался... Вы думаете, об обеде? о сегодняшнем вечере? На что он так смотрит? На этого ли господина солидной наружности, который так картинно поклонился даме, прокатившейся мимо него на резвоногих конях в блестящей карете? Нет, Настенька, что ему теперь до всей этой мелочи! Он теперь уже богат *своею особенною* жизнью; он как-то вдруг стал богатым, и прощальный луч потухающего солнца не напрасно так весело сверкнул перед ним и вызвал из согретого сердца целый рой впечатлений. Теперь он едва замечает ту дорогу, на которой прежде самая мелкая мелочь могла поразить его. Теперь «богиня фантазии» (если вы читали Жуковского, милая Настенька) уже заткала прихотливою рукою свою золотую основу и пошла развивать перед ним узоры небывалой, причудливой жизни — и, кто знает, может, перенесла его прихотливой рукою на седьмое хрустальное небо с превосходного

гранитного тротуара, по которому он идет восвояси. Попробуйте остановить его теперь, спросите его вдруг: где он теперь стоит, по каким улицам шел? — он наверно бы ничего не припомнил, ни того, где ходил, ни того, где стоял теперь, и, покраснев с досады, непременно солгал бы что-нибудь для спасения приличий. Вот почему он так вздрогнул, чуть не закричал и с испугом огляделся кругом, когда одна очень почтенная старушка учтиво остановила его посреди тротуара и стала расспрашивать его о дороге, которую она потеряла. Нахмурясь с досады, шагает он дальше, едва замечая, что не один прохожий улыбнулся, на него глядя, и обратился ему вслед и что какая-нибудь маленькая девочка, боязливо уступившая ему дорогу, громко засмеялась, посмотрев во все глаза на его широкую созерцательную улыбку и жесты руками. Но все та же фантазия подхватила на своем игривом полете и старушку, и любопытных прохожих, и смеющуюся девочку, и мужичков, которые тут же вечеряют на своих барках, запрудивших Фонтанку (положим, в это время по ней проходил наш герой), заткала шаловливо всех и все в свою канву, как мух в паутину, и с новым приобретением чудак уже вошел к себе в отрадную норку, уже сел за обед, уже давно отобедал и очнулся только тогда, когда задумчивая и вечно печальная Матрена, которая ему прислуживает, уже все прибрала со стола и подала ему трубку, очнулся и с удивлением вспомнил, что он уже совсем пообедал, решительно проглядев, как это сделалось. В комнате потемнело; на душе его пусто и грустно; целое царство мечтаний рушилось вокруг него, рушилось без следа, без шума и треска, пронеслось, как сновидение, а он и сам не помнит, что ему грезилось. Но какое-то темное ощущение, от которого слегка заныла и волнуется грудь его, какое-то новое желание соблазнительно щекочет и раздражает его фантазию и незаметно сзывает целый рой новых призраков. В маленькой комнате царствует тишина; уединение и лень нежат воображение; оно воспламеняется слегка, слегка закипает, как вода в кофейнике старой Матрены, которая безмятежно возится рядом, в кухне, стряпая свой кухарочный кофе. Вот оно уже слегка прорывается вспышками, вот уже и книга, взятая без цели и наудачу, выпадает из рук моего мечтателя, не дошедшего и до третьей страницы. Воображение его снова настроено, возбуждено, и вдруг опять новый мир, новая, очаровательная жизнь блеснула перед ним в блестящей своей

перспективе. Новый сон — новое счастие! Новый прием утонченного, сладострастного яда! О, что ему в нашей действительной жизни! На его подкупленный взгляд, мы с вами, Настенька, живем так лениво, медленно, вяло; на его взгляд, мы все так недовольны нашею судьбою, так томимся нашею жизнью! Да и вправду, смотрите, в самом деле, как на первый взгляд все между нами холодно, угрюмо, точно сердито... «Бедные!» — думает мой мечтатель. Да и не диво, что думает! Посмотрите на эти волшебные призраки, которые так очаровательно, так прихотливо, так безбрежно и широко слагаются перед ним в такой волшебной, одушевленной картине, где на первом плане, первым лицом, уж, конечно, он сам, наш мечтатель, своею дорогою особою. Посмотрите, какие разнообразные приключения, какой бесконечный рой восторженных грез. Вы спросите, может быть, о чем он мечтает? К чему это спрашивать! да обо всем... об роли поэта, сначала не признанного, а потом увенчанного; о дружбе с Гофманом; Варфоломеевская ночь, Диана Вернон, геройская роль при взятии Казани Иваном Васильевичем, Клара Мовбрай, Евфия Денс[1], собор прелатов и Гус перед ними, восстание мертвецов в Роберте[2] (помните музыку? кладбищем пахнет!), Минна и Бренда[3], сражение при Березине, чтение поэмы у графини В—й-Д—й[4], Дантон, Клеопатра ei suoi amanti, домик в Коломне[5], свой уголок, а подле милое создание, которое слушает вас в зимний вечер, раскрыв ротик и глазки, как слушаете вы теперь меня, мой маленький ангельчик... Нет, Настенька, что ему, что ему, сладострастному ленивцу, в той жизни, в которую нам так хочется с вами? он думает, что это бедная, жалкая жизнь, не предугадывая, что и для него, может быть, когда-нибудь пробьет грустный час, когда он за один день этой жалкой жизни отдаст все свои фантастические годы, и еще не за радость, не за счастие отдаст, и выбирать не захочет в тот час грусти, раскаяния и невозбранного горя. Но покамест еще не настало оно, это грозное время — он ничего не желает, потому что он

---

[1] *Диа́на Верно́н, Кла́ра Мовбра́й, Е́вфия Денс* — персонажи романов Вальтера Скотта.

[2] Имеется в виду опера «Ро́берт-Дья́вол» Мейербе́ра.

[3] Героини произведений В. А. Жуковского и И. И. Козлова.

[4] Речь идет о салоне А. К. Воронцовой-Дашковой.

[5] Клеопатра, домик в Коломне — намеки на произведения А. С. Пушкина «Египетские ночи» и «Домик в Коломне».

выше желаний, потому что с ним все, потому что он пресыщен, потому что он сам художник своей жизни и творит ее себе каждый час по новому произволу. И ведь так легко, так натурально создается этот сказочный, фантастический мир! Как будто и впрямь все это не призрак! Право, верить готов в иную минуту, что вся эта жизнь не возбуждения чувства, не мираж, не обман воображения, а что это и впрямь действительное, настоящее, сущее! Отчего ж, скажите, Настенька, отчего же в такие минуты стесняется дух? отчего же каким-то волшебством, по какому-то неведомому произволу ускоряется пульс, брызжут слезы из глаз мечтателя, горят его бледные, увлаженные щеки и такой неотразимой отрадой наполняется все существование его? Отчего же целые бессонные ночи проходят, как один миг, в неистощимом веселии и счастии, и когда заря блеснет розовым лучом в окна и рассвет осветит угрюмую комнату своим сомнительным фантастическим светом, как у нас, в Петербурге, наш мечтатель, утомленный, измученный, бросается на постель и засыпает в замираниях от восторга своего болезненно-потрясенного духа и с такою томительно-сладкою болью в сердце? Да, Настенька, обманешься и невольно вчуже поверишь, что страсть настоящая, истинная волнует душу его, невольно поверишь, что есть живое, осязаемое в его бесплотных грезах! И ведь какой обман — вот, например, любовь сошла в его грудь со всею неистощимою радостью, со всеми томительными мучениями... Только взгляните на него и убедитесь! Верите ли вы, на него глядя, милая Настенька, что действительно он никогда не знал той, которую он так любил в своем исступленном мечтании? Неужели он только и видел ее в одних обольстительных призраках и только лишь снилась ему эта страсть? Неужели и впрямь не прошли они рука в руку столько годов своей жизни — одни, вдвоем, отбросив весь мир и соединив каждый свой мир, свою жизнь с жизнью друга? Неужели не она, в поздний час, когда настала разлука, не она лежала, рыдая и тоскуя, на груди его, не слыша бури, разыгравшейся под суровым небом, не слыша ветра, который срывал и уносил слезы с черных ресниц ее? Неужели все это была мечта — и этот сад, унылый, заброшенный и дикий, с дорожками, заросшими мхом, уединенный, угрюмый, где они так часто ходили вдвоем, надеялись, тосковали, любили, любили друг друга так долго, «так долго и нежно»! И этот странный,

прадедовский дом, в котором жила она столько времени уединенно и грустно, с старым, угрюмым мужем, вечно молчаливым и желчным, пугавшим их, робких, как детей, уныло и боязливо таивших друг от друга любовь свою? Как они мучились, как боялись они, как невинна, чиста была их любовь и как (уж разумеется, Настенька) злы были люди! И боже мой, неужели не ее встретил он потом, далеко от берегов своей родины, под чужим небом, полуденным, жарким, в дивном вечном городе, в блеске бала, при громе музыки, в палаццо (непременно в палаццо), потонувшем в море огней, на этом балконе, увитом миртом и розами, где она, узнав его, так поспешно сняла свою маску и, прошептав: «Я свободна», задрожав, бросилась в его объятия, и, вскрикнув от восторга, прижавшись друг к другу, они в один миг забыли и горе, и разлуку, и все мучения, и угрюмый дом, и старика, и мрачный сад в далекой родине, и скамейку, на которой, с последним, страстным поцелуем, она вырвалась из занемевших в отчаянной муке объятий его... О, согласитесь, Настенька, что вспорхнешься, смутишься и покраснеешь, как школьник, только что запихавший в карман украденное из соседнего сада яблоко, когда какой-нибудь длинный, здоровый парень, весельчак и балагур, ваш незваный приятель, отворит вашу дверь и крикнет, как будто ничего не бывало: «А я, брат, сию минуту из Павловска!» Боже мой! старый граф умер, настает неизреченное счастие, — а тут люди приезжают из Павловска!

Я патетически замолчал, кончив мои патетические возгласы. Помню, что мне ужасно хотелось как-нибудь через силу захохотать, потому что я уже чувствовал, что во мне зашевелился какой-то враждебный бесенок, что мне уже начинало захватывать горло, подергивать подбородок и что все более и более влажнели глаза мои... Я ожидал, что Настенька, которая слушала меня, открыв свои умные глазки, захохочет всем своим детским, неудержимо-веселым смехом, и уже раскаивался, что зашел далеко, что напрасно рассказал то, что уже давно накипело в моем сердце, о чем я мог говорить как по-писаному, потому что уже давно приготовил я над самим собой приговор, и теперь не удержался, чтоб не прочесть его, признаться, не ожидая, что меня поймут; но, к удивлению моему, она промолчала, погодя немного слегка пожала мне руку и с каким-то робким участием спросила:

— Неужели и в самом деле вы так прожили всю свою жизнь?

— Всю жизнь, Настенька, — отвечал я, — всю жизнь, и, кажется, так и окончу!

— Нет, этого нельзя, — сказала она беспокойно, — этого не будет; этак, пожалуй, и я проживу всю жизнь подле бабушки. Послушайте, знаете ли, что это вовсе не хорошо так жить?

— Знаю, Настенька, знаю! — вскричал я, не удерживая более своего чувства. — И теперь знаю больше, чем когда-нибудь, что я даром потерял все свои лучшие годы! Теперь это я знаю, и чувствую больнее от такого сознания, потому что сам Бог послал мне вас, моего доброго ангела, чтоб сказать мне это и доказать. Теперь, когда я сижу подле вас и говорю с вами, мне уж и страшно подумать о будущем, потому что в будущем — опять одиночество, опять эта затхлая, ненужная жизнь; и о чем мечтать будет мне, когда я уже наяву подле вас был так счастлив! О, будьте благословенны, вы, милая девушка, за то, что не отвергли меня с первого раза, за то, что уже я могу сказать, что я жил хоть два вечера в моей жизни!

— Ох, нет, нет! — закричала Настенька, и слезинки заблестели на глазах ее, — нет, так не будет больше; мы так не расстанемся! Что такое два вечера!

— Ох, Настенька, Настенька! знаете ли, как надолго вы помирили меня с самим собою? знаете ли, что уже я теперь не буду о себе думать так худо, как думал в иные минуты? Знаете ли, что уже я, может быть, не буду более тосковать о том, что сделал преступление и грех в моей жизни, потому что такая жизнь есть преступление и грех? И не думайте, чтоб я вам преувеличивал что-нибудь, ради бога, не думайте этого, Настенька, потому что на меня иногда находят минуты такой тоски, такой тоски... Потому что мне уже начинает казаться в эти минуты, что я никогда не способен начать жить настоящею жизнию, потому что мне уже казалось, что я потерял всякий такт, всякое чутье в настоящем, действительном; потому что, наконец, я проклинал сам себя; потому что после моих фантастических ночей на меня уже находят минуты отрезвления, которые ужасны! Между тем слышишь, как кругом тебя гремит и кружится в жизненном вихре людская толпа, слышишь, видишь, как живут люди — живут наяву, видишь, что жизнь для них не заказана, что их жизнь не раз-

летится, как сон, как видение, что их жизнь вечно обновляющаяся, вечно юная, и ни один час ее не похож на другой, тогда как уныла и до пошлости однообразна пугливая фантазия, раба тени, идеи, раба первого облака, которое внезапно застелет солнце и сожмет тоскою настоящее петербургское сердце, которое так дорожит своим солнцем, — а уж в тоске какая фантазия! Чувствуешь, что она, наконец, устает, истощается в вечном напряжении эта *неистощимая* фантазия, потому что ведь мужаешь, выживаешь из прежних своих идеалов: они разбиваются в пыль, в обломки; если ж нет другой жизни, так приходится строить ее из этих же обломков. А между тем чего-то другого просит и хочет душа! И напрасно мечтатель роется, как в золе, в своих старых мечтаниях, ища в этой золе хоть какой-нибудь искорки, чтоб раздуть ее, возобновленным огнем пригреть похолодевшее сердце и воскресить в нем снова все, что было прежде так мило, что трогало душу, что кипятило кровь, что вырывало слезы из глаз и так роскошно обманывало! Знаете ли, Настенька, до чего я дошел? знаете ли, что я уже принужден справлять годовщину своих ощущений, годовщину того, что было прежде так мило, чего в сущности никогда не бывало, — потому что эта годовщина справляется все по тем же глупым, бесплотным мечтаниям, — и делать это, потому что и этих-то глупых мечтаний нет, затем, что нечем их выжить: ведь и мечты выживаются! Знаете ли, что я люблю теперь припомнить и посетить в известный срок те места, где был счастлив когда-то по-своему, люблю построить свое настоящее под лад уже безвозвратно прошедшему и часто брожу, как тень, без нужды и без цели, уныло и грустно по петербургским закоулкам и улицам. Какие все воспоминания! Припоминается, например, что вот здесь ровно год тому назад, ровно в это же время, в этот же час, по этому же тротуару бродил так же одиноко, так же уныло, как и теперь! И припоминаешь, что и тогда мечты были грустны, и хоть и прежде было не лучше, но все как-то чувствуешь, что как будто и легче и покойнее было жить, что не было этой черной думы, которая теперь привязалась ко мне; что не было этих угрызений совести, угрызений мрачных, угрюмых, которые ни днем, ни ночью теперь не дают покоя. И спрашиваешь себя: где же мечты твои? и покачиваешь головою, говоришь: как быстро летят годы! И опять спрашиваешь себя: что же ты сделал с своими годами? куда ты схоронил свое лучшее время? Ты жил или

нет? Смотри, говоришь себе, смотри, как на свете становится холодно. Еще пройдут годы, и за ними придет угрюмое одиночество, придет с клюкой трясучая старость, а за ними тоска и уныние. Побледнеет твой фантастический мир, замрут, увянут мечты твои и осыплются, как желтые листья с деревьев... О, Настенька! ведь грустно будет оставаться одному, одному совершенно, и даже не иметь чего пожалеть — ничего, ровно ничего... потому что все, что потерял-то, все это, все было ничто, глупый, круглый нуль, было одно лишь мечтанье!

— Ну, не разжалобливайте меня больше! — проговорила Настенька, утирая слезинку, которая выкатилась из глаз ее. — Теперь кончено! Теперь мы будем вдвоем; теперь что ни случись со мной, уж мы никогда не расстанемся. Послушайте. Я простая девушка, я мало училась, хотя мне бабушка и нанимала учителя; но, право, я вас понимаю, потому что все, что вы мне пересказали теперь, я уж сама прожила, когда бабушка меня пришпилила к платью. Конечно, я бы так не рассказала хорошо, как вы рассказали, я не училась, — робко прибавила она, потому что все еще чувствовала какое-то уважение к моей патетической речи и к моему высокому слогу, — но я очень рада, что вы совершенно открылись мне. Теперь я вас знаю, совсем, всего знаю. И знаете что? я вам хочу рассказать и свою историю, всю без утайки, а вы мне после за то дадите совет. Вы очень умный человек; обещаетесь ли вы, что вы дадите мне этот совет?

— Ах, Настенька, — отвечал я, — я хоть и никогда не был советником, и тем более умным советником, но теперь вижу, что если мы всегда будем так жить, то это будет как-то очень умно, и каждый друг другу надает премного умных советов! Ну, хорошенькая моя Настенька, какой же вам совет? Говорите мне прямо; я теперь так весел, счастлив, смел и умен, что за словом не полезу в карман.

— Нет, нет! — перебила Настенька, засмеявшись, — мне нужен не один умный совет, мне нужен совет сердечный, братский, так как бы вы уже век свой любили меня!

— Идет, Настенька, идет! — закричал я в восторге, — и если б я уже двадцать лет вас любил, то все-таки не любил бы сильнее теперешнего!

— Руку вашу! — сказала Настенька.

— Вот она! — отвечал я, подавая ей руку.

— Итак, начнемте мою историю!

ИСТОРИЯ НАСТЕНЬКИ

— Половину истории вы уже знаете, то есть вы знаете, что у меня есть старая бабушка...

— Если другая половина так же недолга, как и эта... — перебил было я засмеявшись.

— Молчите и слушайте. Прежде всего уговор: не перебивать меня, а не то я, пожалуй, собьюсь. Ну, слушайте же смирно.

Есть у меня старая бабушка. Я к ней попала еще очень маленькой девочкой, потому что у меня умерли и мать и отец. Надо думать, что бабушка была прежде богаче, потому что и теперь вспоминает о лучших днях. Она же меня выучила по-французски и потом наняла мне учителя. Когда мне было пятнадцать лет (а теперь мне семнадцать), учиться мы кончили. Вот в это время я и нашалила; уж что я сделала — я вам не скажу; довольно того, что проступок был небольшой. Только бабушка подозвала меня к себе в одно утро и сказала, что так как она слепа, то за мной не усмотрит, взяла булавку и пришпилила мое платье к своему, да тут и сказала, что так мы будем всю жизнь сидеть, если, разумеется, я не сделаюсь лучше. Одним словом, в первое время отойти никак нельзя было: и работай, и читай, и учись — все подле бабушки. Я было попробовала схитрить один раз и уговорила сесть на мое место Феклу. Фекла — наша работница, она глуха. Фекла села вместо меня; бабушка в это время заснула в креслах, а я отправилась недалеко к подруге. Ну, худо и кончилось. Бабушка без меня проснулась и о чем-то спросила, думая, что я все еще сижу смирно на месте. Фекла-то видит, что бабушка спрашивает, а сама не слышит, про что, думала, думала, что ей делать, отстегнула булавку, да и пустилась бежать...

Тут Настенька остановилась и начала хохотать. Я засмеялся вместе с нею. Она тотчас же перестала.

— Послушайте, вы не смейтесь над бабушкой. Это я смеюсь, оттого что смешно... Что же делать, когда бабушка, право, такая, а только я ее все-таки немножко люблю. Ну да тогда и досталось мне: тотчас меня опять посадили на место и уж ни-ни, шевельнуться было нельзя.

Ну-с, я вам еще позабыла сказать, что у нас, то есть у бабушки, свой дом, то есть маленький домик, всего три окна, совсем деревянный и такой же старый, как бабушка; а наверху мезонин; вот и переехал к нам в мезонин новый жилец...

— Стало быть, был и старый жилец? — заметил я мимоходом.

— Уж конечно, был, — отвечала Настенька, — и который умел молчать лучше вас. Правда, уж он едва языком ворочал. Это был старичок, сухой, немой, слепой, хромой, так что, наконец, ему стало нельзя жить на свете, он и умер; а затем и понадобился новый жилец, потому что нам без жильца жить нельзя: это с бабушкиным пенсионом почти весь наш доход. Новый жилец, как нарочно, был молодой человек, не здешний, заезжий. Так как он не торговался, то бабушка и пустила его, а потом и спрашивает: «Что, Настенька, наш жилец молодой или нет?» Я солгать не хотела: «Так, говорю, бабушка, не то чтоб совсем молодой, а так, не старик». «Ну, и приятной наружности?» — спрашивает бабушка.

Я опять лгать не хочу. «Да, приятной, говорю, наружности, бабушка!» А бабушка говорит: «Ах! наказанье, наказанье! Я это, внучка, тебе для того говорю, чтоб ты на него не засматривалась. Экой век какой! поди, такой мелкий жилец, а ведь тоже приятной наружности: не то в старину!»

А бабушке все бы в старину! И моложе-то она была в старину, и солнце-то было в старину теплее, и сливки в старину не так скоро кисли, — все в старину! Вот я сижу и молчу, а про себя думаю: что же это бабушка сама меня надоумливает, спрашивает, хорош ли, молод ли жилец? Да только так, только подумала, и тут же стала опять петли считать, чулок вязать, а потом совсем позабыла.

Вот раз поутру к нам и приходит жилец, спросить о том, что ему комнату обещали обоями оклеить. Слово за слово, бабушка же болтлива, и говорит: «Сходи, Настенька, ко мне в спальню, принеси счеты». Я тотчас же вскочила, вся, не знаю отчего, покраснела, да и позабыла, что сижу пришпиленная; нет чтоб тихонько отшпилить, чтоб жилец не видал, — рванулась так, что бабушкино кресло поехало. Как я увидела, что жилец все теперь узнал про меня, покраснела, стала на месте как вкопанная, да вдруг и заплакала, — так стыдно и горько стало в эту минуту, что хоть на свет не глядеть! Бабушка кричит: «Что ж ты стоишь?» — а я еще пуще... Жилец как увидел, что мне его стыдно стало, откланялся и тотчас ушел!

С тех пор я, чуть шум в сенях, как мертвая. Вот, думаю, жилец идет, да потихоньку на всякий случай и отшпилю бу-

лавку. Только все был не он, не приходил. Прошло две недели; жилец и присылает сказать с Феклой, что у него книг много французских и что все хорошие книги, так что можно читать; так не хочет ли бабушка, чтоб я их ей почитала, чтоб не было скучно? Бабушка согласилась с благодарностью, только все спрашивала, нравственные книги или нет, потому что если книги безнравственные, так тебе, говорит, Настенька, читать никак нельзя, ты дурному научишься.

— А чему ж научусь, бабушка? Что там написано?

— А! — говорит, — описано в них, как молодые люди соблазняют благонравных девиц, как они, под предлогом того, что хотят их взять за себя, увозят их из дому родительского, как потом оставляют этих несчастных девиц на волю судьбы, и они погибают самым плачевным образом. Я, — говорит бабушка, — много таких книжек читала, и все, говорит, так прекрасно описано, что ночь сидишь, тихонько читаешь. Так ты, — говорит, — Настенька, смотри, их не прочти. Каких это, — говорит, — он книг прислал?

— А все Вальтера Скотта романы, бабушка.

— Вальтера Скотта романы! А полно, нет ли тут каких-нибудь шашней? Посмотри-ка, не положил ли он в них какой-нибудь любовной записочки?

— Нет, — говорю, — бабушка, нет записки.

— Да ты под переплетом посмотри; они иногда в переплет запихают, разбойники!..

— Нет, бабушка, и под переплетом нет ничего.

— Ну, то-то же!

Вот мы и начали читать Вальтера Скотта и в какой-нибудь месяц почти половину прочли. Потом он еще и еще присылал, Пушкина присылал, так что, наконец, я без книг и быть не могла и перестала думать, как бы выйти за китайского принца.

Так было дело, когда один раз мне случилось повстречаться с нашим жильцом на лестнице. Бабушка за чем-то послала меня. Он остановился, я покраснела, и он покраснел; однако засмеялся, поздоровался, о бабушкином здоровье спросил и говорит: «Что, вы книги прочли?» Я отвечала: «Прочла». — «Что же, говорит, вам больше понравилось?» Я и говорю: «“Ивангое”[1] да Пушкин больше всех понравились». На этот раз тем и кончилось.

[1] Роман В. Скотта «Айвенго».

Через неделю я ему опять попалась на лестнице. В этот раз бабушка не посылала, а мне самой надо было зачем-то. Был третий час, а жилец в это время домой приходил. «Здравствуйте!» — говорит. Я ему: «Здравствуйте!»

— А что, — говорит, — вам не скучно целый день сидеть вместе с бабушкой?

Как он это у меня спросил, я, уж не знаю отчего, покраснела, застыдилась, и опять мне стало обидно, видно оттого, что уж другие про это дело расспрашивать стали. Я уж было хотела не отвечать и уйти, да сил не было.

— Послушайте, — говорит, — вы добрая девушка! Извините, что я с вами так говорю, но, уверяю вас, я вам лучше бабушки вашей желаю добра. У вас подруг нет никаких, к которым бы можно было в гости пойти?

Я говорю, что никаких, что была одна, Машенька, да и та в Псков уехала.

— Послушайте, — говорит, — хотите со мною в театр поехать?

— В театр? как же бабушка-то?

— Да вы, — говорит, — тихонько от бабушки...

— Нет, — говорю, — я бабушку обманывать не хочу. Прощайте-с!

— Ну, прощайте, — говорит, а сам ничего не сказал.

Только после обеда и приходит он к нам; сел, долго говорил с бабушкой, расспрашивал, что она выезжает ли куда-нибудь, есть ли знакомые — да вдруг и говорит: «А сегодня я было ложу взял в оперу; “Севильского цирюльника” дают; знакомые ехать хотели, да потом отказались, у меня и остался билет на руках».

— «Севильского цирюльника»! — закричала бабушка, — да это тот самый цирюльник, которого в старину давали?

— Да, — говорит, — это тот самый цирюльник, — да и взглянул на меня. А я уж все поняла, покраснела, и у меня сердце от ожидания запрыгало!

— Да как же, — говорит бабушка, — как не знать! Я сама в старину на домашнем театре Розину играла!

— Так не хотите ли ехать сегодня? — сказал жилец. — У меня билет пропадает же даром.

— Да, пожалуй, поедем, — говорит бабушка, — отчего ж не поехать? А вот у меня Настенька в театре никогда не была.

Боже мой, какая радость! Тотчас же мы собрались, снарядились и поехали. Бабушка хоть и слепа, а все-таки ей хотелось музыку слушать, да, кроме того, она старушка добрая: больше меня потешить хотела, сами-то мы никогда бы не собрались. Уж какое было впечатление от «Севильского цирюльника», я вам не скажу, только во весь этот вечер жилец наш так хорошо смотрел на меня, так хорошо говорил, что я тотчас увидела, что он меня хотел испытать поутру, предложив, чтоб я одна с ним поехала. Ну, радость какая! Спать я легла такая гордая, такая веселая, так сердце билось, что сделалась маленькая лихорадка, и я всю ночь бредила о «Севильском цирюльнике».

Я думала, что после этого он все будет заходить чаще и чаще, — не тут-то было. Он почти совсем перестал. Так, один раз в месяц, бывало, зайдет, и то только с тем, чтоб в театр пригласить. Раза два мы опять потом съездили. Только уж этим я была совсем недовольна. Я видела, что ему просто жалко было меня за то, что я у бабушки в таком загоне, а больше-то и ничего. Дальше и дальше, и нашло на меня: и сидеть-то я не сижу, и читать-то я не читаю, и работать не работаю, иногда смеюсь и бабушке что-нибудь назло делаю, другой раз просто плачу. Наконец, я похудела и чуть было не стала больна. Оперный сезон прошел, и жилец к нам совсем перестал заходить; когда же мы встречались — все на той же лестнице, разумеется, — он так молча поклонится, так серьезно, как будто и говорить не хочет, и уж сойдет совсем на крыльцо, а я все еще стою на половине лестницы, красная, как вишня, потому что у меня вся кровь начала бросаться в голову, когда я с ним повстречаюсь.

Теперь сейчас и конец. Ровно год тому, в мае месяце, жилец к нам приходит и говорит бабушке, что он выхлопотал здесь совсем свое дело и что должно ему опять уехать на год в Москву. Я как услышала, побледнела и упала на стул как мертвая. Бабушка ничего не заметила, а он, объявив, что уезжает от нас, откланялся нам и ушел.

Что мне делать? Я думала-думала, тосковала-тосковала, да, наконец, и решилась. Завтра ему уезжать, а я порешила, что все кончу вечером, когда бабушка уйдет спать. Так и случилось. Я навязала в узелок все, что было платьев, сколько нужно белья, и с узелком в руках, ни жива ни мертва, пошла в мезонин к нашему жильцу. Думаю, я шла целый час по

лестнице. Когда же отворила к нему дверь, он так и вскрикнул, на меня глядя. Он думал, что я привидение, и бросился мне воды подать, потому что я едва стояла на ногах. Сердце так билось, что в голове больно было, и разум мой помутился. Когда же я очнулась, то начала прямо тем, что положила свой узелок к нему на постель, сама села подле, закрылась руками и заплакала в три ручья. Он, кажется, мигом все понял и стоял передо мной бледный и так грустно глядел на меня, что во мне сердце надорвало.

— Послушайте, — начал он, — послушайте, Настенька, я ничего не могу; я человек бедный; у меня покамест нет ничего, даже места порядочного; как же мы будем жить, если б я и женился на вас?

Мы долго говорили, но я, наконец, пришла в исступление, сказала, что не могу жить у бабушки, что убегу от нее, что не хочу, чтоб меня булавкой пришпиливали, и что я, как он хочет, поеду с ним в Москву, потому что без него жить не могу. И стыд, и любовь, и гордость — все разом говорило во мне, и я чуть не в судорогах упала на постель. Я так боялась отказа!

Он несколько минут сидел молча, потом встал, подошел ко мне и взял меня за руку.

— Послушайте, моя добрая, моя милая Настенька! — начал он тоже сквозь слезы, — послушайте. Клянусь вам, что если когда-нибудь я буду в состоянии жениться, то непременно вы составите мое счастие; уверяю, теперь только одни вы можете составить мое счастие. Слушайте: я еду в Москву и пробуду там ровно год. Я надеюсь устроить дела свои. Когда ворочусь, и если вы меня не разлюбите, клянусь вам, мы будем счастливы. Теперь же невозможно, я не могу, я не вправе хоть что-нибудь обещать. Но повторяю, если через год это не сделается, то хоть когда-нибудь непременно будет; разумеется, — в том случае, если вы не предпочтете мне другого, потому что связывать вас каким-нибудь словом я не могу и не смею.

Вот что он сказал мне и назавтра уехал. Положено было сообща бабушке не говорить об этом ни слова. Так он захотел. Ну, вот теперь почти и кончена вся моя история. Прошел ровно год. Он приехал, он уж здесь целые три дня и, и...

— И что же? — закричал я в нетерпении услышать конец.

— И до сих пор не являлся! — отвечала Настенька, как будто собираясь с силами, — ни слуху ни духу...

Тут она остановилась, помолчала немного, опустила голову и вдруг, закрывшись руками, зарыдала так, что во мне сердце перевернулось от этих рыданий.

Я никак не ожидал подобной развязки.

— Настенька! — начал я робким и вкрадчивым голосом, — Настенька! ради бога, не плачьте! Почему вы знаете? может быть, его еще нет...

— Здесь, здесь! — подхватила Настенька. — Он здесь, я это знаю. У нас было условие, тогда еще, в тот вечер, накануне отъезда: когда уже мы сказали все, что я вам пересказала, и условились, мы вышли сюда гулять, именно на эту набережную. Было десять часов; мы сидели на этой скамейке; я уже не плакала, мне было сладко слушать то, что он говорил... Он сказал, что тотчас же по приезде придет к нам, и если я не откажусь от него, то мы скажем обо всем бабушке. Теперь он приехал, я это знаю, и его нет, нет!

И она снова ударилась в слезы.

— Боже мой! Да разве никак нельзя помочь горю? — закричал я, вскочив со скамейки в совершенном отчаянии. — Скажите, Настенька, нельзя ли будет хоть мне сходить к нему?..

— Разве это возможно? — сказала она, вдруг подняв голову.

— Нет, разумеется, нет! — заметил я, спохватившись. — А вот что: напишите письмо.

— Нет, это невозможно, это нельзя! — отвечала она решительно, но уже потупив голову и не смотря на меня.

— Как нельзя? отчего ж нельзя? — продолжал я, ухватившись за свою идею. — Но, знаете, Настенька, какое письмо! Письмо письму рознь и... Ах, Настенька, это так! Вверьтесь мне, вверьтесь! Я вам не дам дурного совета. Все это можно устроить. Вы же начали первый шаг — отчего же теперь...

— Нельзя, нельзя! Тогда я как будто навязываюсь...

— Ах, добренькая моя Настенька! — перебил я, не скрывая улыбки, — нет же, нет; вы, наконец, вправе, потому что он вам обещал. Да и по всему я вижу, что он человек деликатный, что он поступил хорошо, — продолжал я, все более и более восторгаясь от логичности собственных доводов и убеждений, — он как поступил? Он себя связал обещанием. Он сказал, что ни на ком не женится, кроме вас, если только женится; вам же он оставил полную свободу хоть сейчас от него

отказаться... В таком случае вы можете сделать первый шаг, вы имеете право, вы имеете перед ним преимущество, хотя бы, например, если б захотели развязать его от данного слова...

— Послушайте, вы как бы написали?

— Что?

— Да это письмо.

— Я бы вот как написал: «Милостивый государь...»

— Это так непременно нужно — милостивый государь?

— Непременно! Впрочем, отчего ж? я думаю...

— Ну, ну! дальше!

— «Милостивый государь!

Извините, что я...» Впрочем, нет, не нужно никаких извинений! Тут самый факт вас оправдывает, пишите просто:

«Я пишу к вам. Простите мне мое нетерпение; но я целый год была счастлива надеждой; виновата ли я, что не могу теперь вынести и дня сомнения? Теперь, когда уже вы приехали, может быть, вы уже изменили свои намерения. Тогда это письмо скажет вам, что я не ропщу и не обвиняю вас. Я не обвиняю вас за то, что не властна над вашим сердцем; такова уж судьба моя!

Вы благородный человек. Вы не улыбнетесь и не подосадуете на мои нетерпеливые строки. Вспомните, что их пишет бедная девушка, что она одна, что некому ни научить ее, ни посоветовать ей и что она никогда не умела сама совладать с своим сердцем. Но простите меня, что в мою душу хотя на один миг закралось сомнение. Вы неспособны даже и мысленно обидеть ту, которая вас так любила и любит».

— Да, да! это точно так, как я думала! — закричала Настенька, и радость засияла в глазах ее. — О! вы разрешили мои сомнения, вас мне сам Бог послал! Благодарю, благодарю вас!

— За что? за то, что меня Бог послал? — отвечал я, глядя в восторге на ее радостное личико.

— Да, хоть за то.

— Ах, Настенька! Ведь благодарим же мы иных людей хоть за то, что они живут вместе с нами. Я благодарю вас за то, что вы мне встретились, за то, что целый век мой буду вас помнить!

— Ну, довольно, довольно! А теперь вот что, слушайте-ка: тогда было условие, что как только приедет он, так тотчас даст знать о себе тем, что оставит мне письмо в одном месте

у одних моих знакомых, добрых и простых людей, которые ничего об этом не знают; или если нельзя будет написать ко мне письма, затем, что в письме не всегда все расскажешь, то он в тот же день, как приедет, будет сюда ровно в десять часов, где мы и положили с ним встретиться. О приезде его я уже знаю; но вот уже третий день нет ни письма, ни его. Уйти мне от бабушки поутру никак нельзя. Отдайте письмо мое завтра вы сами тем добрым людям, о которых я вам говорила: они уже перешлют; а если будет ответ, то сами вы принесете его вечером в десять часов.

— Но письмо, письмо! Ведь прежде нужно письмо написать! Так разве послезавтра все это будет.

— Письмо... — отвечала Настенька, немного смешавшись, — письмо... но...

Но она не договорила. Она сначала отвернула от меня свое личико, покраснела, как роза, и вдруг я почувствовал в моей руке письмо, по-видимому уже давно написанное, совсем приготовленное и запечатанное. Какое-то знакомое, милое, грациозное воспоминание пронеслось в моей голове.

— R, o — Ro, s, i — si, n, a — na, — начал я.

— Rosina! — запели мы оба, я, чуть не обнимая ее от восторга, она, покраснев, как только могла покраснеть, и смеясь сквозь слезы, которые, как жемчужинки, дрожали на ее черных ресницах.

— Ну, довольно, довольно! Прощайте теперь! — сказала она скороговоркой. — Вот вам письмо, вот и адрес, куда снести его. Прощайте! до свидания! до завтра!

Она крепко сжала мне обе руки, кивнула головой и мелькнула, как стрелка, в свой переулок. Я долго стоял на месте, провожая ее глазами.

«До завтра! до завтра!» — пронеслось в моей голове, когда она скрылась из глаз моих.

НОЧЬ ТРЕТЬЯ

Сегодня был день печальный, дождливый, без просвета, точно будущая старость моя. Меня теснят такие странные мысли, такие темные ощущения, такие еще не ясные для меня вопросы толпятся в моей голове — а как-то нет ни силы, ни хотения их разрешить. Не мне разрешить все это!

Сегодня мы не увидимся. Вчера, когда мы прощались, облака стали заволакивать небо и подымался туман. Я сказал,

что завтра будет дурной день; она не отвечала, она не хотела против себя говорить; для нее этот день и светел и ясен, и ни одна тучка не застелет ее счастия.

— Коли будет дождь, мы не увидимся! — сказала она, — я не приду.

Я думал, что она и не заметила сегодняшнего дождя, а между тем не пришла.

Вчера было наше третье свидание, наша третья белая ночь...

Однако как радость и счастие делают человека прекрасным! как кипит сердце любовью! Кажется, хочешь излить все свое сердце в другое сердце, хочешь, чтоб все было весело, все смеялось. И как заразительна эта радость! Вчера в ее словах было столько неги, столько доброты ко мне в сердце... Как она ухаживала за мной, как ласкалась ко мне, как ободряла и нежила мое сердце! О, сколько кокетства от счастия! А я... Я принимал все за чистую монету; я думал, что она...

Но, боже мой, как же мог я это думать? как же мог я быть так слеп, когда уже все взято другим, все не мое; когда, наконец, даже эта самая нежность ее, ее забота, ее любовь... да, любовь ко мне, — была не что иное, как радость о скором свидании с другим, желание навязать и мне свое счастие?.. Когда он не пришел, когда мы прождали напрасно, она же нахмурилась, она же заробела и струсила. Все движения ее, все слова ее уже стали не так легки, игривы и веселы. И, странное дело, — она удвоила ко мне свое внимание, как будто инстинктивно желая на меня излить то, чего сама желала себе, за что сама боялась, если б оно не сбылось. Моя Настенька так оробела, так перепугалась, что, кажется, поняла, наконец, что я люблю ее, и сжалилась над моей бедной любовью. Так, когда мы несчастны, мы сильнее чувствуем несчастие других; чувство не разбивается, а сосредоточивается...

Я пришел к ней с полным сердцем и едва дождался свидания. Я не предчувствовал того, что буду теперь ощущать, не предчувствовал, что все это не так кончится. Она сияла радостью, она ожидала ответа. Ответ был он сам. Он должен был прийти, прибежать на ее зов. Она пришла раньше меня целым часом. Сначала она всему хохотала, всякому слову моему смеялась. Я начал было говорить и умолк.

— Знаете ли, отчего я так рада? — сказала она, — так рада на вас смотреть? так люблю вас сегодня?

— Ну? — спросил я, и сердце мое задрожало.

— Я оттого люблю вас, что вы не влюбились в меня. Ведь вот иной, на вашем месте, стал бы беспокоить, приставать, разохался бы, разболелся, а вы такой милый!

Тут она так сжала мою руку, что я чуть не закричал. Она засмеялась.

— Боже! какой вы друг! — начала она через минуту очень серьезно. — Да вас Бог мне послал! Ну, что бы со мной было, если б вас со мной теперь не было? Какой вы бескорыстный! Как хорошо вы меня любите! Когда я выйду замуж, мы будем очень дружны, больше, чем как братья. Я буду вас любить почти так, как его...

Мне стало как-то ужасно грустно в это мгновение; однако ж что-то похожее на смех зашевелилось в душе моей.

— Вы в припадке, — сказал я, — вы трусите; вы думаете, что он не придет.

— Бог с вами! — отвечала она, — если б я была меньше счастлива, я бы, кажется, заплакала от вашего неверия, от ваших упреков. Впрочем, вы меня навели на мысль и задали мне долгую думу; но я подумаю после, а теперь признаюсь вам, что правду вы говорите. Да! я как-то сама не своя; я как-то вся в ожидании и чувствую все как-то слишком легко. Да полноте, оставим про чувства!..

В это время послышались шаги, и в темноте показался прохожий, который шел к нам навстречу. Мы оба задрожали; она чуть не вскрикнула. Я опустил ее руку и сделал жест, как будто хотел отойти. Но мы обманулись: это был не он.

— Чего вы боитесь? Зачем вы бросили мою руку? — сказала она, подавая мне ее опять. — Ну, что же? мы встретим его вместе. Я хочу, чтоб он видел, как мы любим друг друга.

— Как мы любим друг друга! — закричал я.

«О Настенька, Настенька! — подумал я, — как этим словом ты много сказала! От этакой любви, Настенька, в *иной* час холодеет на сердце и становится тяжело на душе. Твоя рука холодная, моя горячая, как огонь. Какая слепая ты, Настенька!.. О! как несносен счастливый человек в иную минуту! Но я не мог на тебя рассердиться!..»

Наконец, сердце мое переполнилось.

— Послушайте, Настенька! — закричал я, — знаете ли, что со мной было весь день?

— Ну, что, что такое? рассказывайте скорее! Что ж вы до сих пор все молчали!

— Во-первых, Настенька, когда я исполнил все ваши комиссии, отдал письмо, был у ваших добрых людей, потом... потом я пришел домой и лег спать.

— Только-то? — перебила она засмеявшись.

— Да, почти только-то, — отвечал я скрепя сердце, потому что в глазах моих уже накипали глупые слезы. — Я проснулся за час до нашего свидания, но как будто и не спал. Не знаю, что было со мною. Я шел, чтоб вам это все рассказать, как будто время для меня остановилось, как будто одно ощущение, одно чувство должно было остаться с этого времени во мне навечно, как будто одна минута должна была продолжаться целую вечность и словно вся жизнь остановилась для меня... Когда я проснулся, мне казалось, что какой-то музыкальный мотив, давно знакомый, где-то прежде слышанный, забытый и сладостный, теперь вспоминался мне. Мне казалось, что он всю жизнь просился из души моей, и только теперь...

— Ах, боже мой, боже мой! — перебила Настенька, — как же это все так? Я не понимаю ни слова.

— Ах, Настенька! мне хотелось как-нибудь передать вам это странное впечатление... — начал я жалобным голосом, в котором скрывалась еще надежда, хотя весьма отдаленная.

— Полноте, перестаньте, полноте! — заговорила она, и в один миг она догадалась, плутовка!

Вдруг она сделалась как-то необыкновенно говорлива, весела, шаловлива. Она взяла меня под руку, смеялась, хотела, чтоб и я тоже смеялся, и каждое смущенное слово мое отзывалось в ней таким звонким, таким долгим смехом... Я начинал сердиться, она вдруг пустилась кокетничать.

— Послушайте, — начала она, — а ведь мне немножко досадно, что вы не влюбились в меня. Разберите-ка после этого человека! Но все-таки, господин непреклонный, вы не можете не похвалить меня за то, что я такая простая. Я вам все говорю, все говорю, какая бы глупость ни промелькнула у меня в голове.

— Слушайте! Это одиннадцать часов, кажется? — сказал я, когда мерный звук колокола загудел с отдаленной городской башни. Она вдруг остановилась, перестала смеяться и начала считать.

— Да, одиннадцать, — сказала она наконец робким, нерешительным голосом.

Я тотчас же раскаялся, что напугал ее, заставил считать часы, и проклял себя за припадок злости. Мне стало за нее грустно, и я не знал, как искупить свое прегрешение. Я начал ее утешать, выискивать причины его отсутствия, подводить разные доводы, доказательства. Никого нельзя было легче обмануть, как ее, в эту минуту, да и всякий в эту минуту как-то радостно выслушивает хоть какое бы то ни было утешение, и рад-рад, коли есть хоть тень оправдания.

— Да и смешное дело, — начал я, все более и более горячась и любуясь на необыкновенную ясность своих доказательств, — да и не мог он прийти; вы и меня обманули и завлекли, Настенька, так что я и времени счет потерял... Вы только подумайте: он едва мог получить письмо; положим, ему нельзя прийти, положим, он будет отвечать, так письмо придет не раньше как завтра. Я за ним завтра чем свет схожу и тотчас же дам знать. Предположите, наконец, тысячу вероятностей: ну, его не было дома, когда пришло письмо, и он, может быть, его и до сих пор не читал? Ведь все может случиться.

— Да, да! — отвечала Настенька, — я и не думала; конечно, все может случиться, — продолжала она самым сговорчивым голосом, но в котором, как досадный диссонанс, слышалась какая-то другая отдаленная мысль. — Вот что вы сделайте, — продолжала она, — вы идите завтра, как можно раньше, и если получите что-нибудь, тотчас же дайте мне знать. Вы ведь знаете, где я живу? — И она начала повторять мне свой адрес.

Потом она вдруг стала так нежна, так робка со мною... Она, казалось, слушала внимательно, что я ей говорил; но когда я обратился к ней с каким-то вопросом, она смолчала, смешалась и отворотила от меня головку. Я заглянул ей в глаза — так и есть: она плакала.

— Ну, можно ли, можно ли? Ах, какое вы дитя! Какое ребячество!.. Полноте!

Она попробовала улыбнуться, успокоиться, но подбородок ее дрожал и грудь все еще колыхалась.

— Я думаю об вас, — сказала она мне после минутного молчания, — вы так добры, что я была бы каменная, если б не чувствовала этого... Знаете ли, что мне пришло теперь в го-

лову? Я вас обоих сравнивала. Зачем он — не вы? Зачем он не такой, как вы? Он хуже вас, хоть я и люблю его больше вас.

Я не отвечал ничего. Она, казалось, ждала, чтоб я сказал что-нибудь.

— Конечно, я, может быть, не совсем еще его понимаю, не совсем его знаю. Знаете, я как будто всегда боялась его; он всегда был такой серьезный, такой как будто гордый. Конечно, я знаю, что это он только смотрит так, что в сердце его больше, чем в моем, нежности... Я помню, как он посмотрел на меня тогда, как я, помните, пришла к нему с узелком; но все-таки я его как-то слишком уважаю, а ведь это как будто бы мы и неровня?

— Нет, Настенька, нет, — отвечал я, — это значит, что вы его больше всего на свете любите, и гораздо больше себя самой любите.

— Да, положим, что это так, — отвечала наивная Настенька, — но знаете ли, что мне пришло теперь в голову? Только я теперь не про него буду говорить, а так вообще; мне уже давно все это приходило в голову. Послушайте, зачем мы все не так, как бы братья с братьями? Зачем самый лучший человек всегда как будто что-то таит от другого и молчит от него? Зачем прямо, сейчас, не сказать, что есть на сердце, коли знаешь, что не на ветер свое слово скажешь? А то всякий так смотрит, как будто он суровее, чем он есть на самом деле, как будто все боятся оскорбить свои чувства, коли очень скоро выкажут их...

— Ах, Настенька! правду вы говорите; да ведь это происходит от многих причин, — перебил я, сам более чем когда-нибудь в эту минуту стеснявший свои чувства.

— Нет, нет! — отвечала она с глубоким чувством. — Вот вы, например, не таков, как другие! Я, право, не знаю, как бы вам это рассказать, что я чувствую; но мне кажется, вы вот, например... хоть бы теперь... мне кажется, вы чем-то для меня жертвуете, — прибавила она робко, мельком взглянув на меня. — Вы меня простите, если я вам так говорю: я ведь простая девушка; я ведь мало еще видела на свете и, право, не умею иногда говорить, — прибавила она голосом, дрожащим от какого-то затаенного чувства, и стараясь между тем улыбнуться, — но мне только хотелось сказать вам, что я благодарна, что я тоже все это чувствую... О, дай вам Бог за это счастия! Вот то, что вы мне насказали тогда о вашем мечта-

теле, совершенно неправда, то есть, я хочу сказать, совсем до вас не касается. Вы выздоравливаете, вы, право, совсем другой человек, чем как вы себя описали. Если вы когда-нибудь полюбите, то дай вам Бог счастия с нею! А ей я ничего не желаю, потому что она будет счастлива с вами. Я знаю, я сама женщина, и вы должны мне верить, если я вам так говорю...

Она замолкла и крепко пожала руку мне. Я тоже не мог ничего говорить от волнения. Прошло несколько минут.

— Да, видно, что он не придет сегодня! — сказала она, наконец, подняв голову. — Поздно!..

— Он придет завтра, — сказал я самым уверительным и твердым голосом.

— Да, — прибавила она, развеселившись. — Я сама теперь вижу, что он придет только завтра. Ну, так до свидания! до завтра! Если будет дождь, я, может быть, не приду. Но послезавтра я приду, непременно приду, что бы со мной ни было; будьте здесь непременно; я хочу вас видеть, я вам все расскажу.

И потом, когда мы прощались, она подала мне руку и сказала, ясно взглянув на меня:

— Ведь мы теперь навсегда вместе, не правда ли?

О! Настенька, Настенька! Если б ты знала, в каком я теперь одиночестве!

Когда пробило девять часов, я не мог усидеть в комнате, оделся и вышел, несмотря на ненастное время. Я был там, сидел на нашей скамейке. Я было пошел в их переулок, но мне стало стыдно, и я воротился, не взглянув на их окна, не дойдя двух шагов до их дома. Я пришел домой в такой тоске, в какой никогда не бывал. Какое сырое, скучное время! Если б была хорошая погода, я бы прогулял там всю ночь...

Но до завтра, до завтра! Завтра она мне все расскажет.

Однако письма сегодня не было. Но, впрочем, так и должно было быть. Они уже вместе...

НОЧЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Боже, как все это кончилось! Чем все это кончилось!

Я пришел в девять часов. Она была уже там. Я еще издали заметил ее; она стояла, как тогда, в первый раз, облокотясь на перила набережной, и не слыхала, как я подошел к ней.

— Настенька! — окликнул я ее, через силу подавляя свое волнение.

Она быстро обернулась ко мне.

— Ну! — сказала она, — ну! поскорее!

Я смотрел на нее в недоумении.

— Ну, где же письмо? Вы принесли письмо? — повторила она, схватившись рукой за перила.

— Нет, у меня нет письма, — сказал я, наконец, — разве он еще не был?

Она страшно побледнела и долгое время смотрела на меня неподвижно. Я разбил последнюю ее надежду.

— Ну, бог с ним! — проговорила она, наконец, прерывающимся голосом, — бог с ним, если он так оставляет меня.

Она опустила глаза, потом хотела взглянуть на меня, но не могла. Еще несколько минут она пересиливала свое волнение, но вдруг отворотилась, облокотясь на балюстраду набережной, и залилась слезами.

— Полноте, полноте! — заговорил было я, но у меня сил недостало продолжать, на нее глядя, да и что бы я стал говорить?

— Не утешайте меня, — говорила она плача, — не говорите про него, не говорите, что он придет, что он не бросил меня так жестоко, так бесчеловечно, как он это сделал. За что, за что? Неужели что-нибудь было в моем письме, в этом несчастном письме?..

Тут рыдания пересекли ее голос; у меня сердце разрывалось, на нее глядя.

— О, как это бесчеловечно-жестоко! — начала она снова. — И ни строчки, ни строчки! Хоть бы отвечал, что я не нужна ему, что он отвергает меня; а то ни одной строчки в целые три дня! Как легко ему оскорбить, обидеть бедную, беззащитную девушку, которая тем и виновата, что любит его! О, сколько я вытерпела в эти три дня! Боже мой, боже мой! Как вспомню, что я пришла к нему в первый раз сама, что я перед ним унижалась, плакала, что я вымаливала у него хоть каплю любви... И после этого!.. Послушайте, — заговорила она, обращаясь ко мне, и черные глазки ее засверкали, — да это не так! Это не может быть так; это ненатурально! Или вы, или я обманулись; может быть, он письма не получал? Может быть, он до сих пор ничего не знает? Как же можно, судите сами, скажите мне, ради бога, объясните мне — я этого не могу понять, — как можно так варварски-грубо поступить, как он поступил со мною! Ни одного слова! Но к последнему человеку

на свете бывают сострадательнее. Может быть, он что-нибудь слышал, может быть, кто-нибудь ему насказал обо мне? — закричала она, обратившись ко мне с вопросом. — Как, как вы думаете?

— Слушайте, Настенька, я пойду завтра к нему от вашего имени.

— Ну!

— Я спрошу его обо всем, расскажу ему все.

— Ну, ну!

— Вы напишите письмо. Не говорите нет, Настенька, не говорите нет! Я заставлю его уважать ваш поступок, он все узнает, и если...

— Нет, мой друг, нет, — перебила она. — Довольно! Больше ни слова, ни одного слова от меня, ни строчки — довольно! Я его не знаю, я не люблю его больше, я его по...за...буду...

Она не договорила.

— Успокойтесь, успокойтесь! Сядьте здесь, Настенька, — сказал я, усаживая ее на скамейку.

— Да я спокойна. Полноте! Это так! Это слезы, это просохнет! Что вы думаете, что я сгублю себя, что я утоплюсь?..

Сердце мое было полно; я хотел было заговорить, но не мог.

— Слушайте! — продолжала она, взяв меня за руку, — скажите: вы бы не так поступили? вы бы не бросили той, которая бы сама к вам пришла, вы бы не бросили ей в глаза бесстыдной насмешки над ее слабым, глупым сердцем? Вы поберегли бы ее? Вы бы представили себе, что она была одна, что она не умела усмотреть за собой, что она не умела себя уберечь от любви к вам, что она не виновата, что она, наконец, не виновата... что она ничего не сделала!.. О боже мой, боже мой...

— Настенька! — закричал я, наконец, не будучи в силах преодолеть свое волнение. — Настенька! вы терзаете меня! Вы язвите сердце мое, вы убиваете меня, Настенька! Я не могу молчать! Я должен, наконец, говорить, высказать, что у меня накипело тут в сердце...

Говоря это, я привстал со скамейки. Она взяла меня за руку и смотрела на меня в удивлении.

— Что с вами? — проговорила она, наконец.

— Слушайте! — сказал я решительно. — Слушайте меня, Настенька! Что я буду теперь говорить, все вздор, все несбы-

точно, все глупо! Я знаю, что этого никогда не может случиться, но не могу же я молчать. Именем того, чем вы теперь страдаете, заранее молю вас, простите меня!..

— Ну, что, что? — говорила она, перестав плакать и пристально смотря на меня, тогда как странное любопытство блистало в ее удивленных глазках, — что с вами?

— Это несбыточно, но я вас люблю, Настенька! вот что! Ну, теперь все сказано! — сказал я, махнув рукой. — Теперь вы увидите, можете ли вы так говорить со мной, как сейчас говорили, можете ли вы, наконец, слушать то, что я буду вам говорить...

— Ну, что ж, что же? — перебила Настенька, — что ж из этого? Ну, я давно знала, что вы меня любите, но только мне все казалось, что вы меня так, просто, как-нибудь любите... Ах боже мой, боже мой!

— Сначала было просто, Настенька, а теперь, теперь... я точно так же, как вы, когда вы пришли к нему тогда с вашим узелком. Хуже, чем как вы, Настенька, потому что он тогда никого не любил, а вы любите.

— Что это вы мне говорите! Я, наконец, вас совсем не понимаю. Но послушайте, зачем же это, то есть не зачем, а почему же это вы так, и так вдруг... Боже! я говорю глупости! Но вы...

И Настенька совершенно смешалась. Щеки ее вспыхнули; она опустила глаза.

— Что же делать, Настенька, что ж мне делать! я виноват, я употребил во зло... Но нет же, нет, не виноват я, Настенька; я это слышу, чувствую, потому что мое сердце мне говорит, что я прав, потому что я вас ничем не могу обидеть, ничем оскорбить! Я был друг ваш; ну, вот я и теперь друг; я ничему не изменял. Вот у меня теперь слезы текут, Настенька. Пусть их текут, пусть текут — они никому не мешают. Они высохнут, Настенька...

— Да сядьте же, сядьте, — сказала она, сажая меня на скамейку, — ох, боже мой!

— Нет! Настенька, я не сяду; я уже более не могу быть здесь, вы уже меня более не можете видеть; я все скажу и уйду. Я только хочу сказать, что вы бы никогда не узнали, что я вас люблю. Я бы сохранил свою тайну. Я бы не стал вас терзать теперь, в эту минуту, моим эгоизмом. Нет! но я не мог теперь вытерпеть; вы сами заговорили об этом, вы виноваты,

вы во всем виноваты, а я не виноват. Вы не можете прогнать меня от себя...

— Да нет же, нет, я не отгоняю вас, нет! — говорила Настенька, скрывая, как только могла, свое смущение, бедненькая.

— Вы меня не гоните? нет! а я было сам хотел бежать от вас. Я и уйду, только я все скажу сначала, потому что, когда вы здесь говорили, я не мог усидеть, когда вы здесь плакали, когда вы терзались оттого, ну оттого (уж я назову это, Настенька), оттого, что вас отвергают, оттого, что оттолкнули вашу любовь, я почувствовал, я услышал, что в моем сердце столько любви для вас, Настенька, столько любви!.. И мне стало так горько, что я не могу помочь вам этой любовью... что сердце разорвалось, и я, я — не мог молчать, я должен был говорить, Настенька, я должен был говорить!..

— Да, да! говорите мне, говорите со мною так! — сказала Настенька с неизъяснимым движением. — Вам, может быть, странно, что я с вами так говорю, но... говорите! я вам после скажу! я вам все расскажу!

— Вам жаль меня, Настенька; вам просто жаль меня, дружочек мой! Уж что пропало, то пропало! уж что сказано, того не воротишь! Не так ли? Ну, так вы теперь знаете все. Ну, вот это точка отправления. Ну, хорошо! теперь все это прекрасно; только послушайте. Когда вы сидели и плакали, я про себя думал (ох, дайте мне сказать, что я думал!), я думал, что (ну, уж, конечно, этого не может быть, Настенька), я думал, что вы... я думал, что вы как-нибудь там... ну, совершенно посторонним каким-нибудь образом, уж больше его не любите. Тогда — я это и вчера и третьего дня уже думал, Настенька, — тогда я бы сделал так, я бы непременно сделал так, что вы бы меня полюбили: ведь вы сказали, ведь вы сами говорили, Настенька, что вы меня уже почти совсем полюбили. Ну, что ж дальше? Ну, вот почти и все, что я хотел сказать; остается только сказать, что бы тогда было, если б вы меня полюбили, только это, больше ничего! Послушайте же, друг мой, — потому что вы все-таки мой друг, — я, конечно, человек простой, бедный, такой незначительный, только не в том дело (я как-то все не про то говорю, это от смущения, Настенька), а только я бы вас так любил, так любил, что если б вы еще и любили его и продолжали любить того, которого я не знаю, то все-таки не заме-

тили бы, что моя любовь как-нибудь там для вас тяжела. Вы бы только слышали, вы бы только чувствовали каждую минуту, что подле вас бьется благодарное, благодарное сердце, горячее сердце, которое за вас... Ох, Настенька, Настенька! что вы со мной сделали!..

— Не плачьте же, я не хочу, чтоб вы плакали, — сказала Настенька, быстро вставая со скамейки, — пойдемте, встаньте, пойдемте со мной, не плачьте же, не плачьте, — говорила она, утирая мои слезы своим платком, — ну, пойдемте теперь; я вам, может быть, скажу что-нибудь... Да, уж коли теперь он оставил меня, коль он позабыл меня, хотя я еще и люблю его (не хочу вас обманывать)... но, послушайте, отвечайте мне. Если б я, например, вас полюбила, то есть если б я только... Ох, друг мой, друг мой! как я подумаю, как подумаю, что я вас оскорбляла тогда, что смеялась над вашей любовью, когда вас хвалила за то, что вы не влюбились!.. О боже! да как же я этого не предвидела, как я не предвидела, как я была так глупа, но... ну, ну, я решилась, я все скажу...

— Послушайте, Настенька, знаете что? я уйду от вас, вот что! Просто я вас только мучаю. Вот у вас теперь угрызения совести за то, что вы насмехались, а я не хочу, да, не хочу, чтоб вы, кроме вашего горя... я, конечно, виноват, Настенька, но прощайте!

— Стойте, выслушайте меня: вы можете ждать?

— Чего ждать, как?

— Я его люблю; но это пройдет, это должно пройти, это не может не пройти; уж проходит, я слышу... Почем знать, может быть, сегодня же кончится, потому что я его ненавижу, потому что он надо мной насмеялся, тогда как вы плакали здесь вместе со мною, потому-то вы не отвергли бы меня, как он, потому что вы любите, а он не любил меня, потому что я вас, наконец, люблю сама... да, люблю! люблю, как вы меня любите; я же ведь сама еще прежде вам это сказала, вы сами слышали, — потому люблю, что вы лучше его, потому, что вы благороднее его, потому, потому, что он...

Волнение бедняжки было так сильно, что она не докончила, положила свою голову мне на плечо, потом на грудь и горько заплакала. Я утешал, уговаривал ее, но она не могла перестать; она все жала мне руку и говорила между рыданьями: «Подождите, подождите; вот я сейчас перестану! Я вам хочу сказать... вы не думайте, чтоб эти слезы — это так, от

слабости, подождите, пока пройдет...» Наконец, она перестала, отерла слезы, и мы снова пошли. Я было хотел говорить, но она долго еще все просила меня подождать. Мы замолчали... Наконец, она собралась с духом и начала говорить...

— Вот что, — начала она слабым и дрожащим голосом, но в котором вдруг зазвенело что-то такое, что вонзилось мне прямо в сердце и сладко заныло в нем, — не думайте, что я так непостоянна и ветрена, не думайте, что я могу так легко и скоро позабыть и изменить... Я целый год его любила и Богом клянусь, что никогда, никогда даже мыслью не была ему неверна. Он презрел это; он насмеялся надо мною, — бог с ним! Но он уязвил меня и оскорбил мое сердце. Я — я не люблю его, потому что я могу любить только то, что великодушно, что понимает меня, что благородно; потому что я сама такова, и он недостоин меня — ну, бог с ним! Он лучше сделал, чем когда бы я потом обманулась в своих ожиданиях и узнала, кто он таков... Ну, кончено! Но почем знать, добрый друг мой, — продолжала она, пожимая мне руку, — почем знать, может быть, и вся любовь моя была обман чувств, воображения, может быть, началась она шалостью, пустяками, оттого, что я была под надзором у бабушки? Может быть, я должна любить другого, а не его, не такого человека, другого, который пожалел бы меня и, и... Ну, оставим, оставим это, — перебила Настенька, задыхаясь от волнения, — я вам только хотела сказать... я вам хотела сказать, что если, несмотря на то, что я люблю его (нет, любила его), если, несмотря на то, вы еще скажете... если вы чувствуете, что ваша любовь так велика, что может, наконец, вытеснить из моего сердца прежнюю... если вы захотите сжалиться надо мною, если вы не захотите меня оставить одну в моей судьбе, без утешения, без надежды, если вы захотите любить меня всегда, как теперь меня любите, то клянусь, что благодарность... что любовь моя будет, наконец, достойна вашей любви... Возьмете ли вы теперь мою руку?

— Настенька, — закричал я, задыхаясь от рыданий, — Настенька!.. О Настенька!..

— Ну, довольно, довольно! ну, теперь совершенно довольно! — заговорила она, едва пересиливая себя, — ну, теперь уже все сказано; не правда ли? так? Ну, и вы счастливы, и я счастлива; ни слова же об этом больше; подождите; пощадите меня... Говорите о чем-нибудь другом, ради бога!..

— Да, Настенька, да! довольно об этом, теперь я счастлив, я... Ну, Настенька, ну, заговорим о другом, поскорее, поскорее заговорим; да! я готов...

И мы не знали, что говорить, мы смеялись, мы плакали, мы говорили тысячи слов без связи и мысли; мы то ходили по тротуару, то вдруг возвращались назад и пускались переходить через улицу; потом останавливались и опять переходили на набережную; мы были как дети...

— Я теперь живу один, Настенька, — заговаривал я, — а завтра... Ну, конечно, я, знаете, Настенька, беден, у меня всего тысяча двести, но это ничего...

— Разумеется, нет, а у бабушки пенсион; так она нас не стеснит. Нужно взять бабушку.

— Конечно, нужно взять бабушку... Только вот Матрена...

— Ах, да и у нас тоже Фекла!

— Матрена добрая, только один недостаток: у ней нет воображения, Настенька, совершенно никакого воображения; но это ничего!..

— Все равно; они обе могут быть вместе; только вы завтра к нам переезжайте.

— Как это? к вам! Хорошо, я готов...

— Да, вы наймите у нас. У нас, там, наверху, мезонин; он пустой; жилица была, старушка, дворянка, она съехала, и бабушка, я знаю, хочет молодого человека пустить; я говорю: «Зачем же молодого человека?» А она говорит: «Да так, я уже стара, а только ты не подумай, Настенька, что я за него тебя хочу замуж сосватать». Я и догадалась, что это для того...

— Ах, Настенька!..

И оба мы засмеялись.

— Ну, полноте же, полноте. А где вы живете? я и забыла.

— Там у —ского моста, в доме Баранникова.

— Это такой большой дом?

— Да, такой большой дом.

— Ах, знаю, хороший дом; только вы, знаете, бросьте его и переезжайте к нам поскорее...

— Завтра же, Настенька, завтра же; я там немножко должен за квартиру, да это ничего... Я получу скоро жалованье...

— А знаете, я, может быть, буду уроки давать; сама выучусь и буду давать уроки...

— Ну вот и прекрасно... а я скоро награждение получу, Настенька...

— Так вот вы завтра и будете мой жилец...

— Да, и мы поедем в «Севильского цирюльника», потому что его теперь опять дадут скоро.

— Да, поедем, — сказала, смеясь, Настенька, — нет, лучше мы будем слушать не «Цирюльника», а что-нибудь другое...

— Ну, хорошо, что-нибудь другое; конечно, это будет лучше, а то я не подумал...

Говоря это, мы ходили оба как будто в чаду, тумане, как будто сами не знали, что с нами делается. То останавливались и долго разговаривали на одном месте, то опять пускались ходить и заходили бог знает куда, и опять смех, опять слезы... То Настенька вдруг захочет домой, я не смею удерживать и захочу проводить ее до самого дома; мы пускаемся в путь и вдруг через четверть часа находим себя на набережной у нашей скамейки. То она вздохнет, и снова слезинка набежит на глаза; я оробею, похолодею... Но она тут же жмет мою руку и тащит меня снова ходить, болтать, говорить...

— Пора теперь, пора мне домой; я думаю, очень поздно, — сказала, наконец, Настенька, — полно нам так ребячиться!

— Да, Настенька, только уж я теперь не засну; я домой не пойду.

— Я тоже, кажется, не засну; только вы проводите меня...

— Непременно!

— Но уж теперь мы непременно дойдем до квартиры.

— Непременно, непременно...

— Честное слово?.. потому что ведь нужно же когда-нибудь воротиться домой!

— Честное слово, — отвечал я смеясь...

— Ну, пойдемте!

— Пойдемте.

— Посмотрите на небо, Настенька, посмотрите! Завтра будет чудесный день; какое голубое небо, какая луна! Посмотрите: вот это желтое облако, теперь застилает ее, смотрите, смотрите!.. Нет, оно прошло мимо. Смотрите же, смотрите!..

Но Настенька не смотрела на облако, она стояла молча как вкопанная; через минуту она стала как-то робко, тесно прижиматься ко мне. Рука ее задрожала в моей руке; я поглядел на нее... Она оперлась на меня еще сильнее.

В эту минуту мимо нас прошел молодой человек. Он вдруг остановился, пристально посмотрел на нас и потом опять сделал несколько шагов. Сердце во мне задрожало...

— Настенька, — сказал я вполголоса, — кто это, Настенька?

— Это он! — отвечала она шепотом, еще ближе, еще трепетнее прижимаясь ко мне... Я едва устоял на ногах.

— Настенька! Настенька! это ты! — послышался голос за нами, и в ту же минуту молодой человек сделал к нам несколько шагов...

Боже, какой крик! как она вздрогнула! как она вырвалась из рук моих и порхнула к нему навстречу!.. Я стоял и смотрел на них как убитый. Но она едва подала ему руку, едва бросилась в его объятия, как вдруг снова обернулась ко мне, очутилась подле меня, как ветер, как молния, и, прежде чем успел я опомниться, обхватила мою шею обеими руками и крепко, горячо поцеловала меня. Потом, не сказав мне ни слова, бросилась снова к нему, взяла его за руки и повлекла его за собою.

Я долго стоял и глядел им вслед... Наконец, оба они исчезли из глаз моих.

УТРО

Мои ночи кончились утром. День был нехороший. Шел дождь и уныло стучал в мои стекла; в комнатке было темно, на дворе пасмурно. Голова у меня болела и кружилась; лихорадка прокрадывалась по моим членам.

— Письмо к тебе, батюшка, по городской почте почтарь принес, — проговорила надо мною Матрена.

— Письмо! от кого? — закричал я, вскакивая со стула.

— А не ведаю, батюшка, посмотри, может, там и написано от кого.

Я сломал печать. Это от нее!

«О, простите, простите меня! — писала мне Настенька, — на коленях умоляю вас, простите меня! Я обманула и вас и себя. Это был сон, призрак... Я изныла за вас сегодня; простите, простите меня!..

Не обвиняйте меня, потому что я ни в чем не изменилась пред вами; я сказала, что буду любить вас, я и теперь вас люблю, больше чем люблю. О боже! если б я могла любить вас обоих разом! О, если б вы были он!»

«О, если б он были вы!» — пролетело в моей голове. Я вспомнил твои же слова, Настенька!

«Бог видит, что бы я теперь для вас сделала! Я знаю, что вам тяжело и грустно. Я оскорбила вас, но вы знаете — коли любишь, долго ли помнишь обиду. А вы меня любите!

Благодарю! да! благодарю вас за эту любовь. Потому что в памяти моей она запечатлелась, как сладкий сон, который долго помнишь после пробуждения; потому что я вечно буду помнить тот миг, когда вы так братски открыли мне свое сердце и так великодушно приняли в дар мое, убитое, чтоб его беречь, лелеять, вылечить его... Если вы простите меня, то память об вас будет возвышена во мне вечным, благодарным чувством к вам, которое никогда не изгладится из души моей... Я буду хранить эту память, буду ей верна, не изменю ей, не изменю своему сердцу: оно слишком постоянно. Оно еще вчера так скоро воротилось к тому, которому принадлежало навеки.

Мы встретимся, вы придете к нам, вы нас не оставите, вы будете вечно другом, братом моим... И когда вы увидите меня, вы подадите мне руку... да? вы подадите мне ее, вы простили меня, не правда ли? Вы меня любите *по-прежнему*?

О, любите меня, не оставляйте меня, потому что я вас так люблю в эту минуту, потому что я достойна любви вашей, потому что я заслужу ее... друг мой милый! На будущей неделе я выхожу за него. Он воротился влюбленный, он никогда не забывал обо мне... Вы не рассердитесь за то, что я об нем написала. Но я хочу прийти к вам вместе с ним; вы его полюбите, не правда ли?..

Простите нас, помните и любите вашу

Настеньку».

Я долго перечитывал это письмо; слезы просились из глаз моих. Наконец, оно выпало у меня из рук, и я закрыл лицо.

— Касатик! а касатик! — начала Матрена.

— Что, старуха?

— А паутину-то я всю с потолка сняла; теперь хоть женись, гостей созывай, так в ту ж пору...

Я посмотрел на Матрену... Это была еще бодрая, *молодая* старуха, но, не знаю отчего, вдруг она представилась мне с потухшим взглядом, с морщинами на лице, согбенная, дряхлая... Не знаю отчего, мне вдруг представилось, что комната моя постарела так же, как и старуха. Стены и полы облиняли,

все потускнело; паутины развелось еще больше. Не знаю отчего, когда я взглянул в окно, мне показалось, что дом, стоявший напротив, тоже одряхлел и потускнел в свою очередь, что штукатурка на колоннах облупилась и осыпалась, что карнизы почернели и растрескались и стены из темно-желтого яркого цвета стали пегие...

Или луч солнца, внезапно выглянув из-за тучи, опять спрятался под дождевое облако, и все опять потускнело в глазах моих; или, может быть, передо мною мелькнула так неприветно и грустно вся перспектива моего будущего, и я увидел себя таким, как я теперь, ровно через пятнадцать лет, постаревшим, в той же комнате, так же одиноким, с той же Матреной, которая нисколько не поумнела за все эти годы.

Но чтоб я помнил обиду мою, Настенька! Чтоб я нагнал темное облако на твое ясное, безмятежное счастие, чтоб я, горько упрекнув, нагнал тоску на твое сердце, уязвил его тайным угрызением и заставил его тоскливо биться в минуту блаженства, чтоб я измял хоть один из этих нежных цветков, которые ты вплела в свои черные кудри, когда пошла вместе с ним к алтарю... О, никогда, никогда! Да будет ясно твое небо, да будет светла и безмятежна милая улыбка твоя, да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастия, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу!

Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую?..

1848

Лев Николаевич

ТОЛСТОЙ

ЮНОСТЬ

(главы)

ЧТО Я СЧИТАЮ НАЧАЛОМ ЮНОСТИ

Я сказал, что дружба моя с Дмитрием открыла мне новый взгляд на жизнь, ее цель и отношения. Сущность этого взгляда состояла в убеждении, что назначение человека есть стремление к нравственному усовершенствованию и что усовершенствование это легко, возможно и вечно. Но до сих пор я наслаждался только открытием новых мыслей, вытекающих из этого убеждения, и составлением блестящих планов нравственной, деятельной будущности; но жизнь моя шла все тем же мелочным, запутанным и праздным порядком.

Те добродетельные мысли, которые мы в беседах перебирали с обожаемым другом моим Дмитрием, *чудесным Митей*, как я сам с собою шепотом иногда называл его, еще нравились только моему уму, а не чувству. Но пришло время, когда эти мысли с такой свежей силой морального открытия пришли мне в голову, что я испугался, подумав о том, сколько времени я потерял даром, и тотчас же, ту же секунду захотел прилагать эти мысли к жизни, с твердым намерением никогда уже не изменять им.

И с этого времени я считаю начало *юности*.

Мне был в то время шестнадцатый год в исходе. Учителя продолжали ходить ко мне, St.-Jérôme присматривал за моим учением, и я поневоле и неохотно готовился к университету. Вне учения занятия мои состояли: в уединенных бессвязных мечтах и размышлениях, в деланиях гимнастики, с тем чтобы сделаться первым силачом в мире, в шлянии без всякой определенной цели и мысли по всем комнатам и особенно коридору девичьей и в разглядывании себя в зеркало, от которого, впрочем, я всегда отходил с тяжелым чувством уныния и даже отвращения. Наружность моя, я убеждался, не только

была некрасива, но я не мог даже утешать себя обыкновенными утешениями в подобных случаях. Я не мог сказать, что у меня выразительное, умное или благородное лицо. Выразительного ничего не было — самые обыкновенные, грубые и дурные черты; глаза маленькие серые, особенно в то время, когда я смотрелся в зеркало, были скорее глупые, чем умные. Мужественного было еще меньше: несмотря на то, что я был не мал ростом и очень силен по летам, все черты лица были мягкие, вялые, неопределенные. Даже и благородного ничего не было; напротив, лицо мое было такое, как у простого мужика, и такие же большие ноги и руки; а это в то время мне казалось очень стыдно.

ВЕСНА

В тот год, как я вступил в университет, Святая была как-то поздно в апреле, так что экзамены были назначены на Фоминой, а на Страстной я должен был и говеть и уже окончательно приготавливаться.

Погода после мокрого снега, который, бывало, Карл Иваныч называл «*сын за отцом пришел*», уже дня три стояла тихая, теплая и ясная. На улицах не видно было клочка снега, грязное тесто заменилось мокрой, блестящей мостовой и быстрыми ручьями. С крыш уже на солнце стаивали последние капели, в палисаднике на деревьях надувались почки, на дворе была сухая дорожка, к конюшне мимо замерзлой кучи навоза и около крыльца между камнями зеленелась мшистая травка. Был тот особенный период весны, который сильнее всего действует на душу человека: яркое, на всем блестящее, но не жаркое солнце, ручьи и проталинки, пахучая свежесть в воздухе и нежно-голубое небо с длинными прозрачными тучками. Не знаю почему, но мне кажется, что в большом городе еще ощутительнее и сильнее на душу влияние этого первого периода рождения весны, — меньше видишь, но больше предчувствуешь. Я стоял около окна, в которое утреннее солнце сквозь двойные рамы бросало пыльные лучи на пол моей невыносимо надоевшей мне классной комнаты, и решал на черной доске какое-то длинное алгебраическое уравнение. В одной руке я держал изорванную мягкую «Алгебру» Франкера, в другой — маленький кусок мела, которым испачкал уже обе руки, лицо и локти полуфрачка. Николай в фартуке, с засу-

ченными рукавами, отбивал клещами замазку и отгибал гвозди окна, которое отворялось в палисадник. Его занятие и стук, который он производил, развлекали мое внимание. Притом я был в весьма дурном, недовольном расположении духа. Все как-то мне не удавалось: я сделал ошибку в начале вычисления, так что надо было все начинать сначала, мел я два раза уронил, чувствовал, что лицо и руки мои испачканы, губка где-то пропала, стук, который производил Николай, как-то больно потрясал мои нервы. Мне хотелось рассердиться и поворчать; я бросил мел, «Алгебру» и стал ходить по комнате. Но мне вспомнилось, что нынче Страстная середа, нынче мы должны исповедоваться и что надо удерживаться от всего дурного; и вдруг я пришел в какое-то особенное, кроткое состояние духа и подошел к Николаю.

— Позволь, я тебе помогу, Николай, — сказал я, стараясь дать своему голосу самое кроткое выражение; и мысль, что я поступаю хорошо, подавив свою досаду и помогая ему, еще более усилила во мне это кроткое настроение духа.

Замазка была отбита, гвозди отогнуты; но несмотря на то, что Николай из всех сил дергал за перекладины, рама не подавалась.

«Если рама выйдет теперь сразу, когда я потяну с ним, — подумал я, — значит, грех, и не надо нынче больше заниматься». Рама подалась набок и вышла.

— Куда отнести ее? — сказал я.

— Позвольте, я сам управлюсь, — отвечал Николай, видимо, удивленный и, кажется, недовольный моим усердием, — надо не спутать, а то там, в чулане, они у меня по номерам.

— Я замечу ее, — сказал я, поднимая раму.

Мне кажется, что если бы чулан был версты за две и рама весила бы вдвое больше, я был бы очень доволен. Мне хотелось измучиться, оказывая эту услугу Николаю. Когда я вернулся в комнату, кирпичики и соляные пирамидки были уже переложены на подоконник, и Николай крылышком сметал песок и сонных мух в растворенное окно. Свежий пахучий воздух уже проник в комнату и наполнял ее. Из окна слышался городской шум и чиликанье воробьев в палисаднике.

Все предметы были освещены ярко, комната повеселела, легкий весенний ветерок шевелил листы моей «Алгебры» и волоса на голове Николая. Я подошел к окну, сел на него, перегнулся в палисадник и задумался.

Какое-то новое для меня, чрезвычайно сильное и приятное чувство вдруг проникло мне в душу. Мокрая земля, по которой кое-где выбивали ярко-зеленые иглы травы с желтыми стебельками, блестящие на солнце ручьи, по которым вились кусочки земли и щепки, закрасневшиеся прутья сирени с вспухлыми почками, качавшимися под самым окошком, хлопотливое чиликанье птичек, копошившихся в этом кусте, мокрый от таявшего на нем снега черноватый забор, а главное — этот пахучий сырой воздух и радостное солнце говорили мне внятно, ясно о чем-то новом и прекрасном, которое, хотя я не могу передать так, как оно сказывалось мне, я постараюсь передать так, как я воспринимал его, — все мне говорило про красоту, счастье и добродетель, говорило, что как то, так и другое легко и возможно для меня, что одно не может быть без другого, и даже что красота, счастье и добродетель — одно и то же. «Как мог я не понимать этого, как дурен я был прежде, как я мог бы и могу быть хорош и счастлив в будущем! — говорил я сам себе. — Надо скорей, скорей, сию же минуту сделаться другим человеком и начать жить иначе». Несмотря на это, я, однако, долго еще сидел на окне, мечтая и ничего не делая. Случалось ли вам летом лечь спать днем в пасмурную дождливую погоду и, проснувшись на закате солнца, открыть глаза и в расширяющемся четырехугольнике окна, из-под полотняной сторы, которая, надувшись, бьется прутом об подоконник, увидать мокрую от дождя, тенистую, лиловатую сторону липовой аллеи и сырую садовую дорожку, освещенную яркими косыми лучами, услыхать вдруг веселую жизнь птиц в саду и увидать насекомых, которые вьются в отверстии окна, просвечивая на солнце, почувствовать запах последождевого воздуха и подумать: «Как мне не стыдно было проспать такой вечер», и торопливо вскочить, чтобы идти в сад порадоваться жизнью? Если случалось, то вот образчик того сильного чувства, которое я испытывал в это время.

МЕЧТЫ

«Нынче я исповедаюсь, очищаюсь от всех грехов, — думал я, — и больше уж никогда не буду... (тут я припомнил все грехи, которые больше всего мучили меня). Буду каждое воскресенье ходить непременно в церковь, и еще после целый час

читать Евангелие, потом из *беленькой*[1], которую я буду получать каждый месяц, когда поступлю в университет, непременно два с полтиной (одну десятую) я буду отдавать бедным, и так, чтобы никто не знал: и не нищим, а стану отыскивать таких бедных, сироту или старушку, про которых никто не знает.

У меня будет особенная комната (верно, St.-Jérôme'ова), и я буду сам убирать ее и держать в удивительной чистоте; человека же ничего для себя не буду заставлять делать. Ведь он такой же, как и я. Потом буду ходить каждый день в университет пешком (а ежели мне дадут дрожки, то продам их и деньги эти отложу тоже на бедных) и в точности буду исполнять все (что было это «все», я никак бы не мог сказать тогда, но я живо понимал и чувствовал это «все» разумной, нравственной, безупречной жизни). Буду составлять лекции и даже вперед проходить предметы, так что на первом курсе буду первым и напишу диссертацию; на втором курсе уже вперед буду знать все, и меня могут перевести прямо в третий курс, так что я восемнадцати лет кончу курс первым кандидатом с двумя золотыми медалями, потом выдержу на магистра, на доктора и сделаюсь первым ученым в России... даже в Европе я могу быть первым ученым... Ну, а потом? — спрашивал я сам себя, но тут я припомнил, что эти мечты — гордость, грех, про который нынче же вечером надо будет сказать духовнику, и возвратился к началу рассуждений: — Для приготовления к лекциям я буду ходить пешком на Воробьевы горы; выберу себе там местечко под деревом и буду читать лекции; иногда возьму с собой что-нибудь закусить: сыру или пирожок от Педотти, или что-нибудь. Отдохну и потом стану читать какую-нибудь хорошую книгу, или буду рисовать виды, или играть на каком-нибудь инструменте (непременно выучусь играть на флейте). Потом *она* тоже будет ходить гулять на Воробьевы горы и когда-нибудь подойдет ко мне и спросит: кто я такой? Я посмотрю на нее этак печально и скажу, что я сын священника одного и что я счастлив только здесь, когда один, совершенно один-одинешенек. Она подаст мне руку, скажет что-нибудь и сядет подле меня. Так каждый день мы будем приходить сюда, будем друзьями, и я буду целовать ее... Нет, это нехорошо. Напротив, с нынешнего дня

---

[1] *Беленькая* — 25-рублевая ассигнация.

я уж больше не буду смотреть на женщин. Никогда, никогда не буду ходить в девичью, даже буду стараться не проходить мимо; а через три года выйду из-под опеки и женюсь непременно. Буду делать нарочно движенья как можно больше, гимнастику каждый день, так что, когда мне будет двадцать пять лет, я буду сильней Рапно. Первый день буду держать по полпуда «вытянутой рукой» пять минут, на другой день двадцать один фунт, на третий день двадцать два фунта и так далее, так что, наконец, по четыре пуда в каждой руке, и так, что буду сильнее всех в дворне; и когда вдруг кто-нибудь вздумает оскорбить меня или станет отзываться непочтительно об ней, я возьму его так, просто, за грудь, подниму аршина на два от земли одной рукой и только подержу, чтоб чувствовал мою силу, и оставлю; но, впрочем, и это нехорошо: нет, ничего, ведь я ему зла не сделаю, а только докажу, что я...»

Да не упрекнут меня в том, что мечты моей юности так же ребячески, как мечты детства и отрочества. Я убежден в том, что, ежели мне суждено прожить до глубокой старости и рассказ мой догонит мой возраст, я стариком семидесяти лет буду точно так же невозможно ребячески мечтать, как и теперь. Буду мечтать о какой-нибудь прелестной Марии, которая полюбит меня, беззубого старика, как она полюбила Мазепу, о том, как мой слабоумный сын вдруг сделается министром по какому-нибудь необыкновенному случаю, или о том, как вдруг у меня будет пропасть миллионов денег. Я убежден, что нет человеческого существа и возраста, лишенного этой благодетельной, утешительной способности мечтания. Но, исключая общей черты невозможности — волшебности мечтаний, мечтания каждого человека и каждого возраста имеют свой отличительный характер. В тот период времени, который я считаю пределом отрочества и началом юности, основой моих мечтаний были четыре чувства: любовь к *ней*, к воображаемой женщине, о которой я мечтал всегда в одном и том же смысле и которую всякую минуту ожидал где-нибудь встретить. Эта *она* была немножко Сонечка, немножко Маша, жена Василья, в то время, как она моет белье в корыте, и немножко женщина с жемчугами на белой шее, которую я видел очень давно в театре, в ложе подле нас. Второе чувство было любовь любви. Мне хотелось, чтобы все меня знали и любили. Мне хотелось сказать свое имя: Николай Иртеньев, и чтобы все были поражены этим известием, обступили меня и

благодарили бы за что-нибудь. Третье чувство было — надежда на необыкновенное, тщеславное счастье, — такая сильная и твердая, что она переходила в сумасшествие. Я так был уверен, что очень скоро, вследствие какого-нибудь необыкновенного случая, вдруг сделаюсь самым богатым и самым знатным человеком в мире, что беспрестанно находился в тревожном ожидании чего-то волшебно-счастливого. Я все ждал, что вот начнется, и я достигну всего, чего может желать человек, и всегда повсюду торопился, полагая, что уже начинается там, где меня нет. Четвертое и главное чувство было отвращение к самому себе и раскаяние, но раскаяние до такой степени слитое с надеждой на счастие, что оно не имело в себе ничего печального. Мне казалось так легко и естественно оторваться от всего прошедшего, переделать, забыть все, что было, и начать свою жизнь со всеми ее отношениями совершенно снова, что прошедшее не тяготило, не связывало меня. Я даже наслаждался в отвращении к прошедшему и старался видеть его мрачнее, чем оно было. Чем чернее был круг воспоминаний прошедшего, тем чище и светлее выдавалась из него светлая, чистая точка настоящего и развивались радужные цвета будущего. Этот-то голос раскаяния и страстного желания совершенства и был главным новым душевным ощущением в ту эпоху моего развития, и он-то положил новые начала моему взгляду на себя, на людей и на мир Божий. Благой, отрадный голос, столько раз с тех пор, в те грустные времена, когда душа молча покорялась власти жизненной лжи и разврата, вдруг смело восставший против всякой неправды, властно отличавший прошедшее, указывавший, заставляя любить ее, ясную точку настоящего и обещавший добро и счастье в будущем, — благой, отрадный голос! Неужели ты перестанешь звучать когда-нибудь?

ПРАВИЛА

Я достал лист бумаги и прежде всего хотел приняться за расписание обязанностей и занятий на следующий год. Надо было разлиневать бумагу. Но так как линейки у меня не нашлось, я употребил для этого латинский лексикон. Кроме того, что, проведя пером вдоль лексикона и потом отодвинув его, оказалось, что вместо черты я сделал по бумаге продолговатую лужу чернил, — лексикон не хватал на всю бумагу, и

черта вогнулась по его мягкому углу. Я взял другую бумагу и, передвигая лексикон, разлиневал кое-как. Разделив свои обязанности на три рода: на обязанности к самому себе, к ближним и к Богу, я начал писать первые, но их оказалось так много и столько родов и подразделений, что надо было прежде написать «Правила жизни», а потом уже приняться за расписание. Я взял шесть листов бумаги, сшил тетрадь и написал сверху: «Правила жизни». Эти два слова были написаны так криво и неровно, что я долго думал: не переписать ли? и долго мучился, глядя на разорванное расписание и это уродливое заглавие. Зачем все так прекрасно, ясно у меня в душе и так безобразно выходит на бумаге и вообще в жизни, когда я хочу применять к ней что-нибудь из того, что думаю?..

— Духовник приехали, пожалуйте вниз правила слушать, — пришел доложить Николай.

Я спрятал тетрадь в стол, посмотрел в зеркало, причесал волосы кверху, что, по моему убеждению, давало мне задумчивый вид, и сошел в диванную, где уже стоял накрытый стол с образом и горевшими восковыми свечами. Папá в одно время со мною вошел из другой двери. Духовник, седой монах с строгим старческим лицом, благословил папá. Папá поцеловал его небольшую широкую сухую руку; я сделал то же.

— Позовите Вольдемара, — сказал папá. — Где он? Или нет, ведь он в университете говеет.

— Он занимается с князем, — сказала Катенька и посмотрела на Любочку. Любочка вдруг покраснела отчего-то, сморщилась, притворясь, что ей что-то больно, и вышла из комнаты. Я вышел вслед за нею. Она остановилась в гостиной и что-то снова записала карандашиком на свою бумажку.

— Что, еще новый грех сделала? — спросил я.

— Нет, ничего, так, — отвечала она, краснея.

В это время в передней послышался голос Дмитрия, который прощался с Володей.

— Вот, тебе все искушение, — сказала Катенька, входя в комнату и обращаясь к Любочке.

Я не мог понять, что делалось с сестрой: она была сконфужена так, что слезы выступили у нее на глаза и что смущение ее, дойдя до крайней степени, перешло в досаду на себя и на Катеньку, которая, видимо, дразнила ее.

— Вот видно, что ты *иностранка* (ничего не могло быть обиднее для Катеньки названия иностранки, с этой-то целью и

употребила его Любочка), — перед этаким таинством, — продолжала она с важностью в голосе, — и ты меня нарочно расстраиваешь... ты бы должна понимать... это совсем не шутка...

— Знаешь, Николенька, что она написала? — сказала Катенька, разобиженная названием *иностранки*, — она написала...

— Не ожидала я, чтоб ты была такая злая, — сказала Любочка, совершенно разнюнившись, уходя от нас: — в такую минуту, и нарочно, целый век, все вводит в грех. Я к тебе не пристаю с твоими чувствами и страданиями.

ИСПОВЕДЬ

С этими и подобными рассеянными размышлениями я вернулся в диванную, когда все собрались туда и духовник, встав, приготовился читать молитву перед исповедью. Но как только посреди общего молчания раздался выразительный, строгий голос монаха, читавшего молитву, и особенно когда произнес к нам слова: откройте все ваши прегрешения без стыда, утайки и оправдания, и душа ваша очистится перед Богом, а ежели утаите что-нибудь, большой грех будете иметь, — ко мне возвратилось чувство благоговейного трепета, которое я испытывал утром при мысли о предстоящем таинстве. Я даже находил наслаждение в сознании этого состояния и старался удержать его, останавливая все мысли, которые мне приходили в голову, и усиливаясь чего-то бояться.

Первый прошел исповедоваться папá. Он очень долго пробыл в бабушкиной комнате, и во все это время мы все в диванной молчали или шепотом переговаривались о том, кто пойдет прежде. Наконец опять из двери послышался голос монаха, читавшего молитву, и шаги папá. Дверь скрипнула, и он вышел оттуда, по своей привычке покашливая, подергивая плечом и не глядя ни на кого из нас.

— Ну, теперь ты ступай, Люба, да смотри, все скажи. Ты ведь у меня большая грешница, — весело сказал папá, щипнув ее за щеку.

Любочка побледнела и покраснела, вынула и опять спрятала записочку из фартука и, опустив голову, как-то укоротив шею, как будто ожидая удара сверху, прошла в дверь. Она пробыла там недолго, но, выходя оттуда, у нее плечи подергивались от всхлипываний.

Наконец после хорошенькой Катеньки, которая, улыбаясь, вышла из двери, настал и мой черед. Я с тем же тупым страхом и желанием умышленно все больше и больше возбуждать в себе этот страх вошел в полуосвещенную комнату. Духовник стоял перед налоем и медленно обратил ко мне свое лицо.

Я пробыл не более пяти минут в бабушкиной комнате, но вышел оттуда счастливым и, по моему тогдашнему убеждению, совершенно чистым, нравственно переродившимся и новым человеком. Несмотря на то, что меня неприятно поражала вся старая обстановка жизни, те же комнаты, те же мебели, та же моя фигура (мне бы хотелось, чтоб все внешнее изменилось так же, как, мне казалось, я сам изменился внутренно), — несмотря на это, я пробыл в этом отрадном настроении духа до самого того времени, как лег в постель.

Я уже засыпал, перебирая воображением все грехи, от которых очистился, как вдруг вспомнил один стыдный грех, который утаил на исповеди. Слова молитвы перед исповедью вспомнились мне и не переставая звучали у меня в ушах. Все мое спокойствие мгновенно исчезло. «А ежели утаите, большой грех будете иметь...» — слышалось мне беспрестанно, и я видел себя таким страшным грешником, что не было для меня достойного наказания. Долго я ворочался с боку на бок, передумывая свое положение и с минуты на минуту ожидал Божьего наказания и даже внезапной смерти, — мысль, приводившая меня в неописанный ужас. Но вдруг мне пришла счастливая мысль: чем свет идти или ехать в монастырь к духовнику и снова исповедаться, — и я успокоился.

ПОЕЗДКА В МОНАСТЫРЬ

Я несколько раз просыпался ночью, боясь проспать утро, и в шестом часу уж был на ногах. В окнах едва брезжилось. Я надел свое платье и сапоги, которые, скомканные и нечищеные, лежали у постели, потому что Николай еще не успел убрать, и, не молясь Богу, не умываясь, вышел в первый раз в жизни один на улицу.

На противоположной стороне, из-за зеленой крыши большого дома, краснелась туманная, студеная заря. Довольно сильный утренний весенний мороз сковал грязь и ручьи, колол под ногами и щипал мне лицо и руки. В нашем переулке не было еще ни одного извозчика, на которых я рассчитывал,

чтобы скорее съездить и вернуться. Только тянулись какие-то возы по Арбату, и два рабочие каменщика, разговаривая, прошли по тротуару. Пройдя шагов тысячу, стали попадаться люди и женщины, шедшие с корзинками на рынок; бочки, едущие за водой; на перекресток вышел пирожник; открылась одна калашная, и у Арбатских ворот попался извозчик, старичок, спавший, покачиваясь, на своих калиберных[1], облезлых, голубоватеньких и заплатанных дрожках. Он спросонков, должно быть, запросил с меня всего двугривенный до монастыря и назад, но потом вдруг опомнился и, только что я хотел садиться, захлестал свою лошаденку концами вожжей и совсем было уехал от меня. «Кормить лошадь надо! нельзя, барин», — бормотал он.

Насилу я уговорил его остановиться, предложив ему два двугривенных. Он остановил лошадь, внимательно осмотрел меня и сказал: «Садись, барин». Признаюсь, я боялся несколько, что он завезет меня в глухой переулок и ограбит. Ухватив его за воротник изорванного армячишка, причем его сморщенная шея над сильно сгорбленной спиной как-то жалобно обнажалась, я влез верхом на волнообразное голубенькое колыхающееся сиденье, и мы затряслись вниз по Воздвиженке. Дорогой я успел заметить, что спинка дрожек была обита кусочком зеленоватенькой материи, из которой был и армяк извозчика; это обстоятельство почему-то успокоило меня, и я уже не боялся, что извозчик завезет меня в глухой переулок и ограбит.

Солнце уже поднялось довольно высоко и ярко золотило куполы церквей, когда мы подъехали к монастырю. В тени еще держался мороз, но по всей дороге текли быстрые мутные ручьи, и лошадь шлепала по оттаявшей грязи. Войдя в монастырскую ограду, у первого лица, которое я увидал, я спросил, как бы мне найти духовника.

— Вон его келья, — сказал мне проходивший монах, останавливаясь на минутку и указывая на маленький домик с крылечком.

— Покорно вас благодарю, — сказал я...

Но что обо мне могли думать монахи, которые, друг за другом выходя из церкви, все глядели на меня? Я был ни большой, ни ребенок; лицо мое было не умыто, волосы не причесаны, платье в пуху, сапоги не чищены и еще в грязи. К какому разряду людей относили меня мысленно монахи,

[1] *Кали́берные дро́жки* — простые дрожки на малых рессорах.

глядевшие на меня? А они смотрели на меня внимательно. Однако я все-таки шел по направлению, указанному мне молодым монахом.

Старичок в черной одежде, с густыми седыми бровями, встретился мне на узенькой дорожке, ведущей к кельям, и спросил: что мне надо?

Была минута, что я хотел сказать «ничего», бежать назад к извозчику и ехать домой, но, несмотря на надвинутые брови, лицо старика внушало доверие. Я сказал, что мне нужно видеть духовника, назвав его по имени.

— Пойдемте, *барчук*, я вас проведу, — сказал он, поворачиваясь назад и, по-видимому, сразу угадав мое положение, — батюшка в утрени, он скоро пожалует.

Он отворил дверь и через чистенькие сени и переднюю, по чистому полотняному половику, провел меня в келью.

— Вот тут и подождите, — сказал он мне с добродушным, успокоительным выражением и вышел.

Комнатка, в которой я находился, была очень невелика и чрезвычайно опрятно убрана. Всю мебель составляли столик, покрытый клеенкой, стоявший между двумя маленькими створчатыми окнами, на которых стояли два горшка герания, стоечка с образами и лампадка, висевшая перед ними, одно кресло и два стула. В углу висели стенные часы с разрисованным цветочками циферблатом и подтянутыми на цепочках медными гирями; на перегородке, соединявшейся с потолком деревянными, выкрашенными известкой палочками (за которой, верно, стояла кровать), висело на гвоздиках две рясы.

Окна выходили на какую-то белую стену, видневшуюся в двух аршинах от них. Между ими и стеной был маленький куст сирени. Никакой звук снаружи не доходил в комнату, так что в этой тишине равномерное, приятное постукивание маятника казалось сильным звуком. Как только я остался один в этом тихом уголке, вдруг все мои прежние мысли и воспоминания выскочили у меня из головы, как будто их никогда не было, и я весь погрузился в какую-то невыразимо приятную задумчивость. Эта нанковая пожелтевшая ряса с протертой подкладкой, эти истертые кожаные черные переплеты книг с медными застежками, эти мутно-зеленые цветы с тщательно политой землей и обмытыми листьями, а особенно этот однообразно прерывистый звук маятника — говорили

мне внятно про какую-то новую, доселе бывшую мне неизвестной, жизнь, про жизнь уединения, молитвы, тихого, спокойного счастия...

«Проходят месяцы, проходят годы, — думал я, — он все один, он все спокоен, он все чувствует, что совесть его чиста пред Богом и молитва услышана Им». С полчаса я просидел на стуле, стараясь не двигаться и не дышать громко, чтобы не нарушать гармонию звуков, говоривших мне так много. А маятник все стучал так же — направо громче, налево тише.

ВТОРАЯ ИСПОВЕДЬ

Шаги духовника вывели меня из этой задумчивости.

— Здравствуйте, — сказал он, поправляя рукой свои седые волосы. — Что вам угодно?

Я попросил его благословить меня и с особенным удовольствием поцеловал его желтоватую небольшую руку.

Когда я объяснил ему свою просьбу, он ничего не сказал мне, подошел к иконам и начал исповедь.

Когда исповедь кончилась и я, преодолев стыд, сказал все, что было у меня на душе, он положил мне на голову руки и своим звучным, тихим голосом произнес: «Да будет, сын мой, над тобою благословение Отца небесного, да сохранит Он в тебе навсегда веру, кротость и смирение. Аминь».

Я был совершенно счастлив; слезы счастия подступали мне к горлу; я поцеловал складку его драдедамовой[1] рясы и поднял голову. Лицо монаха было совершенно спокойно.

Я чувствовал, что наслаждаюсь чувством умиления, и, боясь чем-нибудь разогнать его, торопливо простился с духовником и, не глядя по сторонам, чтобы не рассеяться, вышел за ограду и снова сел на колыхающиеся полосатые дрожки. Но толчки экипажа, пестрота предметов, мелькавших перед глазами, скоро разогнали это чувство; и я уже думал о том, как теперь духовник, верно, думает, что такой прекрасной души молодого человека, как я, он никогда не встречал в жизни, да и не встретит, что даже и не бывает подобных. Я в этом был убежден; и это убеждение произвело во мне чувство веселья такого рода, которое требовало того, чтобы кому-нибудь сообщить его.

---

[1] *Драдедáм* — легкое сукно, полусукно.

Мне ужасно хотелось поговорить с кем-нибудь; но так как никого под рукой не было, кроме извозчика, я обратился к нему.

— Что, *долго я был?* — *спросил я.*

— Ничего-таки, долго, а лошадь давно кормить пора; ведь я *ночной*, — отвечал старичок извозчик, теперь, по-видимому, с солнышком, повеселевший сравнительно с прежним.

— А мне показалось, что я был всего одну минуту, — сказал я. — А знаешь, зачем я был в монастыре? — прибавил я, пересаживаясь в углублении, которое было на дрожках ближе к старичку извозчику.

— Наше дело какое? Куда седок скажет, туда и везем, — отвечал он.

— Нет, все-таки, как ты думаешь? — продолжал я допрашивать.

— Да, верно, хоронить кого, ездили место покупать, — сказал он.

— Нет, братец; а знаешь, зачем я ездил?

— Не могу знать, барин, — повторил он.

Голос извозчика показался мне таким добрым, что я решился в назидание его рассказать ему причины моей поездки и даже чувство, которое я испытывал.

— Хочешь, *я тебе расскажу?* Вот видишь ли...

И я рассказал ему все и описал все свои прекрасные чувства. Я даже теперь краснею при этом воспоминании.

— Так-с, — сказал извозчик недоверчиво.

И долго после этого молчал и сидел недвижно, только изредка поправляя полу армяка, которая все выбивалась из-под его полосатой ноги, прыгавшей в большом сапоге на подножке калибера. Я уже думал, что и он думает про меня то же, что духовник, — то есть, что такого прекрасного молодого человека, как я, другого нет на свете; но он вдруг обратился ко мне:

— А что, барин, ваше дело господское.

— Что? — спросил я.

— Дело-то, дело господское, — повторил он, шамкая беззубыми губами.

«Нет, он меня не понял», — подумал я, но уже больше не говорил с ним до самого дома.

Хотя не самое чувство умиления и набожности, но само довольство в том, что я испытал его, удержалось во мне всю до-

рогу, несмотря на народ, который при ярком солнечном блеске пестрел везде на улицах; но как только я приехал домой, чувство это совершенно исчезло. У меня не было двух двугривенных, чтоб заплатить извозчику. Дворецкий Гаврило, которому я уже был должен, не давал мне больше взаймы. Извозчик, увидав, как я два раза пробежал по двору, чтоб доставать деньги, должно быть догадавшись, зачем я бегаю, слез с дрожек и, несмотря на то, что казался мне таким добрым, громко начал говорить, с видимым желанием уколоть меня, о том, как бывают шаромыжники, которые не платят за езду.

Дома еще все спали, так что, кроме людей, мне не у кого было занять двух двугривенных. Наконец Василий под самое честное, честное слово, которому (я по лицу его видел) он не верил нисколько, но так, потому что любил меня и помнил услугу, которую я ему оказал, заплатил за меня извозчику. Так дымом разлетелось это чувство. Когда я стал одеваться в церковь, чтоб со всеми вместе идти причащаться, и оказалось, что мое платье не было перешито и его нельзя было надеть, я пропасть нагрешил. Надев другое платье, я пошел к причастию в каком-то странном положении торопливости мыслей и с совершенным недоверием к своим прекрасным наклонностям.

КАК Я ГОТОВЛЮСЬ К ЭКЗАМЕНУ

В четверг на Святой папá, сестра и Мими с Катенькой уехали в деревню, так что во всем большом бабушкином доме оставались только Володя, я и St.-Jérôme. То настроение духа, в котором я находился в день исповеди и поездки в монастырь, совершенно прошло и оставило по себе только смутное, хотя и приятное, воспоминание, которое все более и более заглушалось новыми впечатлениями свободной жизни.

Тетрадь с заглавием «*Правила жизни*» тоже была спрятана с черновыми ученическими тетрадями. Несмотря на то, что мысль о возможности составить себе правила на все обстоятельства жизни и всегда руководиться ими нравилась мне, казалась чрезвычайно простою и вместе великою, и я намеревался все-таки приложить ее к жизни, я опять как будто забыл, что это нужно было делать сейчас же, и все откладывал до такого-то времени. Меня утешало, однако, то, что всякая мысль, которая приходила мне теперь в голову, подходила как

раз под какое-нибудь из подразделений моих правил и обязанностей: или к правилам в отношении к ближним, или к себе, или к Богу. «Вот тогда я это отнесу туда и еще много, много мыслей, которые мне придут тогда, по этому предмету», — говорил я сам себе. Часто теперь я спрашиваю себя: когда я был лучше и правее: тогда ли, когда верил во всемогущество ума человеческого, или теперь, когда, потеряв силу развития, сомневаюсь в силе и значении ума человеческого? — и не могу себе дать положительного ответа.

Сознание свободы и то весеннее чувство ожидания чего-то, про которое я говорил уже, до такой степени взволновали меня, что я решительно не мог совладать с самим собою и приготавливался к экзамену очень плохо. Бывало, утром занимаешься в классной комнате и знаешь, что необходимо работать, потому что завтра экзамен из предмета, в котором целых два вопроса еще не прочитаны мной, но вдруг пахнёт из окна каким-нибудь весенним духом, — покажется, будто что-то крайне нужно сейчас вспомнить, руки сами собою опускают книгу, ноги сами собой начинают двигаться и ходить взад и вперед, а в голове, как будто кто-нибудь пожал пружинку и пустил в ход машину, в голове так легко и естественно и с такою быстротою начинают пробегать разные пестрые, веселые мечты, что только успеваешь замечать блеск их. И час, и два проходят незаметно. Или тоже сидишь за книгой и кое-как сосредоточишь все внимание на том, что читаешь, вдруг по коридору услышишь женские шаги и шум платья, — и все выскочило из головы, и нет возможности усидеть на месте, хотя очень хорошо знаешь, что, кроме Гаши, старой бабушкиной горничной, никто не мог пройти по коридору. «Ну, а ежели это вдруг *она*? — приходит в голову, — ну, а если теперь-то вот и начнется, а я пропущу?» — и выскакиваешь в коридор, видишь, что это точно Гаша; но уж долго потом не совладаешь с головой. Пружинка пожата, и опять пошла кутерьма страшная. Или вечером сидишь один с сальной свечой в своей комнате; вдруг на секунду, чтоб снять со свечи или поправиться на стуле, отрываешься от книги и видишь, что везде в дверях, по углам темно, и слышишь, что везде в доме тихо, — опять невозможно не остановиться и не слушать этой тишины, и не смотреть на этот мрак отворенной двери в темную комнату, и долго-долго не пробыть в неподвижном положении или не пойти вниз и не пройти по всем пустым комнатам. Часто тоже

долго по вечерам я просиживал незамеченным в зале, прислушиваясь к звуку «соловья», которого двумя пальцами наигрывала на фортепьянах Гаша, сидя одна при сальной свечке в большой зале. А уж при лунном свете я решительно не мог не вставать с постели и не ложиться на окно в палисадник и, вглядываясь в освещенную крышу Шапошникова дома и стройную колокольню нашего прихода, и в вечернюю тень забора и куста, ложившуюся на дорожку садика, не мог не просиживать так долго, что потом просыпался с трудом только в десять часов утра.

Так что, ежели бы не учителя, которые продолжали ходить ко мне, не St.-Jérôme, который изредка нехотя подстрекал мое самолюбие, и, главное, не желание показаться дельным малым в глазах моего друга Нехлюдова, то есть выдержать отлично экзамен, что, по его понятиям, было очень важною вещью, — ежели бы не это, то весна и свобода сделали бы то, что я забыл бы даже все то, что знал прежде, и ни за что бы не выдержал экзамена.

Я БОЛЬШОЙ

Впрочем, и эти мысли имели свою прелесть.

8 мая, вернувшись с последнего экзамена, Закона Божия, я нашел дома знакомого мне подмастерья от Розанова, который еще прежде приносил на живую нитку сметанные мундир и сюртук из глянцевитого черного сукна с отливом и отбивал мелом лацкана, а теперь принес совсем готовое платье, с блестящими золотыми пуговицами, завернутыми бумажками.

Надев это платье и найдя его прекрасным, несмотря на то, что St.-Jérôme уверял, что спинка сюртука морщила, я сошел вниз с самодовольной улыбкой, которая совершенно невольно распускалась на моем лице, и пошел к Володе, чувствуя и как будто не замечая взгляды домашних, которые из передней и из коридора с жадностью были устремлены на меня. Гаврило, дворецкий, догнал меня в зале, поздравил с поступлением, передал, по приказанию папá, четыре беленькие бумажки и сказал, что, тоже по приказанию папá, с нынешнего дня кучер Кузьма, пролетка и гнедой Красавчик в моем полном распоряжении. Я так обрадовался этому почти неожиданному счастью, что никак не мог притвориться равнодушным перед Гаврилой и, несколько растерявшись и задохнувшись, сказал первое, что

мне пришло в голову, — кажется, что «Красавчик отличный рысак». Взглянув на головы, которые высовывались из дверей передней и коридора, не в силах более удерживаться, рысью побежал через залу в своем новом сюртуке с блестящими золотыми пуговицами. В то время, как я входил к Володе, за мной послышались голоса Дубкова и Нехлюдова, которые приехали поздравить меня и предложить ехать обедать куда-нибудь и пить шампанское в честь моего вступления. Дмитрий сказал мне, что он, хотя и не любит пить шампанское, нынче поедет с нами, чтобы выпить со мною *на ты*; Дубков сказал, что я почему-то похож вообще на полковника; Володя не поздравил меня и весьма сухо только сказал, что теперь мы послезавтра можем ехать в деревню. Как будто, хотя он был и рад моему поступлению, ему немножко неприятно было, что теперь и я такой же большой, как и он. St.-Jérôme, который тоже пришел к нам, сказал очень напыщенно, что его обязанность кончена, что он не знает, хорошо ли, дурно ли она исполнена, но что он сделал все, что мог, и что завтра он переезжает к своему графу. В ответ на все, что мне говорили, я чувствовал, как против моей воли на лице моем расцветала сладкая, счастливая, несколько глупо-самодовольная улыбка, и замечал, что улыбка эта даже сообщалась всем, кто со мной говорил.

И вот у меня нет гувернера, у меня есть свои дрожки, имя мое напечатано в списке студентов, у меня шпага на портупее, будочники могут иногда делать мне честь... я большой, я, кажется, счастлив.

Обедать мы решили у Яра[1] в пятом часу; но так как Володя поехал к Дубкову, а Дмитрий тоже по своей привычке исчез куда-то, сказав, что у него есть до обеда одно дело, то я мог употребить два часа времени, как мне хотелось. Довольно долго я ходил по всем комнатам и смотрелся во все зеркала то в застегнутом сюртуке, то совсем в расстегнутом, то в застегнутом на одну верхнюю пуговицу, и все мне казалось отлично. Потом, как мне ни совестно было показывать слишком большую радость, я не удержался, пошел в конюшню и каретный сарай, посмотрел Красавчика, Кузьму и дрожки, потом снова вернулся и стал ходить по комнатам, поглядывая в зеркала и рассчитывая деньги в кармане и все так же счастливо улыбаясь. Однако не прошло и часу времени, как я почувствовал некоторую скуку или сожаление в том, что никто меня не ви-

[1] Известный в Москве ресторан.

дит в таком блестящем положении, и мне захотелось движения и деятельности. Вследствие этого я велел заложить дрожки и решил, что мне лучше всего съездить на Кузнецкий мост сделать покупки.

Я вспомнил, что Володя при вступлении в университет купил себе литографии лошадей Виктора Адама[1], табаку и трубки, и мне показалось необходимым сделать то же самое.

При обращенных со всех сторон на меня взглядах и при ярком блеске солнца на моих пуговицах, кокарде шляпы и шпаге я приехал на Кузнецкий мост и остановился подле магазина картин Дациаро. Оглядываясь на все стороны, я вошел в него. Я не хотел покупать лошадей В. Адама для того, чтобы меня не могли упрекнуть в обезьянстве Володе, но, торопясь от стыда в беспокойстве, которое я доставлял услужливому магазинщику, выбрать поскорее, я взял гуашью сделанную женскую голову, стоявшую на окне, и заплатил за нее двадцать рублей. Однако, заплатив в магазине двадцать рублей, мне все-таки казалось совестно, что я обеспокоил двух красиво одетых магазинщиков такими пустяками, и притом казалось, что они все еще слишком небрежно на меня смотрят. Желая им дать почувствовать, кто я такой, я обратил внимание на серебряную штучку, которая лежала под стеклом, и, узнав, что это был porte-crayon[2], который стоил восемнадцать рублей, попросил завернуть его в бумажку и, заплатив деньги и узнав еще, что хорошие чубуки и табак можно найти рядом в табачном магазине, учтиво поклонясь обоим магазинщикам, вышел на улицу с картиной под мышкой. В соседнем магазине, на вывеске которого был написан негр, курящий сигару, я купил, тоже из желания не подражать никому, не Жукова[3], а султанского табаку, стамбулку трубку и два липовых и розовых чубука. Выходя из магазина к дрожкам, я увидел Семенова, который в штатском сюртуке, опустив голову, скорыми шагами шел по тротуару. Мне было досадно, что он не узнал меня. Я довольно громко сказал: «Подавай!» и, сев на дрожки, догнал Семенова.

— Здравствуйте-с, — сказал я ему.

— Мое почтение, — отвечал он, продолжая идти.

---

[1] Виктор Адам — французский живописец XIX в.

[2] Ручка для карандаша.

[3] Жуков — владелец табачной фабрики в Петербурге.

— Что же вы не в мундире? — спросил я.

Семенов остановился, прищурил глаза и, оскалив свои белые зубы, как будто ему было больно смотреть на солнце, но собственно затем, чтобы показать свое равнодушие к моим дрожкам и мундиру, молча посмотрел на меня и пошел дальше.

С Кузнецкого моста я заехал в кондитерскую на Тверской и, хотя желал притвориться, что меня в кондитерской преимущественно интересуют газеты, не мог удержаться и начал есть один сладкий пирожок за другим. Несмотря на то, что мне было стыдно перед господином, который из-за газеты с любопытством посматривал на меня, я съел чрезвычайно быстро пирожков восемь всех тех сортов, которые только были в кондитерской.

Приехав домой, я почувствовал маленькую изжогу; но, не обратив на нее никакого внимания, занялся рассматриванием покупок, из которых картина так мне не понравилась, что я не только не обделал ее в рамку и не повесил в своей комнате, как Володя, но даже тщательно спрятал ее за комод, где никто не мог ее видеть. Porte-crayon дома мне тоже не понравился; я положил его в стол, утешая себя, однако, мыслью, что это вещь серебряная, капитальная и для студента очень полезная. Курительные же препараты я тотчас решил пустить в дело и испробовать.

Распечатав четвертку, тщательно набив стамбулку красно-желтым, мелкой резки, султанским табаком, я положил на нее горящий трут и, взяв чубук между средним и безымянным пальцем (положение руки, особенно мне нравившееся), стал тянуть дым.

Запах табака был очень приятен, но во рту было горько и дыхание захватывало. Однако скрепив сердце я довольно долго втягивал в себя дым, пробовал пускать кольца и затягиваться. Скоро комната вся наполнилась голубоватыми облаками дыма, трубка начала хрипеть, горячий табак подпрыгивать, а во рту я почувствовал горечь и в голове маленькое кружение. Я хотел уже перестать и только посмотреться с трубкой в зеркало, как, к удивлению моему, зашатался на ногах; комната пошла кругом, и, взглянув в зеркало, к которому я с трудом подошел, я увидел, что лицо мое было бледно, как полотно. Едва я успел упасть на диван, как почувствовал такую тошноту и такую слабость, что, вообразив себе, что трубка для меня смертельна,

мне показалось, что я умираю. Я серьезно испугался и хотел уже звать людей на помощь и посылать за доктором.

Однако страх этот продолжался недолго. Я скоро понял, в чем дело, и с страшной головной болью, расслабленный, долго лежал на диване, с тупым вниманием вглядываясь в герб Бостонжогло[1], изображенный на четвертке, в валявшуюся на полу трубку, окурки и остатки кондитерских пирожков, и с разочарованием грустно думал: «Верно, я еще не совсем большой, если не могу курить, как другие, и что, видно, мне не судьба, как другим, держать чубук между средним и безымянным пальцем, затягиваться и пускать дым через русые усы».

Дмитрий, заехав за мною в пятом часу, застал меня в этом неприятном положении. Выпив стакан воды, однако, я почти оправился и был готов ехать с ним.

— И что вам за охота курить, — сказал он, глядя на следы моего курения. — Это все глупости и напрасная трата денег. Я дал себе слово не курить... Однако поедем скорей, еще надо заехать за Дубковым.

Я СОБИРАЮСЬ ДЕЛАТЬ ВИЗИТЫ

Проснувшись на другой день, первою мыслию моею было приключение с Колпиковым; опять я помычал, побегал по комнате, но делать было нечего; притом нынче был последний день, который я проводил в Москве, и надо было сделать, по приказанию папá, визиты, которые он мне сам написал на бумажке. Заботою о нас отца было не столько нравственность и образование, сколько светские отношения. На бумажке было написано его изломанным быстрым почерком: 1) к князю Ивану Ивановичу *непременно*, 2) к Ивиным *непременно*, 3) к князю Михайле, 4) к княгине Нехлюдовой и к Валахиной, ежели успеешь. И, разумеется, к попечителю, к ректору и к профессорам.

Последние визиты Дмитрий отсоветовал мне делать, говоря, что это не только не нужно, но даже было бы неприлично, но остальные надо было все сделать сегодня. Из них особенно пугали меня два первые визита, подле которых было написано *непременно*. Князь Иван Иваныч был генерал-аншеф, старик, богач и один; стало быть, я, шестнадцатилетний сту-

[1] Бостонжóгло — владелец табачной фирмы в Москве.

дент, должен был иметь с ним прямые отношения, которые, я предчувствовал, не могли быть для меня лестны. Ивины тоже были богачи, и отец их был какой-то важный штатский генерал, который всего только раз, при бабушке, сам был у нас. После же смерти бабушки, я замечал, младший Ивин дичился нас и как будто важничал. Старший, как я знал по слухам, уж кончил курс в Правоведении и служил в Петербурге; второй, Сергей, которого я обожал некогда, был тоже в Петербурге большим толстым кадетом в Пажеском корпусе.

ИВИНЫ

Мне еще тяжелей стало думать о предстоящем необходимом визите. Но прежде, чем к князю, по дороге надо было заехать к Ивиным. Они жили на Тверской, в огромном красивом доме. Не без боязни вошел я на парадное крыльцо, у которого стоял швейцар с булавой.

Я спросил его — дома ли?

— Кого вам надо? Генеральский сын дома, — сказал мне швейцар.

— А сам генерал? — спросил я храбро.

— Надо доложить. Как прикажете? — сказал швейцар и позвонил. Лакейские ноги в штиблетах показались на лестнице. Я так оробел, сам не знаю чего, что сказал лакею, чтоб он не докладывал генералу, а что я пройду прежде к генеральскому сыну. Когда я шел вверх по этой большой лестнице, мне показалось, что я сделался ужасно маленький (и не в переносном, а в настоящем значении этого слова). То же чувство я испытал и тогда, когда мои дрожки подъехали к большому крыльцу: мне показалось, что и дрожки, и лошадь, и кучер сделались маленькие. Генеральский сын лежал на диване с открытой перед ним книгой и спал, когда я вошел к нему. Его гувернер, г. Фрост, который все еще оставался у них в доме, вслед за мной своей молодецкой походкой вошел в комнату и разбудил своего воспитанника. Ивин не изъявил особенной радости при виде меня, и я заметил, что, разговаривая со мной, он смотрел мне в брови. Хотя он был очень учтив, мне казалось, что он занимает меня так же, как и княжна, и что особенного влеченья ко мне он не чувствовал, а надобности в моем знакомстве ему не было, так как у него, верно, был свой, другой круг знакомства. Все это я сообразил преимущественно потому, что он смотрел мне в

брови. Одним словом, его отношения со мной были, как мне ни неприятно признаться в этом, почти такие же, как мои с Иленькой. Я начинал приходить в раздраженное состояние духа, каждый взгляд Ивина ловил на лету и, когда он встречался с глазами Фроста, переводил его вопросом: «И зачем он приехал к нам?»

Поговорив немного со мной, Ивин сказал, что его отец и мать дома, так не хочу ли я сойти к ним вместе.

— Сейчас я оденусь, — прибавил он, выходя в другую комнату, несмотря на то, что и в своей комнате был хорошо одет — в новом сюртуке и белом жилете. Через несколько минут он вышел ко мне в мундире, застегнутом на все пуговицы, и мы вместе пошли вниз. Парадные комнаты, через которые мы прошли, были чрезвычайно велики, высоки и, кажется, роскошно убраны, что-то было там мраморное, и золотое, и обвернутое кисеей, и зеркальное. Ивина в одно время с нами из другой двери вошла в маленькую комнату за гостиной. Она очень дружески-родственно приняла меня, усадила подле себя и с участием расспрашивала меня о всем нашем семействе.

Ивина, которую я прежде раза два видал мельком, а теперь рассмотрел внимательно, очень понравилась мне. Она была велика ростом, худа, очень бела и казалась постоянно грустной и изнуренной. Улыбка у нее была печальная, но чрезвычайно добрая; глаза были большие, усталые и несколько косые, что давало ей еще более печальное и привлекательное выражение. Она сидела не сгорбившись, а как-то опустившись всем телом, все движенья ее были падающие.

Она говорила вяло, но звук голоса ее и выговор с неясным произношением *р* и *л* были очень приятны. Она не занимала меня. Ей, видимо, доставляли грустный интерес мои ответы об родных, как будто она, слушая меня, с грустью вспоминала лучшие времена. Сын ее вышел куда-то, она минуты две молча смотрела на меня и вдруг заплакала. Я сидел перед ней и никак не мог придумать, что́ бы мне сказать или сделать. Она продолжала плакать, не глядя на меня. Сначала мне было жалко ее, потом я подумал: «Не надо ли утешать ее, и как это надо сделать?» — и, наконец, мне стало досадно за то, что она ставила меня в такое неловкое положение. «Неужели я имею такой жалкий вид? — думал я, — или уж не нарочно ли она это делает, чтоб узнать, как я поступлю в этом случае?»

«Уйти же теперь неловко, — как будто я бегу от ее слез», — продолжал думать я. Я повернулся на стуле, чтоб хоть напомнить ей о моем присутствии.

— Ах, какая я глупая! — сказала она, взглянув на меня и стараясь улыбнуться: — бывают такие дни, что плачешь без всякой причины.

Она стала искать платок подле себя на диване и вдруг заплакала еще сильнее.

— Ах, боже мой! как это смешно, что я все плачу. Я так любила вашу мать, мы так дружны... были... и...

Она нашла платок, закрылась им и продолжала плакать. Опять повторилось мое неловкое положение и продолжалось довольно долго. Мне было и досадно, и еще больше жалко ее. Слезы ее казались искренни, а мне все думалось, что она не столько плакала об моей матери, сколько о том, что ей самой было не хорошо теперь, и когда-то, в те времена, было гораздо лучше. Не знаю, чем бы это кончилось, ежели бы не вошел молодой Ивин и не сказал, что старик Ивин ее спрашивает. Она встала и хотела уже идти, когда сам Ивин вошел в комнату. Это был маленький, крепкий, седой господин с густыми черными бровями, с совершенно седой, коротко обстриженной головой и чрезвычайно строгим и твердым выражением рта.

Я встал и поклонился ему, но Ивин, у которого было три звезды на зеленом фраке, не только не ответил на мой поклон, но почти не взглянул на меня, так что я вдруг почувствовал, что я не человек, а какая-то не стоящая внимания вещь — кресло или окошко, или ежели человек, то такой, который нисколько не отличается от кресла или окошка.

— А вы все не написали графине, моя милая, — сказал он жене по-французски, с бесстрастным, но твердым выражением лица.

— Прощайте, monsieur Irteneff, — сказала мне Ивина, вдруг как-то гордо кивнув головой и, так же, как сын, посмотрев мне в брови. Я поклонился еще раз и ей и ее мужу, и опять на старого Ивина мой поклон подействовал так же, как ежели бы открыли или закрыли окошко. Студент Ивин проводил меня, однако, до двери и дорогой рассказал, что он переходит в Петербургский университет, потому что отец его получил там место (он назвал мне какое-то очень важное место).

«Ну, уж как папа́ хочет, — пробормотал я сам себе, садясь в дрожки, — а моя нога больше не будет здесь никог-

да; эта нюня плачет, на меня глядя, точно я несчастный какой-нибудь, а Ивин, свинья, не кланяется; я же ему задам...» Чем это я хотел задать ему, я решительно не знаю, но так это пришлось к слову.

После часто мне надо было выдерживать увещания отца, который говорил, что необходимо *культивировать* это знакомство и что я не могу требовать, чтоб человек в таком положении, как Ивин, занимался мальчишкой, как я; но я выдержал характер довольно долго.

КНЯЗЬ ИВАН ИВАНЫЧ

«Ну, теперь последний визит на Никитскую», — сказал я Кузьме, и мы покатили к дому князя Ивана Иваныча.

Пройдя через несколько визитных испытаний, я обыкновенно приобретал самоуверенность и теперь подъезжал было к князю с довольно спокойным духом, как вдруг мне вспомнились слова княгини Корнаковой, что я наследник; кроме того, я увидел у крыльца два экипажа и почувствовал прежнюю робость.

Мне казалось, что и старый швейцар, который отворил мне дверь, и лакей, который снял с меня шинель, и три дамы и два господина, которых я нашел в гостиной, и в особенности сам князь Иван Иваныч, который в штатском сюртуке сидел на диване, — мне казалось, что все смотрели на меня как на наследника, и вследствие этого недоброжелательно. Князь был со мной очень ласков, поцеловал меня, то есть приложил на секунду к моей щеке мягкие, сухие и холодные губы, расспрашивал о моих занятиях, планах, шутил со мной, спрашивал, пишу ли я все стихи, как те, которые написал в именины бабушки, и сказал, чтобы я приходил нынче к нему обедать. Но чем больше он был ласков, тем больше мне все казалось, что он хочет обласкать меня только с тем, чтобы не дать заметить, как ему неприятна мысль, что я его наследник. Он имел привычку — происходившую от фальшивых зубов, которых у него был полон рот, — сказав что-нибудь, поднимать верхнюю губу к носу и, производя легкий звук сопения, как будто втягивать эту губу себе в ноздри, и когда он это делал теперь, мне все казалось, что он про себя говорил: «Мальчишка, мальчишка, и без тебя знаю: наследник, наследник» и т. д.

Когда мы были детьми, мы называли князя Ивана Иваныча дедушкой, но теперь, в качестве наследника, у меня язык не

ворочался сказать ему — «дедушка», а сказать — «ваше сиятельство», как говорил один из господ, бывших тут, мне казалось унизительным, так что во все время разговора я старался никак не называть его. Но более всего меня смущала старая княжна, бывшая тоже наследницей князя и жившая в его доме. Во все время обеда, за которым я сидел рядом с княжной, я предполагал, что княжна не говорит со мной потому, что ненавидит меня за то, что я такой же наследник князя, как и она, и что князь не обращает внимания на нашу сторону стола потому, что мы — я и княжна — наследники, ему одинаково противны.

— Да, ты не поверишь, как мне было неприятно, — говорил я в тот же день вечером Дмитрию, желая похвастаться перед ним чувством отвращения к мысли о том, что я наследник (мне казалось, что это чувство очень хорошее), — как мне неприятно было нынче целых два часа пробыть у князя. Он прекрасный человек и был очень ласков ко мне, — говорил я, желая, между прочим, внушить своему другу, что все это я говорю не вследствие того, чтобы я чувствовал себя униженным перед князем, — но, — продолжал я, — мысль о том, что на меня могут смотреть, как на княжну, которая живет у него в доме и подличает перед ним, ужасная мысль. Он чудесный старик и со всеми чрезвычайно добр и деликатен, а больно смотреть, как он *мальтретирует*[1] эту княжну. Эти отвратительные деньги портят все отношения!

— Знаешь, я думаю, гораздо бы лучше прямо объясниться с князем, — говорил я, — сказать ему, что я его уважаю как человека, но о наследстве его не думаю и прошу его, чтобы он мне ничего не оставлял, и что только в этом случае я буду ездить к нему. — Дмитрий не расхохотался, когда я сказал ему это; напротив, он задумался и, помолчав несколько минут, сказал мне:

— Знаешь что? Ты не прав. Или тебе не должно вовсе предполагать, чтоб о тебе могли думать так же, как об этой вашей княжне какой-то, или ежели уж ты предполагаешь это, то предполагай дальше, то есть что ты знаешь, что о тебе могут думать, но что мысли эти так далеки от тебя, что ты их презираешь и на основании их ничего не будешь делать. Ты предполагай, что они предполагают, что ты предполагаешь это... но,

---

[1] *Мальтрети́ровать* — дурно обращаться с кем-либо *(нем.)*.

одним словом, — прибавил он, чувствуя, что путается в своем рассуждении, — гораздо лучше вовсе и не предполагать этого.

Мой друг был совершенно прав; только гораздо, гораздо позднее я из опыта жизни убедился в том, как вредно думать и еще вреднее говорить многое, кажущееся очень благородным, но что должно навсегда быть спрятано от всех в сердце каждого человека, — и в том, что благородные слова редко сходятся с благородными делами. Я убежден в том, что уже по одному тому, что хорошее намерение высказано, — трудно, даже большей частью невозможно, исполнить это хорошее намерение. Но как удержать от высказывания благородно-самодовольные порывы юности? Только гораздо позже вспоминаешь их и жалеешь о них, как о цветке, который — не удержался — сорвал нераспустившимся и потом увидел на земле завялым и затоптанным.

Я, который сейчас только говорил Дмитрию, своему другу, о том, как деньги портят отношения, на другой день утром, перед нашим отъездом в деревню, когда оказалось, что я промотал все свои деньги на разные картинки и стамбулки, взял у него двадцать пять рублей ассигнациями на дорогу, которые он предложил мне, и потом очень долго оставался ему должен.

ЗАДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР С МОИМ ДРУГОМ

Теперешний разговор наш происходил в фаэтоне на дороге в Кунцево. Дмитрий отсоветовал мне ехать утром с визитом к своей матери, а заехал за мной после обеда, чтоб увезти на весь вечер, и даже ночевать, на дачу, где жило его семейство. Только когда мы выехали из города и грязно-пестрые улицы и несносный оглушительный шум мостовой заменились просторным видом полей и мягким похряскиванием колес по пыльной дороге, а весенний пахучий воздух и простор охватил меня со всех сторон, только тогда я немного опомнился от разнообразных новых впечатлений и сознания свободы, которые в эти два дня совершенно меня запутали. Дмитрий был общителен и кроток, не поправлял головой галстука, не подмигивал нервически и не зажмуривался; я был доволен теми благородными чувствами, которые ему высказал, полагая, что за них он совершенно простил мне мою постыдную историю с Колпиковым, не презирает меня за нее, и мы дружно разговорились о многом таком задушевном, которое не во

всяких условиях говорится друг другу. Дмитрий рассказывал мне про свое семейство, которого я еще не знал, про мать, тетку, сестру и ту, которую Володя и Дубков считали пассией моего друга и называли *рыженькой*. Про мать он говорил с некоторой холодной и торжественной похвалой, как будто с целью предупредить всякое возражение по этому предмету; про тетку он отзывался с восторгом, но и с некоторой снисходительностью; про сестру он говорил очень мало и как будто бы стыдясь мне говорить о ней; но про *рыженькую*, которую по-настоящему звали Любовью Сергеевной и которая была пожилая девушка, жившая по каким-то семейным отношениям в доме Нехлюдовых, он говорил мне с одушевлением.

— Да, она удивительная девушка, — говорил он, стыдливо краснея, но тем с большей смелостью глядя мне в глаза: — она уж не молодая девушка, даже скорей старая, и совсем не хороша собой, но ведь что за глупость, бессмыслица — любить красоту! — я этого не могу понять, так это глупо (он говорил это, как будто только что открыл самую новую, необыкновенную истину), а такой души, сердца и правил... я уверен, не найдешь подобной девушки в нынешнем свете (не знаю, от кого перенял Дмитрий привычку говорить, что все хорошее редко в нынешнем свете, но он любил повторять это выражение, и оно как-то шло к нему). Только я боюсь, — продолжал он спокойно, совершенно уже уничтожив своим рассуждением людей, которые имели глупость любить красоту, — я боюсь, что ты не поймешь и не узнаешь ее скоро: она скромна и даже скрытна, не любит показывать свои прекрасные, удивительные качества. Вот матушка, которая, ты увидишь, прекрасная и умная женщина, — она знает Любовь Сергеевну уже несколько лет и не может, и не хочет понять ее. Я даже вчера... я скажу тебе, отчего я был не в духе, когда ты у меня спрашивал. Третьего дня Любовь Сергеевна желала, чтоб я съездил с ней к Ивану Яковлевичу[1], — ты слышал, верно, про Ивана Яковлевича, который будто бы сумасшедший, а действительно — замечательный человек. Любовь Сергеевна чрезвычайно религиозна, надо тебе сказать, и понимает совершенно Ивана Яковлевича. Она часто ездит к нему, беседует с ним и дает ему для бедных деньги, которые сама вырабатывает. Она удивительная женщина, ты увидишь. Ну, и я ездил с ней к Ивану Яковлевичу, и очень благодарен ей за то,

[1] Известный в то время в Москве юродивый.

что видел этого замечательного человека. А матушка никак не хочет понять этого, видит в этом суеверие. И вчера у меня с матушкой в первый раз в жизни был спор, и довольно горячий, — заключил он, сделав судорожное движение шеей, как будто в воспоминание о чувстве, которое он испытывал при этом споре.

— Ну, и как же ты думаешь? то есть как, когда ты воображаешь, что выйдет... или вы с нею говорите о том, что будет и чем кончится ваша любовь или дружба? — спросил я, желая отвлечь его от неприятного воспоминания.

— Ты спрашиваешь, думаю ли я жениться на ней? — спросил он меня, снова краснея, но смело, повернувшись, глядя мне в лицо.

«Что ж в самом деле, — подумал я, успокаивая себя, — это ничего, мы *большие*, два друга, едем в фаэтоне и рассуждаем о нашей будущей жизни. Всякому даже приятно бы было теперь со стороны послушать и посмотреть на нас».

— Отчего ж нет? — продолжал он после моего утвердительного ответа, — ведь моя цель, как и всякого благоразумного человека, — быть счастливым и хорошим, сколько возможно; и с ней, ежели только она захочет этого, когда я буду совершенно независим, я с ней буду и счастливее, и лучше, чем с первой красавицей в мире.

В таких разговорах мы и не заметили, как подъезжали к Кунцеву, — не заметили и того, что небо заволокло и собирался дождик. Солнце уже стояло невысоко, направо, над старыми деревьями кунцевского сада, и половина блестящего красного круга была закрыта серой, слабо просвечивающей тучей; из другой половины брызгами вырывались раздробленные огненные лучи и поразительно ярко освещали старые деревья сада, неподвижно блестевшие своими зелеными густыми макушками еще на ясном, освещенном месте лазури неба. Блеск и свет этого края неба был резко противоположен лиловой тяжелой туче, которая залегла перед нами над молодым березником, видневшимся на горизонте.

Немного правее виднелись уже из-за кустов и дерев разноцветные крыши дачных домиков, из которых некоторые отражали на себе блестящие лучи солнца, некоторые принимали на себя унылый характер другой стороны неба. Налево внизу синел неподвижный пруд, окруженный бледно-зелеными ракитами, которые темно отражались на его матовой, как бы

выпуклой поверхности. За прудом, по полугорью, расстилалось паровое чернеющее поле, и прямая линия ярко-зеленой межи, пересекавшей его, уходила вдаль и упиралась в свинцовый грозовой горизонт. С обеих сторон мягкой дороги, по которой мерно покачивался фаэтон, резко зеленела сочная уклочившаяся рожь, уж кое-где начинавшая выбивать в трубку. В воздухе было совершенно тихо и пахло свежестью; зелень деревьев, листьев и ржи была неподвижна и необыкновенно чиста и ярка. Казалось, каждый лист, каждая травка жили своей отдельной, полной и счастливой жизнью. Около дороги я заметил черноватую тропинку, которая вилась между темно-зеленой, уже больше чем на четверть поднявшейся рожью, и эта тропинка почему-то мне чрезвычайно живо напомнила деревню и, вследствие воспоминания о деревне, по какой-то странной связи мыслей, чрезвычайно живо напомнила мне Сонечку и то, что я влюблен в нее.

Несмотря на всю дружбу мою к Дмитрию и на удовольствие, которое доставляла мне его откровенность, мне не хотелось более ничего знать о его чувствах и намерениях в отношении Любови Сергеевны, а непременно хотелось сообщить про свою любовь к Сонечке, которая мне казалась любовью гораздо высшего разбора. Но я почему-то не решился сказать ему прямо свои предположения о том, как будет хорошо, когда я, женившись на Сонечке, буду жить в деревне, как у меня будут маленькие дети, которые, ползая по полу, будут называть меня папой, и как я обрадуюсь, когда он с своей женой, Любовью Сергеевной, приедет ко мне в дорожном платье... а сказал, вместо всего этого, указывая на заходящее солнце: «Дмитрий, посмотри, какая прелесть!»

Дмитрий ничего не сказал мне, видимо, недовольный тем, что на его признание, которое, вероятно, стоило ему труда, я отвечал, обращая его внимание на природу, к которой он вообще был хладнокровен. Природа действовала на него совсем иначе, чем на меня: она действовала на него не столько красотой, сколько занимательностью; он любил ее более умом, чем чувством.

— Я очень счастлив, — сказал я ему вслед за этим, не обращая внимания на то, что он, видимо, был занят своими мыслями и совершенно равнодушен к тому, что я мог сказать ему. — Я ведь тебе говорил, помнишь, про одну барышню, в которую я был влюблен, бывши ребенком; я видел ее нын-

че, — продолжал я с увлечением, — и теперь я решительно влюблен в нее...

И я рассказал ему, несмотря на продолжавшееся на лице его выражение равнодушия, про свою любовь и про все планы о будущем супружеском счастии. И странно, что как только я рассказал подробно про всю силу своего чувства, так в то же мгновение я почувствовал, как чувство это стало уменьшаться.

Дождик захватил нас, когда уже мы повернули в березовую аллею, ведущую к даче. Но он не замочил нас. Я знал, что шел дождик, только потому, что несколько капель упало мне на нос и на руку и что что-то зашлепало по молодым клейким листьям берез, которые, неподвижно повесив свои кудрявые ветви, казалось, с наслаждением, выражающимся тем сильным запахом, которым они наполняли аллею, принимали на себя эти чистые, прозрачные капли. Мы вышли из коляски, чтоб поскорее до дома пробежать садом. Но у самого входа в дом столкнулись с четырьмя дамами, из которых две с работами, одна с книгой, а другая с собачкой скорыми шагами шли с другой стороны. Дмитрий тут же представил меня своей матери, сестре, тетке и Любовь Сергеевне. На секунду они остановились, но дождик начинал накрапывать чаще и чаще.

— Пойдемте на галерею, там ты его еще раз представишь, — сказала та, которую я принял за мать Дмитрия, и мы вместе с дамами взошли на лестницу.

НЕХЛЮДОВЫ

В первую минуту из всего этого общества более всех поразила меня Любовь Сергеевна, которая, держа на руках болонку, сзади всех, в толстых вязаных башмаках, всходила на лестницу и раза два, остановившись, внимательно оглянулась на меня и тотчас после этого поцеловала свою собачку. Она была очень нехороша собой: рыжа, худа, невелика ростом, немного кривобока. Что еще более делало некрасивым ее некрасивое лицо, была странная прическа с пробором сбоку (одна из тех причесок, которые придумывают для себя плешивые женщины). Как я ни старался в угодность своему другу, я не мог в ней найти ни одной красивой черты. Даже карие глаза ее, хотя и выражавшие добродушие, были слишком малы и тусклы и решительно нехороши; даже руки, эта характери-

стическая черта, хотя и небольшие и недурной формы, были красны и шершавы.

Когда я вслед за ними вошел на террасу — исключая Вареньки, сестры Дмитрия, которая только внимательно посмотрела на меня своими большими темно-серыми глазами, — каждая из дам сказала мне несколько слов, прежде чем они снова взяли каждая свою работу, а Варенька вслух начала читать книгу, которую она держала у себя на коленях, заложив пальцем.

Княгиня Марья Ивановна была высокая, стройная женщина лет сорока. Ей можно бы было дать больше, судя по буклям полуседых волос, откровенно выставленным из-под чепца, но по свежему, чрезвычайно нежному, почти без морщин лицу, в особенности же по живому, веселому блеску больших глаз ей казалось гораздо меньше. Глаза у нее были карие, очень открытые; губы слишком тонкие, немного строгие; нос довольно правильный и немного на левую сторону; рука у нее была без колец, большая, почти мужская, с прекрасными продолговатыми пальцами. На ней было темно-синее закрытое платье, крепко стягивающее ее стройную и еще молодую талию, которой она, видимо, щеголяла. Она сидела чрезвычайно прямо и шила какое-то платье. Когда я вошел на галерею, она взяла мою руку, притянула меня к себе, как будто с желанием рассмотреть меня поближе, и сказала, взглянув на меня тем же несколько холодным, открытым взглядом, который был у ее сына, что она меня давно знает по рассказам Дмитрия и что для того, чтобы ознакомиться хорошенько с ними, она приглашает меня пробыть у них целые сутки.

— Делайте все, что вам вздумается, нисколько не стесняясь нами, так же как и мы не будем стесняться вами, — гуляйте, читайте, слушайте или спите, ежели вам это веселее, — прибавила она.

Софья Ивановна была старая девушка и младшая сестра княгини, но на вид она казалась старше. Она имела тот особенный переполненный характер сложения, который только встречается у невысоких ростом, очень полных старых дев, носящих корсеты. Как будто все здоровье ее ей подступило кверху с такой силой, что всякую минуту угрожало задушить ее. Ее коротенькие толстые ручки не могли соединяться ниже выгнутого мыска лифа, и самый туго-натуго натянутый мысок лифа она уже не могла видеть.

Несмотря на то, что княгиня Марья Ивановна была черноволоса и черноглаза, а Софья Ивановна белокура и с большими живыми и вместе с тем (что большая редкость) спокойными голубыми глазами, между сестрами было большое семейное сходство; то же выражение, тот же нос, те же губы; только у Софьи Ивановны и нос, и губы были потолще немного и на правую сторону, когда она улыбалась, тогда как у княгини они были на левую. Софья Ивановна, судя по одежде и прическе, еще, видимо, молодилась и не выставила бы седых буклей, ежели бы они у нее были. Ее взгляд и обращение со мною показались мне в первую минуту очень гордыми и смутили меня; тогда как с княгиней, напротив, я чувствовал себя совершенно развязным. Может быть, эта толщина и некоторое сходство с портретом Екатерины Великой, которое поразило меня в ней, придавали ей в моих глазах гордый вид; но я совершенно оробел, когда она, пристально глядя на меня, сказала мне: «Друзья наших друзей — наши друзья». Я успокоился и вдруг совершенно переменил о ней мнение только тогда, когда она, сказав эти слова, замолчала и, открыв рот, тяжело вздохнула. Должно быть, от полноты у нее была привычка после нескольких сказанных слов глубоко вздыхать, открывая немного рот и несколько закатывая свои большие голубые глаза. В этой привычке почему-то выражалось такое милое добродушие, что вслед за этим вздохом я потерял к ней страх, и она даже мне очень понравилась. Глаза ее были прелестны, голос звучен и приятен, даже эти очень круглые линии сложения в ту пору моей юности казались мне не лишенными красоты.

Любовь Сергеевна, как друг моего друга (я полагал), должна была сейчас же сказать мне что-нибудь очень дружеское и задушевное, и она даже смотрела на меня довольно долго молча, как будто в нерешимости — не будет ли уж слишком дружески то, что она намерена сказать мне; но она прервала это молчание только для того, чтобы спросить меня, в каком я факультете. Потом снова она довольно долго пристально смотрела на меня, видимо колеблясь: сказать или не сказать это задушевное дружеское слово; и я, заметив это сомнение, выражением лица умолял ее сказать мне все, но она сказала: «Нынче, говорят, в университете уже мало занимаются науками», — и подозвала свою собачку Сюзетку.

Любовь Сергеевна весь этот вечер говорила такими большею частию не идущими ни к делу, ни друг к другу изрече-

ниями; но я так верил Дмитрию, и он так заботливо весь этот вечер смотрел то на меня, то на нее с выражением, спрашивавшим: «ну, что?» — что я, как это часто случается, хотя в душе был уже убежден, что в Любовь Сергеевне ничего особенного нет, еще чрезвычайно далек был от того, чтобы высказать эту мысль даже самому себе.

Наконец последнее лицо этого семейства, Варенька, была очень полная девушка лет шестнадцати.

Только темно-серые большие глаза, выражением, соединявшим веселость и спокойную внимательность, чрезвычайно похожие на глаза тетки, очень большая русая коса и чрезвычайно нежная и красивая рука — были хороши в ней.

— Вам, я думаю, скучно, monsieur Nicolas, слушать из середины, — сказала мне Софья Ивановна с своим добродушным вздохом, переворачивая куски платья, которое она шила.

Чтение в это время прекратилось, потому что Дмитрий куда-то вышел из комнаты.

— Или, может быть, вы уже читали «Роброя»[1]?

В то время я считал своею обязанностию, вследствие уже одного того, что носил студенческий мундир, с людьми мало мне знакомыми на каждый даже самый простой вопрос отвечать непременно очень *умно и оригинально* и считал величайшим стыдом короткие и ясные ответы, как: да, нет, скучно, весело и тому подобное. Взглянув на свои новые модные панталоны и блестящие пуговицы сюртука, я отвечал, что не читал «Роброя», но что мне было очень интересно слушать, потому что я больше люблю читать книги из средины, чем с начала.

— Вдвое интересней: догадываешься о том, что было и что будет, — добавил я, самодовольно улыбаясь.

Княгиня засмеялась, как будто бы неестественным смехом (впоследствии я заметил, что у ней не было другого смеха).

— Однако это, должно быть, правда, — сказала она. — А что, вы долго здесь пробудете, Nicolas? Вы не обидитесь, что я вас зову без monsieur? Когда вы едете?

— Не знаю, может быть, завтра, а может быть, пробудем еще довольно долго, — отвечал я почему-то, несмотря на то, что мы наверное должны были ехать завтра.

— Я бы желала, чтоб вы остались, и для вас, и для моего Дмитрия, — заметила княгиня, глядя куда-то далеко, — в ваши года дружба славная вещь.

---

[1] *«Роб Рой»* — роман Вальтера Скотта.

Я чувствовал, что все смотрели на меня и ожидали того, что я скажу, хотя Варенька и притворялась, что смотрит работу тетки; я чувствовал, что мне делают в некотором роде экзамен и что надо показаться как можно выгодней.

— Да, для меня, — сказал я, — дружба Дмитрия полезна, но я не могу ему быть полезен: он в тысячу раз лучше меня. (Дмитрий не мог слышать того, что я говорил, иначе я бы боялся, что он почувствует неискренность моих слов.)

Княгиня засмеялась снова неестественным, ей естественным, смехом.

— Ну, а послушать его, — сказала она, — так c'est vous qui êtes un petit monstre de perfection[1].

«Monstre de perfection — это отлично, надо запомнить», — подумал я.

— Но, впрочем, не говоря об вас, он на это мастер, — продолжала она, понизив голос (что мне было особенно приятно) и указывая глазами на Любовь Сергеевну: — он открыл в бедной тетеньке (так называлась у них Любовь Сергеевна), которую я двадцать лет знаю с ее Сюзеткой, такие совершенства, каких я и не подозревала... Варя, вели мне дать стакан воды, — прибавила она, снова взглянув вдаль, должно быть найдя, что было еще рано или вовсе не нужно посвящать меня в семейные отношения. — Или нет, лучше он сходит. Он ничего не делает, а ты читай. Идите, мой друг, прямо в дверь и, пройдя пятнадцать шагов, остановитесь и скажите громким голосом: «Петр, подай Марье Ивановне стакан воды со льдом», — сказала она мне и снова слегка засмеялась своим неестественным смехом.

«Верно, она хочет про меня поговорить, — подумал я, выходя из комнаты, — верно, хочет сказать, что она заметила, что я очень и очень умный молодой человек». Я еще не успел пройти пятнадцати шагов, как толстая, запыхавшаяся Софья Ивановна, однако скорыми и легкими шагами, догнала меня.

— Merci, mon cher[2], — сказала она, — я сама иду туда, так скажу.

---

[1] Это вы — маленькое чудовище совершенства *(фр.)*.

[2] Благодарю, мой дорогой *(фр.)*.

Когда после прогулки мы вернулись домой, Варенька не хотела петь, как она это обыкновенно делала по вечерам, и я был так самонадеян, что принял это на свой счет, воображая, что причиной тому было то, что я ей сказал на мостике. Нехлюдовы не ужинали и расходились рано, а в этот день, так как у Дмитрия, по предсказанию Софьи Ивановны, точно разболелись зубы, мы ушли в его комнату еще раньше обыкновенного. Полагая, что я исполнил все, что требовали от меня мой синий воротник и пуговицы и что всем очень понравился, я находился в весьма приятном, самодовольном расположении духа; Дмитрий же, напротив, вследствие спора и зубной боли, был молчалив и мрачен. Он сел к столу, достал свои тетради — дневник и тетрадь, в которой он имел обыкновение каждый вечер записывать свои будущие и прошедшие занятия, и, беспрестанно морщась и дотрагиваясь рукой до щеки, довольно долго писал в них.

— Ах, оставьте меня в покое, — закричал он на горничную, которая от Софьи Ивановны пришла спросить его: как его зубы? и не хочет ли он сделать себе припарку? Вслед за тем, сказав, что постель мне сейчас постелют и что он сейчас вернется, он пошел к Любовь Сергеевне.

«Как жалко, что Варенька не хорошенькая и вообще не Сонечка, — мечтал я, оставшись один в комнате: — как бы хорошо было, выйдя из университета, приехать к ним и предложить ей руку. Я бы сказал: «Княжна, я уже не молод — не могу любить страстно, но буду постоянно любить вас, как милую сестру». «Вас я уже уважаю, — я сказал бы матери, — а вас, Софья Ивановна, поверьте, что очень и очень ценю. Так скажите просто и прямо: хотите ли вы быть моей женой?» — «Да». — И она подаст мне руку, я пожму ее и скажу: «Любовь моя не на словах, а на деле». Ну, а что, — пришло мне в голову, — ежели бы вдруг Дмитрий влюбился в Любочку, — ведь Любочка влюблена в него, — и захотел бы жениться на ней? Тогда кому-нибудь из нас ведь нельзя бы было жениться. И это было бы отлично. Тогда бы я вот что сделал. Я бы сейчас заметил это, ничего бы не сказал, пришел бы к Дмитрию и сказал бы: «Напрасно, мой друг, мы стали бы скрываться друг от друга, ты знаешь, что любовь к твоей сестре кончится только с моею жизнию; но я все знаю, ты лишил меня лучшей надежды, ты сделал меня несчастным;

но знаешь, как Николай Иртеньев отплачивает за несчастие всей своей жизни? — Вот тебе моя сестра», — и подал бы ему руку Любочки. Он бы сказал: «Нет, ни за что!..», а я сказал бы: «Князь Нехлюдов! Напрасно вы хотите быть великодушнее Николая Иртеньева. Нет в мире человека великодушнее его». Поклонился бы и вышел. Дмитрий и Любочка в слезах выбежали бы за мною и умоляли бы, чтобы я принял их жертву. И я бы мог согласиться и мог бы быть очень, очень счастлив, ежели бы только я был влюблен в Вареньку...» Мечты эти были так приятны, что мне очень хотелось сообщить их моему другу, но, несмотря на наш обет взаимной откровенности, я чувствовал почему-то, что нет физической возможности сказать этого.

Дмитрий вернулся от Любовь Сергеевны с каплями на зубу, которые она дала ему, еще более страдающий и, вследствие этого, еще более мрачный. Постель мне была еще не постлана, и мальчик, слуга Дмитрия, пришел спросить его, где я буду спать.

— Убирайся к черту! — крикнул Дмитрий, топнув ногой. — Васька! Васька! Васька! — закричал он, только что мальчик вышел, с каждым разом возвышая голос. — Васька! стели мне на полу.

— Нет, лучше я лягу на полу, — сказал я.

— Ну, все равно, стели где-нибудь, — тем же сердитым тоном продолжал Дмитрий. — Васька! что ж ты не стелешь?

Но Васька, видимо, не понимал, чего от него требовали, и стоял не двигаясь.

— Ну, что ж ты? стели, стели! Васька! Васька! — закричал Дмитрий, входя вдруг в какое-то бешенство.

Но Васька, все еще не понимая и оробев, не шевелился.

— Так ты поклялся меня погуб... взбесить?

И Дмитрий, вскочив со стула и подбежав к мальчику, из всех сил несколько раз ударил по голове кулаком Ваську, который стремглав убежал из комнаты. Остановившись у двери, Дмитрий оглянулся на меня, и выражение бешенства и жестокости, которое за секунду было на его лице, заменилось таким кротким, пристыженным и любящим детским выражением, что мне стало жалко его, и, как ни хотелось отвернуться, я не решился этого сделать. Он ничего не сказал мне, но долго молча ходил по комнате, изредка поглядывая на меня с тем же просящим прощения выражением, потом достал из стола

тетрадь, записал что-то в нее, снял сюртук, тщательно сложил его, подошел к углу, где висел образ, сложил на груди свои большие белые руки и стал молиться. Он молился так долго, что Васька успел принести тюфяк и постлать на полу, что я ему объяснил шепотом. Я разделся и лег на постланную на полу постель, а Дмитрий еще все продолжал молиться. Глядя на немного сутуловатую спину Дмитрия и его подошвы, которые как-то покорно выставлялись передо мной, когда он клал земные поклоны, я еще сильнее любил Дмитрия, чем прежде, и думал все о том: «Сказать или не сказать ему то, что я мечтал об наших сестрах?» Окончив молитву, Дмитрий лег ко мне на постель и, облокотясь на руку, долго, молча, ласковым и пристыженным взглядом смотрел на меня. Ему, видимо, было тяжело это, но он как будто наказывал себя. Я улыбнулся, глядя на него. Он улыбнулся тоже.

— А отчего ж ты мне не скажешь, — сказал он, — что я гадко поступил? ведь ты об этом сейчас думал?

— Да, — отвечал я, хотя и думал о другом, но мне показалось, что действительно я об этом думал, — да, это очень нехорошо, я даже и не ожидал от тебя этого, — сказал я, чувствуя в эту минуту особенное удовольствие в том, что я говорил ему *ты*. — Ну, что зубы твои? — прибавил я.

— Прошли. Ах, Николенька, мой друг! — заговорил Дмитрий так ласково, что слезы, казалось, стояли в его блестящих глазах, — я знаю и чувствую, как я дурен, и Бог видит, как я желаю и прошу его, чтоб он сделал меня лучше; но что ж мне делать, ежели у меня такой несчастный, отвратительный характер? что же мне делать? Я стараюсь удерживаться, исправляться, но ведь это невозможно вдруг и невозможно одному. Надо, чтобы кто-нибудь поддерживал, помогал мне. Вот Любовь Сергеевна — она понимает меня и много помогла мне в этом. Я знаю по своим запискам, что я в продолжение года уж много исправился. Ах, Николенька, душа моя! — продолжал он с особенной, непривычной нежностью и уж более спокойным тоном после этого признания, — как это много значит влияние такой женщины, как она! Боже мой, как может быть хорошо, когда я буду самостоятелен с таким другом, как она! Я с ней совершенно другой человек.

И вслед за этим Дмитрий начал развивать мне свои планы женитьбы, деревенской жизни и постоянной работы над самим собою.

— Я буду жить в деревне, ты приедешь ко мне, может быть, и ты будешь женат на Сонечке, — говорил он, — дети наши будут играть. Ведь все это кажется смешно и глупо, а может ведь случиться.

— Еще бы! и очень может, — сказал я, улыбаясь и думая в это время о том, что было бы еще лучше, ежели бы я женился на его сестре.

— Знаешь, что я тебе скажу? — сказал он мне, помолчав немного: — ведь ты только воображаешь, что ты влюблен в Сонечку, а, как я вижу, — это пустяки, и ты еще не знаешь, что такое настоящее чувство.

Я не возражал, потому что почти соглашался с ним. Мы помолчали немного.

— Ты заметил, верно, что я нынче опять был в гадком духе и нехорошо спорил с Варей. Мне потом ужасно неприятно было, особенно потому, что это было при тебе. Хоть она о многом думает не так, как следует, но она славная девочка, очень хорошая, вот ты ее покороче узнаешь.

Его переход в разговоре от того, что я не влюблен, к похвалам своей сестре чрезвычайно обрадовал меня и заставил покраснеть, но я все-таки ничего не сказал ему о его сестре, и мы продолжали говорить о другом.

Так мы проболтали до вторых петухов, и бледная заря уже глядела в окно, когда Дмитрий перешел на свою постель и потушил свечку.

— Ну, теперь спать, — сказал он.

— Да, — отвечал я, — только одно слово.

— Ну.

— Отлично жить на свете! — сказал я.

— Отлично жить на свете, — отвечал он таким голосом, что я в темноте, казалось, видел выражение его веселых, ласкающихся глаз и детской улыбки.

COMME IL FAUT

Уже несколько раз в продолжение этого рассказа я намекал на понятие, соответствующее этому французскому заглавию, и теперь чувствую необходимость посвятить целую главу этому понятию, которое в моей жизни было одним из самых пагубных, ложных понятий, привитых мне воспитанием и обществом.

Род человеческий можно разделять на множество отделов — на богатых и бедных, на добрых и злых, на военных и статских, на умных и глупых, и т. д., и т. д., но у каждого человека есть непременно свое любимое главное подразделение, под которое он бессознательно подводит каждое новое лицо. Мое любимое и главное подразделение людей в то время, о котором я пишу, было на людей comme il faut и на comme il ne faut pas[1]. Второй род подразделялся еще на людей собственно не comme il faut и простой народ. Людей comme il faut я уважал и считал достойными иметь со мной равные отношения; вторых — притворялся, что презираю, но в сущности ненавидел их, питая к ним какое-то оскорбленное чувство личности; третьи для меня не существовали — я их презирал совершенно. Мое comme il faut состояло, первое и главное, в отличном французском языке и особенно в выговоре. Человек, дурно выговаривавший по-французски, тотчас же возбуждал во мне чувство ненависти. «Для чего же ты хочешь говорить, как мы, когда не умеешь?» — с ядовитой насмешкой спрашивал я его мысленно. Второе условие comme il faut были ногти — длинные, отчищенные и чистые; третье было уменье кланяться, танцевать и разговаривать; четвертое, и очень важное, было равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой изящной, презрительной скуки. Кроме того, у меня были общие признаки, по которым я, не говоря с человеком, решал, к какому разряду он принадлежит. Главным из этих признаков, кроме убранства комнаты, печатки, почерка, экипажа, были ноги. Отношение сапог к панталонам тотчас решало в моих глазах положение человека. Сапоги без каблука с угловатым носком и концы панталон узкие, без штрипок, — это был *простой*; сапог с узким круглым носком и каблуком и панталоны узкие внизу, со штрипками, облегающие ногу, или широкие, со штрипками, как балдахин стоящие над носком, — это был человек mauvais genre[2], и т. п.

Странно то, что ко мне, который имел положительную неспособность к comme il faut, до такой степени привилось это понятие. А может быть, именно оно так сильно вросло в меня оттого, что мне стоило огромного труда, чтобы приобрести это comme il faut. Страшно вспомнить, сколько бесценного, лучшего в жизни шестнадцатилетнего времени я потратил на при-

[1] На порядочных и непорядочных *(фр.)*.

[2] Дурного тона *(фр.)*.

обретение этого качества. Всем, кому я подражал, — Володе, Дубкову и большей части моих знакомых, — все это, казалось, доставалось легко. Я с завистью смотрел на них и втихомолку работал над французским языком, над наукой кланяться, не глядя на того, кому кланяешься, над разговором, танцеваньем, над вырабатываньем в себе ко всему равнодушия и скуки, над ногтями, на которых я резал себе мясо ножницами, — и все-таки чувствовал, что мне еще много оставалось труда для достижения цели. А комнату, письменный стол, экипаж — все это я никак не умел устроить так, чтоб было comme il faut, хотя усиливался, несмотря на отвращение к практическим делам, заниматься этим. У других же без всякого, казалось, труда все шло отлично, как будто не могло быть иначе. Помню раз, после усиленного и тщетного труда над ногтями, я спросил у Дубкова, у которого ногти были удивительно хороши, давно ли они у него такие и как он это сделал? Дубков мне отвечал: «С тех пор, как себя помню, никогда ничего не делал, чтобы они были такие, я не понимаю, как могут быть другие ногти у порядочного человека». Этот ответ сильно огорчил меня. Я тогда еще не знал, что одним из главных условий comme il faut была скрытность в отношении тех трудов, которыми достигается comme il faut. Comme il faut было для меня не только важной заслугой, прекрасным качеством, совершенством, которого я желал достигнуть, но это было необходимое условие жизни, без которого не могло быть ни счастия, ни славы, ничего хорошего на свете. Я не уважал бы ни знаменитого артиста, ни ученого, ни благодетеля рода человеческого, если бы он не был comme il faut. Человек comme il faut стоял выше и вне сравнения с ними; он предоставлял им писать картины, ноты, книги, делать добро, — он даже хвалил их за это: отчего же не похвалить хорошего, в ком бы оно ни было, — но он не мог становиться с ними под один уровень, он был comme il faut, а они нет, — и довольно. Мне кажется даже, что ежели бы у нас был брат, мать или отец, которые бы не были comme il faut, я бы сказал, что это несчастие, но что уж между мной и ими не может быть ничего общего. Но ни потеря золотого времени, употребленного на постоянную заботу о соблюдении всех трудных для меня условий comme il faut, исключающих всякое серьезное увлечение, ни ненависть и презрение к девяти десятым рода человеческого, ни отсутствие внимания ко всему прекрасному, совершающемуся вне кружка comme il

faut, — все это еще было не главное зло, которое мне причинило это понятие. Главное зло состояло в том убеждении, что comme il faut есть самостоятельное положение в обществе, что человеку не нужно стараться быть ни чиновником, ни каретником, ни солдатом, ни ученым, когда он comme il faut; что, достигнув этого положения, он уж исполняет свое назначение и даже становится выше большей части людей.

В известную пору молодости, после многих ошибок и увлечений, каждый человек обыкновенно становится в необходимость деятельного участия в общественной жизни, избирает какую-нибудь отрасль труда и посвящает себя ей; но с человеком comme il faut это редко случается. Я знал и знаю очень, очень много людей старых, гордых, самоуверенных, резких в суждениях, которые на вопрос, если такой задастся им на том свете: «Кто ты такой? и что там делал?» — не будут в состоянии ответить иначе как: «Je fus un homme très comme il faut»[1].

Эта участь ожидала меня.

ЮНОСТЬ

Несмотря на происходившую у меня в голове путаницу понятий, я в это лето был юн, невинен, свободен и поэтому почти счастлив.

Иногда, и довольно часто, я вставал рано. (Я спал на открытом воздухе, на террасе, и яркие косые лучи утреннего солнца будили меня.) Я живо одевался, брал под мышку полотенце и книгу французского романа и шел купаться в реке в тени березника, который был в полверсте от дома. Там я ложился в тени на траве и читал, изредка отрывая глаза от книги, чтобы взглянуть на лиловатую в тени поверхность реки, начинающую колыхаться от утреннего ветра, на поле желтеющей ржи на том берегу, на светло-красный утренний свет лучей, ниже и ниже окрашивающий белые стволы берез, которые, прячась одна за другую, уходили от меня в даль чистого леса, и наслаждался сознанием в себе точно такой же свежей, молодой силы жизни, какой везде кругом меня дышала природа. Когда на небе были утренние серые тучки и я озябал после купанья, я часто без дороги отправлялся ходить по полям и лесам, с наслаждением сквозь сапоги промачивая ноги

[1] «Я был очень благовоспитанным человеком» *(фр.)*.

по свежей росе. В это время я живо мечтал о героях последнего прочитанного романа и воображал себя то полководцем, то министром, то силачом необыкновенным, то страстным человеком и с некоторым трепетом оглядывался беспрестанно кругом, в надежде вдруг встретить где-нибудь *ее* на полянке или за деревом. Когда в таких прогулках я встречал крестьян и крестьянок на работах, несмотря на то, что *простой народ* не существовал для меня, я всегда испытывал бессознательное сильное смущение и старался, чтоб они меня не видели. Когда уже становилось жарко, но дамы наши еще не выходили к чаю, я часто ходил в огород или сад есть все те овощи и фрукты, которые поспевали. И это занятие доставляло мне одно из главных удовольствий. Заберешься, бывало, в яблочный сад, в самую середину высокой заросшей, густой малины. Над головой — яркое горячее небо, кругом — бледно-зеленая колючая зелень кустов малины, перемешанных с сорною заростью. Темно-зеленая крапива с тонкой цветущей макушкой стройно тянется вверх; разлапистый репейник с неестественно лиловыми колючими цветками грубо растет выше малины и выше головы и кое-где вместе с крапивою достает даже до развесистых бледно-зеленых ветвей старых яблонь, на которых наверху, в упор жаркому солнцу, зреют глянцевитые, как косточки, круглые, еще сырые яблоки. Внизу молодой куст малины, почти сухой, без листьев, искривившись, тянется к солнцу; зеленая игловатая трава и молодой лопух, пробившись сквозь прошлогодний лист, увлажненные росой, сочно зеленеют в вечной тени, как будто и не знают о том, как на листьях яблони ярко играет солнце.

В чаще этой всегда сыро, пахнет густой постоянной тенью, паутиной, падалью-яблоком, которое, чернея, уже валяется на прелой земле, малиной, иногда и лесным клопом, которого проглотишь нечаянно с ягодой и поскорее заешь другою. Подвигаясь вперед, спугиваешь воробьев, которые всегда живут в этой глуши, слышишь их торопливое чириканье и удары о ветки их маленьких быстрых крыльев, слышишь жужжание на одном месте жировой пчелы и где-нибудь по дорожке шаги садовника, дурачка Акима, и его вечное мурлыканье себе под нос. Думаешь себе: «Нет! ни ему, ни кому на свете не найти меня тут...», обеими руками направо и налево снимаешь с белых конических стебельков сочные ягоды и с наслаждением глотаешь одну за другою. Ноги, даже выше колен, насквозь

мокры, в голове какой-нибудь ужаснейший вздор (твердишь тысячу раз сряду мысленно и-и-и по-оо-о двад-ца-а-ать и-и-и по семь), руки и ноги сквозь промоченные панталоны обожжены крапивой, голову уже начинают печь прорывающиеся в чащу прямые лучи солнца, есть уже давно не хочется, а все сидишь в чаще, поглядываешь, послушиваешь, подумываешь и машинально обрываешь и глотаешь лучшие ягоды.

Часу в одиннадцатом я обыкновенно приходил в гостиную, большей частью после чаю, когда уже дамы сидели за занятиями. Около первого окна, с опущенной на солнце небеленой холстинной сторой, сквозь скважины которой яркое солнце кладет на все, что ни попадется, такие блестящие огненные кружки, что глазам больно смотреть на них, стоят пяльцы, по белому полотну которых тихо гуляют мухи. За пяльцами сидит Мими, беспрестанно сердито встряхивая головой и передвигаясь с места на место от солнца, которое, вдруг прорвавшись где-нибудь, проложит ей то там, то сям на лице или на руке огненную полосу. Сквозь другие три окна, с тенями рам, лежат цельные яркие четырехугольники; на некрашеном полу гостиной, на одном из них, по старой привычке, лежит Милка и, насторожив уши, вглядывается в ходящих мух по светлому четырехугольнику. Катенька вяжет или читает, сидя на диване, и нетерпеливо отмахивается своими беленькими, кажущимися прозрачными в ярком свете ручками или, сморщившись, трясет головкой, чтоб выгнать забившуюся в золотистые густые волоса бьющуюся там муху. Любочка или ходит взад и вперед по комнате, заложив за спину руки, дожидаясь того, чтоб пошли в сад, или играет на фортепьяно какую-нибудь пьесу, которой я давно знаю каждую нотку. Я сажусь где-нибудь, слушаю эту музыку или чтение и дожидаюсь того, чтобы мне можно было самому сесть за фортепьяно. После обеда я иногда удостаивал девочек ездить верхом с ними (ходить гулять пешком я считал несообразным с моими годами и положением в свете). И наши прогулки, в которых я провожу их по необыкновенным местам и оврагам, бывают очень приятны. С нами случаются иногда приключения, в которых я себя показываю молодцом, и дамы хвалят мою езду и смелость и считают меня своим покровителем. Вечером, ежели гостей никого нет, после чаю, который мы пьем в тенистой галерее, и после прогулки с папá по хозяйству я ложусь на старое свое место, в вольтеровское кресло, и,

слушая Катенькину или Любочкину музыку, читаю и вместе с тем мечтаю по-старому. Иногда, оставшись один в гостиной, когда Любочка играет какую-нибудь старинную музыку, я невольно оставляю книгу и, вглядываясь в растворенную дверь балкона в кудрявые висячие ветви высоких берез, на которых уже заходит вечерняя тень, и в чистое небо, на котором, как смотришь пристально, вдруг показывается как будто пыльное желтоватое пятнышко и снова исчезает; и, вслушиваясь в звуки музыки из залы, скрипа ворот, бабьих голосов и возвращающегося стада на деревне, я вдруг живо вспоминаю и Наталью Савишну, и maman, и Карла Иваныча, и мне на минуту становится грустно. Но душа моя так полна в это время жизнью и надеждами, что воспоминание это только крылом касается меня и летит дальше.

После ужина и иногда ночной прогулки с кем-нибудь по саду — один я боялся ходить по темным аллеям — я уходил один спать на полу на галерею, что, несмотря на миллионы ночных комаров, пожиравших меня, доставляло мне большое удовольствие. В полнолуние я часто целые ночи напролет проводил сидя на своем тюфяке, вглядываясь в свет и тени, вслушиваясь в тишину и звуки, мечтая о различных предметах, преимущественно о поэтическом, сладострастном счастии, которое мне тогда казалось высшим счастием в жизни, и тоскуя о том, что мне до сих пор дано было только воображать его. Бывало, только что все разойдутся и огни из гостиной перейдут в верхние комнаты, где слышны становятся женские голоса и стук отворяющихся и затворяющихся окон, я отправляюсь на галерею и расхаживаю по ней, жадно прислушиваясь ко всем звукам засыпающего дома. До тех пор, пока есть маленькая, беспричинная надежда хотя на неполное такое счастие, о котором я мечтаю, я еще не могу спокойно строить для себя воображаемое счастие.

При каждом звуке босых шагов, кашле, вздохе, толчке окошка, шорохе платья я вскакиваю с постели, воровски прислушиваюсь, приглядываюсь и без видимой причины прихожу в волнение. Но вот огни исчезают в верхних окнах, звуки шагов и говора заменяются храпением, караульщик по-ночному начинает стучать в доску, сад стал и мрачнее и светлее, как скоро исчезли на нем полосы красного света из окон, последний огонь из буфета переходит в переднюю, прокладывая полосу света по росистому саду, и мне видна через окно сгорб-

ленная фигура Фоки, который в кофточке, со свечой в руках, идет к своей постеле. Часто я находил большое волнующее наслаждение, крадучись по мокрой траве в черной тени дома, подходить к окну передней и, не переводя дыхания, слушать храпение мальчика, покряхтыванье Фоки, полагавшего, что никто его не слышит, и звук его старческого голоса, долго, долго читавшего молитвы. Наконец тушилась его последняя свечка, окно захлопывалось, я оставался совершенно один и, робко оглядываясь по сторонам, не видно ли где-нибудь, подле клумбы или подле моей постели, белой женщины, — рысью бежал на галерею. И вот тогда-то я ложился на свою постель, лицом к саду, и, закрывшись, сколько возможно было, от комаров и летучих мышей, смотрел в сад, слушал звуки ночи и мечтал о любви и счастии.

Тогда все получало для меня другой смысл: и вид старых берез, блестевших с одной стороны на лунном небе своими кудрявыми ветвями, с другой — мрачно застилавших кусты и дорогу своими черными тенями, и спокойный, пышный, равномерно, как звук, возраставший блеск пруда, и лунный блеск капель росы на цветах перед галереей, тоже кладущих поперек серой рабатки[1] свои грациозные тени, и звук перепела за прудом, и голос человека с большой дороги, и тихий, чуть слышный скрип двух старых берез друг о друга, и жужжание комара над ухом под одеялом, и падение зацепившегося за ветку яблока на сухие листья, и прыжки лягушек, которые иногда добирались до ступеней террасы и как-то таинственно блестели на месяце своими зеленоватыми спинками, — все это получало для меня странный смысл — смысл слишком большой красоты и какого-то недоконченного счастия. И вот являлась *она*, с длинной черной косой, высокой грудью, всегда печальная и прекрасная, с обнаженными руками, с сладострастными объятиями. *Она* любила меня, я жертвовал для одной минуты ее любви всей жизнью. Но луна все выше, выше, светлее и светлее стояла на небе, пышный блеск пруда, равномерно усиливающийся, как звук, становился яснее и яснее, тени становились чернее и чернее, свет прозрачнее и прозрачнее, и, вглядываясь и вслушиваясь во все это, что-то говорило мне, что и *она*, с обнаженными руками и пылкими объятиями, еще далеко, далеко не все счастие, что и любовь к ней далеко, далеко еще не все благо; и чем больше я смот-

[1] *Рабáтка* — грядка с цветами.

рел на высокий, полный месяц, тем истинная красота и благо казались мне выше и выше, чище и чище, и ближе и ближе к Нему, к источнику всего прекрасного и благого, и слезы какой-то неудовлетворенной, но волнующей радости навертывались мне на глаза.

И все я был один, и все мне казалось, что таинственно величавая природа, притягивающий к себе светлый круг месяца, остановившийся зачем-то на одном высоком неопределенном месте бледно-голубого неба и вместе стоящий везде и как будто наполняющий собой все необъятное пространство, и я, ничтожный червяк, уже осквернённый всеми мелкими, бедными людскими страстями, но со всей необъятной могучей силой воображения и любви, — мне все казалось в эти минуты, что как будто природа и луна, и я, мы были одно и то же.

КУТЕЖ

Несмотря на то, что под влиянием Дмитрия я еще не предавался обыкновенным студенческим удовольствиям, называемым *кутежами*, мне случилось уже в эту зиму раз участвовать в таком увеселении, и я вынес из него не совсем приятное чувство. Вот как это было. В начале года, раз на лекции барон З., высокий белокурый молодой человек, с весьма серьезным выражением правильного лица, пригласил всех нас к себе на товарищеский вечер. Всех нас — значит всех товарищей более или менее comme il faut нашего курса, в числе которых, разумеется, не были ни Грап, ни Семенов, ни Оперов, ни все эти плохонькие господа. Володя презрительно улыбнулся, узнав, что я еду на кутеж первокурсников; но я ожидал необыкновенного и большого удовольствия от этого еще совершенно неизвестного мне препровождения времени и пунктуально в назначенное время, в восемь часов, был у барона З.

Барон З., в расстегнутом сюртуке и белом жилете, принимал гостей в освещенной зале и гостиной небольшого домика, в котором жили его родители, уступившие ему на вечер этого торжества парадные комнаты. В коридоре виднелись платья и головы любопытных горничных, и в буфете мелькнуло раз платье дамы, которую я принял за самую баронессу. Гостей было человек двадцать, и все были студенты, исключая г. Фроста, приехавшего вместе с Ивиным, и одного румяного высокого штатского господина, распоряжавшегося пиршест-

вом, и которого со всеми знакомили как родственника барона и бывшего студента Дерптского университета. Слишком яркое освещение и обыкновенное казенное убранство парадных комнат сначала действовали так охладительно на все это молодое общество, что все невольно держались по стенкам, исключая некоторых смельчаков и дерптского студента, который, уже расстегнув жилет, казалось, находился в одно и то же время в каждой комнате и в каждом угле каждой комнаты и наполнял, казалось, всю комнату своим звучным, приятным, неумолкающим тенором. Товарищи же больше молчали или скромно разговаривали о профессорах, науках, экзаменах, вообще серьезных и неинтересных предметах. Все без исключения поглядывали на дверь буфета и, хотя старались скрывать это, имели выражение, говорившее: «Что ж, пора бы и начинать». Я тоже чувствовал, что пора бы начинать, и ожидал начала с нетерпеливою радостью.

После чая, которым лакеи обнесли гостей, дерптский студент спросил у Фроста по-русски:

— Умеешь делать жженку, Фрост?

— O ja![1] — отвечал Фрост, потрясая икрами, но дерптский студент снова по-русски сказал ему:

— Так ты возьмись за это дело (они были на «ты», как товарищи по Дерптскому университету), — и Фрост, делая большие шаги своими выгнутыми мускулистыми ногами, стал переходить из гостиной в буфет, из буфета в гостиную, и скоро на столе оказалась большая суповая чаша с стоящей на ней десятифунтовой головкой сахару посредством трех перекрещенных студенческих шпаг. Барон З. в это время беспрестанно подходил ко всем гостям, которые собрались в гостиной, глядя на суповую чашу, и с неизменно серьезным лицом говорил всем почти одно и то же: «Давайте, господа, выпьемте все по-студенчески круговую, брудершафт, а то у нас совсем нет товарищества в нашем курсе. Да расстегнитесь же или совсем снимите, вот как он». Действительно, дерптский студент, сняв сюртук и засучив белые рукава рубашки выше белых локтей и решительно расставив ноги, уже поджигал ром в суповой чаше.

— Господа! тушите свечи, — закричал вдруг дерптский студент так приемисто и громко, как только можно было крикнуть тогда, когда бы мы все кричали. Мы же все безмолвно смотре-

[1] О да! *(нем.)*.

ли на суповую чашу и белую рубашку дерптского студента и все чувствовали, что наступила торжественная минута.

— Löschen Sie die Lichter aus, Frost![1] — снова прокричал дерптский студент уже по-немецки, должно быть, слишком разгорячившись. Фрост и мы все принялись тушить свечи. В комнате стало темно, одни белые рукава и руки, поддерживавшие голову сахару на шпагах, освещались голубоватым пламенем. Громкий тенор дерптского студента уже не был одиноким, потому что во всех углах комнаты заговорило и засмеялось. Многие сняли сюртуки (особенно те, у которых были тонкие и совершенно свежие рубашки), я сделал то же и понял, что началось. Хотя веселого еще ничего не было, я был твердо уверен, что все-таки будет отлично, когда мы все выпьем по стакану готовившегося напитка.

Напиток поспел. Дерптский студент, сильно закапав стол, разлил жженку по стаканам и закричал: «Ну, теперь, господа, давайте». Когда мы каждый взяли в руку по полному липкому стакану, дерптский студент и Фрост запели немецкую песню, в которой часто повторялось восклицание *Юхе*[2]! Мы все нескладно запели за ними, стали чокаться, кричать что-то, хвалить жженку и друг с другом через руку и просто пить сладкую и крепкую жидкость. Теперь уж нечего было дожидаться, кутеж был во всем разгаре. Я выпил уже целый стакан жженки, мне налили другой, в висках у меня стучало, огонь казался багровым, кругом меня все кричало и смеялось, но все-таки не только не казалось весело, но я даже был уверен, что и мне и всем было скучно и что я и все только почему-то считали необходимым притворяться, что им очень весело. Не притворялся, может быть, только дерптский студент; он все более и более становился румяным и вездесущим, всем подливал пустые стаканы и все больше и больше заливал стол, который весь сделался сладким и липким. Не помню, как и что следовало одно за другим, но помню, что в этот вечер я ужасно любил дерптского студента и Фроста, учил наизусть немецкую песню и обоих их целовал в сладкие губы; помню тоже, что в этот вечер я ненавидел дерптского студента и хотел пустить в него стулом, но удержался; помню, что, кроме того чувства неповиновения всех членов, которое я испытал и в день обеда у Яра, у меня в этот вечер

[1] Потушите свечи, Фрост!

[2] Возглас радости *(нем.)*.

так болела и кружилась голова, что я ужасно боялся умереть сию же минуту; помню тоже, что мы зачем-то все сели на пол, махали руками, подражая движению веслами, пели «Вниз по матушке по Волге» и что я в это время думал о том, что этого вовсе не нужно было делать; помню еще, что я, лежа на полу, цепляясь нога за ногу, боролся по-цыгански, кому-то свихнул шею и подумал, что этого не случилось бы, ежели бы он не был пьян; помню еще, что ужинали и пили что-то другое, что я выходил на двор освежиться, и моей голове было холодно, и что, уезжая, я заметил, что было ужасно темно, что подножка пролетки сделалась покатая и скользкая и за Кузьму нельзя было держаться, потому что он сделался слаб и качался, как тряпка; но помню главное: что в продолжение всего этого вечера я беспрестанно чувствовал, что я очень глупо делаю, притворяясь, будто бы мне очень весело, будто бы я люблю очень много пить и будто бы я и не думал быть пьяным, и беспрестанно чувствовал, что и другие очень глупо делают, притворяясь в том же. Мне казалось, что каждому отдельно было неприятно, как и мне, но, полагая, что такое неприятное чувство испытывал он один, каждый считал себя обязанным притворяться веселым, для того чтобы не расстроить общего веселья; притом же — странно сказать — я себя считал обязанным к притворству по одному тому, что в суповую чашу влито было три бутылки шампанского по десяти рублей и десять бутылок рому по четыре рубля, что всего составляло семьдесят рублей, кроме ужина. Я так был убежден в этом, что на другой день на лекции меня чрезвычайно удивило то, что товарищи мои, бывшие на вечере барона З., не только не стыдились вспоминать о том, что они там делали, но рассказывали про вечер так, чтобы другие студенты могли слышать. Они говорили, что был отличнейший кутеж, что дерптские — молодцы на эти дела и что там было выпито на двадцать человек сорок бутылок рому, и что многие замертво остались под столами. Я не мог понять, для чего они не только рассказывали, но и лгали на себя.

ДРУЖБА С НЕХЛЮДОВЫМИ

В эту зиму я очень часто виделся не только с одним Дмитрием, который ездил нередко к нам, но и со всем его семейством, с которым я начинал сходиться.

Нехлюдовы — мать, тетка и дочь — все вечера проводили дома, и княгиня любила, чтоб по вечерам приезжала к ней молодежь, мужчины такого рода, которые, как она говорила, в состоянии провести весь вечер без карт и танцев. Но, должно быть, таких мужчин было мало, потому что я, который ездил к ним почти каждый вечер, редко встречал у них гостей. Я привык к лицам этого семейства, к различным их настроениям, сделал себе уже ясное понятие о их взаимных отношениях, привык к комнатам и мебели и, когда гостей не было, чувствовал себя совершенно свободным, исключая тех случаев, когда оставался один в комнате с Варенькой. Мне все казалось, что она, как не очень красивая девушка, очень бы желала, чтобы я влюбился в нее. Но и это смущение начинало проходить. Она так естественно показывала вид, что ей было все равно говорить со мной, с братом или с Любовью Сергеевной, что и я усвоил привычку смотреть на нее просто, как на человека, которому ничего нет постыдного и опасного выказывать удовольствие, доставляемое его обществом. Во все время моего с ней знакомства она мне казалась — днями — то очень некрасивой, то не слишком дурной девушкой, но я даже не спрашивал себя насчет ее ни разу: влюблен ли я или нет. Мне случалось разговаривать с ней прямо, но чаще я разговаривал с нею, обращая при ней речь к Любовь Сергеевне или к Дмитрию, и этот последний способ особенно мне нравился. Я находил большое удовольствие говорить при ней, слушать ее пение и вообще знать о ее присутствии в той же комнате, в которой был я; но мысль о том, какие будут впоследствии мои отношения с Варенькой, и мечты о самопожертвовании для своего друга, ежели он влюбится в мою сестру, уже редко приходили мне в голову. Ежели же мне приходили такие мечты и мысли, то я, чувствуя себя довольным настоящим, бессознательно старался отгонять мысль о будущем.

Несмотря, однако, на это сближение, я продолжал считать своею непременною обязанностью скрывать от всего общества Нехлюдовых и в особенности от Вареньки свои настоящие чувства и наклонности и старался выказывать себя совершенно другим молодым человеком от того, каким я был в действительности, и даже таким, какого не могло быть в действительности. Я старался казаться страстным, восторгался, ахал, делал страстные жесты, когда что-нибудь мне будто бы очень нравилось, вместе с тем старался казаться равнодушным ко

всякому необыкновенному случаю, который видел или про который мне рассказывали; старался казаться злым насмешником, не имеющим ничего святого, и вместе с тем тонким наблюдателем; старался казаться логическим во всех своих поступках, точным и аккуратным в жизни, и вместе с тем презирающим все материальное. Могу смело сказать, что я был гораздо лучше в действительности, чем то странное существо, которое я пытался представлять из себя; но все-таки и таким, каким я притворялся, Нехлюдовы меня полюбили и, к счастию моему, не верили, как кажется, моему притворству. Одна Любовь Сергеевна, считавшая меня величайшим эгоистом, безбожником и насмешником, как кажется, не любила меня и часто спорила со мной, сердилась и поражала меня своими отрывочными, бессвязными фразами. Но Дмитрий оставался все в тех же странных, больше чем дружеских отношениях с нею и говорил, что ее никто не понимает и что она чрезвычайно много делает ему добра. Его дружба с нею точно так же продолжала огорчать все семейство.

Раз Варенька, разговаривая со мной про эту непонятную для всех нас связь, объяснила ее так:

— Дмитрий самолюбив. Он слишком горд и, несмотря на весь свой ум, очень любит похвалу и удивление, любит быть всегда первым, а *тетенька* в невинности души находится в адмирации[1] перед ним и не имеет довольно такту, чтобы скрывать от него эту адмирацию, и выходит, что она льстит ему, только не притворно, а искренне.

Это рассуждение запомнилось мне, и потом, разбирая его, я не мог не подумать, что Варенька очень умна, и с удовольствием, вследствие этого, возвысил ее в своем мнении. Такого рода возвышения, вследствие открываемого мною в ней ума и других моральных достоинств, я производил, хотя и с удовольствием, с некоторой строгой умеренностью и никогда не доходил до восторга, крайней точки этого возвышения. Так, когда Софья Ивановна, не устававшая говорить про свою племянницу, рассказала мне, как Варенька в деревне, будучи ребенком, четыре года тому назад отдала без позволения все свои платья и башмаки крестьянским детям, так что их надо было отобрать после, я еще не сразу принял этот факт как достойный к возвышению ее в моем мнении, а еще подтрунивал мысленно над нею за такой непрактический взгляд на вещи.

---

[1] В восхищении *(фр.)*.

Когда у Нехлюдовых бывали гости и между прочими иногда Володя и Дубков, я самодовольно и с некоторым спокойным сознанием силы домашнего человека удалялся на последний план, не разговаривал и только слушал, что говорили другие. И все, что говорили другие, мне казалось до того неимоверно глупо, что я внутренно удивлялся, как такая умная, логическая женщина, как княгиня, и все ее логическое семейство могло слушать эти глупости и отвечать на них. Ежели б мне тогда пришло в голову сравнить с тем, что говорили другие, то, что я говорил сам, когда бывал один, я бы, верно, нисколько не удивлялся. Еще бы меньше я удивлялся, ежели бы я поверил, что наши домашние — Авдотья Васильевна, Любочка и Катенька — были такие же женщины, как и все, нисколько не ниже других, и вспомнил бы, что по целым вечерам говорили, весело улыбаясь, Дубков, Катенька и Авдотья Васильевна; как почти всякий раз Дубков, придравшись к чему-нибудь, читал с чувством стихи: «Au banquet de la vie, infortuné convive...»[1] или отрывки «Демона», и вообще с каким удовольствием и какой вздор они говорили в продолжение нескольких часов сряду.

Разумеется, что когда бывали гости, Варенька меньше обращала на меня внимания, чем когда мы были одни, — и тогда уже не было ни чтения, ни музыки, которую я очень любил слушать. Разговаривая с гостями, она теряла для меня главную свою прелесть — спокойной рассудительности и простоты. Помню, как ее разговоры о театре и погоде с братом моим Володей странно поразили меня. Я знал, что Володя больше всего на свете избегал и презирал банальности, Варенька тоже всегда смеялась над притворно занимательными разговорами о погоде и т. п., — почему же, сойдясь вместе, они оба постоянно говорили самые несносные пошлости, и как будто стыдясь друг за друга? Всякий раз после таких разговоров я втихомолку злился на Вареньку, на другой день подсмеивался над бывшими гостями, но находил еще больше удовольствия быть одному в семейном кружке Нехлюдовых.

Как бы то ни было, я начинал находить больше удовольствия быть с Дмитрием в гостиной его матери, чем с ним одним с глазу на глаз.

---

[1] «На жизненном пиру несчастный сотрапезник...» *(фр.)*.

ДРУЖБА С НЕХЛЮДОВЫМ

Именно в эту пору дружба моя с Дмитрием держалась только на волоске. Я уже слишком давно начал обсуживать его для того, чтобы не найти в нем недостатков; а в первой молодости мы любим только страстно и поэтому только людей совершенных. Но как скоро начинает мало-помалу уменьшаться туман страсти или сквозь него невольно начинают пробивать ясные лучи рассудка, и мы видим предмет нашей страсти в его настоящем виде с достоинствами и недостатками, — одни недостатки, как неожиданность, ярко, преувеличенно бросаются нам в глаза, чувства влечения к новизне и надежды на то, что не невозможно совершенство в другом человеке, поощряют нас не только к охлаждению, но к отвращению к прежнему предмету страсти, и мы, не жалея, бросаем его и бежим вперед, искать нового совершенства. Ежели со мною не случилось того же в отношении Дмитрия, то я обязан только его упорной, педантической, более рассудочной, чем сердечной привязанности, которой бы мне слишком совестно было изменить. Сверх того, нас связывало наше странное правило откровенности. Разойдясь, мы слишком боялись оставить во власти один другого все поверенные, постыдные для себя, моральные тайны. Впрочем, наше правило откровенности уже давно, очевидно для нас, не соблюдалось и часто стесняло нас и производило странные между нами отношения.

У Дмитрия в эту зиму я почти всякий раз, как приезжал, заставал его товарища по университету, студента Безобедова, с которым он занимался. Безобедов был маленький, рябой, худой человечек, с крошечными, покрытыми веснушками ручками и огромными нечесаными рыжими волосами, всегда оборванный, грязный, необразованный и даже плохо занимавшийся. Отношения Дмитрия с ним, так же как и с Любовью Сергеевной, были мне непонятны. Единственная причина, по которой он мог выбрать его из всех товарищей и сойтись с ним, могла быть только та, что хуже Безобедова на вид не было студента во всем университете. Но, должно быть, именно поэтому Дмитрию приятно было наперекор всем оказывать ему дружбу. Во всех его отношениях с этим студентом выражалось это гордое чувство: «Вот, мол, мне все равно, кто бы вы ни были, мне все равны, и его люблю, значит, и он хорош».

Я удивлялся, как ему не тяжело было постоянно принуждать себя и как несчастный Безобедов выдерживал свое неловкое положение. Мне очень не нравилась эта дружба.

Раз я приехал вечером к Дмитрию с тем, чтобы с ним вместе провести вечер в гостиной его матери, разговаривать и слушать пение или чтение Вареньки; но Безобедов сидел наверху. Дмитрий резким тоном ответил мне, что он не может идти вниз, потому что, как я вижу, у него гости.

— И что там веселого? — прибавил он. — Гораздо лучше здесь посидим, поболтаем. — Хотя меня вовсе не прельщала мысль просидеть часа два с Безобедовым, я не решался один пойти в гостиную и с досадой в душе на странности моего друга уселся на качающемся кресле и молча стал качаться. Мне очень досадно было на Дмитрия и на Безобедова за то, что они лишали меня удовольствия быть внизу; я ждал, скоро ли уйдет Безобедов, и злился на него и на Дмитрия, молча слушая их разговор. «Очень приятный гость! Сиди с ним!» — думал я, когда лакей принес чай и Дмитрий должен был раз пять просить Безобедова взять стакан, потому что робкий гость при первом и втором стакане считал своей обязанностью отказываться и говорить: «Кушайте сами». Дмитрий, видимо принуждая себя, занимал гостя разговором, в который тщетно несколько раз хотел втянуть меня. Я мрачно молчал.

«Нечего делать такое лицо, что никто не смей подозревать, что я скучаю», — мысленно обращался я к Дмитрию, молча, равномерно раскачиваясь на кресле. Я все больше и больше, с некоторым удовольствием, разжигал в себе чувство тихой ненависти к своему другу. «Вот дурак, — думал я про него: — мог бы провести приятно вечер с милыми родными, — нет, сидит с этим скотом; а теперь время проходит, будет уже поздно идти в гостиную», — и я взглядывал из-за края кресла на своего друга. И рука его, и поза, и шея, и в особенности затылок и коленки казались мне до того противны и оскорбительны, что я бы с наслаждением в эту минуту сделал ему какую-нибудь, даже большую, неприятность.

Наконец Безобедов встал, но Дмитрий не мог сразу отпустить такого приятного гостя; он ему предложил ночевать, на что, к счастию, Безобедов не согласился и вышел.

Проводив его, Дмитрий вернулся и, слегка самодовольно улыбаясь и потирая руки, — должно быть, и тому, что он-таки выдержал характер, и тому, что избавился, наконец, от ску-

ки, — стал ходить по комнате, изредка взглядывая на меня. Он был мне еще противнее. «Как он смеет ходить и улыбаться?» — думал я.

— Зачем ты злишься? — сказал он вдруг, останавливаясь против меня.

— Я совсем не злюсь, — отвечал я, как всегда отвечают в подобных случаях, — а только мне досадно, что ты притворяешься и передо мной, и перед Безобедовым, и перед самим собою.

— Какой вздор! Я никогда ни перед кем не притворяюсь.

— Я не забываю нашего правила откровенности, я тебе говорю прямо. Как я уверен, — сказал я, — тебе несносен этот Безобедов так же, как и мне, потому что он глуп и Бог знает что такое, но тебе приятно важничать перед ним.

— Нет! И во-первых, Безобедов прекрасный человек...

— А я говорю: да; я скажу тебе даже, что и твоя дружба к Любовь Сергеевне основана тоже на том, что она считает тебя богом.

— Да я тебе говорю, что нет.

— А я говорю, что да, потому что я знаю это по себе, — отвечал я с жаром сдержанной досады и своею откровенностью желая обезоружить его. — Я тебе говорил и повторяю, что мне всегда кажется, что я люблю тех людей, которые мне говорят приятное, а как разберу хорошенько, то вижу, что настоящей привязанности нет.

— Нет, — продолжал Дмитрий, сердитым движением шеи поправляя галстук, — когда я люблю, то ни похвалы, ни брань не могут изменить моего чувства.

— Неправда; ведь я тебе признавался, что когда папа́ меня назвал дрянью, я несколько времени ненавидел его и желал его смерти; так же и ты...

— Говори за себя. Очень жалко, коли ты такой...

— Напротив, — вскричал я, вскакивая с кресел и с отчаянной храбростью глядя ему в глаза, — это не хорошо, что ты говоришь; разве ты мне не говорил про брата, — я тебе про это не поминаю, потому что это бы было нечестно, — разве ты мне не говорил... а я тебе скажу, как я тебя теперь понимаю...

И я, стараясь уколоть его еще больнее, чем он меня, стал доказывать ему, что он никого не любит, и высказывать ему все то, в чем, мне казалось, я имел право упрекнуть его.

Я был очень доволен тем, что высказал ему все, совершенно забывая то, что единственно возможная цель этого высказывания, состоящая в том, чтоб он признался в недостатках, которые я обличал в нем, не могла быть достигнута в настоящую минуту, когда он был разгорячен. В спокойном же состоянии, когда он мог сознаться, я никогда не говорил ему этого.

Спор уже переходил в ссору, когда вдруг Дмитрий замолчал и ушел от меня в другую комнату. Я пошел было за ним, продолжая говорить, но он не отвечал мне. Я знал, что в графе его пороков была вспыльчивость, и он теперь преодолевал себя. Я проклинал все его расписания.

Так вот к чему повело нас наше правило *говорить друг другу все, что мы чувствовали, и никогда третьему ничего не говорить друг о друге*. Мы доходили иногда в увлечении откровенностью до самых бесстыдных признаний, выдавая, к своему стыду, предположение, мечту за желание и чувство, как, например, то, что я сейчас сказал ему; и эти признания не только не стягивали больше связь, соединявшую нас, но сушили самое чувство и разъединяли нас; а теперь вдруг самолюбие не допустило его сделать самое пустое признанье, и мы в жару спора воспользовались теми оружиями, которые прежде сами дали друг другу и которые поражали ужасно больно.

НОВЫЕ ТОВАРИЩИ

Зима прошла незаметно, и уже опять начинало таять, и в университете уже было прибито расписание экзаменов, когда я вдруг вспомнил, что надо было отвечать из восемнадцати предметов, которые я слушал и из которых я не слышал, не записывал и не приготовил ни одного. Странно, как такой ясный вопрос: как же держать экзамен? ни разу мне не представился. Но я был всю зиму эту в таком тумане, происходившем от наслаждения тем, что я большой и что я comme il faut, что когда мне и приходило в голову: как же держать экзамен? — я сравнивал себя с своими товарищами и думал: «Они же будут держать, а бóльшая часть их еще не comme il faut, стало быть, у меня еще лишнее перед ними преимущество, и я должен выдержать». Я приходил на лекции только потому, что уж так привык и что папá усылал меня из дома. Притом же знакомых у меня было много, и мне было часто весело в университете. Я любил этот шум, говор, хохотню по

аудиториям; любил во время лекции, сидя на задней лавке, при равномерном звуке голоса профессора мечтать о чем-нибудь и наблюдать товарищей; любил иногда с кем-нибудь сбегать к Матерну выпить водки и закусить и, зная, что за это могут распечь, после профессора, робко скрипнув дверью, войти в аудиторию; любил участвовать в проделке, когда курс на курс с хохотом толпился в коридоре. Все это было очень весело.

Когда уже все начали ходить аккуратнее на лекции, профессор физики кончил свой курс и простился до экзаменов, студенты стали собирать тетрадки и партиями готовиться, я тоже подумал, что надо готовиться. Оперов, с которым мы продолжали кланяться, но были в самых холодных отношениях, как я говорил уже, предложил мне не только тетрадки, но и пригласил готовиться по ним вместе с ним и другими студентами. Я поблагодарил его и согласился, надеясь этой честью совершенно загладить свою бывшую размолвку с ним, но просил только, чтоб непременно все собирались у меня всякий раз, так как у меня квартира хорошая.

Мне отвечали, что будут готовиться по переменкам, то у того, то у другого, и там, где ближе. В первый раз собрались у Зухина. Это была маленькая комнатка за перегородкой в большом доме на Трубном бульваре. В первый назначенный день я опоздал и пришел, когда уже читали. Маленькая комнатка была вся закурена, даже не вакштафом[1], а махоркой, которую курил Зухин. На столе стоял штоф водки, рюмка, хлеб, соль и кость баранины.

Зухин, не вставая, пригласил меня выпить водки и снять сюртук.

— Вы, я думаю, к такому угощенью не привыкли, — прибавил он.

Все были в грязных ситцевых рубашках и нагрудниках. Стараясь не выказывать своего к ним презрения, я снял сюртук и лег *по-товарищески* на диван. Зухин, изредка справляясь по тетрадкам, читал, другие останавливали его, делая вопросы, а он объяснял сжато, умно и точно. Я стал вслушиваться и, не понимая многого, потому что не знал предыдущего, сделал вопрос.

— Э, батюшка, да вам нельзя слушать, коли вы этого не знаете, — сказал Зухин, — я вам дам тетрадки, вы пройдите это к завтраму; а то что ж вам объяснять.

---

[1] *Вакштаф* — сорт табака.

Мне стало совестно за свое незнание, и вместе с тем, чувствуя всю справедливость замечания Зухина, я перестал слушать и занялся наблюдениями над этими новыми товарищами. По подразделению людей на comme il faut и не comme il faut они принадлежали, очевидно, ко второму разряду и вследствие этого возбуждали во мне не только чувство презрения, но и некоторой личной ненависти, которую я испытывал к ним за то, что, не быв comme il faut, они как будто считали меня не только равным себе, но даже добродушно покровительствовали мне. Это чувство возбуждали во мне их ноги и грязные руки с обгрызенными ногтями, и один отпущенный на пятом пальце длинный ноготь у Оперова, и розовые рубашки, и нагрудники, и ругательства, которые они ласкательно обращали друг к другу, и грязная комната, и привычка Зухина беспрестанно немножко сморкаться, прижав одну ноздрю пальцем, и в особенности их манера говорить, употреблять и интонировать некоторые слова. Например, они употребляли слова *глупец* вместо дурак, *словно* вместо точно, *великолепно* вместо прекрасно, *движучи* и т. п., что мне казалось книжно и отвратительно непорядочно. Но еще более возбуждали во мне эту комильфотную ненависть интонации, которые они делали на некоторые русские и в особенности иностранные слова: они говорили ма́шина вместо маши́на, дея́тельность вместо де́ятельность, на́рочно вместо наро́чно, в камине́ вместо в ками́не, Ше́кспир вместо Шекспи́р, и т. д., и т. д.

Несмотря, однако, на эту, в то время для меня непреодолимо отталкивающую, внешность, я, предчувствуя что-то хорошее в этих людях и завидуя тому веселому товариществу, которое соединяло их, испытывал к ним влеченье и желал сблизиться с ними, как это ни было для меня трудно. Кроткого и честного Оперова я уже знал; теперь же бойкий, необыкновенно умный Зухин, который, видимо, первенствовал в этом кружке, чрезвычайно нравился мне. Это был маленький плотный брюнет с несколько оплывшим и всегда глянцевитым, но чрезвычайно умным, живым и независимым лицом. Это выражение особенно придавали ему невысокий, но горбатый над глубокими черными глазами лоб, щетинистые короткие волоса и частая черная борода, казавшаяся всегда небритой. Он, казалось, не думал о себе (что всегда мне особенно нравилось в людях), но видно было, что никогда ум его не оставался без работы. У него было одно из тех выразительных лиц, которые несколько часов

после того, как вы их увидите в первый раз, вдруг совершенно изменяются в ваших глазах. Это случилось под конец вечера, в моих глазах, с лицом Зухина. Вдруг на его лице показались новые морщины, глаза ушли глубже, улыбка стала другая, и все лицо так изменилось, что я с трудом бы узнал его.

Когда кончили читать, Зухин, другие студенты и я, чтоб доказать свое желание быть товарищем, выпили по рюмке водки, и в штофе почти ничего не осталось. Зухин спросил, у кого есть четвертак, чтоб еще послать за водкой какую-то старую женщину, которая прислуживала ему. Я предложил было своих денег, но Зухин, как будто не слыхав меня, обратился к Оперову, и Оперов, достав бисерный кошелек, дал ему требуемую монету.

— Ты, смотри, не запей, — сказал Оперов, который сам ничего не пил.

— Небось, — отвечал Зухин, высасывая мозг из бараньей кости (я помню, в это время я думал: от этого-то он так умен, что ест много мозгу).

— Небось, — продолжал Зухин, слегка улыбаясь, а улыбка у него была такая, что вы невольно замечали ее и были ему благодарны за эту улыбку: — хоть и запью, так не беда: уж теперь, брат, посмотрим, кто кого собьет, он ли меня, или я его. Уж готово, брат, — добавил он, хвастливо щелкнув себя по лбу. — Вот Семенов не провалился бы, он что-то сильно закутил.

Действительно, тот самый Семенов с седыми волосами, который в первый экзамен меня так обрадовал тем, что на вид был хуже меня, и который, выдержав вторым вступительный экзамен, первый месяц студенчества аккуратно ходил на лекции, закутил еще до репетиций и под конец курса уже совсем не показывался в университете.

— Где он? — спросил кто-то.

— Уж и я его из виду потерял, — продолжал Зухин. — В последний раз мы с ним вместе Лиссабон[1] разбили. Великолепная штука вышла. Потом, говорят, какая-то история была... Вот голова! Что огня в этом человеке! Что ума! Жаль, коли пропадет. А пропадет наверно: не такой мальчик, чтоб с его порывами он усидел в университете.

Поговорив еще немного, все стали расходиться, условившись и на следующие дни собираться к Зухину, потому что

[1] *Лиссабо́н* — здесь: московский трактир.

его квартира была ближе ко всем прочим. Когда все вышли на двор, мне стало несколько совестно, что все шли пешком, а я один ехал на дрожках, и я, стыдясь, предложил Оперову довезти его. Зухин вышел вместе с нами и, заняв у Оперова целковый, пошел на всю ночь куда-то в гости. Дорогой Оперов рассказал мне многое про характер и образ жизни Зухина, и, приехав домой, я долго не спал, думая об этих новых, узнанных мною людях. Я долго, не засыпая, колебался, с одной стороны, между уважением к ним, к которому располагали меня их знания, простота, честность и поэзия молодости и удальства, с другой стороны — между отталкивающей меня их непорядочной внешностью. Несмотря на все желание, мне было в то время буквально невозможно сойтись с ними. Наше понимание было совершенно различно. Была бездна оттенков, составлявших для меня всю прелесть и весь смысл жизни, совершенно не понятных для них, и наоборот. Но главною причиною невозможности сближения были мое двадцатирублевое сукно на сюртуке, дрожки и голландская рубашка. Эта причина была в особенности важна для меня: мне казалось, что я невольно оскорбляю их признаками своего благосостояния. Я чувствовал себя перед ними виноватым и, то смиряясь, то возмущаясь против своего незаслуженного смирения и переходя к самонадеянности, никак не мог войти с ними в ровные, искренние отношения. Грубая же, порочная сторона в характере Зухина до такой степени заглушалась в то время для меня той сильной поэзией удальства, которую я предчувствовал в нем, что она нисколько не неприятно действовала на меня.

Недели две почти каждый день я ходил по вечерам заниматься к Зухину. Занимался я очень мало, потому что, как говорил уже, отстал от товарищей и, не имея сил один заняться, чтоб догнать их, только притворялся, что слушаю и понимаю то, что они читают. Мне кажется, что и товарищи догадывались о моем притворстве, и часто я замечал, что они пропускали места, которые сами знали, и никогда не спрашивали меня.

С каждым днем я больше и больше извинял непорядочность этого кружка, втягиваясь в их быт и находя в нем много поэтического. Только одно честное слово, данное мною Дмитрию, не ездить никуда кутить с ними, удержало меня от желания разделять их удовольствия.

Раз я хотел похвастаться перед ними своими знаниями в литературе, в особенности французской, и завел разговор на эту тему. К удивлению моему, оказалось, что хотя они выговаривали иностранные заглавия по-русски, они читали гораздо больше меня, знали, ценили английских и даже испанских писателей, Лесажа[1], про которых я тогда и не слыхивал. Пушкин и Жуковский были для них литература (а не так, как для меня, книжки в желтом переплете, которые я читал и учил ребенком). Они презирали равно Дюма, Сю[2] и Феваля[3] и судили, в особенности Зухин, гораздо лучше и яснее о литературе, чем я, в чем я не мог не сознаться. В знании музыки я тоже не имел перед ними никакого преимущества. Еще к большему удивлению моему, Оперов играл на скрипке, другой из занимавшихся с нами студентов играл на виолончели и фортепьяно, и оба играли в университетском оркестре, порядочно знали музыку и ценили хорошую. Одним словом, все, чем я хотел похвастаться перед ними, исключая выговора французского и немецкого языков, они знали лучше меня и нисколько не гордились этим. Мог бы я похвастаться в моем положении светскостью, но ее я не имел, как Володя. Так что же такое было та высота, с которой я смотрел на них? Мое знакомство с князем Иваном Иванычем? выговор французского языка? дрожки? голландская рубашка? ногти? Да уж не вздор ли все это? — начинало мне глухо приходить иногда в голову под влиянием чувства зависти к товариществу и добродушному молодому веселью, которое я видел перед собой. Они все были на ты. Простота их обращения доходила до грубости, но и под этой грубой внешностью был постоянно виден страх хоть чуть-чуть оскорбить друг друга. *Подлец*, *свинья*, употребляемые ими в ласкательном смысле, только коробили меня и мне подавали повод к внутреннему подсмеиванию, но эти слова не оскорбляли их и не мешали им быть между собой на самой искренней, дружеской ноге. В обращении между собой они были так осторожны и деликатны, как только бывают очень бедные и очень молодые люди. Главное же, что-то

---

[1] Але́н Рене́ Леса́ж (1668—1747) — французский писатель, автор романа «Хромой бес».

[2] Эже́н Сю (1804—1857) — французский писатель, автор остросюжетных романов с сентиментальным оттенком.

[3] Фева́ль — французский писатель, автор популярных в 40-е годы XIX в. романов.

широкое, разгульное чуялось мне в этом характере Зухина и его похождениях в Лиссабоне. Я предчувствовал, что эти кутежи должны были быть что-то совсем другое, чем то притворство с жженым ромом и шампанским, в котором я участвовал у барона З.

ЗУХИН И СЕМЕНОВ

Не знаю, к какому сословию принадлежал Зухин, но знаю, что он был из С. гимназии, без всякого состояния и, кажется, не дворянин. Ему было в то время лет восемнадцать, хотя на вид казалось гораздо больше. Он был необычайно умен, в особенности понятлив: ему легче было сразу обнять целый многосложный предмет, предвидеть все его частности и выводы, чем посредством сознания обсудить законы, по которым производились эти выводы. Он знал, что он был умен, гордился этим и вследствие этой гордости был одинаково со всеми прост в обращении и добродушен. Должно быть, он много испытал в жизни. Его пылкая, восприимчивая натура уже успела отразить в себе и любовь, и дружбу, и дела, и деньги. Хотя в малой мере, хотя в низших слоях общества, но не было вещи, к которой бы он, испытав ее, не имел не то презрения, не то какого-то равнодушия и невнимания, происходящих от слишком большой легкости, с которой ему все доставалось. Он, казалось, с таким жаром брался за все новое только для того, чтоб, достигнув цели, презирать то, чего он достигнул, и способная натура его достигала всегда и цели и права на презрение. В отношении науки было то же самое: занимаясь мало, не записывая, он знал математику превосходно и не хвастался, говоря, что собьет профессора. Ему казалось много вздоров в том, что ему читали, но с свойственным его натуре бессознательным практическим плутовством он тотчас же подделывался под то, что было нужно профессору, и все профессора его любили. Он был прям в отношениях с начальством, но начальство уважало его. Он не только не уважал и не любил науки, но презирал даже тех, которые серьезно занимались тем, что ему так легко доставалось. Науки, как он понимал их, не занимали десятой доли его способностей; жизнь в его студенческом положении не представляла ничего такого, чему бы он мог весь отдаться, а пылкая, деятельная, как он говорил, натура требовала жизни, и он вдался в кутеж такого рода, какой возможен был по его средствам, и предался ему

с страстным жаром и желанием уходить себя, *чем больше во мне силы*. Теперь, перед экзаменами, предсказание Оперова сбылось. Он пропал недели на две, так что мы готовились уже последнее время у другого студента. Но в первый экзамен он, бледный, изнуренный, с дрожащими руками, явился в залу и блестящим образом перешел во второй курс.

С начала курса в шайке кутил, главою которых был Зухин, было человек восемь. В числе их сначала были Иконин и Семенов, но первый удалился от общества, не вынесши того неистового разгула, которому они предавались в начале года, второй же удалился потому, что ему и этого казалось мало. В первые времена все в нашем курсе с каким-то ужасом смотрели на них и рассказывали друг другу их подвиги.

Главными героями этих подвигов были Зухин, а в конце курса — Семенов. На Семенова все последнее время смотрели с каким-то даже ужасом, и когда он приходил на лекцию, что случалось довольно редко, то в аудитории происходило волнение.

Семенов перед самыми экзаменами кончил свое кутежное поприще самым энергическим и оригинальным образом, чему я был свидетелем благодаря своему знакомству с Зухиным. Вот как это было. Раз вечером, только что мы сошлись к Зухину, и Оперов, приникнув головой к тетрадкам и поставив около себя, кроме сальной свечи в подсвечнике, сальную свечу в бутылке, начал читать своим тоненьким голоском свои мелкоисписанные тетрадки физики, как в комнату вошла хозяйка и объявила Зухину, что к нему пришел кто-то с запиской.

Зухин вышел и скоро вернулся, опустив голову и с задумчивым лицом, держа в руках открытую записку на серой оберточной бумаге и две десятирублевые ассигнации.

— Господа! Необыкновенное событие, — сказал он, подняв голову и как-то торжественно-серьезно взглянув на нас.

— Что ж, за кондиции[1] деньги получил? — сказал Оперов, перелистывая свою тетрадку.

— Ну, давайте читать дальше, — сказал кто-то.

— Нет, господа! Я больше не читаю, — продолжал Зухин тем же тоном, — я вам говорю, непостижимое событие! Семенов прислал мне с солдатом вот двадцать рублей, которые занял когда-то, и пишет, что ежели я его хочу видеть, то чтоб приходил в казармы. Вы знаете, что это значит? — при-

[1] *Кондиция* — здесь: частный урок.

бавил он, оглянув всех нас. Мы все молчали. — Я сейчас иду к нему, — продолжал Зухин, — пойдемте, кто хочет.

Сейчас же все надели сюртуки и собрались идти к Семенову.

— Не будет ли это неловко, — сказал Оперов своим тоненьким голоском, — что все мы, как редкость, придем смотреть на него?

Я был совершенно согласен с замечанием Оперова, особенно в отношении меня, который был почти незнаком с Семеновым, но мне так приятно было знать себя участвующим в общем товарищеском деле и так хотелось видеть самого Семенова, что я ничего не сказал на это замечание.

— Вздор! — сказал Зухин. — Что ж тут неловкого, что мы все идем проститься с товарищем, где бы он ни был. Пустяки! Идем, кто хочет.

Мы взяли извозчиков, посадили с собой солдата и поехали. Дежурный унтер-офицер уже не хотел нас пускать в казарму, но Зухин как-то уговорил его, и тот же самый солдат, который приходил с запиской, провел нас в большую, почти темную, слабо освещенную несколькими ночниками комнату, в которой с обеих сторон на нарах, с бритыми лбами, сидели и лежали рекруты в серых шинелях. Вступив в казарму, меня поразил особенный тяжелый запах, звук храпения нескольких сотен людей, и, проходя за нашим проводником и Зухиным, который твердыми шагами шел впереди всех между нарами, я с трепетом вглядывался в положение каждого рекрута и к каждому прикладывал оставшуюся в моем воспоминании сбитую жилистую фигуру Семенова с длинными всклокоченными, почти седыми волосами, белыми зубами и мрачными блестящими глазами. В самом крайнем углу казармы у последнего глиняного горшочка, налитого черным маслом, в котором дымно, свесившись, коптился нагоревший фитиль, Зухин ускорил шаг и вдруг остановился.

— Здорово, Семенов, — сказал он одному рекруту с таким же бритым лбом, как и другие, который, в толстом солдатском белье и в серой шинели внакидку, сидел с ногами на нарах и, разговаривая с другим рекрутом, ел что-то. Это был он, с обстриженными под гребенку седыми волосами, выбритым синим лбом и с своим всегдашним мрачным и энергическим выражением лица. Я боялся, что взгляд мой оскорбит его, и поэтому отворачивался. Оперов, кажется, тоже разделяя мое

мнение, стоял сзади всех; но звук голоса Семенова, когда он своей обыкновенной отрывистой речью приветствовал Зухина и других, совершенно успокоил нас, и мы поторопились выйти вперед и подать — я свою руку, Оперов свою дощечку, но Семенов еще прежде нас протянул свою черную большую руку, избавляя нас этим от неприятного чувства делать как будто бы честь ему. Он говорил неохотно и спокойно, как и всегда:

— Здравствуй, Зухин. Спасибо, что зашел. А, господа, садитесь. Ты пусти, Кудряшка, — обратился он к рекруту, с которым ужинал и разговаривал. — С тобой после договорим. Садитесь же. Что? удивило тебя, Зухин? А?

— Ничего меня от тебя не удивило, — отвечал Зухин, усаживаясь подле него на нары, немножко с тем выражением, с каким доктор садится на постель больного, — меня бы удивило, коли бы ты на экзамены пришел, вот так-так. Да расскажи, где ты пропадал и как это случилось?

— Где пропадал? — отвечал он своим густым, сильным голосом, — пропадал в трактирах, кабаках, вообще в заведениях. Да садитесь же все, господа, тут места много. Подожми ноги-то, ты, — крикнул он повелительно, показав на мгновение свои белые зубы, на рекрута, который с левой стороны его лежал на нарах, положив голову на руку и с ленивым любопытством смотрел на нас. — Ну, кутил. И скверно. И хорошо, — продолжал он, изменяя при каждом отрывистом предложении выражение энергического лица. — Историю с купцом знаешь: умер каналья. Меня хотели выгнать. Что были деньги — все промотал. Да это все бы ничего. Долгов гибель оставалась — и гадких. Расплатиться было нечем. Ну, и все.

— Как же такая мысль могла прийти тебе, — сказал Зухин.

— А вот как: кутил раз в Ярославле, знаешь, на Стоженке, кутил с каким-то барином из купцов. Он рекрутский поставщик. Говорю: «Дайте тысячу рублей — пойду». И пошел.

— Да ведь как же, ты — дворянин, — сказал Зухин.

— Пустяки! Все обделал Кирилл Иванов.

— Кто, Кирилл Иванов?

— Который меня купил (при этом он особенно — и странно, и забавно, и насмешливо блеснул глазами и как будто улыбнулся). — Разрешение в сенате взяли. Еще покутил, долги заплатил, да и пошел. Вот и все. Что же, сечь меня не могут... пять рублей есть... А может, война...

Потом он начал рассказывать Зухину свои странные, непостижимые похождения, беспрестанно изменяя выражение энергического лица и мрачно блестя глазами.

Когда нельзя было больше оставаться в казармах, мы стали прощаться с ним. Он подал всем нам руку, крепко пожал наши и, не вставая, чтоб проводить нас, сказал:

— Заходите еще когда-нибудь, господа, нас еще, говорят, только в будущем месяце погонят, — и снова он как будто улыбнулся.

Зухин, однако, пройдя несколько шагов, снова вернулся назад. Мне хотелось видеть их прощанье, я тоже приостановился и видел, что Зухин достал из кармана деньги, подавал их ему, и Семенов оттолкнул его руку. Потом я видел, что они поцеловались, и слышал, как Зухин, снова приближаясь к нам, довольно громко прокричал:

— Прощай, голова! Да уж, наверно, я курса не кончу — ты будешь офицером.

В ответ на это Семенов, который никогда не смеялся, захохотал звонким, непривычным смехом, который чрезвычайно больно поразил меня. Мы вышли.

Всю дорогу домой, которую мы прошли пешком, Зухин молчал и беспрестанно немножко сморкался, приставляя палец то к одной, то к другой ноздре. Придя домой, он тотчас же ушел от нас и с того самого дня запил до самых экзаменов.

Я ПРОВАЛИВАЮСЬ

Наконец настал первый экзамен, дифференциалов и интегралов, а я все был в каком-то странном тумане и не отдавал себе ясного отчета о том, что меня ожидало. По вечерам на меня, после общества Зухина и других товарищей, находила мысль о том, что надо переменить что-то в своих убеждениях, что что-то в них не так и не хорошо, но утром, с солнечным светом, я снова становился comme il faut, был очень доволен этим и не желал в себе никаких изменений.

В таком расположении духа я приехал на первый экзамен. Я сел на лавку в той стороне, где сидели князья, графы и бароны, стал разговаривать с ними по-французски, и (как ни странно сказать) мне и мысль не приходила о том, что сейчас надо будет отвечать из предмета, который я вовсе не знаю. Я хладнокровно смотрел на тех, которые подходи-

ли экзаменоваться, и даже позволял себе подтрунивать над некоторыми.

— Ну что, Грап, — сказал я Иленьке, когда он возвращался от стола, — набрались страха?

— Посмотрим, как вы, — сказал Иленька, который, с тех пор как поступил в университет, совершенно взбунтовался против моего влияния, не улыбался, когда я говорил с ним, и был дурно расположен ко мне.

Я презрительно улыбнулся на ответ Иленьки, несмотря на то, что сомнение, которое он выразил, на минуту заставило меня испугаться. Но туман снова застлал это чувство, и я продолжал быть рассеян и равнодушен, так что даже тотчас после того, как меня проэкзаменуют (как будто для меня это было самое пустячное дело), я обещался пойти вместе с бароном З. закусить к Матерну. Когда меня вызвали вместе с Икониным, я оправил фалды мундира и весьма хладнокровно подошел к экзаменному столу.

Легкий мороз испуга пробежал у меня по спине только тогда, когда молодой профессор, тот самый, который экзаменовал меня на вступительном экзамене, посмотрел мне прямо в лицо и я дотронулся до почтовой бумаги, на которой были написаны билеты. Иконин, хотя взял билет с тем же раскачиваньем всем телом, с каким он это делал на предыдущих экзаменах, отвечал кое-что, хотя и очень плохо; я же сделал то, что он делал на первых экзаменах, я сделал даже хуже, потому что взял другой билет и на другой ничего не ответил. Профессор с сожалением посмотрел мне в лицо и тихим, но твердым голосом сказал:

— Вы не перейдете на второй курс, господин Иртеньев. Лучше не ходите экзаменоваться. Надо очистить факультет. И вы тоже, господин Иконин, — добавил он.

Иконин просил позволения переэкзаменоваться, как будто милостыни, но профессор отвечал ему, что он в два дня не успеет сделать того, чего не сделал в продолжение года, и что он никак не перейдет. Иконин снова жалобно, униженно умолял; но профессор снова отказал.

— Можете идти, господа, — сказал он тем же негромким, но твердым голосом.

Только тогда я решился отойти от стола, и мне стало стыдно за то, что я своим молчаливым присутствием как будто принимал участие в униженных мольбах Иконина. Не помню,

как я прошел залу мимо студентов, что отвечал на их вопросы, как вышел в сени и как добрался до дому. Я был оскорблен, унижен, я был истинно несчастлив.

Три дня я не выходил из комнаты, никого не видел, находил, как в детстве, наслаждение в слезах и плакал много. Я искал пистолетов, которыми бы мог застрелиться, ежели бы мне этого уж очень захотелось. Я думал, что Иленька Грап плюнет мне в лицо, когда меня встретит, и, сделав это, поступит справедливо; что Оперов радуется моему несчастью и всем про него рассказывает; что Колпиков был совершенно прав, осрамив меня у Яра; что мои глупые речи с княжной Корнаковой не могли иметь других последствий, и т. д., и т. д. Все тяжелые, мучительные для самолюбия минуты в жизни одна за другой приходили мне в голову; я старался обвинить кого-нибудь в своем несчастии: думал, что кто-нибудь все это сделал нарочно, придумывал против себя целую интригу, роптал на профессоров, на товарищей, на Володю, на Дмитрия, на папá, за то, что он меня отдал в университет; роптал на провидение, за то, что оно допустило меня дожить до такого позора. Наконец, чувствуя свою окончательную погибель в глазах всех тех, кто меня знал, я просился у папá идти в гусары или на Кавказ. Папá был недоволен мною, но, видя мое страшное огорчение, утешал меня, говоря, что, как это ни скверно, еще все дело можно поправить, ежели я перейду на другой факультет. Володя, который тоже не видел в моей беде ничего ужасного, говорил, что на другом факультете мне по крайней мере не будет совестно перед новыми товарищами.

Наши дамы вовсе не понимали и не хотели или не могли понять, чтó такое экзамен, чтó такое не перейти, и жалели обо мне только потому, что видели мое горе.

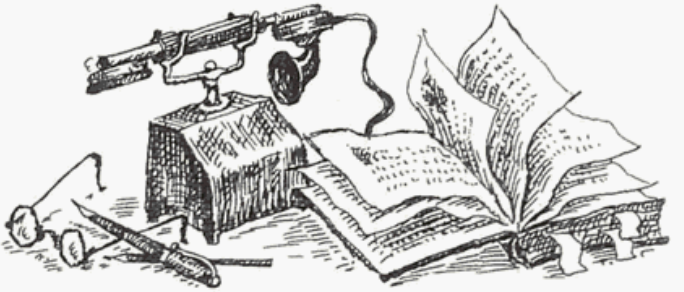
Дмитрий ездил ко мне каждый день и был все время чрезвычайно нежен и кроток; но мне именно поэтому казалось, что он охладел ко мне. Мне казалось всегда больно и оскорбительно, когда он, приходя ко мне наверх, молча близко подсаживался ко мне, немножко с тем выражением, с которым доктор садится на постель тяжелого больного. Софья Ивановна и Варенька прислали мне чрез него книги, которые я прежде желал иметь, и желали, чтобы я пришел к ним; но именно в этом внимании я видел гордое, оскорбительное для меня снисхождение к человеку, упавшему уже слишком низко. Дня через три я немного успокоился, но до самого отъезда

в деревню я никуда не выходил из дома и, все думая о своем горе, праздно шлялся из комнаты в комнату, стараясь избегать всех домашних.

Я думал, думал и, наконец, раз поздно вечером, сидя один внизу и слушая вальс Авдотьи Васильевны, вдруг вскочил, взбежал наверх, достал тетрадь, на которой написано было: «Правила жизни», открыл ее, и на меня нашла минута раскаяния и морального порыва. Я заплакал, но уже не слезами отчаяния. Оправившись, я решился снова писать правила жизни и твердо был убежден, что я уже никогда не буду делать ничего дурного, ни одной минуты не проведу праздно и никогда не изменю своим правилам.

Долго ли продолжался этот моральный порыв, в чем он заключался и какие новые начала положил он моему моральному развитию, я расскажу в следующей, более счастливой половине юности.

1857



Михаил Афанасьевич

БУЛГАКОВ

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

(в сокращении)

I

У-у-у-у-у-гу-гу-гуу! О, гляньте на меня, я погибаю. Вьюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с ней. Пропал я, пропал. Негодяй в грязном колпаке — повар столовой нормального питания служащих Центрального Совета Народного Хозяйства — плеснул кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина, а еще пролетарий. Господи боже мой — как больно! До костей проело кипяточком. Я теперь вою, вою, да разве воем поможешь. <...>

Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо: завтра появятся язвы, и спрашивается, чем я их буду лечить? Летом можно смотаться в Сокольники, там есть особенная, очень хорошая травка, а кроме того, нажрешься бесплатно колбасных головок, бумаги жирной набросают граждане, налижешься. И если бы не грымза[1] какая-то, что поет на кругу при луне «милая Аида» — так, что сердце падает, было бы отлично. А теперь куда пойдешь? Не били вас по заду сапогом? Били. Кирпичом по ребрам получали? Кушано достаточно. Все испытал, с судьбой своей мирюсь, и если плачу сейчас, то только от физической боли и холода, потому что дух мой еще не угас... Живуч собачий дух.

[1] *Грымза* (бранное, просторечное) — старый ворчун.

Но вот тело мое изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что — как врезал он кипяточком, под шерсть проело, и защиты, стало быть, для левого бока нет никакой. Я очень легко могу получить воспаление легких, а получив его, я, граждане, подохну с голоду. С воспалением легких полагается лежать на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит легкое, поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибет меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу...

Дворники из всех пролетариев — самая гнусная мразь. Человечьи очистки — самая низшая категория. Повар попадается разный. Например — покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас. Потому что самое главное во время болезни перехватить кус. И вот, бывало, говорят старые псы, махнет Влас кость, а на ней с осьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из столовой нормального питания. Что они там вытворяют в нормальном питании — уму собачьему непостижимо. Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины[1] щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают. Бегут, жрут, лакают.

Иная машинисточка получает по IX разряду четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей фильдеперсовые чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс[2] ей издевательств надо вынести. <...> Я теперь председатель, и сколько ни накраду — все на женское тело, на раковые шейки, на Абрау-Дюрсо[3]. Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует.

Жаль мне ее, жаль! Но самого себя мне еще больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому что мы действительно не в равных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну а мне, а мне... Куда пойду? У-у-у-у-у!.. <...>

Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлопнула, и из нее показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже — вернее всего — господин. Ближе — яснее — господин. Вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Правда, ворот-

---

[1] *Солони́на* — засоленное впрок мясо.

[2] Сорт чулочного трикотажа.

[3] Марка вина.

ники не такие, об этом и говорить нечего, но все же издали можно спутать. А вот по глазам — тут уж и вблизи и вдали не спутаешь. О, глаза — значительная вещь. Вроде барометра. Все видно — у кого великая сушь в душе, кто ни за что ни про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится. Вот последнего холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься — получай. Раз боишься — значит, стоишь... р-р-р... гау-гау...

Господин уверенно пересек в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. Да, да, у этого все видно. Этот тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему ее и подадут, поднимет такой скандал, в газеты напишет: меня, Филиппа Филипповича, обкормили.

Вот он все ближе и ближе. Этот ест обильно и не ворует, этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда господин, с французской остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей, но запах по метели от него летит скверный — больницей. И сигарой. <...>

Загадочный господин наклонился к псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый сверток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, которой тотчас же овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой «Особенная краковская». И псу этот кусок. О бескорыстная личность! У-у-у!

— Фить-фить, — посвистал господин и добавил строгим голосом: — Бери! Шарик, Шарик!

Опять Шарик. Окрестили. Да называйте как хотите. За такой исключительный ваш поступок.

Пес мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием вгрызся в краковскую и сожрал ее в два счета. При этом подавился колбасой и снегом до слез, потому что от жадности едва не заглотал веревочку. Еще, еще лижу вам руку. Целую штаны, мой благодетель!

— Будет пока что... — Господин говорил так отрывисто, точно командовал. Он наклонился к Шарику, пытливо глянул ему в глаза и неожиданно провел рукой в перчатке интимно и ласково по Шарикову животу.

— А-га, — многозначительно молвил он, — ошейника нету, ну вот и прекрасно, тебя-то мне и надо. Ступай за мной. — Он пощелкал пальцами. — Фить-фить!

За вами идти? Да на край света. Пинайте меня вашими фетровыми[1] ботинками, я слова не вымолвлю. <...>

Господин оценил преданность и у самой пожарной команды, у окна, из которого слышалось приятное ворчание валторны[2], наградил пса вторым куском, поменьше, золотников[3] на пять.

Эх, чудак. Подманивает меня. Не беспокойтесь! Я и сам никуда не уйду. За вами буду двигаться, куда ни прикажете.

— Фить-фить-фить! Сюда!

В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулок.

— Фить-фить! Сюда? С удово... Э, нет, позвольте. Нет. Тут швейцар. А уж хуже этого ничего на свете нет. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живодер в позументе[4].

— Да не бойся ты, иди.

— Здравия желаю, Филипп Филиппович.

— Здравствуй, Федор.

Вот это — личность. Боже мой, на кого же ты нанесла меня, собачья моя доля! Что это за такое лицо, которое может псов с улицы мимо швейцаров вводить в дом жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец — ни звука, ни движения! Правда, в глазах у него пасмурно, но, в общем, он равнодушен под околышем с золотыми галунами. Словно так и полагается. Уважает, господа, до чего уважает! Ну-с, а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси. Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозолистую ногу. За все издевательства вашего брата. Щеткой сколько раз морду уродовал мне, а?

— Иди, иди.

Понимаем, понимаем, не извольте беспокоиться. Куда вы, туда и мы. Вы только дорожку указывайте, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой бок.

С лестницы вниз:

— Писем мне, Федор, не было?

Снизу на лестницу почтительно:

---

[1] *Фетр* — тонкий плотный войлок.

[2] *Валто́рна* — музыкальный инструмент.

[3] *Золотни́к* — мера веса, равная 1/96 фунта.

[4] *Позуме́нт* — шитая золотом или мишурой тесьма, служащая для оторочки одежды.

— Никак нет, Филипп Филиппович (интимно вполголоса вдогонку), — а в третью квартиру жилтоварищей[1] вселили.

Важный песий благотворитель круто обернулся на ступеньке и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил:

— Ну-у?

Глаза его округлились, и усы встали дыбом.

Швейцар снизу задрал голову, приладил ладошку к губам и подтвердил:

— Точно так, целых четыре штуки!

— Боже мой! Воображаю, что теперь будет в квартире. Ну и что ж они?

— Да ничего-с.

— А Федор Павлович?

— За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить.

— Черт знает что такое!

— Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей. Сейчас собрание было, выбрали новое товарищество, а прежних — в шею.

— Что делается. Ай-яй-яй... Фить-фить.

Иду-с, поспешаю. Бок, изволите ли видеть, дает себя знать. Разрешите лизнуть сапожок.

Галун швейцара скрылся внизу. На мраморной площадке повеяло теплом от труб, еще раз повернули, и вот — бельэтаж.

II

Учиться читать совершенно ни к чему, когда мясо и так пахнет за версту. Тем не менее, ежели вы проживаете в Москве и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются, вы волей-неволей выучитесь грамоте, и притом безо всяких курсов. Из сорока тысяч московских псов разве уж какой-нибудь совершенный идиот не сумеет сложить из букв слово «колбаса».

Шарик начал учиться по цветам. Лишь только исполнилось ему четыре месяца, по всей Москве развесили зелено-голубые вывески с надписью

МСПО[2] — МЯСНАЯ ТОРГОВЛЯ.

---

[1] *Жилтова́рищество* — объединение жильцов дома, возглавляемое домовым комитетом. В устах швейцара слово *жилтова́рищи* употребляется в значении *домко́м*.

[2] МСПО — Московский союз потребительских обществ.

Повторяем, все это ни к чему, потому что и так мясо слышно. И путаница раз произошла: равняясь по голубоватому едкому цвету, Шарик, обоняние которого зашиб бензинным дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин электрических принадлежностей братьев Голубизнер на Мясницкой улице. Там у братьев пес отведал изолированной проволоки, а она будет почище извозчичьего кнута. Этот знаменитый момент и следует считать началом шариковского образования. Уже на тротуаре тут же Шарик начал соображать, что «голубой» не всегда означает «мясной», и, зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами и воя, припомнил, что на всех мясных первой слева стоит золотая или рыжая раскоряка, похожая на санки.

Далее пошло еще успешней. «А» он выучил в «Главрыбе» на углу Моховой, а потом и «Б» — подбегать ему было удобнее с хвоста слова «рыба», потому что при начале слова стоял милиционер.

Изразцовые квадратики, облицовывавшие угловые места в Москве, всегда и неизбежно означали

«С-Ы-Р».

Черный кран от самовара, возглавлявший слово, обозначал бывшего хозяина Чичкина, горы голландского красного, зверей-приказчиков, ненавидевших собак, опилки на полу и гнуснейший, дурно пахнущий бакштейн[1].

Если играли на гармошке, что было немногим лучше «милой Аиды»[2], и пахло сосисками, первые буквы на белых плакатах чрезвычайно удобно складывались в слово *«неприли...»*, что означало «неприличными словами не выражаться и на чай не давать». Здесь порою винтом закипали драки, людей били кулаком по морде, правда, в редких случаях, псов же постоянно — салфетками или сапогами.

Если в окнах висели несвежие окорока ветчины и лежали мандарины... гау-гау... га... строномия. Если темные бутылки с плохой жидкостью... Ве-и-ви-на-а-вина... Елисеевы братья[3] бывшие.

---

[1] *Голла́ндский, бакште́йн* — сорта сыра.

[2] *«Ми́лая Аи́да»* — ария Радамеса из первого действия оперы Д. Верди «Аида».

[3] *Елисе́евы бра́тья* — торговое товарищество, владевшее крупнейшим гастрономическим магазином на Тверской.

Неизвестный господин, притащивший пса к дверям своей роскошной квартиры, помещавшейся в бельэтаже, позвонил, а пес тотчас поднял глаза на большую, черную с золотыми буквами карточку, висящую сбоку широкой, застекленной волнистым и розовым стеклом двери. Три первые буквы он сложил сразу: «Пэ-ер-о — Про»[1]. Но дальше шла пузатая двубокая дрянь, неизвестно что обозначающая. «Неужто пролетарий?» — подумал Шарик с удивлением... «Быть этого не может». Он поднял нос кверху, еще раз обнюхал шубу и уверенно подумал: «Нет, здесь пролетарием не пахнет. Ученое слово, а бог его знает — что оно значит».

За розовым стеклом вспыхнул неожиданный и радостный свет, еще более оттенив черную карточку. Дверь совершенно бесшумно распахнулась, и молодая красивая женщина в белом фартучке и кружевной наколке предстала перед псом и его господином. Первого из них обдало божественным теплом, и юбка женщины запахла, как ландыш.

«Вот это да, это я понимаю», — подумал пес.

— Пожалуйте, господин Шарик, — иронически пригласил господин, и Шарик благоговейно пожаловал, вертя хвостом.

Великое множество предметов загромождало богатую переднюю. Тут же запомнилось зеркало до самого пола, немедленно отразившее второго истасканного и рваного Шарика, страшные оленьи рога в высоте, бесчисленные шубы и калоши и опаловый тюльпан[2] с электричеством под потолком.

— Где же вы такого взяли, Филипп Филиппович? — улыбаясь, спрашивала женщина и помогала снимать тяжелую шубу на черно-бурой лисе с синеватой искрой. — Батюшки! До чего паршивый!

— Вздор говоришь. Где паршивый? — строго и отрывисто спрашивал господин.

По снятии шубы он оказался в черном костюме английского сукна, и на животе у него радостно и неярко засверкала золотая цепь.

— Погоди-ка, не вертись, фить... да не вертись, дурачок. Гм!.. Это не парши... да стой ты, черт... Гм! А-а. Это ожог. Какой же негодяй тебя обварил? А? Да стой ты смирно!..

---

[1] *«Пэ-ер-о — Про»* — начало слова, которое не смог прочитать Шарик, — «профессор».

[2] *Опáловый тюльпáн* — фигурный колпачок для электрической лампы из бледного стекловидного камня минерального происхождения, некоторые сорта которого считались драгоценными.

«Повар-каторжник, повар!» — жалобными глазами молвил пес и слегка подвыл.

— Зина, — скомандовал господин, — в смотровую его сейчас же и мне халат.

Женщина посвистала, пощелкала пальцами, и пес, немного поколебавшись, последовал за ней. Они вдвоем попали в узкий, тускло освещенный коридор, одну лакированную дверь миновали, пришли в конец, а затем попали налево и оказались в темной каморке, которая мгновенно не понравилась псу своим зловещим запахом. Тьма щелкнула и превратилась в ослепительный день, причем со всех сторон засверкало, засияло и забелело.

«Э, нет... — мысленно завыл пес, — извините, не дамся! Понимаю, о черт бы взял их с их колбасой. Это меня в собачью лечебницу заманили. Сейчас касторку заставят жрать и весь бок изрежут ножиками, а до него и так дотронуться нельзя!»

— Э, нет, куда?! — закричала та, которую называли Зиной.

Пес извернулся, спружинился и вдруг ударил в дверь здоровым боком так, что хряснуло по всей квартире. Потом отлетел назад, закрутился на месте, как кубарь под кнутом[1], причем вывернул на пол белое ведро, из которого разлетелись комья ваты. Во время верчения кругом него порхали стены, уставленные шкафами с блестящими инструментами, запрыгал белый передник и искаженное женское лицо.

— Куда ты, черт лохматый?.. — кричала отчаянно Зина. — Вот окаянный!

«Где у них черная лестница?..» — соображал пес. Он размахнулся и комком ударил наобум в стекло, в надежде, что это вторая дверь. Туча осколков вылетела с громом и звоном, выпрыгнула пузатая банка с рыжей гадостью, которая мгновенно залила весь пол и завоняла. Настоящая дверь распахнулась.

— Стой, с-скотина, — кричал господин, прыгая в халате, надетом на один рукав, и хватая пса за ноги. — Зина, держи его за шиворот, мерзавца!

— Ба... Батюшки, вот так пес!

Еще шире распахнулась дверь, и ворвалась еще одна личность мужского пола в халате. Давя битые стекла, она кину-

---

[1] *Кубáрь* — детская игрушка, выточенная из дерева, волчок, погоняемый кнутом.

лась не ко псу, а к шкафу, раскрыла его и всю комнату наполнила сладким и тошным запахом. Затем личность навалилась на пса сверху животом, причем пес с увлечением тяпнул ее повыше шнурков на ботинке. Личность охнула, но не потерялась. Тошнотворная жидкость перехватила дыхание пса, и в голове у него завертелось, потом ноги отвалились, и он поехал куда-то криво и вбок. «Спасибо, кончено, — мечтательно думал он, валясь прямо на острые стекла. — Прощай, Москва! Не видать мне больше Чичкина, и пролетариев, и краковской колбасы. Иду в рай за собачье долготерпение. Братцы, живодеры, за что же вы меня?»

И тут он окончательно завалился на бок и издох.

Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть тошнило в животе, бока же как будто не было, бок сладостно молчал. Пес приоткрыл правый томный глаз и краем его увидел, что он туго забинтован поперек боков и живота. «Все-таки отделали, сукины дети, — подумал он смутно, — но ловко, надо отдать им справедливость».

— От Севильи до Гренады... в тихом сумраке ночей[1], — запел над ним рассеянный и фальшивый голос.

Пес удивился, совсем открыл оба глаза и в двух шагах увидел мужскую ногу на белом табурете. Штанина и кальсоны на ней были поддернуты, и голая желтая голень вымазана засохшей кровью и йодом.

«Угодники! — подумал пес, — это, стало быть, я его куснул. Моя работа. Ну, будут драть!»

— Р-раздаются серенады, раздается стук мечей! Ты зачем, бродяга, доктора укусил? А? Зачем стекло разбил? А?

— У-у-у, — жалобно заскулил пес.

— Ну, ладно, опомнился и лежи, болван.

— Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса? — спросил приятный мужской голос, и трикотовая кальсона откатилась книзу. Запахло табаком, и в шкафу зазвенели склянки.

— Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни

---

[1] Серенада Дон Жуана из драматургической поэмы А. К. Толстого «Дон Жуан» (1860), музыка написана П. И. Чайковским в 1878 г.

стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный и даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему. Зина! Я купил этому прохвосту краковской колбасы на один рубль сорок копеек. Потрудись накормить его, когда его перестанет тошнить.

Захрустели выметаемые стекла, и женский голос кокетливо заметил:

— Краковской! Господи, да ему обрезков нужно было купить на двугривенный в мясной. Краковскую колбасу я сама лучше съем.

— Только попробуй. Я тебе съем! Это отрава для человеческого желудка. Взрослая девушка, а, как ребенок, тащишь в рот всякую гадость. Не сметь! Предупреждаю: ни я, ни доктор Борменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя живот схватит... «Всех, кто скажет, что другая здесь сравняется с тобой...»

<...>

Окончательно пес очнулся глубоким вечером, когда звоночки прекратились, и как раз в то мгновение, когда дверь впустила особенных посетителей. Их было сразу четверо. Все молодые люди, и все одеты очень скромно.

«Этим что нужно?» — удивленно подумал пес. Гораздо более неприязненно встретил гостей Филипп Филиппович. Он стоял у письменного стола и смотрел на вошедших как полководец на врагов. Ноздри его ястребиного носа раздувались. Вошедшие топтались на ковре.

— Мы к вам, профессор, — заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся волос, — вот по какому делу...

— Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду, — перебил его наставительно Филипп Филиппович, — во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские.

Тот, с копной, умолк, и все четверо в изумлении уставились на Филиппа Филипповича. Молчание продолжалось несколько секунд, и прервал его лишь стук пальцев Филиппа Филипповича по расписному деревянному блюду на столе.

— Во-первых, мы не господа, — молвил, наконец, самый юный из четверых, персикового вида.

— Во-первых, — перебил и его Филипп Филиппович, — вы мужчина или женщина?

Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первый, тот, с копной.

— Какая разница, товарищ? — спросил он горделиво.

— Я — женщина, — признался персиковый юноша в кожаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошедших — блондин в папахе.

— В таком случае вы можете оставаться в кепке, а вас, милостивый государь, прошу снять ваш головной убор, — внушительно сказал Филипп Филиппович.

— Я вам не милостивый государь, — резко заявил блондин, снимая папаху.

— Мы пришли к вам, — вновь начал черный с копной.

— Прежде всего — кто это мы?

— Мы — новое домоуправление нашего дома, — в сдержанной ярости заговорил черный. — Я — Швондер, она — Вяземская, он — товарищ Пеструхин и Жаровкин. И вот мы...

— Это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина?

— Нас, — ответил Швондер.

— Боже, пропал Калабуховский дом[1]! — в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.

— Что вы, профессор, смеетесь? — возмутился Швондер.

— Какое там смеюсь?! Я в полном отчаянии, — крикнул Филипп Филиппович. — Что же теперь будет с паровым отоплением?

— Вы издеваетесь, профессор Преображенский?

— По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать.

— Мы, управление дома, — с ненавистью заговорил Швондер, — пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома...

---

[1] *Калабу́ховский дом* — реальный дом и квартира, связанные с родственником Булгакова, его дядей по матери М. Н. Покровским (1878—1942), врачом-гинекологом, которого считают одним из прототипов Ф. Ф. Преображенского. Дом расположен по адресу: Пречистенка, 24/1.

— Кто на ком стоял? — крикнул Филипп Филиппович. — Потрудитесь излагать ваши мысли яснее.

— Вопрос стоял об уплотнении[1].

— Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением от 12 сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений?

— Известно, — ответил Швондер, — но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живете в семи комнатах.

— Я один живу и работаю в семи комнатах, — ответил Филипп Филиппович, — и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку.

Четверо онемели.

— Восьмую! Э-хе-хе, — проговорил блондин, лишенный головного убора, — однако это здорово.

— Это неописуемо! — воскликнул юноша, оказавшийся женщиной.

— У меня приемная — заметьте — она же библиотека, столовая, мой кабинет — 3. Смотровая — 4. Операционная — 5. Моя спальня — 6 и комната прислуги — 7. В общем, не хватает... Да, впрочем, это не важно. Моя квартира свободна, и разговору конец. Могу я идти обедать?

— Извиняюсь, — сказал четвертый, похожий на крепкого жука.

— Извиняюсь, — перебил его Швондер, — вот именно по поводу столовой и смотровой мы и пришли поговорить. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве.

— Даже у Айседоры Дункан[2], — звонко крикнула женщина.

С Филиппом Филипповичем что-то сделалось, вследствие чего его лицо нежно побагровело, и он не произнес ни одного звука, выжидая, что будет дальше.

---

[1] *Уплотне́ние кварти́р* — принудительное изъятие у владельцев жилой площади, превышающей установленную норму, выражавшееся в подселении в квартиру новых жильцов и превращении ее в коммунальную.

[2] Айседо́ра Дунка́н — знаменитая американская танцовщица (1877—1927), с 1922 года — жена Сергея Есенина. Жила в д. № 20 по Пречистенке, где руководила организованной ею балетной студией.

— И от смотровой также, — продолжал Швондер, — смотровую прекрасно можно соединить с кабинетом.

— Угу, — молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом, — а где же я должен принимать пищу?

— В спальне, — хором ответили все четверо.

Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок.

— В спальне принимать пищу, — заговорил он слегка придушенным голосом, — в смотровой читать, в приемной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать. Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть. Но я не Айседора Дункан!.. — вдруг рявкнул он, и багровость его стала желтой. — Я буду обедать в столовой, оперировать в операционной! Передайте это общему собранию, и покорнейше вас прошу вернуться к вашим делам, а мне предоставить возможность принять пищу там, где ее принимают все нормальные люди, то есть в столовой, а не в передней и не в детской.

— Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия, — сказал взволнованный Швондер, — мы подадим на вас жалобу в вышестоящие инстанции.

— Ага, — молвил Филипп Филиппович, — так? — и голос его принял подозрительно вежливый оттенок. — Одну минуточку попрошу вас подождать.

«Вот это парень, — в восторге подумал пес, — весь в меня. Ох, тяпнет он их сейчас, ох, тяпнет. Не знаю еще — каким способом, но так тяпнет... Бей их! Этого голенастого взять сейчас повыше сапога за подколенное сухожилие... р-р-р...»

Филипп Филиппович, стукнув, снял трубку с телефона и сказал в нее так:

— Пожалуйста... да... благодарю вас... Петра Александровича попросите, пожалуйста. Профессор Преображенский. Петр Александрович? Очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Петр Александрович, ваша операция отменяется. Что? Совсем отменяется. Равно как и все остальные операции. Вот почему: я прекращаю работу в Москве и вообще в России... Сейчас ко мне вошли четверо, из них одна женщина, переодетая мужчиной, и двое вооруженных револьверами, и терроризировали меня в квартире с целью отнять часть ее.

— Позвольте, профессор, — начал Швондер, меняясь в лице.

— Извините... У меня нет возможности повторить все, что они говорили. Я не охотник до бессмыслиц. Достаточно сказать, что они предложили мне отказаться от моей смотровой, другими словами, поставили меня в необходимость оперировать вас там, где я до сих пор резал кроликов. В таких условиях я не только не могу, но и не имею права работать. Поэтому я прекращаю деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует.

Четверо застыли. Снег таял у них на сапогах.

— Что же делать... Мне самому очень неприятно... Как? О нет, Петр Александрович! О нет. Больше я так не согласен. Терпение мое лопнуло. Это уже второй случай с августа месяца. Как? Гм... Как угодно. Хотя бы. Но только одно условие: кем угодно, когда угодно, что угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая! Броня. Чтобы мое имя даже не упоминалось. Кончено. Я для них умер. Да, да. Пожалуйста. Кем? Ага... Ну, это другое дело. Ага... Хорошо. Сейчас передаю трубку. Будьте любезны, — змеиным голосом обратился Филипп Филиппович к Швондеру, — сейчас с вами будут говорить.

— Позвольте, профессор, — сказал Швондер, то вспыхивая, то угасая, — вы извратили наши слова.

— Попрошу вас не употреблять таких выражений.

Швондер растерянно взял трубку и молвил:

— Я слушаю. Да... Председатель домкома... Мы же действовали по правилам... Так у профессора и так совершенно исключительное положение... Мы знаем об его работах... Целых пять комнат хотели оставить ему... Ну, хорошо... Раз так... Хорошо...

Совершенно красный, он повесил трубку и повернулся.

«Как оплевал! Ну и парень! — восхищенно подумал пес. — Что он, слово, что ли, такое знает? Ну, теперь можете меня бить, как хотите, а я отсюда не уйду».

Трое, открыв рты, смотрели на оплеванного Швондера.

— Это какой-то позор! — несмело вымолвил тот.

— Если бы сейчас была дискуссия, — начала женщина, волнуясь и загораясь румянцем, — я бы доказала Петру Александровичу...

— Виноват, вы не сию минуту хотите открыть эту дискуссию? — вежливо спросил Филипп Филиппович.

Глаза женщины загорелись.

— Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас уйдем... Только я, как заведующий культотделом дома...

— За-ве-дующая, — поправил ее Филипп Филиппович.

— Хочу предложить вам, — тут женщина из-за пазухи вытащила несколько ярких и мокрых от снега журналов, — взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.

— Нет, не возьму, — кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы.

Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина покрылась клюквенным налетом.

— Почему же вы отказываетесь?

— Не хочу.

— Вы не сочувствуете детям Германии?

— Сочувствую.

— Жалеете по полтиннику?

— Нет.

— Так почему же?

— Не хочу.

Помолчали.

— Знаете ли, профессор, — заговорила девушка, тяжело вздохнув, — если бы вы не были европейским светилом, и за вас не заступались бы самым возмутительным образом (блондин дернул ее за край куртки, но она отмахнулась) лица, которых, я уверена, мы еще разъясним[1], вас следовало бы арестовать.

— А за что? — с любопытством спросил Филипп Филиппович.

— Вы ненавистник пролетариата! — гордо сказала женщина.

— Да, я не люблю пролетариата, — печально согласился Филипп Филиппович и нажал кнопку. Где-то прозвенело. Открылась дверь в коридор.

— Зина, — крикнул Филипп Филиппович, — подавай обед. Вы позволите, господа?

Четверо молча вышли из кабинета, молча прошли приемную, молча переднюю, и слышно было, как за ними закрылась тяжело и звучно парадная дверь.

---

[1] *...лица, которых... мы еще разъясним* — в данном контексте означает: выясним их классовую сущность.

Пес встал на задние лапы и сотворил перед Филиппом Филипповичем какой-то намаз[1].

Профессор Преображенский и его помощник Борменталь оперировали Шарика: заменили его придаток мозга — гипофиз — человеческим, взятым у скончавшегося алкоголика Клима Чугункина. Шариков постепенно превратился в человека, унаследовав черты своего «донора». Он назвал себя Полиграфом Полиграфовичем Шариковым. Одно из значений слова «полиграфия» — производство нескольких рентгеновских снимков внутренних органов на одну пленку.

VI

Был зимний вечер. Конец января. Предобеденное, предприемное время. На притолоке у двери в приемную висел белый лист бумаги, на коем рукою Филиппа Филипповича было написано:

«Семечки есть в квартире запрещаю».

Ф. Преображенский.

И синим карандашом крупными, как пирожные, буквами рукой Борменталя:

«ИГРА НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ ОТ 5 ЧАСОВ ДНЯ ДО 7 ЧАСОВ УТРА ВОСПРЕЩАЕТСЯ».

Затем рукой Зины:

«Когда вернетесь, скажите Филиппу Филипповичу: я не знаю — куда он ушел. Федор говорил, что со Швондером».

Рукой Преображенского:

«Сто лет буду ждать стекольщика?»

Рукой Дарьи Петровны *(печатно)*:

«ЗИНА УШЛА В МАГАЗИН, СКАЗАЛА, ПРИВЕДЕТ».

В столовой было совершенно по-вечернему, благодаря лампе под шелковым абажуром. Свет из буфета падал, перебитый пополам, — зеркальные стекла были заклеены косым крестом от одной фасетки до другой. Филипп Филиппович, склонившись над столом, погрузился в развернутый громадный лист газеты. Молнии коверкали его лицо, и сквозь зубы сыпались оборванные, куцые воркующие слова. Он читал заметку:

---

[1] *Намáз* — молитва из стихов Корана у мусульман. Слово употреблено в переносном, ироническом значении.

«Никаких сомнений нет в том, что это его незаконнорожденный (как выражались в гнилом буржуазном обществе) сын. Вот как развлекается наша псевдоученая буржуазия! Семь комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красным лучом.

Шв...р».

Очень настойчиво, с залихватской ловкостью играли за двумя стенами на балалайке, и звуки хитрой вариации «Светит месяц» смешивались в голове Филиппа Филипповича со словами заметки в ненавистную кашу. Дочитав, он сухо плюнул через плечо и машинально запел сквозь зубы:

— Све-е-етит месяц... све-е-етит месяц... све-тит месяц... Тьфу, прицепилась, вот окаянная мелодия!

Он позвонил. Зинино лицо просунулось между полотнищами портьеры.

— Скажи ему, что 5 часов, чтоб прекратил, и позови его сюда, пожалуйста.

Филипп Филиппович сидел у стола в кресле. Между пальцами левой руки торчал коричневый окурок сигары. У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу на ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жесткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а лицо покрывал небритый пух. Лоб поражал своей малой вышиной. Почти непосредственно над черными кисточками раскиданных бровей начиналась густая головная щетка.

Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой, полосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой выпачканы лиловой краской. На шее у человека был повязан ядовито-небесного цвета галстук с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстука был настолько бросок, что время от времени, закрывая утомленные глаза, Филипп Филиппович в полной тьме то на потолке, то на стене видел пылающий факел с голубым венцом. Открывая их, слеп вновь, так как с полу, разбрызгивая веера света, бросались в глаза лаковые штиблеты с белыми гетрами.

«Как в калошах», — с неприятным чувством подумал Филипп Филиппович, вздохнул, засопел и стал возиться с затухшей сигарой. Человек у двери мутноватыми глазами поглядывал на профессора и курил папиросу, посыпая манишку пеплом.

Часы на стене рядом с деревянным рябчиком прозвенели пять раз. Внутри них еще что-то стонало, когда вступил в беседу Филипп Филиппович.

— Я, кажется, два раза уже просил не спать на полатях в кухне — тем более днем?

Человек кашлянул сипло, точно подавившись косточкой, и ответил:

— Воздух в кухне приятнее.

Голос у него был необыкновенный, глуховатый и в то же время гулкий, как в маленький бочонок.

Филипп Филиппович покачал головой и спросил:

— Откуда взялась эта гадость? Я говорю о галстуке.

Человечек, глазами следуя пальцу, скосил их через оттопыренную губу и любовно поглядел на галстук.

— Чем же «гадость»? — заговорил он. — Шикарный галстук. Дарья Петровна подарила.

— Дарья Петровна вам мерзость подарила, вроде этих ботинок. Что это за сияющая чепуха? Откуда? Я что просил? Купить при-лич-ные ботинки, а это что? Неужели доктор Борменталь такие выбрал?

— Я ему велел, чтобы лаковые. Что я, хуже людей? Пойдите на Кузнецкий — все в лаковых.

Филипп Филиппович повертел головой и заговорил веско:

— Спанье на полатях прекращается. Понятно? Что это за нахальство! Ведь вы мешаете. Там женщины.

Лицо человека потемнело, и губы оттопырились.

— Ну уж и женщины. Подумаешь. Барыни какие. Обыкновенная прислуга, а форсу, как у комиссарши. Это все Зинка ябедничает.

Филипп Филиппович глянул строго:

— Не сметь называть Зину Зинкой! Понятно?

Молчание.

— Понятно, я вас спрашиваю?

— Понятно.

— Убрать эту пакость с шеи. Вы... ты... вы посмотрите на себя в зеркало — на что вы похожи. Балаган какой-то. Окурки на пол не бросать — в сотый раз прошу. Чтобы я более не слышал ни одного ругательного слова в квартире! Не плевать! Вот плевательница. С писсуаром обращаться аккуратно. С Зиной всякие разговоры прекратить. Она жалуется, что вы в темноте ее подкарауливаете. Смотрите! Кто ответил пациенту «пес его знает»? Что вы, в самом деле, в кабаке, что ли?

— Что-то вы меня, папаша, больно утесняете, — вдруг плаксиво выговорил человек.

Филипп Филиппович покраснел, очки сверкнули.

— Кто это тут вам папаша? Что это за фамильярности? Чтобы я больше не слышал этого слова! Называть меня по имени и отчеству!

Дерзкое выражение загорелось в человечке.

— Да что вы все... То не плевать. То не кури. Туда не ходи... Что уж это на самом деле? Чисто как в трамвае. Что вы мне жить не даете?! И насчет «папаши» — это вы напрасно. Разве я просил мне операцию делать? — человек возмущенно лаял. — Хорошенькое дело! Ухватили животную, исполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются. Я, может, своего разрешения на операцию не давал. А равно (человек завел глаза к потолку, как бы вспоминая некую формулу), а равно и мои родные. Я иск, может, имею право предъявить.

Глаза Филиппа Филипповича сделались совершенно круглыми, сигара вывалилась из рук. «Ну тип», — пролетело у него в голове.

— Вы изволите быть недовольным, что вас превратили в человека? — прищурившись, спросил он. — Вы, может быть, предпочитаете снова бегать по помойкам? Мерзнуть в подворотнях? Ну, если бы я знал...

— Да что вы все попрекаете — помойка, помойка. Я свой кусок хлеба добывал. А если бы я у вас помер под ножом? Вы что на это выразите, товарищ?

— Филипп Филиппович! — раздраженно воскликнул Филипп Филиппович. — Я вам не товарищ! Это чудовищно! «Кошмар, кошмар», — подумалось ему.

— Уж, конечно, как же... — иронически заговорил человек и победоносно отставил ногу, — мы понимаем-с. Какие уж мы вам товарищи! Где уж. Мы в университетах не обучались, в квартирах по 15 комнат с ванными не жили. Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет свое право...

Филипп Филиппович, бледнея, слушал рассуждения человека. Тот прервал речь и демонстративно направился к пепельнице с изжеванной папиросой в руке. Походка у него была развалистая. Он долго мял окурок в раковине с выражением, ясно говорящим: «На! На!» Затушив папиросу, он на ходу вдруг лязгнул зубами и сунул нос под мышку.

— Пальцами блох ловить! Пальцами! — яростно крикнул Филипп Филиппович. — И я не понимаю — откуда вы их берете?

— Да что уж, развожу я их, что ли? — обиделся человек. — Видно, блохи меня любят, — тут он пальцами пошарил в подкладке под рукавом и выпустил в воздух клок рыжей легкой ваты.

Филипп Филиппович обратил взор к гирляндам на потолке и забарабанил пальцами по столу. Человек, казнив блоху, отошел и сел на стул. Руки он при этом, опустив кисти, развесил вдоль лацканов пиджака. Глаза его скосились к шашкам паркета. Он созерцал свои башмаки, и это доставляло ему большое удовольствие.

Филипп Филиппович посмотрел туда, где сияли резкие блики на тупых носках, глаза прижмурил и заговорил:

— Какое дело еще вы мне хотели сообщить?

— Да что ж дело! Дело простое. Документ, Филипп Филиппович, мне надо.

Филиппа Филипповича несколько передернуло.

— Хм... Черт! Документ! Действительно... Кхм... а может быть, это как-нибудь можно... — голос его звучал неуверенно и тоскливо.

— Помилуйте, — уверенно ответил человек, — как же так без документа? Это уж — извиняюсь. Сами знаете, человеку без документов строго воспрещается существовать. Во-первых, домком...

— При чем тут домком?

— Как это при чем? Встречают, спрашивают — когда ж ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься?

— Ах ты, Господи, — уныло воскликнул Филипп Филиппович, — встречаются, спрашивают... Воображаю, что вы им говорите. Ведь я же вам запрещал шляться по лестницам.

— Что я, каторжный? — удивился человек, и сознание его правоты загорелось у него даже в рубине. — Как это так «шляться»?! Довольно обидные ваши слова. Я хожу, как все люди.

При этом он посучил лакированными ногами по паркету.

Филипп Филиппович умолк, глаза его ушли в сторону. «Надо все-таки сдерживать себя», — подумал он. Подойдя к буфету, он одним духом выпил стакан воды.

— Отлично-с, — поспокойнее заговорил он, — дело не в словах. Итак, что говорит этот ваш прелестный домком?

— Что ж ему говорить... Да вы напрасно его прелестным ругаете. Он интересы защищает.

— Чьи интересы, позвольте осведомиться?

— Известно чьи — трудового элемента.

Филипп Филиппович выкатил глаза.

— Почему же вы — труженик?

— Да уж известно — не нэпман[1].

— Ну, ладно. Итак, что же ему нужно в защитах вашего революционного интереса?

— Известно что — прописать меня. Они говорят — где ж это видано, чтоб человек проживал непрописанный в Москве. Это — раз. А самое главное — учетная карточка. Я дезертиром быть не желаю. Опять же — союз, биржа...

— Позвольте узнать, по чему я вас пропишу? По этой скатерти или по своему паспорту? Ведь нужно все-таки считаться с положением! Не забывайте, что вы... Э... гм... вы ведь, так сказать, — неожиданно явившееся существо, лабораторное. — Филипп Филиппович говорил все менее уверенно.

Человек победоносно молчал.

— Отлично-с. Что же, в конце концов, нужно, чтобы вас прописать и вообще устроить все по плану этого вашего домкома? Ведь у вас же нет ни имени, ни фамилии.

— Это вы несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете, и шабаш.

— Как же вам угодно именоваться?

Человек поправил галстук и ответил:

— Полиграф Полиграфович.

— Не валяйте дурака, — хмуро отозвался Филипп Филиппович, — я с вами серьезно говорю.

Язвительная усмешка искривила усишки человека.

— Что-то не пойму я, — заговорил он весело и осмысленно. — Мне по матушке нельзя. Плевать — нельзя. А от вас только и слышу: «Дурак, дурак». Видно, только профессорам разрешается ругаться в Ресефесере.

Филипп Филиппович налился кровью, и, наполняя стакан, разбил его. Напившись из другого, подумал: «Еще немного,

---

[1] В 20-е годы XX века так называли представителей новой буржуазии, возникшей в результате новой экономической политики (НЭП) советской власти.

он меня учить станет и будет совершенно прав. В руках не могу держать себя».

Он повернулся на стуле, преувеличенно вежливо склонил стан и с железной твердостью произнес:

— Извините. У меня расстроены нервы. Ваше имя показалось мне странным. Где вы, интересно знать, откопали себе такое?

— Домком посоветовал. По календарю искали — какое тебе, говорят? Я и выбрал.

— Ни в каком календаре ничего подобного быть не может.

— Довольно удивительно, — человек усмехнулся, — когда у вас в смотровой висит.

Филипп Филиппович, не вставая, закинулся к кнопке на обоях, и на звонок явилась Зина.

— Календарь из смотровой.

Протекла пауза. Когда Зина вернулась с календарем, Филипп Филиппович спросил:

— Где?

— 4-го марта празднуется.

— Покажите... Гм... Черт... В печку его, Зина, сейчас же.

Зина, испуганно тараща глаза, ушла с календарем, а человек покачал укоризненно головою.

— Фамилию позвольте узнать?

— Фамилию я согласен наследственную принять.

— Как? Наследственную? Именно?

— Шариков.

В кабинете перед столом стоял председатель домкома Швондер в кожаной тужурке. Доктор Борменталь сидел в кресле. При этом на румяных от мороза щеках доктора (он только что вернулся) было столь же растерянное выражение, как и у Филиппа Филипповича, сидящего рядом.

— Как же писать? — нетерпеливо спросил он.

— Что же, — заговорил Швондер, — дело не сложное. Пишите удостоверение, гражданин профессор. Что так, мол, и так, предъявитель сего действительно Шариков Полиграф Полиграфович, гм... зародившийся в вашей, мол, квартире.

Борменталь недоуменно шевельнулся в кресле. Филипп Филиппович дернул усом.

— Гм... вот черт! Глупее ничего себе и представить нельзя. Ничего он не зародился, а просто... ну, одним словом...

— Это — ваше дело, — со спокойным злорадством вымолвил Швондер, — зародился или нет... В общем и целом ведь вы делали опыт, профессор! Вы и создали гражданина Шарикова.

— И очень просто, — пролаял Шариков от книжного шкафа. Он вглядывался в галстук, отражавшийся в зеркальной бездне.

— Я бы очень просил вас, — огрызнулся Филипп Филиппович, — не вмешиваться в разговор. Вы напрасно говорите «и очень просто» — это очень не просто.

— Как же мне не вмешиваться, — обидчиво забубнил Шариков.

Швондер немедленно его поддержал:

— Простите, профессор, гражданин Шариков совершенно прав. Это его право — участвовать в обсуждении его собственной участи, в особенности постольку, поскольку дело касается документов. Документ — самая важная вещь на свете.

В этот момент оглушительный трезвон над ухом оборвал разговор. Филипп Филиппович сказал в трубку: «Да...», покраснел и закричал:

— Прошу не отрывать меня по пустякам. Вам какое дело? — И он с силой всадил трубку в рогульки.

Голубая радость разлилась по лицу Швондера.

Филипп Филиппович, багровея, прокричал:

— Одним словом, кончим это.

Он оторвал листок от блокнота и набросал несколько слов, затем раздраженно прочитал вслух:

— «Сим удостоверяю...» Черт знает что такое... Гм... «Предъявитель сего — человек, полученный при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу, нуждается в документах»... черт! Да я вообще против получения этих идиотских документов. Подпись — «профессор Преображенский».

— Довольно странно, профессор, — обиделся Швондер, — как это так вы документы называете идиотскими? Я не могу допустить пребывания в доме бездокументного жильца, да еще не взятого на воинский учет милицией. А вдруг война с империалистическими хищниками?

— Я воевать не пойду никуда! — вдруг хмуро тявкнул Шариков в шкаф.

Швондер оторопел, но быстро оправился и учтиво заметил Шарикову:

— Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет необходимо взяться.

— На учет возьмусь, а воевать — шиш с маслом, — неприязненно ответил Шариков, поправляя бант.

Настала очередь Швондера смутиться. Преображенский злобно и тоскливо переглянулся с Борменталем: «Не угодно ли — мораль». Борменталь многозначительно покачал головой.

— Я тяжко раненный при операции, — хмуро подвыл Шариков, — меня, вишь, как отделали, — и он показал на голову. Поперек лба тянулся очень свежий операционный шрам.

— Вы анархист-индивидуалист? — спросил Швондер, высоко поднимая брови.

— Мне белый билет полагается, — ответил Шариков на это.

— Ну-с, хорошо, не важно пока, — ответил удивленный Швондер, — факт в том, что мы удостоверение профессора отправим в милицию и вам выдадут документ.

— Вот что, э... — внезапно перебил его Филипп Филиппович, очевидно терзаемый какой-то думой, — нет ли у вас в доме свободной комнаты? Я согласен ее купить.

Желтенькие искры появились в карих глазах Швондера.

— Нет, профессор, к величайшему сожалению. И не предвидится.

Филипп Филиппович сжал губы и ничего не сказал. Опять как оглашенный загремел телефон. Филипп Филиппович, ничего не спрашивая, молча сбросил трубку с рогулек так, что она, покрутившись немного, повисла на голубом шнуре. Все вздрогнули. «Изнервничался старик», — подумал Борменталь, а Швондер, сверкая глазами, поклонился и вышел.

Шариков, скрипя сапожным рантом, отправился за ним следом.

Профессор остался наедине с Борменталем. Немного помолчав, Филипп Филиппович мелко потряс головой и заговорил:

— Это кошмар, честное слово. Вы видите? Клянусь вам, дорогой доктор, я измучился за эти две недели больше, чем за последние 14 лет! Вот — тип, я вам доложу...

В отдалении глухо треснуло стекло, затем вспорхнул заглушенный женский визг и тотчас потух. Нечистая сила ша-

рахнула по обоям в коридоре, направляясь к смотровой, там чем-то грохнуло и мгновенно пролетело обратно. Захлопали двери, и в кухне отозвался низкий крик Дарьи Петровны. Затем завыл Шариков.

— Боже мой, еще что-то! — закричал Филипп Филиппович, *бросаясь к дверям.*

— Кот, — сообразил Борменталь и выскочил за ним вслед. Они понеслись по коридору в переднюю, ворвались в нее, оттуда свернули в коридор к уборной и ванной. Из кухни выскочила Зина и вплотную наскочила на Филиппа Филипповича.

— Сколько раз я приказывал — котов чтобы не было, — в бешенстве закричал Филипп Филиппович. — Где он?! Иван Арнольдович, успокойте, ради бога, пациентов в приемной!

— В ванной, в ванной проклятый черт сидит, — задыхаясь, закричала Зина.

Филипп Филиппович навалился на дверь ванной, но та не поддавалась.

— Открыть сию секунду!

В ответ в запертой ванной по стенам что-то запрыгало, обрушились тазы, дикий голос Шарикова глухо проревел за дверью:

— Убью на месте...

Вода зашумела по трубам и полилась. Филипп Филиппович *налег на дверь и стал ее рвать. Распаренная Дарья Петровна* с искаженным лицом появилась на пороге кухни. Затем высокое стекло, выходящее под самым потолком ванной в кухню, треснуло червивой трещиной, и из него вывалились два осколка, а за ними выпал громаднейших размеров кот в тигровых кольцах и с голубым бантом на шее, похожий на городового. Он упал прямо на стол в длинное блюдо, расколов его вдоль, с блюда на пол, затем повернулся на трех ногах, а правой взмахнул, как будто в танце, и тотчас просочился в узкую щель на черную лестницу. Щель расширилась, и кот сменился старушечьей физиономией в платке. Юбка старухи, усеянная белым горохом, оказалась в кухне. Старуха указательным и большим пальцем обтерла запавший рот, припухшими и колючими глазами окинула кухню и произнесла с любопытством:

— О, Господи Иисусе!

Бледный Филипп Филиппович пересек кухню и спросил старуху грозно:

— Что вам надо?

— Говорящую собачку любопытно поглядеть, — ответила старуха заискивающе и перекрестилась.

Филипп Филиппович еще более побледнел, к старухе подошел вплотную и шепнул удушливо:

— Сию секунду из кухни вон!

Старуха попятилась к дверям и заговорила, обидевшись:

— Чтой-то уж больно дерзко, господин профессор.

— Вон, я говорю! — повторил Филипп Филиппович, и глаза его сделались круглыми, как у совы. Он собственноручно трахнул черной дверью за старухой. — Дарья Петровна, я же просил вас!

— Филипп Филиппович, — в отчаянье ответила Дарья Петровна, сжимая обнаженные руки в кулаки, — что же я поделаю? Народ целые дни ломится, хоть все бросай.

Вода в ванной ревела глухо и грозно, но голоса более не было слышно. Вошел доктор Борменталь.

— Иван Арнольдович, убедительно прошу... гм... сколько там пациентов?

— Одиннадцать, — ответил Борменталь.

— Отпустите всех, сегодня принимать не буду.

Филипп Филиппович постучал костяшкой пальца в дверь и крикнул:

— Сию минуту извольте выйти! Зачем вы заперлись?

— Гу-гу! — жалобно и тускло ответил голос Шарикова.

— Какого черта!.. Не слышу, закройте воду.

— Гау! Гау!..

— Да закройте воду! Что он сделал — не понимаю... — приходя в исступление, вскричал Филипп Филиппович.

Зина и Дарья Петровна, открыв дверь, выглядывали из кухни. Филипп Филиппович еще раз прогрохотал кулаком в дверь.

— Вот он! — выкрикнула Дарья Петровна из кухни.

Филипп Филиппович ринулся туда. В разбитое окно под потолком показалась и высунулась в кухню физиономия Полиграфа Полиграфовича. Она была перекошена, глаза плаксивы, а вдоль носа тянулась, пламенея от свежей крови, царапина.

— Вы с ума сошли? — спросил Филипп Филиппович. — Почему вы не выходите?

Шариков и сам в тоске и страхе оглянулся и ответил:

— Защелкнулся я.

— Откройте замок. Что ж, вы никогда замка не видели?

— Да не открывается, окаянный! — испуганно ответил Полиграф.

— Батюшки! Он предохранитель защелкнул! — вскричала Зина и всплеснула руками.

— Там пуговка есть такая! — выкрикивал Филипп Филиппович, стараясь перекричать воду. — Нажмите ее книзу... Вниз нажимайте! Вниз!

Шариков пропал и через минуту вновь появился в окошке.

— Ни пса не видно, — в ужасе пролаял он в окно.

— Да лампу зажгите. Он взбесился!

— Котяра проклятый лампу раскокал, — ответил Шариков, — а я стал его, подлеца, за ноги хватать, кран вывернул, а теперь найти не могу.

Все трое всплеснули руками и в таком положении застыли.

Минут через пять Борменталь, Зина и Дарья Петровна сидели рядышком на мокром ковре, свернутом трубкою у подножия двери, и задними местами прижимали его к щели под дверью, а швейцар Федор с зажженной венчальной свечой Дарьи Петровны по деревянной лестнице лез в слуховое окно. Его зад в крупной серой клетке мелькнул в воздухе и исчез в отверстии.

— Ду... гу-гу! — что-то кричал Шариков сквозь рев воды.

Послышался голос Федора:

— Филипп Филиппович, все равно надо открывать, пусть разойдется, отсосем из кухни.

— Открывайте! — сердито крикнул Филипп Филиппович.

Тройка поднялась с ковра, дверь из ванной нажали, и тотчас волна хлынула в коридорчик. В нем она разделилась на три потока: прямо — в противоположную уборную, направо — в кухню и налево — в переднюю. Шлепая и прыгая, Зина захлопнула в нее дверь. По щиколотку в воде вышел Федор, почему-то улыбаясь. Он был как в клеенке — весь мокрый.

— Еле заткнул, напор большой, — пояснил он.

— Где этот? — спросил Филипп Филиппович и с проклятием поднял одну ногу.

— Боится выходить, — глупо усмехаясь, объяснил Федор.

— Бить будете, папаша? — донесся плаксивый голос Шарикова из ванной.

— Болван! — коротко отозвался Филипп Филиппович.

Зина и Дарья Петровна в подоткнутых до колен юбках, с голыми ногами, и Шариков с швейцаром, босые, с закатанными штанами шваркали мокрыми тряпками по полу кухни и отжимали их в грязные ведра и раковину. Заброшенная плита гудела. Вода уходила через дверь на гулкую лестницу прямо в пролет лестницы и падала в подвал.

Борменталь, вытянувшись на цыпочках, стоял в глубокой луже на паркете в передней и вел переговоры через чуть приоткрытую дверь на цепочке.

— Не будет сегодня приема, профессор нездоров. Будьте добры отойти от двери, у нас труба лопнула...

— А когда же прием? — добивался голос за дверью. — Мне бы только на минуточку...

— Не могу, — Борменталь переступил с носков на каблуки, — профессор лежит, и труба лопнула. Завтра прошу. Зина! Милая! Отсюда вытирайте, а то она на парадную лестницу выльется.

— Тряпки не берут.

— Сейчас кружками вычерпаем, — отозвался Федор, — сейчас.

Звонки следовали один за другим, и Борменталь уже подошвой стоял в воде.

— Когда же операция? — приставал голос и пытался просунуться в щель.

— Труба лопнула...

— Я бы в калошах прошел...

Синеватые силуэты появлялись за дверью.

— Нельзя, прошу завтра.

— А я записан.

— Завтра. Катастрофа с водопроводом.

Федор у ног доктора ерзал в озере, скреб кружкой, а исцарапанный Шариков придумал новый способ. Он скатал громадную тряпку в трубку, лег животом в воду и погнал ее из передней обратно к уборной.

— Что ты, леший, по всей квартире гоняешь? — сердилась Дарья Петровна. — Выливай в раковину.

— Да что в раковину, — ловя руками мутную воду, отвечал Шариков, — она на парадное вылезет.

Из коридора со скрежетом выехала скамеечка, и на ней вытянулся, балансируя, Филипп Филиппович в синих с полосками носках.

— Иван Арнольдович, бросьте вы отвечать. Идите в спальню, я вам туфли дам.

— Ничего, Филипп Филиппович, какие пустяки.

— В калоши станьте.

— Да ничего. Все равно уже ноги мокрые.

— Ах, боже мой! — расстраивался Филипп Филиппович.

— До чего вредное животное! — отозвался вдруг Шариков и выехал на корточках с суповой миской в руке.

Борменталь захлопнул дверь, не выдержал и засмеялся. Ноздри Филиппа Филипповича раздулись, очки вспыхнули.

— Вы про кого говорите? — спросил он у Шарикова с высоты. — Позвольте узнать.

— Про кота я говорю. Такая сволочь, — ответил Шариков, бегая глазами.

— Знаете, Шариков, — переводя дух, отозвался Филипп Филиппович, — я положительно не видал более наглого существа, чем вы.

Борменталь хихикнул.

— Вы, — продолжал Филипп Филиппович, — просто нахал. Как вы смеете это говорить? Вы все это учинили и еще позволяете... Да нет! Это черт знает что такое!

— Шариков, скажите мне, пожалуйста, — заговорил Борменталь, — сколько времени еще вы будете гоняться за котами? Стыдитесь! Ведь это же безобразие! Дикарь!

— Какой я дикарь, — хмуро отозвался Шариков, — ничего я не дикарь. Его терпеть в квартире невозможно. Только и ищет — как бы что своровать. Фарш слопал у Дарьи. Я его поучить хотел.

— Вас бы самого поучить! — ответил Филипп Филиппович, — вы поглядите на свою физиономию в зеркале.

— Чуть глаза не лишил, — мрачно отозвался Шариков, трогая глаз мокрой грязной рукой.

Когда черный от влаги паркет несколько подсох, все зеркала покрылись банным налетом и звонки прекратились. Филипп Филиппович в сафьяновых красных туфлях стоял в передней.

— Вот вам, Федор.

— Покорнейше благодарю.

— Переоденьтесь сейчас же. Да вот что: выпейте у Дарьи Петровны водки.

— Покорнейше благодарю, — Федор помялся, потом сказал: — Тут еще, Филипп Филиппович. Я извиняюсь, уж прямо

и совестно. Только — за стекло в 7-й квартире... Гражданин Шариков камнями швырял...

— В кота? — спросил Филипп Филиппович, хмурясь, как облако.

— То-то что в хозяина квартиры. Он уж в суд грозился подавать.

— Черт!

— Кухарку Шариков ихнюю обнял, а тот его гнать стал. Ну, повздорили.

— Ради бога, вы мне всегда сообщайте сразу о таких вещах! Сколько нужно?

— Полтора.

Филипп Филиппович извлек три блестящих полтинника и вручил Федору.

— Еще за такого мерзавца полтора целковых платить, — послышался в дверях глухой голос, — да он сам...

Филипп Филиппович обернулся, закусил губу и молча нажал на Шарикова, вытеснил его в приемную и запер его на ключ. Шариков изнутри тотчас загрохотал кулаками в дверь.

— Не сметь! — явно больным голосом воскликнул Филипп Филиппович.

— Ну уж это действительно, — многозначительно заметил Федор, — такого наглого я в жизнь свою не видал.

Борменталь как из-под земли вырос.

— Филипп Филиппович, прошу вас, не волнуйтесь.

Энергичный эскулап отпер дверь в приемную, и оттуда донесся его голос:

— Вы что? В кабаке, что ли?

— Это так... — добавил решительный Федор, — вот это так... Да по уху бы еще...

— Ну что вы, Федор, — печально буркнул Филипп Филиппович.

— Помилуйте, вас жалко, Филипп Филиппович.

VII

— Нет, нет и нет! — настойчиво заговорил Борменталь. — Извольте заложить.

— Ну что, ей-богу, — забурчал недовольно Шариков.

— Благодарю вас, доктор, — ласково сказал Филипп Филиппович, — а то мне уже надоело делать замечания.

— Все равно не позволю есть, пока не заложите. Зина, примите майонез у Шарикова.

— Как это так «примите»? — расстроился Шариков. — Я сейчас заложу.

Левой рукой он заслонил блюдо от Зины, а правой запихнул салфетку за воротник и стал похож на клиента в парикмахерской.

— И вилкой, пожалуйста, — добавил Борменталь.

Шариков длинно вздохнул и стал ловить куски осетрины в густом соусе.

— Я еще водочки выпью? — заявил он вопросительно.

— А не будет ли вам? — осведомился Борменталь. — Вы последнее время слишком налегаете на водку.

— Вам жалко? — осведомился Шариков и глянул исподлобья.

— Глупости говорите... — вмешался суровый Филипп Филиппович, но Борменталь его перебил.

— Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, я сам. Вы, Шариков, чепуху говорите, и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более что она и не моя, а Филиппа Филипповича. Просто — это вредно. Это — раз, а второе — вы и без водки держите себя неприлично.

Борменталь указал на заклеенный буфет.

— Зинуша, дайте мне, пожалуйста, еще рыбы, — произнес профессор.

Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на Борменталя, налил рюмочку.

— И другим надо предложить, — сказал Борменталь, — и так: сперва Филиппу Филипповичу, затем мне, а в заключение себе.

Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка, и он разлил водку по рюмкам.

— Вот все у вас, как на параде, — заговорил он, — салфетку — туда, галстук — сюда, да «извините», да «пожалуйста — мерси», а так, чтобы по-настоящему, это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме.

— А как это «по-настоящему»? — позвольте осведомиться.

Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филипповичу, а поднял рюмку и произнес:

— Ну, желаю, чтобы все...

— И вам также, — с некоторой иронией отозвался Борменталь.

Шариков выплеснул содержимое рюмки себе в глотку, сморщился, кусочек хлеба поднес к носу, понюхал, а затем проглотил, причем глаза его налились слезами.

— Стаж, — вдруг отрывисто и как бы в забытьи проговорил Филипп Филиппович.

Борменталь удивленно покосился.

— Виноват...

— Стаж! — повторил Филипп Филиппович и горько качнул головой, — тут уж ничего не поделаешь — Клим.

Борменталь с чрезвычайным интересом остро вгляделся в глаза Филиппа Филипповича:

— Вы полагаете, Филипп Филиппович?

— Нечего полагать, уверен в этом.

— Неужели... — начал Борменталь и остановился, покосившись на Шарикова.

Тот подозрительно нахмурился.

— Später[1]... — негромко сказал Филипп Филиппович.

— Gut[2], — отозвался ассистент.

Зина внесла индейку. Борменталь налил Филиппу Филипповичу красного вина и предложил Шарикову.

— Я не хочу. Я лучше водочки выпью. — Лицо его замаслилось, на лбу проступил пот, он повеселел. И Филипп Филиппович несколько подобрел после вина. Его глаза прояснились, он благосклоннее поглядывал на Шарикова, черная голова которого в салфетке сидела, как муха в сметане.

Борменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность к деятельности.

— Ну-с, что же мы с вами предпримем сегодня вечером? — осведомился он у Шарикова.

Тот поморгал глазами, ответил:

— В цирк пойдем, лучше всего.

— Каждый день в цирк, — благодушно заметил Филипп Филиппович, — это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил.

— В театр я не пойду, — неприязненно отозвался Шариков и перекрестил рот.

---

[1] Позже *(нем.)*.

[2] Хорошо *(нем.)*.

— Икание за столом отбивает у других аппетит, — машинально сообщил Борменталь. — Вы меня извините... Почему, собственно, вам не нравится театр?

Шариков посмотрел в пустую рюмку, как в бинокль, подумал и оттопырил губы.

— Да дурака валяние... Разговаривают, разговаривают... Контрреволюция одна.

Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой частокол. Борменталь только повертел головою.

— Вы бы почитали что-нибудь, — предложил он, — а то, знаете ли...

— Уж и так читаю, читаю... — ответил Шариков и вдруг хищно и быстро налил себе полстакана водки.

— Зина, — тревожно закричал Филипп Филиппович, — убирай, детка, водку. Больше уж не нужна. Что же вы читаете?

В голове у него вдруг мелькнула картина: необитаемый остров, пальма, человек в звериной шкуре и колпаке. «Надо будет Робинзона...»

— Эту... Как ее... переписку Энгельса с этим... как его — дьявола — с Каутским.

Борменталь остановил на полдороге вилку с куском белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку.

Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в Шарикова и спросил:

— Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного?

Шариков пожал плечами.

— Да не согласен я.

— С кем? С Энгельсом или с Каутским?

— С обоими, — ответил Шариков.

— Это замечательно, клянусь Богом. Всех, кто скажет, что другая... А что бы вы со своей стороны могли предложить?

— Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять все, да и поделить...

— Так я и думал, — воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти, — именно так и полагал.

— Вы и способ знаете? — спросил заинтересованный Борменталь.

— Да какой тут способ, — становясь словоохотливым после водки, объяснил Шариков, — дело не хитрое. А то что ж: один в семи комнатах расселился, штанов у него 40 пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет.

— Насчет семи комнат — это вы, конечно, на меня намекаете? — горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович.

Шариков съежился и промолчал.

— Что же, хорошо, я не против дележа. Доктор, скольким вы вчера отказали?

— 39-ти человекам, — тотчас ответил Борменталь.

— Гм... 390 рублей. Ну, грех на трех мужчин. Дам — Зину и Дарью Петровну — считать не станем. С вас, Шариков, 130 рублей. Потрудитесь внести.

— Хорошенькое дело, — ответил Шариков, испугавшись, — это за что такое?

— За кран и за кота, — рявкнул вдруг Филипп Филиппович, выходя из состояния иронического спокойствия.

— Филипп Филиппович, — тревожно воскликнул Борменталь.

— Погодите. За безобразие, которое вы учинили и благодаря которому сорвали прием. Это же нестерпимо. Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, рвет краны. Кто убил кошку у мадам Поласухер? Кто...

— Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице, — подлетел Борменталь.

— Вы стоите... — рычал Филипп Филиппович.

— Да она меня по морде хлопнула, — взвизгнул Шариков, — у меня не казенная морда!

— Потому что вы ее за грудь ущипнули, — закричал Борменталь, опрокинув бокал, — вы стоите...

— Вы стоите на самой низшей ступени развития, — перекричал Филипп Филиппович, — вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить... а в то же время вы наглотались зубного порошку...

— Третьего дня, — подтвердил Борменталь.

— Ну вот-с, — гремел Филипп Филиппович, — зарубите себе на носу, — кстати, почему вы стерли с него цинковую мазь? — что вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества. Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой?

— Все у вас негодяи, — испуганно ответил Шариков, оглушенный нападением с двух сторон.

— Я догадываюсь, — злобно краснея, воскликнул Филипп Филиппович.

— Ну, что же. Ну, Швондер дал. Он не негодяй... Чтоб я развивался...

— Я вижу, как вы развиваетесь после Каутского, — визгливо и пожелтев, крикнул Филипп Филиппович. Тут он яростно нажал на кнопку в стене. — Сегодняшний случай показывает это как нельзя лучше. Зина!

— Зина! — кричал Борменталь.

— Зина! — орал испуганный Шариков.

Зина прибежала бледная.

— Зина, там в приемной... Она в приемной?

— В приемной, — покорно ответил Шариков, — зеленая, как купорос.

— Зеленая книжка...

— Ну, сейчас палить, — отчаянно воскликнул Шариков, — она казенная, из библиотеки!

— Переписка — называется, как его... Энгельса с этим чертом... В печку ее!

Зина улетела.

— Я бы этого Швондера повесил, честное слово, на первом суку, — воскликнул Филипп Филиппович, яростно впиваясь в крыло индюшки, — сидит изумительная дрянь в доме — как нарыв. Мало того, что он пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах...

Шариков злобно и иронически начал коситься на профессора. Филипп Филиппович в свою очередь отправил ему косой взгляд и умолк.

«Ох, ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в квартире», — вдруг пророчески подумал Борменталь.

Зина внесла на круглом блюде рыжую с правого и румяную с левого бока бабу и кофейник.

— Я не буду ее есть, — сразу угрожающе неприязненно заявил Шариков.

— Никто вас не приглашает. Держите себя прилично. Доктор, прошу вас.

В молчании закончился обед.

Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофею, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал на репетир, и они проиграли нежно восемь с четвертью. Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газете на столике.

— Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только, ради бога, посмотрите в программе — котов нету?

— И как такую сволочь в цирк пускают, — хмуро заметил Шариков, покачивая головой.

— Ну мало ли кого туда допускают, — двусмысленно отозвался Филипп Филиппович, — что там у них?

— У Соломонского[1], — стал вычитывать Борменталь, — четыре какие-то... Юссемс[2] и человек мертвой точки.

— Что это за Юссемс? — подозрительно осведомился Филипп Филиппович.

— Бог их знает. Впервые это слово встречаю.

— Ну, тогда лучше смотрите у Никитиных. Необходимо, чтобы было все ясно.

— У Никитиных... У Никитиных... гм... слоны и предел человеческой ловкости.

— Так-с. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков? — недоверчиво спросил Филипп Филиппович у Шарикова.

Тот обиделся.

— Что же, я не понимаю, что ли? Кот — другое дело. Слоны — животные полезные, — ответил Шариков.

— Ну-с, и отлично. Раз полезные, поезжайте и поглядите на них. Ивана Арнольдовича слушаться надо. И ни в какие разговоры там не пускаться в буфете! Иван Арнольдович, покорнейше прошу пива Шарикову не предлагать.

Через 10 минут Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кепку с утиным носом и драповое пальто с поднятым воротни-

---

[1] Первый Госцирк, бывший А. Соломонского (1839—1913), на Цветном бульваре.

[2] Юссемс — воздушные гимнасты.

ком, уехали в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своем кабинете. Он зажег лампу под тяжелым зеленым колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерить комнату. Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зеленым огнем. Руки профессор заложил в карманы брюк, и тяжкая дума терзала его ученый с зализами лоб. Он причмокивал, напевал сквозь зубы «к берегам священным Нила...» и что-то бормотал. Наконец отложил сигару в пепельницу, подошел к шкафу, сплошь состоящему из стекла, и весь кабинет осветил тремя сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа, с третьей стеклянной полки, Филипп Филиппович вынул узкую банку и стал, нахмурившись, рассматривать ее на свет огней. В прозрачной и тяжкой жидкости плавал, не падая на дно, малый беленький комочек, извлеченный из недр Шарикова мозга. Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами, как будто в белом нетонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в пречистенской квартире.

Очень возможно, что высокоученый человек ее и разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув руки в карманы пиджака, на кожу дивана. Он долго палил вторую сигару, совершенно изжевав ее конец, и, наконец, в полном одиночестве, зелено окрашенный, как седой Фауст, воскликнул:

— Ей-богу, я, кажется, решусь.

Никто ему не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки. В Обуховом переулке в 11 часов, как известно, затихает движение. Редко-редко звучали отдаленные шаги запоздавшего пешехода, они постукивали где-то за шторами и угасали. В кабинете нежно звенел под пальцами Филиппа Филипповича репетир в карманчике... Профессор нетерпеливо поджидал возвращения д-ра Борменталя и Шарикова из цирка.

...На следующее утро по той причине, что Полиграф Полиграфович исчез из дома, Борменталь пришел в яростное отчаяние, обругал себя ослом за то, что не спрятал ключ от парадной двери, кричал, что это непростительно, и кончил пожеланием, чтобы Шариков попал под автобус. Филипп

Филиппович сидел в кабинете, запустив пальцы в волосы, и говорил:

— Воображаю, что будет твориться на улице... Вообража-а-ю. От Севильи до Гренады, боже мой.

— Он в домкоме еще может быть, — бесновался Борменталь и куда-то бегал.

В домкоме он поругался с председателем Швондером до того, что тот сел писать заявление в народный суд Хамовнического района, крича при этом, что он не сторож питомца профессора Преображенского, тем более что этот питомец Полиграф не далее как вчера оказался прохвостом, взяв в домкоме якобы на покупку учебников в кооперативе 7 рублей.

Федор, заработавший на этом деле три рубля, обыскал весь дом сверху донизу. Нигде никаких следов Шарикова не было.

Выяснилось только одно — что Полиграф отбыл на рассвете в кепке, шарфе и пальто, захватив с собой бутылку рябиновой в буфете, перчатки доктора Борменталя и все свои документы. Дарья Петровна и Зина, не скрывая, выразили свою бурную радость и надежду, что Шариков больше не вернется. У Дарьи Петровны Шариков занял накануне три рубля пятьдесят копеек.

— Так вам и надо! — рычал Филипп Филиппович, потрясая кулаками. Целый день звенел телефон, звенел телефон на другой день. Врачи принимали необыкновенное количество пациентов, а на третий день вплотную встал в кабинете вопрос о том, что нужно дать знать в милицию, каковая должна разыскать Шарикова в московском омуте.

И только что было произнесено слово «милиция», как благоговейную тишину Обухова переулка прорезал лай грузовика, и окна в доме дрогнули. Затем прозвучал уверенный звонок, и Полиграф Полиграфович вошел с необычайным достоинством, в полном молчании снял кепку, пальто повесил на рога и оказался в новом виде. На нем была кожаная куртка с чужого плеча, кожаные же потертые штаны и английские высокие сапожки со шнуровкой до колен. Неимоверный запах котов тотчас расплылся по всей передней. Преображенский и Борменталь точно по команде скрестили руки на груди, стали у притолоки и ожидали первых сообщений от Полиграфа Полиграфовича. Он пригладил жесткие волосы, кашлянул и осмотрелся так, что видно было: смущение Полиграф желает скрыть при помощи развязности.

— Я, Филипп Филиппович, — начал он наконец говорить, — на должность поступил.

Оба врача издали неопределенный сухой звук горлом и шевельнулись. Преображенский опомнился первый, руку протянул и молвил:

— Бумагу дайте.

Было напечатано:

«Предъявитель сего товарищ Полиграф Полиграфович Шариков действительно состоит заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и пр.) в отделе МКХ[1]».

— Так, — тяжело молвил Филипп Филиппович, — кто же вас устроил? Ах, впрочем, я и сам догадываюсь.

— Ну да, Швондер, — ответил Шариков.

— Позвольте вас спросить — почему от вас так отвратительно пахнет?

Шариков понюхал куртку озабоченно.

— Ну что ж, пахнет... известно: по специальности. Вчера котов душили, душили...

Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Борменталя. Глаза у того напоминали два черных дула, направленных на Шарикова в упор. Без всяких предисловий он двинулся к Шарикову и легко и уверенно взял его за глотку.

— Караул! — пискнул Шариков, бледнея.

— Доктор!

— Ничего не позволю себе дурного, Филипп Филиппович, не беспокойтесь, — железным голосом отозвался Борменталь и завопил: — Зина и Дарья Петровна!

Те появились в передней.

— Ну, повторяйте, — сказал Борменталь и чуть-чуть притиснул горло Шарикова к шубе, — извините меня...

— Ну хорошо, повторяю, — сиплым голосом ответил совершенно пораженный Шариков, вдруг набрал воздуху, дернулся и попытался крикнуть «караул», но крик не вышел, и голова его совсем погрузилась в шубу.

— Доктор, умоляю вас.

Шариков закивал головой, давая знать, что он покоряется и будет повторять.

— ...Извините меня, многоуважаемая Дарья Петровна и Зинаида?..

---

[1] МКХ — Московское коммунальное хозяйство.

— Прокофьевна, — шепнула испуганно Зина.

— Уф, Прокофьевна... — говорил, перехватывая воздух, охрипший Шариков, — ...что я позволил себе...

— Себе гнусную выходку ночью в состоянии опьянения.

— Опьянения...

— Никогда больше не буду...

— Не бу...

— Пустите, пустите его, Иван Арнольдович, — взмолились одновременно обе женщины, — вы его задушите.

Борменталь выпустил Шарикова на свободу и сказал:

— Грузовик вас ждет?

— Нет, — почтительно ответил Полиграф, — он только меня привез.

— Зина, отпустите машину. Теперь имейте в виду следующее: вы опять вернулись в квартиру Филиппа Филипповича?

— Куда же мне еще? — робко ответил Шариков, блуждая глазами.

— Отлично-с. Быть тише воды, ниже травы. В противном случае за каждую безобразную выходку будете иметь со мною дело. Понятно?

— Понятно, — ответил Шариков.

Филипп Филиппович во все время насилия над Шариковым хранил молчание. Как-то жалко он съежился у притолоки и грыз ноготь, потупив глаза в паркет. Потом вдруг поднял их на Шарикова и спросил, глухо и автоматически:

— Что же вы делаете с этими... с убитыми котами?

— На польты пойдут, — ответил Шариков, — из них белок будут делать на рабочий кредит.

Засим в квартире настала тишина и продолжалась двое суток. Полиграф Полиграфович утром уезжал на грузовике, появлялся вечером, тихо обедал в компании Филиппа Филипповича и Борменталя.

Несмотря на то, что Борменталь и Шариков спали в одной комнате — приемной, они не разговаривали друг с другом, так что Борменталь соскучился первый.

Дня через два в квартире появилась худенькая с подрисованными глазами барышня в кремовых чулочках и очень смутилась при виде великолепия квартиры. В потертом пальтишке она шла следом за Шариковым и в передней столкнулась с профессором.

Тот, оторопелый, остановился, прищурился и спросил:

— Позвольте узнать?

— Я с ней расписываюсь, это — наша машинистка, жить со мной будет. Борменталя надо будет выселить из приемной. У него своя квартира есть, — крайне неприязненно и хмуро пояснил Шариков.

Филипп Филиппович поморгал глазами, подумал, глядя на побагровевшую барышню, и очень вежливо пригласил ее:

— Я вас попрошу на минуточку ко мне в кабинет.

— И я с ней пойду, — быстро и подозрительно молвил Шариков.

И тут моментально вынырнул как из-под земли Борменталь.

— Извините, — сказал он, — профессор побеседует с дамой, а мы уж с вами побудем здесь.

— Я не хочу, — злобно отозвался Шариков, пытаясь устремиться вслед за сгорающей от стыда барышней и Филиппом Филипповичем.

— Нет, простите, — Борменталь взял Шарикова за кисть руки, и они пошли в смотровую.

Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни.

Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек.

— Он сказал, негодяй, что ранен в боях, — рыдала барышня.

— Лжет, — непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головою и продолжал: — Мне вас искренне жаль, но нельзя же так с первым встречным только из-за служебного положения... Детка, ведь это безобразие... Вот что... — Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца.

— Я отравлюсь, — плакала барышня, — в столовке солонина каждый день... и угрожает... говорит, что он красный командир... со мною, говорит, будешь жить в роскошной квартире... каждый день ананасы... психика у меня добрая, говорит, я только котов ненавижу. Он у меня кольцо на память взял...

— Ну, ну, ну, — психика добрая... От Севильи до Гренады, — бормотал Филипп Филиппович, — нужно перетерпеть — вы еще так молоды...

— Неужели в этой самой подворотне?

— Ну, берите деньги, когда дают взаймы, — рявкнул Филипп Филиппович.

Затем торжественно распахнулись двери, и Борменталь по приглашению Филиппа Филипповича ввел Шарикова. Тот бегал глазами, и шерсть на голове у него возвышалась, как щетка.

— Подлец, — выговорила барышня, сверкая заплаканными размазанными глазами и полосатым напудренным носом.

— Отчего у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме, — вкрадчиво спросил Филипп Филиппович.

Шариков сыграл ва-банк:

— Я на колчаковских фронтах ранен, — пролаял он.

Барышня встала и с громким плачем вышла.

— Перестаньте! — крикнул вслед Филипп Филиппович. — Погодите, колечко позвольте, — сказал он, обращаясь к Шарикову.

Тот покорно снял с пальца дутое колечко с изумрудом.

— Ну, ладно, — вдруг злобно сказал он, — попомнишь ты у меня. Завтра я тебе устрою сокращение штатов.

— Не бойтесь его, — крикнул вслед Борменталь, — я ему не позволю ничего сделать. — Он повернулся и поглядел на Шарикова так, что тот попятился и стукнулся затылком о шкаф.

— Как ее фамилия? — спросил у него Борменталь. — Фамилия! — заревел он и вдруг стал дик и страшен.

— Васнецова, — ответил Шариков, ища глазами, как бы улизнуть.

— Ежедневно, — взявшись за лацкан шариковской куртки, выговорил Борменталь, — сам лично буду справляться в очистке — не сократили ли гражданку Васнецову. И если только вы... узнаю, что сократили, я вас... собственными руками здесь же пристрелю. Берегитесь, Шариков, — говорю русским языком!

Шариков, не отрываясь, смотрел на борменталевский нос.

— У самих револьверы найдутся... — пробормотал Полиграф, но очень вяло и вдруг, изловчившись, брызнул в дверь.

— Берегитесь! — донесся ему вдогонку борменталевский крик.

Ночь и половину следующего дня висела, как туча перед грозой, тишина. Все молчали. Но на следующий день, когда Полиграф Полиграфович, которого утром кольнуло скверное предчувствие, мрачный уехал на грузовике к месту службы,

профессор Преображенский в совершенно неурочный час принял одного из своих прежних пациентов, толстого и рослого человека в военной форме. Тот настойчиво добивался свидания и добился. Войдя в кабинет, он вежливо щелкнул каблуками к профессору.

— У вас боли, голубчик, возобновились? — спросил осунувшийся Филипп Филиппович. — Садитесь, пожалуйста.

— Мерси. Нет, профессор, — ответил гость, ставя шлем на угол стола, — я вам очень признателен... Гм... Я приехал к вам по другому делу, Филипп Филиппович... питая большое уважение... гм... предупредить. Явная ерунда. Просто он прохвост... — пациент полез в портфель и вынул бумагу, — хорошо, что мне непосредственно доложили...

Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх очков и принялся читать. Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду. «...а также угрожая убить председателя домкома товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие. И произносит контрреволюционные речи, и даже Энгельса приказал своей социал-прислужнице Зинаиде Прокофьевне Буниной спалить в печке, как явный меньшевик со своим ассистентом Борменталем Иваном Арнольдовичем, который тайно, не прописанный, проживает в его квартире. Подпись заведующего подотделом очистки П. П. Шарикова — удостоверяю. Председатель домкома Швондер, секретарь Пеструхин».

— Вы позволите мне это оставить у себя? — спросил Филипп Филиппович, покрываясь пятнами. — Или, виноват, может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход делу?

— Извините, профессор, — очень обиделся пациент и раздул ноздри, — вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я... — И тут он стал надуваться, как индейский петух.

— Ну извините, извините, голубчик! — забормотал Филипп Филиппович, — простите, я, право, не хотел вас обидеть. Голубчик, не сердитесь, меня он так задергал...

— Я думаю, — совершенно отошел пациент, — но какая все-таки дрянь! Любопытно было бы взглянуть на него. В Москве прямо легенды какие-то про вас рассказывают...

Филипп Филиппович только отчаянно махнул рукой. Тут пациент разглядел, что профессор сгорбился и даже как будто поседел за последнее время.

* * *

Преступление созрело и упало как камень, как это обычно и бывает. С сосущим нехорошим сердцем вернулся в грузовике Полиграф Полиграфович. Голос Филиппа Филипповича пригласил его в смотровую. Удивленный Шариков пришел и с неясным страхом заглянул в дуло на лице Борменталя, а затем на Филиппа Филипповича. Туча ходила вокруг ассистента, и левая его рука с папироской чуть вздрагивала на блестящей ручке акушерского кресла.

Филипп Филиппович со спокойствием очень зловещим сказал:

— Сейчас заберите вещи: брюки, пальто, все, что вам нужно, — и вон из квартиры!

— Как это так? — искренне удивился Шариков.

— Вон из квартиры — сегодня, — монотонно повторил Филипп Филиппович, щурясь на свои ногти.

Какой-то нечистый дух вселился в Полиграфа Полиграфовича; очевидно, гибель уже караулила его, и рок стоял у него за плечами. Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто:

— Да что такое, в самом деле! Что я, управы, что ли, не найду на вас? Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть.

— Убирайтесь из квартиры, — задушевно шепнул Филипп Филиппович.

Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филиппу Филипповичу обкусанный с нестерпимым кошачьим запахом шиш. А затем правой рукой по адресу опасного Борменталя из кармана вынул револьвер. Папироса Борменталя упала падучей звездой, а через несколько секунд прыгающий по битым стеклам Филипп Филиппович в ужасе метался от шкафа к кушетке. На ней, распростертый и хрипящий, лежал заведующий подотделом очистки, а на груди у него помещался хирург Борменталь и душил его беленькой малой подушкой.

Через несколько минут доктор Борменталь с не своим лицом прошел на передний ход и рядом с кнопкой звонка наклеил записку:

«СЕГОДНЯ ПРИЕМА ПО СЛУЧАЮ БОЛЕЗНИ ПРОФЕССОРА НЕТ. ПРОСЯТ НЕ БЕСПОКОИТЬ ЗВОНКАМИ».

Блестящим перочинным ножичком он перерезал провод звонка, в зеркало осмотрел исцарапанное в кровь свое лицо

и изодранные, мелкой дрожью прыгающие руки. Затем он появился в дверях кухни и настороженным Зине и Дарье Петровне сказал:

— Профессор просит вас никуда не уходить из квартиры.

— Хорошо, — робко ответили Зина и Дарья Петровна.

— Позвольте мне запереть дверь на черный ход и забрать ключ, — заговорил Борменталь, прячась за дверь в тень и прикрывая ладонью лицо. — Это временно, не из недоверия к вам. Но кто-нибудь придет, а вы не выдержите и откроете, а нам нельзя мешать. Мы заняты.

— Хорошо, — ответили женщины и сейчас же стали бледными. Борменталь запер черный ход, запер парадный, запер дверь из коридора в переднюю, и шаги его пропали у смотровой.

Тишина покрыла квартиру, заползла во все углы. Полезли сумерки, скверные, настороженные, одним словом, мрак. Правда, впоследствии соседи через двор говорили, что будто бы в окнах смотровой, выходящих во двор, в этот вечер горели у Преображенского все огни, и даже будто бы они видели белый колпак самого профессора... Проверить трудно. Правда, и Зина, когда уже кончилось, болтала, что в кабинете у камина, после того как Борменталь и профессор вышли из смотровой, ее до смерти напугал Иван Арнольдович. Якобы он сидел в кабинете на корточках и жег в камине собственноручно тетрадь в синей обложке из той пачки, в которой записывались истории болезни профессорских пациентов! Лицо будто бы у доктора было совершенно зеленое и все, ну, все... вдребезги исцарапанное. И Филипп Филиппович в тот вечер сам на себя не был похож. И еще, что... впрочем, может быть, невинная девушка из пречистенской квартиры и врет...

За одно можно поручиться: в квартире в этот вечер была полнейшая и ужаснейшая тишина.

Конец повести

ЭПИЛОГ

Ночь в ночь через десять дней после сражения в смотровой в квартире профессора Преображенского, что в Обуховом переулке, ударил резкий звонок.

— Уголовная милиция и следователь. Благоволите открыть.

Забегали шаги, застучали, стали входить, и в сверкающей от огней приемной с заново застекленными шкафами оказалась масса народу. Двое в милицейской форме, один в черном пальто, с портфелем, злорадный и бледный председатель Швондер, юноша-женщина, швейцар Федор, Зина, Дарья Петровна и полуодетый Борменталь, стыдливо прикрывающий горло без галстука.

Дверь из кабинета пропустила Филиппа Филипповича. Он вышел в известном всем лазоревом халате, и тут же все могли убедиться сразу, что Филипп Филиппович очень поправился в последнюю неделю. Прежний властный и энергичный Филипп Филиппович, полный достоинства, предстал перед ночными гостями и извинился, что он в халате.

— Не стесняйтесь, профессор, — очень смущенно отозвался человек в штатском, затем он замялся и заговорил. — Очень неприятно. У нас есть ордер на обыск в вашей квартире и, — человек покосился на усы Филиппа Филипповича и докончил: — и арест, в зависимости от результата.

Филипп Филиппович прищурился и спросил:

— А по какому обвинению, смею спросить, и кого?

Человек почесал щеку и стал вычитывать по бумажке из портфеля.

— По обвинению Преображенского, Борменталя, Зинаиды Буниной и Дарьи Ивановой в убийстве заведующего подотделом очистки МКХ Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

Рыдания Зины покрыли конец его слов. Произошло движение.

— Ничего я не понимаю, — ответил Филипп Филиппович, королевски вздергивая плечи, — какого такого Шарикова? Ах, виноват, этого моего пса... которого я оперировал?

— Простите, профессор, не пса, а когда он уже был человеком. Вот в чем дело.

— То есть он говорил? — спросил Филипп Филиппович. — Это еще не значит быть человеком. Впрочем, это неважно. Шарик и сейчас существует, и никто его решительно не убивал.

— Профессор, — очень удивленно заговорил черный человечек и поднял брови, — тогда его придется предъявить. Десятый день как пропал, а данные, извините меня, очень нехорошие.

— Доктор Борменталь, благоволите предъявить Шарика следователю, — приказал Филипп Филиппович, овладевая ордером.

Доктор Борменталь, криво улыбнувшись, вышел.

Когда он вернулся и посвистал, за ним из двери кабинета выскочил пес странного качества. Пятнами он был лыс, пятнами на нем отрастала шерсть. Вышел он как ученый циркач, на задних лапах, потом опустился на все четыре и осмотрелся. Гробовое молчание застыло в приемной, как желе. Кошмарного вида пес с багровым шрамом на лбу вновь поднялся на задние лапы и, улыбнувшись, сел в кресло.

Второй милиционер вдруг перекрестился размашистым крестом и, отступив, сразу отдавил Зине обе ноги.

Человек в черном, не закрывая рта, выговорил такое:

— Как же, позвольте?.. Он служил в очистке...

— Я его туда не назначал, — ответил Филипп Филиппович, — ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.

— Я ничего не понимаю, — растерянно сказал черный и обратился к первому милиционеру. — Это он?

— Он, — беззвучно ответил милицейский. — Форменно он.

— Он самый, — послышался голос Федора, — только, сволочь, опять оброс.

— Он же говорил... кхе... кхе...

— И сейчас еще говорит, но только все меньше и меньше, так что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет.

— Но почему же? — тихо осведомился черный человек.

Филипп Филиппович пожал плечами.

— Наука еще не знает способов обращать зверей в людей. Вот я попробовал, да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм[1].

— Неприличными словами не выражаться, — вдруг гаркнул пес с кресла и встал.

Черный человек внезапно побледнел, уронил портфель и стал падать на бок, милицейский подхватил его сбоку, а Федор сзади. Произошла суматоха, и в ней отчетливей всего были слышны три фразы:

---

[1] *Атави́зм* — появление у потомков признаков, свойственных их отдаленным предкам (обычно так говорят о явлениях уродства, вырождения).

Филиппа Филипповича: — Валерьянки. Это обморок.

Доктора Борменталя: — Швондера я собственноручно сброшу с лестницы, если он еще раз появится в квартире профессора Преображенского.

И Швондера: — Прошу занести эти слова в протокол.

* * *

Серые гармонии труб грели. Шторы скрыли густую пречистенскую ночь с ее одинокою звездою. Высшее существо, важный песий благотворитель сидел в кресле, а пес Шарик, привалившись, лежал на ковре у кожаного дивана. От мартовского тумана пес по утрам страдал головными болями, которые мучили его кольцом по головному шву. Но от тепла к вечеру они проходили. И сейчас легчало, легчало, и мысли в голове у пса текли складные и теплые.

«Так свезло мне, так свезло, — думал он, задремывая, — просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моем происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка, царство ей небесное, старушке. Правда, голову всю исполосовали зачем-то, но это до свадьбы заживет. Нам на это нечего смотреть».

В отдалении глухо позвякивали склянки. Тяпнутый убирал в шкафах смотровой.

Седой же волшебник сидел и напевал:

— К берегам священным Нила...

Пес видел страшные дела. Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги, — упорный человек, настойчивый, все чего-то добивался, резал, рассматривал, щурился и пел:

— К берегам священным Нила...

Январь — март 1925 г.
Москва

Михаил Александрович

ШОЛОХОВ

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Первая послевоенная весна была на Верхнем Дону на редкость дружная и напористая. В конце марта из Приазовья подули теплые ветры, и уже через двое суток начисто оголились пески левобережья Дона, в степи вспухли набитые снегом лога и балки, взломав лед, бешено взыграли степные речки, и дороги стали почти совсем непроездны.

В эту недобрую пору бездорожья мне пришлось ехать в станицу Букановскую. И расстояние небольшое — всего лишь около шестидесяти километров, — но одолеть их оказалось не так-то просто. Мы с товарищем выехали до восхода солнца. Пара сытых лошадей, в струну натягивая постромки, еле тащила тяжелую бричку. Колеса по самую ступицу[1] проваливались в отсыревший, перемешанный со снегом и льдом песок, и через час на лошадиных боках и стегнах[2], под тонкими ремнями шлеек, уже показались белые, пышные хлопья мыла, а в утреннем свежем воздухе остро и пьяняще запахло лошадиным потом и согретым деготьком щедро смазанной конской сбруи.

Там, где было особенно трудно лошадям, мы слезали с брички, шли пешком. Под сапогами хлюпал размокший снег, идти было тяжело, но по обочинам дороги все еще держался хрустально поблескивающий на солнце ледок, и там пробираться было еще труднее. Только часов через шесть покрыли расстояние в тридцать километров, подъехали к переправе через речку Еланку.

Небольшая, местами пересыхающая летом речушка против хутора Моховского в заболоченной, поросшей ольхами пойме разлилась на целый километр. Переправляться надо было на утлой плоскодонке, поднимавшей не больше трех человек. Мы отпустили лошадей. На той стороне в колхозном сарае нас

---

[1] *Ступи́ца* — гнездо колеса, в котором ходит ось.

[2] *Стегно́* — верхняя часть ноги, бедро.

ожидал старенький, видавший виды «виллис»[1], оставленный там еще зимою. Вдвоем с шофером мы не без опасения сели в ветхую лодчонку. Товарищ с вещами остался на берегу. Едва отчалили, как из прогнившего днища в разных местах фонтанчиками забила вода. Подручными средствами конопатили ненадежную посудину и вычерпывали из нее воду, пока не доехали. Через час мы были на той стороне Еланки. Шофер пригнал из хутора машину, подошел к лодке и сказал, берясь за весло:

— Если это проклятое корыто не развалится на воде, — часа через два приедем, раньше не ждите.

Хутор раскинулся далеко в стороне, и возле причала стояла такая тишина, какая бывает в безлюдных местах только глухою осенью и в самом начале весны. От воды тянуло сыростью, терпкой горечью гниющей ольхи, а с дальних прихоперских степей, тонувших в сиреневой дымке тумана, легкий ветерок нес извечно юный, еле уловимый аромат недавно освободившейся из-под снега земли.

Неподалеку, на прибрежном песке, лежал поваленный плетень. Я присел на него, хотел закурить, но, сунув руку в правый карман ватной стеганки, к великому огорчению обнаружил, что пачка «Беломора» совершенно размокла. Во время переправы волна хлестнула через борт низко сидевшей лодки, по пояс окатила меня мутной водой. Тогда мне некогда было думать о папиросах, надо было, бросив весло, побыстрее вычерпывать воду, чтобы лодка не затонула, а теперь, горько досадуя на свою оплошность, я бережно извлек из кармана раскисшую пачку, присел на корточки и стал по одной раскладывать на плетне влажные, побуревшие папиросы.

Был полдень. Солнце светило горячо, как в мае. Я надеялся, что папиросы скоро высохнут. Солнце светило так горячо, что я уже пожалел о том, что надел в дорогу солдатские ватные штаны и стеганку. Это был первый после зимы по-настоящему теплый день. Хорошо было сидеть на плетне вот так, одному, целиком покорясь тишине и одиночеству, и, сняв с головы старую солдатскую ушанку, сушить на ветерке мокрые после тяжелой гребли волосы, бездумно следить за проплывающими в блеклой синеве белыми, грудастыми облаками.

Вскоре я увидел, как из-за крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вел за руку маленького мальчика, судя по росту — лет пяти-шести, не больше. Они устало брели

[1] *«Ви́ллис»* — марка армейских автомобилей США.

по направлению к переправе, но, поравнявшись с машиной, повернули ко мне. Высокий, сутуловатый мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушенным баском:

— Здорово, браток!

— Здравствуй. — Я пожал протянутую мне большую, черствую руку.

Мужчина наклонился к мальчику, сказал:

— Поздоровайся с дядей, сынок. Он, видать, такой же шофер, как и твой папанька. Только мы с тобой на грузовой ездили, а он вот эту маленькую машину гоняет.

Глядя мне прямо в глаза светлыми, как небушко, глазами, чуть-чуть улыбаясь, мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку. Я легонько потряс ее, спросил:

— Что же это у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, а ты замерзаешь?

С трогательной детской доверчивостью малыш прижался к моим коленям, удивленно приподнял белесые бровки.

— Какой же я старик, дядя? Я вовсе мальчик, и я вовсе не замерзаю, а руки холодные — снежки катал потому что.

Сняв со спины тощий вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со мною, отец сказал:

— Беда мне с этим пассажиром! Через него и я подбился. Широко шагнешь, — он уже на рысь переходит, вот и изволь к такому пехотинцу приноравливаться. Там, где мне надо раз шагнуть, — я три раза шагаю, так и идем с ним враздробь, как конь с черепахой. А тут ведь за ним глаз да глаз нужен. Чуть отвернешься, а он уже по лужине бредет или леденику отломит и сосет вместо конфеты. Нет, не мущинское это дело с такими пассажирами путешествовать, да еще походным порядком. — Он помолчал немного, потом спросил: — А ты что же, браток, свое начальство ждешь?

Мне было неудобно разуверять его, что я не шофер, и я ответил:

— Приходится ждать.

— С той стороны подъедут?

— Да.

— Не знаешь, скоро ли подойдет лодка?

— Часа через два.

— Порядком. Ну что ж, пока отдохнем, спешить мне некуда. А я иду мимо, гляжу: свой брат шофер загорает. Дай, думаю, зайду, перекурим вместе. Одному-то и курить и помирать

тошно. А ты богато живешь, папироски куришь. Подмочил их, стало быть? Ну, брат, табак моченый, что конь леченый, никуда не годится. Давай-ка лучше моего крепачка закурим.

Он достал из кармана защитных летних штанов свернутый в трубку малиновый шелковый потертый кисет, развернул его, и я успел прочитать вышитую на уголке надпись: «Дорогому бойцу от ученицы 6-го класса Лебедянской средней школы».

Мы закурили крепчайшего самосада и долго молчали. Я хотел было спросить, куда он идет с ребенком, какая нужда его гонит в такую распутицу, но он опередил меня вопросом:

— Ты что же, всю войну за баранкой?

— Почти всю.

— На фронте?

— Да.

— Ну, и мне там пришлось, браток, хлебнуть горюшка по ноздри и выше.

Он положил на колени большие темные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе... Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного собеседника.

Выломав из плетня сухую искривленную хворостинку, он с минуту молча водил ею по песку, вычерчивал какие-то замысловатые фигуры, а потом заговорил:

— Иной раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь: «За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказнила?» Нету мне ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке... Нету и не дождусь! — И вдруг спохватился: ласково подталкивая сынишку, сказал: — Пойди, милок, поиграйся возле воды, у большой воды для ребятишек всегда какая-нибудь добыча найдется. Только гляди ноги не промочи!

Еще когда мы в молчании курили, я, украдкой рассматривая отца и сынишку, с удивлением отметил про себя одно странное, на мой взгляд, обстоятельство. Мальчик был одет просто, но добротно: и в том, как сидел на нем подбитый легкой, поношенной цигейкой длиннополый пиджачок, и в том, что крохотные сапожки были сшиты с расчетом надевать их на шерстяной носок, и очень искусный шов на разорванном когда-то рукаве пиджачка, — все выдавало женскую заботу,

умелые материнские руки. А отец выглядел иначе: прожженный в нескольких местах ватник был небрежно и грубо заштопан, латка на выношенных защитных штанах не пришита как следует, а, скорее, наживлена широкими, мужскими стежками; на нем были почти новые солдатские ботинки, но плотные шерстяные носки изъедены молью, их не коснулась женская рука... Еще тогда я подумал: «Или вдовец, или живет не в ладах с женой».

Но вот он, проводив глазами сынишку, глухо покашлял, снова заговорил, и я весь превратился в слух:

— Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сам я уроженец Воронежской губернии, с тысяча девятьсотого года рождения. В гражданскую войну был в Красной Армии, в дивизии Киквидзе. В голодный двадцать второй год подался на Кубань, ишачить на кулаков, потому и уцелел. А отец с матерью и сестренкой дома померли от голода. Остался один. Родни — хоть шаром покати, — нигде, никого, ни одной души. Ну, через год вернулся с Кубани, хатенку продал, поехал в Воронеж. Поначалу работал в плотницкой артели, потом пошел на завод, выучился на слесаря. Вскорости женился. Жена воспитывалась в детском доме. Сиротка. Хорошая попалась мне девка! Смирная, веселая, угодливая и умница, не мне чета. Она с детства узнала, почем фунт лиха стоит, — может, это и сказалось на ее характере. Со стороны глядеть — не так уж она была из себя видная, но ведь я-то не со стороны на нее глядел, а в упор. И не было для меня красивей и желанней ее, не было на свете и не будет!

Придешь с работы усталый, а иной раз и злой, как черт. Нет, на грубое слово она тебе не нагрубит в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя усадить, бьется, чтобы и при малом достатке сладкий кусок тебе сготовить. Смотришь на нее и отходишь сердцем, а спустя немного обнимешь ее, скажешь: «Прости, милая Иринка, нахамил я тебе. Понимаешь, с работой у меня нынче не заладилось». И опять у нас мир, и у меня покой на душе. А ты знаешь, браток, что это означает для работы? Утром я встаю как встрепанный, иду на завод, и любая работа у меня в руках кипит и спорится! Вот что это означает — иметь умную жену-подругу.

Приходилось кое-когда после получки и выпивать с товарищами. Кое-когда бывало и так, что идешь домой и такие кренделя ногами выписываешь, что со стороны, небось, гля-

деть страшно. Тесна тебе улица, да и шабаш, не говоря уже про переулки. Парень я был тогда здоровый и сильный, как дьявол, выпить мог много, а до дому всегда добирался на своих ногах. Но случалось иной раз и так, что последний перегон шел на первой скорости, то есть на четвереньках, однако же добирался. И опять же ни тебе упрека, ни крика, ни скандала. Только посмеивается моя Иринка, да и то осторожно, чтобы я спьяну не обиделся. Разует меня и шепчет: «Ложись к стенке, Андрюша, а то сонный упадешь с кровати». Ну, я, как куль с овсом, упаду, и все поплывет перед глазами. Только слышу сквозь сон, что она по голове меня тихонько гладит рукою и шепчет что-то ласковое — жалеет, значит...

Утром она меня часа за два до работы на ноги подымет, чтобы я размялся. Знает, что на похмелье я ничего есть не буду, ну, достанет огурец соленый или еще что-нибудь по легости, нальет граненый стаканчик водки: «Похмелись, Андрюша, только больше не надо, мой милый». Да разве же можно не оправдать такого доверия? Выпью, поблагодарю ее без слов, одними глазами, поцелую и пошел на работу как миленький. А скажи она мне, хмельному, слово поперек, крикни или обругайся, и я бы, как Бог свят, и на второй день напился. Так и бывает в иных семьях, где жена дура; насмотрелся я на таких шалав, знаю.

Вскорости дети у нас пошли. Сначала сынишка родился, через года́ еще две девочки... Тут я от товарищей откололся. Всю получку домой несу — семья стала числом порядочная, не до выпивки. В выходной кружку пива выпью и на этом ставлю точку.

В двадцать девятом году завлекли меня машины. Изучил автодело, сел за баранку на грузовой. Потом втянулся и уже не захотел возвращаться на завод. За рулем показалось мне веселее. Так и прожил десять лет и не заметил, как они прошли. Прошли, как будто во сне. Да что десять лет! Спроси у любого пожилого человека, приметил он, как жизнь прожил? Ни черта он не приметил! Прошлое — вот как та дальняя степь в дымке. Утром я шел по ней, все было ясно кругом, а отшагал двадцать километров, и вот уже затянула степь дымка, и отсюда уже не отличишь лес от бурьяна, пашню от травокоса.

Работал я эти десять лет и день и ночь. Зарабатывал хорошо, и жили мы не хуже людей. И дети радовали: все трое учились на «отлично», а старшенький, Анатолий, оказался

таким способным к математике, что про него даже в центральной газете писали. Откуда у него проявился такой огромадный талант к этой науке, я и сам, браток, не знаю. Только очень мне это было лестно, и гордился я им — страсть, как гордился!

За десять лет скопили мы немного деньжонок и перед войной поставили себе домишко об двух комнатках, с кладовкой и коридорчиком. Ирина купила двух коз. Чего еще больше надо? Дети кашу едят с молоком, крыша над головою есть, одеты, обуты — стало быть, все в порядке. Только построился я неловко. Отвели мне участок в шесть соток неподалеку от авиазавода. Будь моя хибарка в другом месте, может, и жизнь сложилась бы иначе...

А тут вот она, война. На второй день повестка из военкомата, а на третий — пожалуйте в эшелон. Провожали меня все четверо моих: Ирина, Анатолий и дочери — Настенька и Олюшка. Все ребята держались молодцом. Ну, у дочерей, не без того, посверкивали слезинки. Анатолий только плечами передергивал, как от холода, ему к тому времени уже семнадцатый год шел, а Ирина моя... Такой я ее за все семнадцать лет нашей совместной жизни ни разу не видал. Ночью у меня на плече и на груди рубаха от ее слез не просыхала, и утром такая же история... Пришли на вокзал, а я на нее от жалости глядеть не могу: губы от слез распухли, волосы из-под платка выбились, и глаза мутные, несмысленные, как у тронутого умом человека. Командиры объявляют посадку, а она упала мне на грудь, руки на моей шее сцепила и вся дрожит, будто подрубленное дерево... И детишки ее уговаривают, и я, — ничего не помогает! Другие женщины с мужьями, с сыновьями разговаривают, а моя прижалась ко мне, как лист к ветке, и только вся дрожит, а слова вымолвить не может. Я и говорю ей: «Возьми же себя в руки, милая моя Иринка! Скажи мне хоть слово на прощанье». Она и говорит, и за каждым словом всхлипывает: «Родненький мой... Андрюша... не увидимся... мы с тобой... больше... на этом... свете...»

Тут у самого от жалости к ней сердце на части разрывается, а тут она с такими словами. Должна бы понимать, что мне тоже нелегко с ними расставаться, не к теще на блины собрался. Зло меня тут взяло. Силой я разнял ее руки и легонько толкнул в плечи. Толкнул вроде легонько, а сила-то у меня была дурачья; она попятилась, шага три ступнула

назад и опять ко мне идет мелкими шажками, руки протягивает, а я кричу ей: «Да разве же так прощаются? Что ты меня раньше времени заживо хоронишь?!» Ну, опять обнял ее, вижу, что она не в себе...

Он на полуслове резко оборвал рассказ, и в наступившей тишине я услышал, как у него что-то клокочет и булькает в горле. Чужое волнение передалось и мне. Искоса взглянул я на рассказчика, но ни единой слезинки не увидел в его словно бы мертвых, потухших глазах. Он сидел, понуро склонив голову, только большие, безвольно опущенные руки мелко дрожали, дрожал подбородок, дрожали твердые губы...

— Не надо, друг, не вспоминай! — тихо проговорил я, но он, наверно, не слышал моих слов и, каким-то огромным усилием воли поборов волнение, вдруг сказал охрипшим, странно изменившимся голосом:

— До самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а не прощу себе, что тогда ее оттолкнул!

Он снова и надолго замолчал. Пытался свернуть папиросу, но газетная бумага рвалась, табак сыпался на колени. Наконец он все же кое-как сделал крученку, несколько раз жадно затянулся и, покашливая, продолжал:

— Оторвался я от Ирины, взял ее лицо в ладони, целую, а у нее губы, как лед. С детишками попрощался, бегу к вагону, уже на ходу вскочил на подножку. Поезд взял с места тихо-тихо: проезжать мне мимо своих. Гляжу, детишки мои осиротелые в кучку сбились, руками мне машут, хотят улыбаться, а оно не выходит. А Ирина прижала руки к груди, губы белые как мел, что-то она шепчет, смотрит на меня, не сморгнет, а сама вся вперед клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра... Такой она и в памяти мне на всю жизнь осталась: руки, прижатые к груди, белые губы и широко раскрытые глаза, полные слез... По большей части такой я ее и во сне всегда вижу... Зачем я ее тогда оттолкнул? Сердце до сих пор, как вспомню, будто тупым ножом режут...

Формировали нас под Белой Церковью, на Украине. Дали мне «ЗИС-5». На нем и поехал на фронт. Ну, про войну тебе нечего рассказывать, сам видал и знаешь, как оно было поначалу. От своих письма получал часто, а сам крылатки посылал редко. Бывало, напишешь, что, мол, все в порядке, помаленьку воюем и хотя сейчас отступаем, но скоро соберемся с силами и тогда дадим фрицам прикурить. А что еще можно

было писать? Тошное время было, не до писаний было. Да и признаться, и сам я не охотник был на жалобных струнах играть и терпеть не мог этаких слюнявых, какие каждый день, к делу и не к делу, женам и милахам писали, сопли по бумаге размазывали. «Трудно, дескать, ему, тяжело, того и гляди убьют». И вот он, сука в штанах, жалуется, сочувствия ищет, слюнявится, а того не хочет понять, что этим разнесчастным бабенкам и детишкам не слаще нашего в тылу приходилось. Вся держава на них оперлась! Какие же это плечи нашим женщинам и детишкам надо было иметь, чтобы под такой тяжестью не согнуться? А вот не согнулись, выстояли! А такой хлюст, мокрая душонка, напишет жалостное письмо — и трудящую женщину как рюхой под ноги. Она после этого письма, горемыка, и руки опустит, и работа ей не в работу. Нет! На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если к этому нужда позвала. А если в тебе бабьей закваски больше, чем мужской, то надевай юбку со сборками, чтобы свой тощий зад прикрыть попышнее, чтобы хоть сзади на бабу был похож, и ступай свеклу полоть или коров доить, а на фронте ты такой не нужен, там и без тебя вони много!

Только не пришлось мне и года повоевать... Два раза за это время был ранен, но оба раза по легости: один раз — в мякоть руки, другой — в ногу; первый раз — пулей с самолета, другой — осколком снаряда. Дырявил немец мне машину и сверху и с боков, но мне, браток, везло на первых порах. Везло-везло, да и довезло до самой ручки... Попал я в плен под Лозовеньками в мае сорок второго года при таком неловком случае: немец тогда здорово наступал, и оказалась одна наша стодвадцатидвухмиллиметровая гаубичная батарея почти без снарядов; нагрузили мою машину снарядами по самую завязку, и сам я на погрузке работал так, что гимнастерка к лопаткам прикипала. Надо было сильно спешить, потому что бой приближался к нам: слева чьи-то танки гремят, справа стрельба идет, впереди стрельба, и уже начало попахивать жареным...

Командир нашей автороты спрашивает: «Проскочишь, Соколов?» А тут и спрашивать нечего было. Там товарищи мои, может, погибают, а я тут чухаться буду? «Какой разговор! — отвечаю ему. — Я должен проскочить, и баста!» — «Ну, — говорит, — дуй! Жми на всю железку!»

Я и подул. В жизни так не ездил, как на этот раз! Знал, что не картошку везу, что с этим грузом осторожность в езде нужна, но какая же тут может быть осторожность, когда там ребята с пустыми руками воюют, когда дорога вся насквозь артогнем простреливается. Пробежал километров шесть, скоро мне уже на проселок сворачивать, чтобы пробраться к балке, где батарея стояла, а тут гляжу — мать честная! — пехотка наша и справа и слева от грейдера[1] по чистому полю сыпет, и уже мины рвутся по их порядкам. Что мне делать? Не поворачивать же назад? Давлю вовсю! И до батареи остался какой-нибудь километр, уже свернул я на проселок, а добраться до своих мне, браток, не пришлось... Видно, из дальнобойного тяжелый положил он мне возле машины. Не слыхал я ни разрыва, ничего, только в голове будто что-то *лопнуло, и больше ничего не помню. Как остался я живой* тогда, — не понимаю, и сколько времени пролежал метрах в восьми от кювета, — не соображу. Очнулся, а встать на ноги не могу: голова у меня дергается, всего трясет, будто в лихорадке, в глазах темень, в левом плече что-то скрипит и похрустывает, и боль во всем теле такая, как, скажи, меня двое суток подряд били чем попадя. Долго я по земле на животе елозил, но кое-как встал. Однако опять же ничего не пойму, где я и что со мной стряслось. Память-то мне начисто отшибло. А обратно лечь боюсь. Боюсь, что ляжу и больше не встану, помру. Стою и качаюсь из стороны в сторону, как тополь в бурю.

Когда пришел в себя, опомнился и огляделся как следует, — сердце будто кто-то плоскогубцами сжал: кругом снаряды валяются, какие я вез, неподалеку моя машина, вся в клочья побитая, лежит вверх колесами, а бой-то уже сзади меня идет... Это как?

Нечего греха таить, вот тут-то у меня ноги сами собою подкосились, и я упал как срезанный, потому что понял, что я — уже в окружении, а скорее сказать — в плену у фашистов. Вот как оно на войне бывает...

Ох, браток, нелегкое это дело — понять, что ты не по своей воле в плену! Кто этого на своей шкуре не испытал, тому не сразу в душу въедешь, чтобы до него по-человечески дошло, что означает эта штука.

---

[1] *Грéйдер* — здесь: грейдерная дорога — для тяжелых и самоходных машин.

Ну вот, стало быть, лежу я и слышу: танки гремят. Четыре немецких средних танка на полном газу прошли мимо меня туда, откуда я со снарядами выехал... Каково это было переживать? Потом тягачи с пушками потянулись, полевая кухня проехала, потом пехота пошла — не густо, так, не больше одной битой роты. Погляжу, погляжу на них краем глаза и опять прижмусь щекой к земле, глаза закрою: тошно мне на них глядеть, и на сердце тошно...

Думал, все прошли, приподнял голову, а их шесть автоматчиков — вот они, шагают метрах в ста от меня. Гляжу — сворачивают с дороги и прямо ко мне. Идут молчаком. «Вот, — думаю, — и смерть моя на подходе». Я сел — неохота лежа помирать, — потом встал. Один из них, не доходя шагов нескольких, плечом дернул, автомат снял. И вот как потешно человек устроен: никакой паники, ни сердечной робости в эту минуту у меня не было. Только гляжу на него и думаю: «Сейчас даст он по мне короткую очередь, а куда будет бить? В голову или поперек груди?» Как будто мне это не один черт, какое место он в моем теле прострочит.

Молодой парень, собою ладный такой, чернявый, а губы тонкие, в нитку, и глаза с прищуром. «Этот убьет и не задумается», — соображаю про себя. Так оно и есть: вскинул он автомат, — я ему прямо в глаза гляжу, молчу, — а другой, ефрейтор, что ли, постарше его возрастом, можно сказать пожилой, что-то крикнул, отодвинул его в сторону, подошел ко мне, лопочет по-своему и правую руку мою в локте сгибает — мускул, значит, щупает. Попробовал и говорит: «О-о-о!» — и показывает на дорогу, на заход солнца. «Топай, мол, рабочая скотинка, трудиться на наш райх». Хозяином оказался, сукин сын!

Но чернявый присмотрелся на мои сапоги, а они у меня с виду были добрые, показывает рукой: «Сымай». Сел я на землю, снял сапоги, подаю ему. Он их из рук у меня прямо-таки выхватил. Размотал я портянки, протягиваю ему, а сам гляжу на него снизу вверх. Но он заорал, заругался по-своему и опять за автомат хватается. Остальные ржут. С тем по-мирному и отошли. Только этот чернявый, пока дошел до дороги, раза три оглянулся на меня, глазами сверкает, как волчонок, злится, а чего? Будто я с него сапоги снял, а не он с меня.

Что ж, браток, деваться мне было некуда. Вышел я на дорогу, выругался и зашагал на запад, в плен!..

А ходок тогда из меня был никудышный, в час по километру, не больше. Ты хочешь вперед шагнуть, а тебя из стороны в сторону качает, возит по дороге, как пьяного. Прошел немного, и догоняет меня колонна наших пленных, из той же дивизии, в какой я был. Гонят их человек десять немецких автоматчиков. Тот, какой впереди колонны шел, поравнялся со мною и, не говоря худого слова, наотмашь хлыстнул меня ручкой автомата по голове. Упади я, — и он пришил бы меня к земле очередью, но наши подхватили меня на лету, затолкали в средину и с полчаса вели под руки. А когда я очухался, один из них шепчет: «Боже тебя упаси падать! Иди из последних сил, а не то убьют». И я из последних сил, но пошел.

Как только солнце село, немцы усилили конвой, на грузовой подкинули еще человек двадцать автоматчиков, погнали нас ускоренным маршем. Сильно раненные наши не могли поспевать за остальными, и их пристреливали прямо на дороге. Двое попытались бежать, а того не учли, что в лунную ночь тебя в чистом поле черт-те насколько видно, — ну, конечно, и этих постреляли. В полночь пришли мы в какое-то полусожженное село. Ночевать загнали нас в церковь с разбитым куполом. На каменном полу — ни клочка соломы, а все мы без шинелей, в одних гимнастерках и штанах, так что постелить и разу нечего. Кое на ком даже и гимнастерок не было, одни бязевые исподние рубашки. В большинстве это были младшие командиры. Кителя и гимнастерки они посымали, чтобы их от рядовых нельзя было отличить. И еще артиллерийская прислуга была без гимнастерок. Как работали возле орудий растелешенные, так и в плен попали.

Ночью полил такой сильный дождь, что все мы промокли насквозь. Тут купол снесло тяжелым снарядом или бомбой с самолета, а тут крыша вся начисто побитая осколками, сухого места даже в алтаре не найдешь. Так всю ночь и прослонялись мы в этой церкви, как овцы в темном катухе. Среди ночи слышу — кто-то трогает меня за руку, спрашивает: «Товарищ, ты не ранен?» Отвечаю ему: «А тебе что надо, браток?» Он и говорит: «Я — военврач, может быть, могу тебе чем-нибудь помочь?» Я пожаловался ему, что у меня левое плечо скрипит и пухнет и ужасно как болит. Он твердо так говорит: «Сымай гимнастерку и нижнюю рубашку». Я снял все это с себя, он и начал руку в плече прощупывать своими тонкими пальцами, да так, что я света не взвидел. Скриплю зубами и говорю

ему: «Ты, видно, ветеринар, а не людской доктор. Что же ты по больному месту давишь так, бессердечный ты человек?» А он все щупает и злобно так отвечает: «Твое дело помалкивать! Тоже мне, разговорчики затеял. Держись, сейчас еще больнее будет». Да с тем как дернет мою руку, аж красные искры у меня из глаз посыпались.

Опомнился я и спрашиваю: «Ты что же делаешь, фашист несчастный? У меня рука вдребезги разбитая, а ты ее так рванул». Слышу, он засмеялся потихоньку и говорит: «Думал, что ты меня ударишь с правой, но ты, оказывается, смирный парень. А рука у тебя не разбита, а выбита была, вот я ее на место и поставил. Ну, как теперь, полегче тебе?» И в самом деле, чувствую по себе, что боль куда-то уходит. Поблагодарил я его душевно, и он дальше пошел в темноте, потихоньку спрашивает: «Раненые есть?» Вот что значит настоящий доктор! Он и в плену, и в потемках свое великое дело делал.

Беспокойная это была ночь. До ветру не пускали — об этом старший конвоя предупредил, еще когда попарно загоняли нас в церковь. И, как на грех, приспичило одному богомольному из наших выйти по нужде. Крепился-крепился он, а потом заплакал... «Не могу, — говорит,— осквернять святой храм! Я же верующий, я христианин! Что мне делать, братцы?» А наши знаешь какой народ? Одни смеются, другие ругаются, третьи всякие шуточные советы ему дают. Развеселил он всех нас, а кончилась эта канитель очень даже плохо: начал он стучать в дверь и просить, чтобы его выпустили. Ну, и допросился: дал фашист через дверь, во всю ее ширину, длинную очередь и богомольца этого убил, и еще трех человек, а одного тяжело ранил, к утру он скончался.

Убитых сложили мы в одно место, присели все, притихли и призадумались: начало-то не очень веселое... А немного погодя заговорили вполголоса, зашептались: кто откуда, какой области, как в плен попал; в темноте товарищи из одного взвода или знакомцы из одной роты порастерялись, начали один одного потихоньку окликать. И слышу я рядом с собой такой тихий разговор. Один говорит: «Если завтра, перед тем как гнать нас дальше, нас выстроят и будут выкликать комиссаров, коммунистов и евреев, то ты, взводный, не прячься! Из этого дела у тебя ничего не выйдет. Ты думаешь, если гимнастерку снял, так за рядового сойдешь? Не выйдет! Я за тебя отвечать не намерен. Я первый укажу на тебя!

Я же знаю, что ты — коммунист и меня агитировал вступать в партию, вот и отвечай за свои дела». Это говорит ближний ко мне, какой рядом со мной сидит, слева, а с другой стороны от него чей-то молодой голос отвечает: «Я всегда подозревал, что ты, Крыжнев, нехороший человек. Особенно, когда ты отказался вступать в партию, ссылаясь на свою неграмотность. Но никогда я не думал, что ты сможешь стать предателем. Ведь ты же окончил семилетку?» Тот лениво так отвечает своему взводному: «Ну, окончил, и что из этого?» Долго они молчали, потом, по голосу, взводный тихо так говорит: «Не выдавай меня, товарищ Крыжнев». А тот засмеялся тихонько. «Товарищи, — говорит, — остались за линией фронта, а я тебе не товарищ, и ты меня не проси — все равно укажу на тебя. Своя рубашка к телу ближе».

Замолчали они, а меня озноб колотит от такой подлючности. «Нет, — думаю, — не дам я тебе, сучьему сыну, выдать своего командира! Ты у меня из этой церкви не выйдешь, а вытянут тебя, как падлу, за ноги!» Чуть-чуть рассвело — вижу: рядом со мной лежит на спине мордатый парень, руки за голову закинул, а около него сидит в одной исподней рубашке, колени обнял, худенький такой, курносенький парнишка и очень собою бледный. «Ну, думаю, не справится этот парнишка с таким толстым мерином. Придется мне его кончать».

Тронул я его рукою, спрашиваю шепотом: «Ты — взводный?» Он ничего не ответил, только головою кивнул. «Этот хочет тебя выдать?» — показываю я на лежачего парня. Он обратно головою кивнул. «Ну, — говорю, — держи ему ноги, чтобы не брыкался! Да поживей!» — а сам упал на этого парня, и замерли мои пальцы у него на глотке. Он и крикнуть не успел. Подержал его под собой минут несколько, приподнялся. Готов предатель, и язык на боку!

До того мне стало нехорошо после этого, и страшно захотелось руки помыть, будто я не человека, а какого-то гада ползучего душил... Первый раз в жизни убил, и то своего... Да какой же он свой? Он же хуже чужого, предатель. Встал и говорю взводному: «Пойдем отсюда, товарищ, церковь велика».

Как и говорил этот Крыжнев, утром всех нас выстроили возле церкви, оцепили автоматчиками, и трое эсэсовских офицеров начали отбирать вредных им людей. Спросили, кто коммунисты, командиры, комиссары, но таковых не оказалось. Не оказалось и сволочи, какая могла бы выдать, потому что

и коммунистов среди нас было чуть не половина, и командиры были, и само собою, и комиссары были. Только четырех и взяли из двухсот с лишним человек. Одного еврея и трех русских рядовых. Русские попали в беду потому, что все трое были чернявые и с кучерявинкой в волосах. Вот подходят к такому, спрашивают: «Юде?» Он говорит, что русский, но его и слушать не хотят: «Выходи» — и все.

Расстреляли этих бедолаг, а нас погнали дальше. Взводный, с каким мы предателя придушили, до самой Познани возле меня держался и в первый день нет-нет, да и пожмет мне на ходу руку. В Познани нас разлучили по одной такой причине.

Видишь, какое дело, браток, еще с первого дня задумал я уходить к своим. Но уходить хотел наверняка. До самой Познани, где разместили нас в настоящем лагере, ни разу не предоставился мне подходящий случай. А в Познанском лагере вроде такой случай нашелся: в конце мая послали нас в лесок возле лагеря рыть могилы для наших же умерших военнопленных, — много тогда нашего брата мерло от дизентерии; рою я познанскую глину, а сам посматриваю кругом и вот приметил, что двое наших охранников сели закусывать, а третий придремал на солнышке. Бросил я лопату и тихо пошел за куст... А потом — бегом, держу прямо на восход солнца...

Видать, не скоро они спохватились, мои охранники. А вот откуда у меня, у такого тощалого, силы взялись, чтобы пройти за сутки почти сорок километров, — сам не знаю. Только ничего у меня не вышло из моего мечтания: на четвертые сутки, когда я был уже далеко от проклятого лагеря, поймали меня. Собаки сыскные шли по моему следу, они меня и нашли в некошеном овсе.

На заре побоялся я идти чистым полем, а до леса было не меньше трех километров, я и залег в овсе на дневку. Намял в ладонях зерен, пожевал немного и в карманы насыпал про запас и вот слышу собачий брех, и мотоцикл трещит... Оборвалось у меня сердце, потому что собаки все ближе голоса подают. Лег я плашмя и закрылся руками, чтобы они мне хоть лицо не обгрызли. Ну, добежали и в одну минуту спустили с меня все мое рванье. Остался в чем мать родила. Катали они меня по овсу как хотели, и под конец один кобель стал мне на грудь передними лапами и целится в глотку, но пока еще не трогает.

На двух мотоциклах подъехали немцы. Сначала сами били в полную волю, а потом натравили на меня собак, и с меня только кожа с мясом полетели клочьями. Голого, всего в крови и привезли в лагерь. Месяц отсидел в карцере за побег, но все-таки *живой... живой я остался!*

Тяжело мне, браток, вспоминать, а еще тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. Как вспомнишь нелюдские муки, какие пришлось вынести там, в Германии, как вспомнишь всех друзей-товарищей, какие погибли замученные там, в лагерях, — сердце уже не в груди, а в глотке бьется, и трудно становится дышать.

Куда меня только не гоняли за два года плена! Половину Германии объехал за это время: и в Саксонии был, на силикатном заводе работал, и в Рурской области на шахте уголек откатывал, и в Баварии на земляных работах горб наживал, и в Тюрингии побыл, и черт-те где только не пришлось по немецкой земле походить. Природа везде там, браток, разная, но стреляли и били нашего брата везде одинаково. А били Богом проклятые гады и паразиты так, как у нас сроду животину не бьют. И кулаками били, и ногами топтали, и резиновыми палками били, и всяческим железом, какое под руку попадется, не говоря уже про винтовочные приклады и прочее дерево.

Били за то, что ты — русский, за то, что на белый свет еще смотришь, за то, что на них, сволочей, работаешь. Били и за то, что не так взглянешь, не так ступнешь, не так повернешься... Били запросто, для того чтобы когда-нибудь да убить до смерти, чтобы захлебнулся своей последней кровью и подох от побоев. Печей-то, наверно, на всех нас не хватало в Германии...

И кормили везде, как есть, одинаково: полтораста грамм эрзац-хлеба пополам с опилками и жидкая баланда из брюквы. Кипяток — где давали, а где нет. Да что там говорить, суди сам: до войны весил я восемьдесят шесть килограмм, а к осени тянул уже не больше пятидесяти. Одна кожа осталась *на костях, да и кости-то свои носить было не под силу.* А работу давай, и слова не скажи, да такую работу, что ломовой лошади и то не в пору.

В начале сентября из лагеря под городом Кюстрином перебросили нас, сто сорок два человека советских военнопленных, в лагерь Б-14, неподалеку от Дрездена. К тому времени в этом

лагере было около двух тысяч наших. Все работали на каменном карьере, вручную долбили, резали, крошили немецкий камень. Норма — четыре кубометра в день на душу, — заметь, на такую душу, какая и без этого чуть-чуть, на одной ниточке, в теле держалась. Тут и началось: через два месяца от ста сорока двух человек нашего эшелона осталось нас пятьдесят семь. Это как, браток? Лихо? Тут своих не успеваешь хоронить, а тут слух по лагерю идет, будто немцы уже Сталинград взяли и прут дальше, на Сибирь. Одно горе к другому, да так гнут, что глаз от земли не подымаешь, вроде и ты туда, в чужую, немецкую землю просишься. А лагерная охрана каждый день пьет — песни горланят, радуются, ликуют.

И вот как-то вечером вернулись мы в барак с работы. Целый день дождь шел, лохмотья на нас хоть выжми; все мы на холодном ветру продрогли, как собаки, зуб на зуб не попадает. А обсушиться негде, согреться — то же самое, и к тому же голодные не то что до смерти, а даже еще хуже. Но вечером нам еды не полагалось.

Снял я с себя мокрое рванье, кинул на нары и говорю: «Им по четыре кубометра выработки надо, а на могилу каждому из нас и одного кубометра через глаза хватит». Только и сказал, но ведь нашелся же из своих какой-то подлец, донес коменданту лагеря про эти мои горькие слова.

Комендантом лагеря, или по-ихнему лагерфюрером, был у нас немец Мюллер. Невысокого роста, плотный, белобрысый и сам весь какой-то белый: и волосы на голове белые, и брови, и ресницы, даже глаза у него были белесые, навыкате. По-русски говорил, как мы с тобой, да еще на «о» налегал, будто коренной волжанин. А матерщинничать был мастер ужасный. И где он, проклятый, только и учился этому ремеслу?

Бывало, выстроит нас перед блоком — барак они так называли, — идет перед строем со своей сворой эсэсовцев, правую руку держит на отлете. Она у него в кожаной перчатке, а в перчатке свинцовая прокладка, чтобы пальцев не повредить. Идет и бьет каждого второго в нос, кровь пускает. Это он называл «профилактикой от гриппа». И так каждый день. Всего четыре блока в лагере было, и вот он нынче первому блоку «профилактику» устраивает, завтра второму и так далее. Аккуратный был, гад, без выходных работал.

Так вот этот самый комендант на другой день после того, как я про кубометры сказал, вызывает меня. Вечером прихо-

дят в барак переводчик и с ним два охранника. «Кто Соколов Андрей?» Я отозвался. «Марш за нами, тебя сам герр лагерфюрер требует». Понятно, зачем требует. На распыл.

Попрощался я с товарищами — все они знали, что на смерть иду, — вздохнул и пошел. Иду по лагерному двору, на звезды поглядываю, прощаюсь и с ними, думаю: «Вот и отмучился ты, Андрей Соколов, а по-лагерному — номер триста тридцать первый». Что-то жалко стало Иринку и детишек, а потом жаль эта утихла, и стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает солдату, чтобы враги не увидали в последнюю мою минуту, что мне с жизнью расставаться все-таки трудно...

В комендантской — цветы на окнах, чистенько, как у нас в хорошем клубе. За столом — все лагерное начальство. Пять человек сидят, шнапс глушат и салом закусывают. На столе у них початая здоровенная бутыль со шнапсом, хлеб, сало, моченые яблоки, открытые банки с разными консервами. Мигом оглядел я всю эту жратву, и — не поверишь — так меня замутило, что за малым не вырвало. Я же голодный, как волк, отвык от человеческой пищи, а тут столько добра перед тобою...

Кое-как задавил тошноту, но глаза оторвал от стола через великую силу.

Прямо передо мною сидит полупьяный Мюллер, пистолетом играется, перекидывает его из руки в руку, а сам смотрит на меня и не моргнет, как змея. Ну, я руки по швам, стоптанными каблуками щелкнул, громко так докладываю: «Военнопленный Андрей Соколов по вашему приказанию, герр комендант, явился». Он и спрашивает меня: «Так что же, русс Иван, четыре кубометра выработки — это много?» — «Так точно,— говорю, — герр комендант, много». — «А одного тебе на могилу хватит?» — «Так точно, герр комендант, вполне хватит и даже останется».

Он встал и говорит: «Я окажу тебе великую честь — сейчас лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно, пойдем во двор, там ты и распишешься». — «Воля ваша», — говорю ему. Он постоял, подумал, а потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса, кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала и все это подает мне и говорит: «Перед смертью выпей, русс Иван, за победу немецкого оружия».

Я было из его рук и стакан взял и закуску, но, как только услыхал эти слова, — меня будто огнем обожгло! Думаю про

себя: «Чтобы я, русский солдат, да стал пить за победу немецкого оружия?! А кое-чего ты не хочешь, герр комендант? Один черт мне умирать, так провались ты пропадом со своей водкой!»

Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю: «Благодарствую за угощение, но я непьющий». Он улыбается: «Не хочешь пить за нашу победу? В таком случае, выпей за свою погибель». А что мне было терять? «За свою погибель и избавление от мук я выпью», — говорю я ему. С тем взял стакан и в два глотка вылил его в себя, а закуску не тронул, вежливенько вытер губы ладонью и говорю: «Благодарствую за угощение. Я готов, герр комендант, пойдемте, распишите меня».

Но он смотрит внимательно так и говорит: «Ты хоть закуси перед смертью». Я ему на это отвечаю: «Я после первого стакана не закусываю». Наливает он второй, подает мне. Выпил я и второй и опять же закуску не трогаю, на отвагу бью, думаю: «Хоть напьюсь перед тем, как во двор идти, с жизнью расставаться». Высоко поднял комендант свои белые брови, спрашивает: «Что же не закусываешь, русс Иван? Не стесняйся!» А я ему свое: «Извините, герр комендант, я и после второго стакана не привык закусывать». Надул он щеки, фыркнул, а потом как захохочет и сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки — видно, переводит мои слова друзьям. Те тоже рассмеялись, стульями задвигали, поворачиваются ко мне мордами и уже, замечаю, как-то иначе на меня поглядывают, вроде помягче.

Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил врастяжку, откусил маленький кусочек хлеба, остаток положил на стол. Захотелось мне им, проклятым, показать, что хотя я и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть свое, русское достоинство и гордость и что в скотину они меня не превратили, как ни старались.

После этого комендант стал серьезный с виду, поправил у себя на груди два железных креста, вышел из-за стола безоружный и говорит: «Вот что, Соколов, ты — настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я — тоже солдат и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинградом. Это для нас большая радость, а пото-

му я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок, а это тебе за смелость», — и подает мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала.

Прижал я хлеб к себе изо всей силы, сало в левой руке держу и до того растерялся от такого неожиданного поворота, что и спасибо не сказал, сделал налево кругом, иду к выходу, а сам думаю: «Засветит он мне сейчас промеж лопаток, и не донесу ребятам этих харчей». Нет, обошлось. И на этот раз смерть мимо меня прошла, только холодком от нее потянуло...

Вышел я из комендантской на твердых ногах, а во дворе меня развезло. Ввалился в барак и упал на цементовый пол без памяти. Разбудили меня наши еще в потемках: «Рассказывай!» Ну, я припомнил, что было в комендантской, рассказал им. «Как будем харчи делить?» — спрашивает мой сосед по нарам, а у самого голос дрожит. «Всем поровну», — говорю ему. Дождались рассвета. Хлеб и сало резали суровой ниткой. Досталось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробку, каждую крошку брали на учет, ну, а сала, сам понимаешь, — только губы помазать. Однако поделили без обиды.

Вскорости перебросили нас, человек триста самых крепких, на осушку болот, потом — в Рурскую область на шахты. Там и пробыл я до сорок четвертого года. К этому времени наши уже своротили Германии скулу набок, и фашисты перестали пленными брезговать.

Как-то выстроили нас, всю дневную смену, и какой-то приезжий обер-лейтенант говорит через переводчика: «Кто служил в армии или до войны работал шофером, — шаг вперед». Шагнуло нас семь человек бывшей шоферни. Дали нам поношенную спецовку, направили под конвоем в город Потсдам.

Приехали туда, и растрясли нас всех врозь. Меня определили работать в «Тодте» — была у немцев такая шарашкина контора по строительству дорог и оборонительных сооружений.

Возил я на «оппель-адмирале» немца-инженера в чине майора армии. Ох, и толстый же был фашист! Маленький, пузатый, что в ширину, что в длину одинаковый и в заду плечистый, как справная баба. Спереди у него над воротником мундира три подбородка висят и позади на шее три толстючих складки. На нем, я так определял, не менее трех пудов

чистого жиру было. Ходит, пыхтит, как паровоз, а жрать сядет — только держись! Целый день, бывало, жует да коньяк из фляжки потягивает. Кое-когда и мне от него перепадало: в дороге остановится, колбасы нарежет, сыру, закусывает и выпивает; когда в добром духе, — и мне кусок кинет, как собаке. В руки никогда не давал, нет, считал это для себя за низкое. Но как бы то ни было, а с лагерем же не сравнить, и понемногу стал я запохаживаться на человека, помалу, но стал поправляться.

Недели две возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно, а потом послали его в прифронтовую полосу на строительство оборонительных рубежей против наших. И тут я спать окончательно разучился: ночи напролет думал, как бы мне к своим, на Родину, сбежать.

Приехали мы в город Полоцк. На заре услыхал я в первый раз за два года, как громыхает наша артиллерия, и знаешь, браток, как сердце забилось? Холостой еще ходил к Ирине на свиданья, и то оно так не стучало! Бои шли восточнее Полоцка уже километрах в восемнадцати. Немцы в городе злые стали, нервные, а толстяк мой все чаще стал напиваться. Днем за городом с ним ездим, и он распоряжается, как укрепления строить, а ночью в одиночку пьет. Опух весь, под глазами мешки повисли...

«Ну, — думаю, — ждать больше нечего, пришел мой час! И надо не одному мне бежать, а прихватить с собою и моего толстяка, он нашим сгодится!»

Нашел в развалинах двухкилограммовую гирьку, обмотал ее обтирочным тряпьем, на случай, если придется ударить, чтобы крови не было, кусок телефонного провода поднял на дороге, все, что мне надо, усердно приготовил, схоронил под переднее сиденье. За два дня, перед тем как распрощался с немцами, вечером еду с заправки, вижу — идет пьяный, как грязь, немецкий унтер, за стенку руками держится. Остановил я машину, завел его в развалины и вытряхнул из мундира, пилотку с головы снял. Все это имущество тоже под сиденье сунул и был таков.

Утром двадцать девятого июня приказывает мой майор везти его за город, в направлении Тросницы. Там он руководил постройкой укреплений. Выехали. Майор на заднем сиденье спокойно дремлет, а у меня сердце из груди чуть не выскакивает. Ехал я быстро, но за городом сбавил газ, по-

том остановил машину, вылез, огляделся: далеко сзади две грузовых тянутся. Достал я гирьку, открыл дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку сиденья, похрапывает, будто у жены под боком. Ну, я его и тюкнул гирькой в левый висок. Он и голову уронил. Для верности я его еще раз стукнул, но убивать до смерти не захотел. Мне его живого надо было доставить, он нашим должен был много кое-чего порассказать. Вынул я у него из кобуры «парабеллум», сунул себе в карман, монтировку[1] вбил за спинку заднего сиденья, телефонный провод накинул на шею майору и завязал глухим узлом на монтировке. Это чтобы он не свалился на бок, не упал при быстрой езде. Скоренько напялил на себя немецкий мундир и пилотку, ну, и погнал машину прямиком туда, где земля гудит, где бой идет.

Немецкий передний край проскакивал между двух дзотов. Из блиндажа автоматчики выскочили, и я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. Но они крик подняли, руками махают: мол, туда ехать нельзя, а я будто не понимаю, подкинул газку и пошел на все восемьдесят. Пока они опомнились и начали бить из пулеметов по машине, а я уже на ничьей земле между воронками петляю не хуже зайца.

Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели — из автоматов мне навстречу строчат. В четырех местах ветровое стекло пробили, радиатор попороли пулями... Но вот уже лесок над озером, наши бегут к машине, а я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую ее, и дышать мне нечем...

Молодой парнишка, на гимнастерке у него защитные погоны, каких я еще в глаза не видал, первым подбегает ко мне, зубы скалит: «Ага, чертов фриц, заблудился?» Рванул я с себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему: «Милый ты мой губошлеп! Сынок дорогой! Какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец? В плену я был, понятно? А сейчас отвяжите этого борова, какой в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру».

Сдал я им пистолет и пошел из рук в руки, а к вечеру очутился уже у полковника — командира дивизии. К этому времени меня и накормили, и в баню сводили, и допросили, и обмундирование выдали, так что явился я в блиндаж к полковнику, как и полагается, душой и телом чистый и в полной

---

[1] *Монтиро́вка* — металлический инструмент для сборки колес автомашины.

форме. Полковник встал из-за стола, пошел мне навстречу. При всех офицерах обнял и говорит: «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец, какой привез от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже двадцати языков. Буду ходатайствовать перед командованием о представлении тебя к правительственной награде». А я от этих слов его, от ласки, сильно волнуюсь, губы дрожат, не повинуются, только и мог из себя выдавить: «Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть».

Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу: «Какой из тебя вояка, если ты на ногах еле держишься? Сегодня же отправлю тебя в госпиталь. Подлечат тебя там, подкормят, после этого домой к семье на месяц в отпуск съездишь, а когда вернешься к нам, — посмотрим, куда тебя определить».

И полковник, и все офицеры, какие у него в блиндаже были, душевно попрощались со мной за руку, и я вышел окончательно разволнованный, потому что за два года отвык от человеческого обращения. И заметь, браток, что еще долго я, как только с начальством приходилось говорить, по привычке невольно голову в плечи втягивал — вроде боялся, что ли, как бы меня не ударили. Вот как образовали нас в фашистских лагерях.

Из госпиталя сразу же написал Ирине письмо. Описал все коротко, как был в плену, как бежал вместе с немецким майором. И, скажи на милость, откуда эта детская похвальба у меня взялась? Не утерпел-таки, сообщил, что полковник обещал меня к награде представить...

Две недели спал и ел. Кормили меня помалу, но часто, иначе, если бы давали еды вволю, я бы мог загнуться, — так доктор сказал. Набрался силенок вполне. А через две недели куска в рот взять не мог. Ответа из дома нет, и я, признаться, затосковал. Еда и на ум не идет, сон от меня бежит, всякие дурные мыслишки в голову лезут... На третьей неделе получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой, столяр Иван Тимофеевич. Не дай бог никому таких писем получать! Сообщает он, что еще в июне сорок второго года немцы бомбили авиазавод и одна тяжелая бомба попала прямо в мою хатенку. Ирина и дочери как раз были дома... Ну, пишет, что не нашли от них и следа, а на месте хатенки — глубокая яма... Не дочитал я в этот раз письмо до конца. В глазах потемнело, сердце сжалось в комок и никак не раз-

жимается. Прилег я на койку; немного отлежался — дочитал. Пишет сосед, что Анатолий во время бомбежки был в городе. Вечером вернулся в поселок, посмотрел на яму и в ночь опять ушел в город. Перед уходом сказал соседу, что будет проситься добровольцем на фронт. Вот и все.

Когда сердце разжалось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело расставалась со мною моя Ирина на вокзале. Значит, еще тогда подсказало ей бабье сердце, что больше не увидимся мы с ней на этом свете. А я ее тогда оттолкнул... Была семья, свой дом, все это лепилось годами, и все рухнуло в единый миг, остался я один. Думаю: «Да уж не приснилась ли мне моя нескладная жизнь?» А ведь в плену я почти каждую ночь — про себя, конечно, — и с Ириной, и с детишками разговаривал, подбадривал их: дескать, я вернусь, мои родные, не горюйте обо мне, я — крепкий, я выживу, и опять мы будем все вместе... Значит, я два года с мертвыми разговаривал?!

Рассказчик на минуту умолк, а потом сказал уже иным, прерывистым и тихим голосом:

— Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удушье давит.

Мы закурили. В залитом полой водою лесу звонко выстукивал дятел. Все так же лениво шевелил сухие сережки на ольхе теплый ветер; все так же, словно под тугими белыми парусами, проплывали в вышней синеве облака, но уже иным показался мне в эти минуты скорбного молчания безбрежный мир, готовящийся к великим свершениям весны, к вечному утверждению живого в жизни.

Молчать было тяжело, и я спросил:

— Что же дальше?

— Дальше-то?— нехотя отозвался рассказчик.— Дальше получил я от полковника месячный отпуск, через неделю был уже в Воронеже. Пешком дотопал до места, где когда-то семейно жил. Глубокая воронка, налитая ржавой водой, кругом бурьян по пояс... Глушь, тишина кладбищенская. Ох, и тяжело же было мне, браток! Постоял, поскорбел душою и опять пошел на вокзал. И часу оставаться там не мог, в этот же день уехал обратно в дивизию.

Но месяца через три и мне блеснула радость, как солнышко из-за тучи: нашелся Анатолий. Прислал письмо мне на фронт, видать, с другого фронта. Адрес мой узнал от соседа,

Ивана Тимофеевича. Оказывается, попал он поначалу в артиллерийское училище; там-то и пригодились его таланты к математике. Через год с отличием закончил училище, пошел на фронт и вот уже пишет, что получил звание капитана, командует батареей «сорокапяток», имеет шесть орденов и медали. Словом, обштопал родителя со всех концов. И опять я возгордился им ужасно! Как ни кроши, а мой родной сын — капитан и командир батареи, — это не шутка! Да еще при таких орденах. Это ничего, что отец его на «студебеккере» снаряды возит и прочее военное имущество. Отцово дело отжитое, а у него, у капитана, все впереди.

И начались у меня по ночам стариковские мечтания: как война кончится, как я сына женю и сам при молодых жить буду, плотничать и внучат нянчить. Словом, всякая такая стариковская штука. Но и тут получилась у меня полная осечка. Зимою наступали мы без передышки, и особо часто писать друг другу нам было некогда, а к концу войны, уже возле Берлина, утром послал Анатолию письмишко, а на другой день получил ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном к германской столице разными путями, но находимся один от одного поблизости. Жду не дождусь, прямо-таки не чаю, когда мы с ним свидимся. Ну, и свиделись... Аккурат девятого мая, утром, в день победы, убил моего Анатолия немецкий снайпер...

Во второй половине дня вызывает меня командир роты. Гляжу, сидит у него незнакомый мне артиллерийский подполковник. Я вошел в комнату, и он встал, как перед старшим по званию. Командир моей роты говорит: «К тебе, Соколов», — а сам к окну отвернулся. Пронизало меня, будто электрическим током, потому что почуял я недоброе. Подполковник подошел ко мне и тихо говорит: «Мужайся, отец! Твой сын, капитан Соколов, убит сегодня на батарее. Поедем со мной!»

Качнулся я, но на ногах устоял. Теперь и то как сквозь сон вспоминаю, как ехал вместе с подполковником на большой машине, как пробирались по заваленным обломками улицам, туманно помню солдатский строй и обитый красным бархатом гроб. А Анатолия вижу вот как тебя, браток.

Подошел я к гробу. Мой сын лежит в нем и не мой. Мой — это всегда улыбчивый, узкоплечий мальчишка, с острым кадыком на худой шее, а тут лежит молодой, плечистый, красивый мужчина, глаза полуприкрыты, будто смотрит он куда-то

мимо меня, в неизвестную мне далекую даль. Только в уголках губ так навеки и осталась смешинка прежнего сынишки, Тольки, какого я когда-то знал... Поцеловал я его и отошел в сторонку. Подполковник речь сказал. Товарищи-друзья моего Анатолия слезы вытирают, а мои невыплаканные слезы, видно, на сердце засохли. Может, поэтому оно так и болит?

Похоронил я в чужой немецкой земле последнюю свою радость и надежду, ударила батарея моего сына, провожая своего командира в далекий путь, и будто что-то во мне оборвалось... Приехал я в свою часть сам не свой. Но тут вскорости меня демобилизовали. Куда идти? Неужто в Воронеж? Ни за что! Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок, демобилизованный еще зимою по ранению, — он когда-то приглашал меня к себе, — вспомнил и поехал в Урюпинск.

Приятель мой и жена его были бездетные, жили в собственном домике на краю города. Он хотя и имел инвалидность, но работал шофером в автороте; устроился и я туда же. Поселился у приятеля, приютили они меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы, осенью переключились на вывозку хлеба. В это время я и познакомился с моим новым сынком, вот с этим, какой в песке играется.

Из рейса, бывало, вернешься в город — понятно, первым делом в чайную перехватить чего-нибудь, ну, конечно, и сто грамм выпить с устатка. К этому вредному делу, надо сказать, я уже пристрастился как следует... И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку, на другой день — опять вижу. Этакий маленький оборвыш: личико все в арбузном соку, покрытом пылью, грязный, как прах, нечесаный, а глазенки как звездочки ночью после дождя! И до того он мне полюбился, что я уже, чудное дело, начал скучать по нем, спешу из рейса поскорее его увидать. Около чайной он и кормился, — кто что даст.

На четвертый день прямо из совхоза, груженный хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой там, сидит на крыльце, ножонками болтает и, по всему видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему: «Эй, Ванюшка! Садись скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернемся сюда, пообедаем». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит: «А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут?» И глазенки широко раскрыл, ждет, что я ему отвечу. Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю.

Зашел он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нет-нет, да и взглянет на меня из-под длинных своих, загнутых кверху ресниц, вздохнет. Такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать. Его ли это дело? Спрашиваю: «Где же твой отец, Ваня?» Шепчет: «Погиб на фронте». — «А мама?» — «Маму бомбой убило в поезде, когда мы ехали». — «А откуда вы ехали?» — «Не знаю, не помню...» — «И никого у тебя тут родных нету?» — «Никого». — «Где же ты ночуешь?» — «А где придется».

Закипела тут во мне горючая слеза, и сразу я решил: «Не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать! Возьму его к себе в дети». И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул: «Кто?» Я ему и говорю так же тихо: «Я — твой отец».

Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует в щеки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно: «Папка родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдешь! Все равно найдешь! Я так долго ждал, когда ты меня найдешь!» Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся... Как я тогда руля не упустил, диву можно даться! Но в кювет все же нечаянно съехал, заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошел, — побоялся ехать, как бы на кого не наскочить. Постоял так минут пять, а сынок мой все жмется ко мне изо всех силенок, молчит, вздрагивает. Обнял я его правой рукой, потихоньку прижал к себе, а левой развернул машину, поехал обратно, на свою квартиру. Какой уж там мне элеватор, тогда мне не до элеватора было.

Бросил машину возле ворот, нового своего сынишку взял на руки, несу в дом. А он как обвил мою шею ручонками, так и не оторвался до самого места. Прижался своей щекой к моей небритой щеке, как прилип. Так я его и внес. Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вошел я, моргаю им обоими глазами, бодро так говорю: «Вот и нашел я своего Ванюшку! Принимайте нас, добрые люди!» Они, оба мои бездетные, сразу сообразили, в чем дело, засуетились, забегали. А я никак сына от себя не оторву. Но кое-как уговорил. Помыл ему руки с мылом, посадил за стол. Хозяйка щей ему в тарелку налила,

да как глянула, с какой он жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит у печки, плачет себе в передник. Ванюшка мой увидал, что она плачет, подбежал к ней, дергает ее за подол и говорит: «Тетя, зачем же вы плачете? Папа нашел меня возле чайной, тут всем радоваться надо, а вы плачете». А той — подай Бог, она еще пуще разливается, прямо-таки размокла вся!

После обеда повел я его в парикмахерскую, постриг, а дома сам искупал в корыте, завернул в чистую простыню. Обнял он меня и так на руках моих и уснул. Осторожно положил его на кровать, поехал на элеватор, сгрузил хлеб, машину отогнал на стоянку — и бегом по магазинам. Купил ему штанишки суконные, рубашонку, сандалии и картуз из мочалки. Конечно, все это оказалось и не по росту и качеством никуда не годное. За штанишки меня хозяйка даже разругала. «Ты, — говорит, — с ума спятил, в такую жару одевать дитя в суконные штаны!» И моментально — швейную машинку на стол, порылась в сундуке, а через час моему Ванюшке уж сатиновые трусики были готовы и беленькая рубашонка с короткими рукавами. Спать я лег вместе с ним и в первый раз за долгое время уснул спокойно. Однако ночью раза четыре вставал. Проснусь, а он у меня под мышкой приютится, как воробей под застрехой, тихонько посапывает, и до того мне становится радостно на душе, что и словами не скажешь! Норовишь не ворохнуться, чтобы не разбудить его, но все-таки не утерпишь, потихоньку встанешь, зажжешь спичку и любуешься на него...

Перед рассветом проснулся, не пойму, с чего мне так душно стало? А это сынок мой вылез из простыни и поперек меня улегся, раскинулся и ножонкой горло мне придавил. И беспокойно с ним спать, а вот привык, скучно мне без него. Ночью то погладишь его сонного, то волосенки на вихрах понюхаешь, и сердце отходит, становится мягче, а то ведь оно у меня закаменело от горя...

Первое время он со мной на машине в рейсы ездил, потом понял я, что так не годится. Одному мне что надо? Краюшку хлеба и луковицу с солью — вот и сыт солдат на целый день. А с ним — дело другое: то молока ему надо добывать, то яичко сварить, опять же без горячего ему никак нельзя. Но дело-то не ждет. Собрался с духом, оставил его на попечение хозяйки, так он до вечера слезы точил, а вечером удрал на элеватор встречать меня. До поздней ночи ожидал там.

Трудно мне с ним было на первых порах. Один раз легли спать еще засветло — днем наморился я очень, и он то всегда щебечет, как воробушек, а то что-то примолчался. Спрашиваю: «Ты о чем думаешь, сынок?» А он меня спрашивает, сам в потолок смотрит: «Папка, ты куда свое кожаное пальто дел?» В жизни у меня никогда не было кожаного пальто! Пришлось изворачиваться: «В Воронеже осталось», — говорю ему. «А почему ты меня так долго искал?» Отвечаю ему: «Я тебя, сынок, и в Германии искал, и в Польше, и всю Белоруссию прошел и проехал, а ты в Урюпинске оказался». — «А Урюпинск — это ближе Германии? А до Польши далеко от нашего дома?» Так и болтаем с ним перед сном.

А ты думаешь, браток, про кожаное пальто он зря спросил? Нет, все это неспроста. Значит, когда-то отец его настоящий носил такое пальто, вот ему и запомнилось. Ведь детская память, как летняя зарница: вспыхнет, накоротке осветит все и потухнет. Так и у него память, вроде зарницы, проблесками работает.

Может, и жили бы мы с ним еще с годик в Урюпинске, но в ноябре случился со мной грех: ехал по грязи, в одном хуторе машину мою занесло, а тут корова подвернулась, я и сбил ее с ног. Ну, известное дело, бабы крик подняли, народ сбежался, и автоинспектор тут как тут. Отобрал у меня шоферскую книжку, как я ни просил его смилостивиться. Корова поднялась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам, а я книжки лишился. Зиму проработал плотником, а потом списался с одним приятелем, тоже сослуживцем, — он в нашей области, в Кашарском районе работает шофером, — и тот пригласил меня к себе. Пишет, что, мол, поработаешь полгода по плотницкой части, а там в нашей области выдадут тебе новую книжку. Вот мы с сынком и командируемся в Кашары походным порядком.

Да оно, как тебе сказать, и не случись у меня этой аварии с коровой, я все равно подался бы из Урюпинска. Тоска мне не дает на одном месте долго засиживаться. Вот уже когда Ванюшка мой подрастет и придется определять его в школу, тогда, может, и я угомонюсь, осяду на одном месте. А сейчас пока шагаем с ним по русской земле.

— Тяжело ему идти, — сказал я.

— Так он вовсе мало на своих ногах идет, все больше на мне едет. Посажу его на плечи и несу, а захочет промять-

ся — слезает с меня и бегает сбоку дороги, взбрыкивает, как козленок. Все это, браток, ничего бы, как-нибудь мы с ним прожили бы, да вот сердце у меня раскачалось, поршня надо менять... Иной раз так схватит и прижмет, что белый свет в глазах меркнет. Боюсь, что когда-нибудь во сне помру и напугаю своего сынишку. А тут еще одна беда: почти каждую ночь своих покойников дорогих во сне вижу. И все больше так, что я — за колючей проволокой, а они на воле, по другую сторону... Разговариваю обо всем и с Ириной, и с детишками, но только хочу проволоку руками раздвинуть, — они уходят от меня, будто тают на глазах... И вот удивительное дело: днем я всегда крепко себя держу, из меня ни «оха», ни вздоха не выжмешь, а ночью проснусь, и вся подушка мокрая от слез...

В лесу послышался голос моего товарища, плеск весла по воде.

Чужой, но ставший мне близким человек поднялся, протянул большую, твердую, как дерево, руку:

— Прощай, браток, счастливо тебе!

— И тебе счастливо добраться до Кашар.

— Благодарствую. Эй, сынок, пойдем к лодке.

Мальчик подбежал к отцу, пристроился справа и, держась за полу отцовского ватника, засеменил рядом с широко шагавшим мужчиной.

Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы... Что-то ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина.

С тяжелой грустью смотрел я им вслед... Может быть, все и обошлось бы благополучно при нашем расставанье, но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг, словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне сердце, и я поспешно отвернулся. Нет, не только во сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное — уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное — не ранить сердца ребенка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза...

1956—1957

Александр Исаевич

СОЛЖЕНИЦЫН

МАТРЕНИН ДВОР

На сто восемьдесят четвертом километре от Москвы по ветке, что идет к Мурому и Казани, еще с добрых полгода после того все поезда замедляли свой ход почти как бы до ощупи. Пассажиры льнули к стеклам, выходили в тамбур: чинят пути, что ли? из графика вышел?

Нет. Пройдя переезд, поезд опять набирал скорость, пассажиры усаживались.

Только машинисты знали и помнили, отчего это все.

Да я.

1

Летом 1956 года из пыльной горячей пустыни я возвращался наугад — просто в Россию. Ни в одной точке ее никто *меня не ждал и не звал, потому что я задержался с возвратом* годиков на десять. Мне просто хотелось в среднюю полосу — без жары, с лиственным рокотом леса. Мне хотелось затесаться и затеряться в самой нутряной России — *если такая где-то* была, жила.

За год до того по сю сторону Уральского хребта я мог наняться разве таскать носилки. Даже электриком на порядочное строительство меня бы не взяли. А меня тянуло — учительствовать. Говорили мне знающие люди, что нечего и на билет тратиться, впустую проезжу.

Но что-то начинало уже страгиваться. Когда я поднялся по лестнице Владимирского облоно и спросил, где отдел кадров, то с удивлением увидел, что *кадры* уже не сидели здесь за черной кожаной дверью, а за остекленной перегородкой, как в аптеке. Все же я подошел к окошечку робко, поклонился и попросил:

— Скажите, не нужны ли вам математики где-нибудь подальше от железной дороги? Я хочу поселиться там навсегда.

Каждую букву в моих документах перещупали, походили из комнаты в комнату и куда-то звонили. Тоже и для них редкость была — все ведь просятся в город, да покрупней.

И вдруг-таки дали мне местечко — Высокое Поле. От одного названия веселела душа.

Название не лгало. На взгорке между ложков, а потом других взгорков, цельно-обомкнутное лесом, с прудом и плотинкой, Высокое Поле было тем самым местом, где не обидно бы и жить и умереть. Там я долго сидел в рощице на пне и думал, что от души бы хотел не нуждаться каждый день завтракать и обедать, только бы остаться здесь и ночами слушать, как ветви шуршат по крыше — когда ниоткуда не слышно радио и все в мире молчит.

Увы, там не пекли хлеба. Там не торговали ничем съестным. Вся деревня волокла снедь мешками из областного города.

Я вернулся в отдел кадров и взмолился перед окошечком. Сперва и разговаривать со мной не хотели. Потом все ж походили из комнаты в комнату, позвонили, поскрипели и отпечатали мне в приказе: «Торфопродукт».

Торфопродукт? Ах, Тургенев не знал, что можно по-русски составить такое!

На станции Торфопродукт, состарившемся временном серо-деревянном бараке, висела строгая надпись: «На поезд садиться только со стороны вокзала!» Гвоздем по доскам было доцарапано: «И без билетов». А у кассы с тем же меланхолическим остроумием было навсегда вырезано ножом: «Билетов нет». Точный смысл этих добавлений я оценил позже. В Торфопродукт легко было приехать. Но не уехать.

А и на этом месте стояли прежде и перестояли революцию дремучие, непрохожие леса. Потом их вырубили — торфоразработчики и соседний колхоз. Председатель его, Горшков, свел под корень изрядно гектаров леса и выгодно сбыл в Одесскую область, на том свой колхоз возвысив, а себе получив Героя Социалистического Труда.

Меж торфяными низинами беспорядочно разбросался поселок — однообразные худо штукатуренные бараки тридцатых годов и, с резьбой по фасаду, с остекленными верандами, домики пятидесятых. Но внутри этих домиков нельзя было увидеть перегородки, доходящей до потолка, так что не снять мне было комнаты с четырьмя настоящими стенами.

Над поселком дымила фабричная труба. Туда и сюда сквозь поселок проложена была узкоколейка, и паровозики, тоже густодымящие, пронзительно свистя, таскали по ней поезда с бурым торфом, торфяными плитами и брикетами. Без

ошибки я мог предположить, что вечером над дверьми клуба будет надрываться радиола, а по улице пображивать пьяные да подпыривать друг друга ножами.

Вот куда завела меня мечта о тихом уголке России. А ведь там, откуда я приехал, мог я жить в глинобитной хатке, глядящей в пустыню. Там дул такой свежий ветер ночами и только звездный свод распахивался над головой.

Мне не спалось на станционной скамье, и я чуть свет опять побрел по поселку. Теперь я увидел крохотный базарец. По рани единственная женщина стояла там, торгуя молоком. Я взял бутылку, стал пить тут же.

Меня поразила ее речь. Она не говорила, а напевала умильно, и слова ее были те самые, за которыми потянула меня тоска из Азии:

— Пей, пей с душою желанной. Ты, потай, приезжий?

— А вы откуда? — просветлел я.

И узнал, что не все вокруг торфоразработки, что есть за полотном железной дороги — бугор, а за бугром — деревня, и деревня эта — Тальново, испокон она здесь, еще когда была барыня-«цыганка» и кругом лес лихой стоял. А дальше целый край идет деревень: Часлицы, Овинцы, Спудни, Шевертни, Шестимирово — все поглуше, от железной дороги подале, к озерам.

Ветром успокоения потянуло на меня от этих названий. Они обещали мне кондовую Россию.

И я попросил мою новую знакомую отвести меня после базара в Тальново и подыскать избу, где бы стать мне квартирантом.

Я оказался квартирантом выгодным: сверх платы сулила школа за меня еще машину торфа на зиму. По лицу женщины прошли заботы уже не умильные. У самой у нее места не было (они с мужем *воспитывали* ее престарелую мать), оттого она повела меня к одним своим родным и еще к другим. Но и здесь не нашлось комнаты отдельной, везде было тесно и лопотно[1].

Так мы дошли до высыхающей подпруженной речушки с мостиком. Милей этого места мне не приглянулось во всей деревне: две-три ивы, избушка перекособоченная, а по пруду плавали утки, и выходили на берег гуси, отряхиваясь.

— Ну, разве что к Матрене зайдем, — сказала моя проводница, уже уставая от меня. — Только у нее не так уборно, в запущи она живет, болеет.

---

[1] *Ло́потно* — шумно.

Дом Матрены стоял тут же, неподалеку, с четырьмя оконцами в ряд на холодную некрасную сторону, крытый щепою, на два ската и с украшенным под теремок чердачным окошком. Дом не низкий — восемнадцать венцов. Однако изгнивала щепа, посерели от старости бревна сруба и ворота, когда-то могучие, и проредилась их обвершка.

Калитка была на запоре, но проводница моя не стала стучать, а просунула руку под низом и отвернула завертку — нехитрую затею против скота и чужого человека. Дворик не был крыт, но в доме многое было под одной связью. За входной дверью внутренние ступеньки поднимались на просторные *мосты*, высоко осененные крышей. Налево еще ступеньки вели вверх в *горницу* — отдельный сруб без печи, и ступеньки вниз, в подклеть. А направо шла сама изба, с чердаком и подпольем.

Строено было давно и добротно, на большую семью, а жила теперь одинокая женщина лет шестидесяти.

Когда я вошел в избу, она лежала на русской печи, тут же, у входа, накрытая неопределенным темным тряпьем, таким бесценным в жизни рабочего человека.

Просторная изба и особенно лучшая приоконная ее часть была уставлена по табуреткам и лавкам — горшками и кадками с фикусами. Они заполнили одиночество хозяйки безмолвной, но живой толпой. Они разрослись привольно, забирая небогатый свет северной стороны. В остатке света и к тому же за трубой кругловатое лицо хозяйки показалось мне желтым, больным. И по глазам ее замутненным можно было видеть, что болезнь измотала ее.

Разговаривая со мной, она так и лежала на печи ничком, без подушки, головой к двери, а я стоял внизу. Она не проявила радости заполучить квартиранта, жаловалась на черный недуг, из приступа которого выходила сейчас: недуг налетал на нее не каждый месяц, но, налетев,

— ... держит два-дни и три-дни, так что ни встать, ни подать я вам не приспею. А избу бы не жалко, живите.

И она перечисляла мне других хозяек, у кого будет мне покойней и угожей, и слала обойти их. Но я уже видел, что жребий мой был — поселиться в этой темноватой избе с тусклым зеркалом, в которое совсем нельзя было смотреться, с двумя яркими рублевыми плакатами о книжной торговле и об урожае, повешенными на стене для красоты. Здесь было

мне тем хорошо, что по бедности Матрена не держала радио, а по одиночеству не с кем было ей разговаривать.

И хотя Матрена Васильевна вынудила меня походить еще по деревне, и хотя в мой второй приход долго отнекивалась:

— Не умемши, не варемши — как утрафишь? — но уж встретила меня на ногах, и даже будто удовольствие пробудилось в ее глазах оттого, что я вернулся.

Поладили о цене и о торфе, что школа привезет.

Я только потом узнал, что год за годом, многие годы, ниоткуда не зарабатывала Матрена Васильевна ни рубля. Потому что пенсии ей не платили. Родные ей помогали мало. А в колхозе она работала не за деньги — за палочки. За палочки трудодней в замусленной книжке учетчика.

Так и поселился я у Матрены Васильевны. Комнаты мы не делили. Ее кровать была в дверном углу у печки, а я свою раскладушку развернул у окна и, оттесня от света любимые Матренины фикусы, еще у одного окна поставил стол. Электричество же в деревне было — его еще в двадцатые годы подтянули от Шатуры. В газетах писали тогда «лампочки Ильича», а мужики, глаза тараща, говорили: «Царь Огонь!»

Может, кому из деревни, кто побогаче, изба Матрены и не казалась доброжилой, нам же с ней в ту осень и зиму вполне была хороша: от дождей она еще не протекала, и ветрами студеными выдувало из нее печное грево не сразу, лишь под утро, особенно тогда, когда дул ветер с прохудившейся стороны.

Кроме Матрены и меня, жили в избе еще: кошка, мыши и тараканы.

Кошка была немолода, а главное — колченога. Она из жалости была Матреной подобрана и прижилась. Хотя она и ходила на четырех ногах, но сильно прихрамывала: одну ногу она берегла, больная была нога. Когда кошка прыгала с печи на пол, звук касания ее о пол не был кошаче-мягок, как у всех, а — сильный одновременный удар трех ног: туп! — такой сильный удар, что я не сразу привык, вздрагивал. Это она три ноги подставляла разом, чтоб уберечь четвертую.

Но не потому были мыши в избе, что колченогая кошка с ними не справлялась: она как молния за ними прыгала в угол и выносила в зубах. А недоступны были мыши для кошки из-за того, что кто-то когда-то, еще по хорошей жизни,

оклеил Матренину избу рифлеными зеленоватыми обоями, да не просто в слой, а в пять слоев. Друг с другом обои склеились хорошо, от стены же во многих местах отстали — и получилась как бы внутренняя шкура на избе. Между бревнами избы и обойной шкурой мыши и проделали себе ходы и нагло шуршали, бегая по ним даже и под потолком. Кошка сердито смотрела вслед их шуршанию, а достать не могла.

Иногда ела кошка и тараканов, но от них ей становилось нехорошо. Единственное, что тараканы уважали, — это черту перегородки, отделявшей устье русской печки и кухоньку от чистой избы. В чистую избу они не переползали. Зато в кухоньке по ночам кишели, и если поздно вечером, зайдя испить воды, я зажигал там лампочку, — пол весь, и скамья большая, и даже стена были чуть не сплошь бурыми и шевелились. Приносил я из химического кабинета буры, и, смешивая с тестом, мы их травили. Тараканов менело, но Матрена боялась отравить вместе с ними и кошку. Мы прекращали подсыпку яда, и тараканы плодились вновь.

По ночам, когда Матрена уже спала, а я занимался за столом, — редкое быстрое шуршание мышей под обоями покрывалось слитным, единым, непрерывным, как далекий шум океана, шорохом тараканов за перегородкой. Но я свыкся с ним, ибо в нем не было ничего злого, в нем не было лжи. Шуршанье их — была их жизнь.

И с грубой плакатной красавицей я свыкся, которая со стены постоянно протягивала мне Белинского, Панферова и еще стопу каких-то книг, но — молчала. Я со всем свыкся, что было в избе Матрены.

Матрена вставала в четыре-пять утра. Ходикам Матрениным было двадцать семь лет как куплены в сельпо. Всегда они шли вперед, и Матрена не беспокоилась — лишь бы не отставали, чтоб утром не запоздниться. Она включала лампочку за кухонной перегородкой и тихо, вежливо, стараясь не шуметь, топила русскую печь, ходила доить козу (все животы ее были — одна эта грязно-белая криворогая коза), по воду ходила и варила в трех чугунках: один чугунок — мне, один — себе, один — козе. Козе она выбирала из подполья самую мелкую картошку, себе — мелкую, а мне — с куриное яйцо. Крупной же картошки огород ее песчаный, с довоенных лет не удобренный и всегда засаживаемый картошкой, картошкой и картошкой, — крупной не давал.

Мне почти не слышались ее утренние хлопоты. Я спал долго, просыпался на позднем зимнем свету и потягивался, высовывая голову из-под одеяла и тулупа. Они да еще лагерная телогрейка на ногах, а снизу мешок, набитый соломой, хранили мне тепло даже в те ночи, когда стужа толкалась с севера в наши хилые оконца. Услышав за перегородкой сдержанный шумок, я всякий раз размеренно говорил:

— Доброе утро, Матрена Васильевна!

И всегда одни и те же доброжелательные слова раздавались мне из-за перегородки. Они начинались каким-то низким теплым мурчанием, как у бабушек в сказках:

— М-м-мм... также и вам!

И немного погодя:

— А завтрак вам приспе-ел.

Что на завтрак, она не объявляла, да это и догадаться было легко: *картовь* необлупленная, или суп *картонный* (так выговаривали все в деревне), или каша ячневая (другой крупы в тот год нельзя было купить в Торфопродукте, да и ячневую-то с бою — как самой дешевой ею откармливали свиней и мешками брали). Не всегда это было посолено, как надо, часто пригорало, а после еды оставляло налет на нёбе, деснах и вызывало изжогу.

Но не Матрены в том была вина: не было в Торфопродукте и масла, маргарин нарасхват, а свободно только жир комбинированный. Да и русская печь, как я пригляделся, неудобна для стряпни: варка идет скрыто от стряпухи, жар к чугунку подступает с разных сторон неравномерно. Но потому, должно быть, пришла она к нашим предкам из самого каменного века, что, протопленная раз на досветьи, весь день хранит в себе теплыми корм и пойло для скота, пищу и воду для человека. И спать тепло.

Я покорно съедал все наваренное мне, терпеливо откладывал в сторону, если попадалось что неурядное: волос ли, торфа кусочек, тараканья ножка. У меня не хватало духу упрекнуть Матрену. В конце концов она сама же меня предупреждала: «Не умемши, не варемши — как утрафишь?»

— Спасибо, — вполне искренне говорил я.

— На чем? На своем на добром? — обезоруживала она меня лучезарной улыбкой. И, простодушно глядя блекло-голубыми глазами, спрашивала: — Ну, а к ужоткому что вам приготовить?

К *ужоткому* значило — к вечеру. Ел я дважды в сутки, как на фронте. Что мог я заказать к ужоткому? Все из того же, картовь или суп картонный.

Я мирился с этим, потому что жизнь научила меня не в еде находить смысл повседневного существования. Мне дороже была эта улыбка ее кругловатого лица, которую, заработав наконец на фотоаппарат, я тщетно пытался уловить. Увидев на себе холодный глаз объектива, Матрена принимала выражение или натянутое, или повышенно суровое.

Раз только запечатлел я, как она улыбалась чему-то, глядя в окошко на улицу.

В ту осень много было у Матрены обид. Вышел перед тем новый пенсионный закон, и надоумили ее соседки добиваться пенсии. Была она одинокая кругом, а с тех пор, как стала сильно болеть, — и из колхоза ее отпустили. Наворочено было много несправедливостей с Матреной: она была больна, но не считалась инвалидом; она четверть века проработала в колхозе, но потому, что не на заводе, — не полагалось ей пенсии *за себя*, а добиваться можно было только *за мужа*, то есть за утерю кормильца. Но мужа не было уже пятнадцать лет, с начала войны, и нелегко было теперь добыть те справки с разных мест о его *ста́же* и сколько он там получал. Хлопоты были — добыть эти справки; и чтоб написали все же, что получал он в месяц хоть рублей триста; и справку заверить, что живет она одна и никто ей не помогает; и с года она какого; и потом все это носить в собес; и перенашивать, исправляя, что сделано не так; и еще носить. И узнавать — дадут ли пенсию.

Хлопоты эти были тем затруднены, что собес от Тальнова был в двадцати километрах к востоку, сельский совет — в десяти километрах к западу, а поселковый — к северу, час ходьбы. Из канцелярии в канцелярию и гоняли ее два месяца — то за точкой, то за запятой. Каждая проходка — день. Сходит в сельсовет, а секретаря сегодня нет, просто так вот нет, как это бывает в селах. Завтра, значит, опять иди. Теперь секретарь есть, да печати у него нет. Третий день опять иди. А четвертый день иди потому, что сослепу они не на той бумажке расписались, бумажки-то все у Матрены одной пачкой сколоты.

— Притесняют меня, Игнатич, — жаловалась она мне после таких бесплодных проходок. — Иззаботилась я.

Но лоб ее недолго оставался омраченным. Я заметил: у нее было верное средство вернуть себе доброе расположение духа — работа. Тотчас же она или хваталась за лопату и копала картовь. Или с мешком под мышкой шла за торфом. А то с плетеным кузовком — по ягоды в дальний лес. И не столам конторским кланяясь, а лесным кустам, да наломавши спину ношей, в избу возвращалась Матрена уже просветленная, всем довольная, со своей доброй улыбкой.

— Теперича я зуб наложила, Игнатич, знаю, где брать, — говорила она о торфе. — Ну и местечко, любота одна!

— Да Матрена Васильевна, разве моего торфа не хватит? Машина целая.

— Фу-у! твоего торфу! Еще столько, да еще столько — тогда, бывает, хватит. Тут как зима закрутит, да *дуель* в окна, так не столько топишь, сколько выдувает. Летось мы торфу натаскивали сколища! Я ли бы и теперь три машины не натаскала? Так вот ловят. Уж одну бабу нашу по судам тягают.

Да, это было так. Уже закруживалось пугающее дыхание зимы — и щемило сердца. Стояли вокруг леса, а топки взять было негде. Рычали кругом экскаваторы на болотах, но не продавалось торфу жителям, а только везли — начальству, да кто при начальстве, да по машине — учителям, врачам, рабочим завода. Топлива не было положено — и спрашивать о нем не полагалось. Председатель колхоза ходил по деревне, смотрел в глаза требовательно, или мутно, или простодушно и о чем угодно говорил, кроме топлива. Потому что сам он запасся. А зимы не ожидалось.

Что ж, воровали раньше лес у барина, теперь тянули торф у треста. Бабы собирались по пять, по десять, чтобы смелей. Ходили днем. За лето накопано было торфу повсюду и сложено штабелями для просушки. Этим и хорош торф, что, добыв, его не могут увезти сразу. Он сохнет до осени, а то и до снега, если дорога не станет или трест затомошился. Это-то время бабы его и брали. Зараз уносили в мешке торфин шесть, если были сыроваты, торфин десять, если сухие. Одного мешка такого, принесенного иногда километра за три (и весил он пуда два), хватало на одну протопку. А дней в зиме двести. А топить надо: утром русскую, вечером «голландку».

— Да чего говорить обáпол[1]! — сердилась Матрена на кого-то невидимого. — Как лошадей не стало, так чего на

[1] *Обáпол* — здесь: об этом.

себе не припрешь, того и в дому нет. Спина у меня никогда не заживает. Зимой салазки на себе, летом вязанки на себе, ей-богу правда!

Ходили бабы в день — не по разу. В хорошие дни Матрена приносила по шесть мешков. Мой торф она сложила открыто, свой прятала под мостами[1], и каждый вечер забивала лаз доской.

— Разве уж догадаются, враги, — улыбалась она, вытирая пот со лба, — а то ни в жисть не найдут.

Что было делать тресту? Ему не отпускалось штатов, чтобы расставлять караульщиков по всем болотам. Приходилось, наверно, показав обильную добычу в сводках, затем списывать — на крошку, на дожди. Иногда, порывами, собирали патруль и ловили баб у входа в деревню. Бабы бросали мешки и разбегались. Иногда, по доносу, ходили по домам с обыском, составляли протокол на незаконный торф и грозились передать в суд. Бабы на время бросали носить, но зима надвигалась и снова гнала их — с санками по ночам.

Вообще, приглядываясь к Матрене, я замечал, что, помимо стряпни и хозяйства, на каждый день у нее приходилось и какое-нибудь другое немалое дело; закономерный порядок этих дел она держала в голове и, проснувшись поутру, всегда знала, чем сегодня день ее будет занят. Кроме торфа, кроме сбора старых пеньков, вывороченных трактором на болоте, кроме брусники, намачиваемой на зиму в четвертях («Поточи зубки, Игнатич», — угощала меня), кроме копки картошки, кроме беготни по пенсионному делу, она должна была еще где-то раздобывать сенца для единственной своей грязно-белой козы.

— А почему вы коровы не держите, Матрена Васильевна?

— Э-эх, Игнатич, — разъясняла Матрена, стоя в нечистом фартуке в кухонном дверном вырезе и оборотясь к моему столу. — Мне молока и от козы хватит. А корову заведи, так она меня самою с ногами съест. У полотна не скоси — там свои хозяева, и в лесу косить нету — лесничество хозяин, и в колхозе мне не велят — не колхозница, мол, теперь. Да они и колхозницы до самых белых мух все в колхоз, все в колхоз, а себе уж из-под снегу — что за трава?.. По-бывалошному кипели с сеном в межень[2], с Петрова до Ильина. Считалось, трава — медовая...

---

[1] *Мосты́* — здесь: крыльцо.

[2] *Ме́жень* — середина какого-либо срока, здесь: лета.

Так одной утельной козе собрать было сена для Матрены — труд великий. Брала она с утра мешок и серп и уходила в места, которые помнила, где трава росла по обмежкам, по задорогe, по островкам среди болота. Набив мешок свежей тяжелой травой, она тащила ее домой и во дворике у себя раскладывала пластом. С мешка травы получалось подсохшего сена — навильник.

Председатель новый, недавний, присланный из города, первым делом обрезал всем инвалидам огороды. Пятнадцать соток песочка оставил Матрене, а десять соток так и пустовало за забором. Впрочем, и за пятнадцать соток потягивал колхоз Матрену. Когда рук не хватало, когда отнекивались бабы уж очень упорно, жена председателя приходила к Матрене. Она была тоже женщина городская, решительная, коротким серым полупальто и грозным взглядом как бы военная.

Она входила в избу и, не здороваясь, строго смотрела на Матрену. Матрена мешалась.

— Та-ак, — раздельно говорила жена председателя. — Товарищ Григорьева! Надо будет помочь колхозу! Надо будет завтра ехать навоз вывозить!

Лицо Матрены складывалось в извиняющую полуулыбку — как будто ей было совестно за жену председателя, что та не могла ей заплатить за работу.

— Ну что ж, — тянула она. — Я больна, конечно. И к делу вашему теперь не присоединена. — И тут же спешно исправлялась: — Ко́му часу приходить-то?

— И вилы свои бери! — наставляла председательша и уходила, шурша твердой юбкой.

— Во как! — пеняла Матрена вслед. — И вилы свои бери! Ни лопат, ни вил в колхозе нету. А я без мужика живу, кто мне насадит?..

И размышляла потом весь вечер:

— Да что говорить, Игнатич! Ни к столбу, ни к перилу эта работа. Станешь, об лопату опершись, и ждешь, скоро ли с фабрики гудок на двенадцать. Да еще заведутся бабы, счеты сводят, кто вышел, кто не вышел. Когда, бывалоча, *по себе* работали, так никакого *звуку* не было, только ой-ой-ойиньки, вот обед подкатил, вот вечер подступил.

Все же поутру она уходила со своими вилами.

Но не колхоз только, а любая родственница дальняя или просто соседка приходила тоже к Матрене с вечера и говорила:

— Завтра, Матрена, придешь мне пособить. Картошку будем докапывать.

И Матрена не могла отказать. Она покидала свой черед дел, шла помогать соседке и, воротясь, еще говорила без тени зависти:

— Ах, Игнатич, и крупная ж картошка у нее! В охотку копала, уходить с участка не хотелось, ей-богу правда!

Тем более не обходилась без Матрены ни одна пахота огорода. Тальновские бабы установили доточно, что одной вскопать свой огород лопатою тяжеле и дольше, чем, взяв соху и вшестером впрягшись, вспахать на себе шесть огородов. На то и звали Матрену в помощь.

— Что ж, платили вы ей? — приходилось мне потом спрашивать.

— Не берет она денег. Уж поневоле ей вопрятаешь.

Еще суета большая выпадала Матрене, когда подходила ее очередь кормить козьих пастухов: одного — здоровенного, *немоглу́хого*, и второго — мальчишку с постоянной слюнявой цигаркой в зубах. Очередь эта была в полтора месяца раз, но вгоняла Матрену в большой расход. Она шла в сельпо, покупала рыбные консервы, расстарывалась и сахару и масла, чего не ела сама. Оказывается, хозяйки выкладывались друг перед другом, стараясь накормить пастухов получше.

— Бойся портного да пастуха, — объясняла она мне. — По всей деревне тебя ославят, если что им не так.

И в эту жизнь, густую заботами, еще врывалась временами тяжелая немочь, Матрена валилась и сутки-двое лежала пластом. Она не жаловалась, не стонала, но и не шевелилась почти. В такие дни Маша, близкая подруга Матрены с самых молодых годков, приходила обихаживать козу да топить печь. Сама Матрена не пила, не ела и не просила ничего. Вызвать на дом врача из поселкового медпункта было в Тальнове вдиво, как-то неприлично перед соседями — мол, барыня. Вызывали однажды, та приехала злая очень, велела Матрене, как отлежится, приходить на медпункт самой. Матрена ходила против воли, брали анализы, посылали в районную больницу — да так и заглохло.

Дела звали к жизни. Скоро Матрена начинала вставать, сперва двигалась медленно, а потом опять живо.

— Это ты меня прежде не видал, Игнатич, — оправдывалась она. — Все мешки мои были, по пять пудов ти́желью не

считала. Свекор кричал: «Матрена! Спину сломаешь!» Ко мне дивирь не подходил, чтоб мой конец бревна на передок подсадить. Конь был военный у нас Волчок, здоровый...

— А почему военный?

— А нашего на войну забрали, этого подраненного — взамен. А он стиховой какой-то попался. Раз с испугу сани понес в озеро, мужики отскакивали, а я, правда, за узду схватила, остановила. Овсяной был конь. У нас мужики любили лошадей кормить. Которые кони овсяные, те и ти́жели не признают.

Но отнюдь не была Матрена бесстрашной. Боялась она пожара, боялась *молоньи́*, а больше всего почему-то — поезда.

— Как мне в Черусти ехать, с Нечаевки поезд вылезет, глаза здоровенные свои вылупит, рельсы гудят — аж в жар меня бросает, коленки трясутся. Ей-богу правда! — сама удивлялась и пожимала плечами Матрена.

— Так, может, потому, что билетов не дают, Матрена Васильевна?

— В окошечко? Только мягкие суют. А уж поезд — трогацать! Мечемся туда-сюда: да взойдите ж в сознание! Мужики — те по лесенке на крышу полезли. А мы нашли дверь незапертую, вперлись прям так, без билетов — а вагоны-то все *простые* идут, все простые, хоть на полке растягивайся. Отчего билетов не давали, паразиты несочувственные, — не знато...

Все же к той зиме жизнь Матрены наладилась как никогда. Стали-таки платить ей рублей восемьдесят пенсии. Еще сто с лишком получала она от школы и от меня.

— Фу-у! Теперь Матрене и умирать не надо! — уже начинали завидовать некоторые из соседок. — Больше денег ей, старой, и девать некуда.

— А что — пенсия? — возражали другие. — Государство — оно минутное. Сегодня, вишь, дало, а завтра отымет.

Заказала себе Матрена скатать новые валенки. Купила новую телогрейку. И справила пальто из ношеной железнодорожной шинели, которую подарил ей машинист из Черустей, муж ее бывшей воспитанницы Киры. Деревенский портной-горбун подложил под сукно ваты, и такое славное пальто получилось, какого за шесть десятков лет Матрена не нашивала.

И в середине зимы зашила Матрена в подкладку этого пальто двести рублей — себе на похороны. Повеселела:

— Маненько и я спокой увидала, Игнатич.

Прошел декабрь, прошел январь — за два месяца не посетила ее болезнь. Чаще Матрена по вечерам стала ходить к Маше посидеть, семечки пощелкать. К себе она гостей по вечерам не звала, уважая мои занятия. Только на Крещенье, воротясь из школы, я застал в избе пляску и познакомлен был с тремя Матрениными родными сестрами, звавшими Матрену как старшую — лелька или нянька. До этого дня мало было в нашей избе слышно о сестрах — то ли опасались они, что Матрена будет просить у них помощи?

Одно только событие или предзнаменование омрачило Матрене этот праздник: ходила она за пять верст в церковь на водосвятие, оставила свой котелок меж других, а когда водосвятие кончилось и бросились бабы, толкаясь, разбирать — Матрена не поспела средь первых, а в конце — не оказалось ее котелка. И взамен котелка никакой другой посуды тоже оставлено не было. Исчез котелок, как дух нечистый его унес.

— Бабоньки! — ходила Матрена среди молящихся. — Не прихватил ли кто неуладкой чужую воду освяченную? в котелке?

Не признался никто. Бывает, мальчишки созоровали, были там и мальчишки. Вернулась Матрена печальная. Всегда у нее бывала святая вода, а на этот год не стало.

Не сказать, однако, чтобы Матрена верила как-то истово. Даже скорей была она язычница, брали в ней верх суеверия: что на Ивана Постного в огород зайти нельзя — на будущий год урожая не будет; что если метель крутит — значит, кто-то где-то удавился, а дверью ногу прищемишь — быть гостю. Сколько жил я у нее — никогда не видел ее молящейся, ни чтоб она хоть раз перекрестилась. А дело всякое начинала «с Богом!» и мне всякий раз «с Богом!» говорила, когда я шел в школу. Может быть, она и молилась, но не показно, стесняясь меня или боясь меня притеснить. Был святой угол в чистой избе и иконка Николая Угодника в кухоньке. За́будни стояли они темные, а во время всенощной и с утра по праздникам зажигала Матрена лампадку.

Только грехов у нее было меньше, чем у ее колченогой кошки. Та — мышей душила...

Немного выдравшись из колотной[1] своей житенки, стала Матрена повнимательней слушать и мое радио (я не преминул поставить себе *разведку* — так Матрена называла розет-

[1] *Коло́тный* — беспокойный.

ку. Мой приемничек уже не был для меня бич, потому что я своей рукой мог его выключить в любую минуту; но, действительно, выходил он для меня из глухой избы — разведкой). В тот год повелось по две — по три иностранных делегации в неделю принимать, провожать и возить по многим городам, собирая митинги. И что ни день, известия полны были важными сообщениями о банкетах, обедах и завтраках.

Матрена хмурилась, неодобрительно вздыхала:

— Ездят-ездят, чего-нибудь наездят.

Услышав, что машины изобретены новые, ворчала Матрена из кухни:

— Все новые, новые, на старых работать не хотят, куды старые складывать будем?

Еще в тот год обещали искусственные спутники Земли. Матрена качала головой с печи:

— Ой-ой-ойиньки, чего-нибудь изменят, зиму или лето.

Исполнял Шаляпин русские песни. Матрена стояла-стояла, слушала и приговорила решительно:

— Чудно поют, не по-нашему.

— Да что вы, Матрена Васильевна, да прислушайтесь!

Еще послушала. Сжала губы:

— Не. Не так. Ладу не нашего. И голосом балует.

Зато и вознаградила меня Матрена. Передавали как-то концерт из романсов Глинки. И вдруг после пятка камерных романсов Матрена, держась за фартук, вышла из-за перегородки растепленная, с пеленой слезы в неярких своих глазах:

— А вот это — по-нашему... — прошептала она.

2

Так привыкли Матрена ко мне, а я к ней, и жили мы запросто. Не мешала она моим долгим вечерним занятиям, не досаждала никакими расспросами. До того отсутствовало в ней бабье любопытство или до того она была деликатна, что не спросила меня ни разу: был ли я когда женат?

Все тальновские бабы приставали к ней — узнать обо мне. Она им отвечала:

— Вам нужно — вы и спрашивайте. Знаю одно — *дальний* он.

И когда невскоре я сам сказал ей, что много провел в тюрьме, она только молча покивала головой, как бы подозревала и раньше.

А я тоже видел Матрену сегодняшнюю, потерянную старуху, и тоже не бередил ее прошлого, да и не подозревал, чтоб там было что искать.

Знал я, что замуж Матрена вышла еще до революции, и сразу в эту избу, где мы жили теперь с ней, и сразу к *печке* (то есть не было в живых ни свекрови, ни старшей золовки незамужней, и с первого послебрачного утра Матрена взялась за ухват). Знал, что детей у нее было шестеро и один за другим умирали все очень рано, так что двое сразу не жило. Потом была какая-то воспитанница Кира. А муж Матрены не вернулся с этой войны. Похоронного тоже не было. Односельчане, кто был с ним в роте, говорили, что либо в плен он попал, либо погиб, а только тела не нашли. За одиннадцать послевоенных лет решила и Матрена сама, что он не жив. И хорошо, что думала так. Хоть и был бы теперь он жив — так женат где-нибудь в Бразилии или в Австралии. И деревня Тальново, и язык русский изглаживаются из памяти его...

Раз, придя из школы, я застал в нашей избе гостя. Высокий черный старик, сняв на колени шапку, сидел на стуле, который Матрена выставила ему на середину комнаты, к печке-«голландке». Все лицо его облегали густые черные волосы, почти не тронутые сединой: с черной окладистой бородой сливались усы густые, черные, так что рот был виден едва; и непрерывные бакены черные, едва выказывая уши, поднимались к черным космам, свисавшим с темени; и еще широкие черные брови мостами были брошены друг другу навстречу. И только лоб уходил лысым куполом в лысую просторную маковку. Во всем облике старика показалось мне многознание и достойность. Он сидел ровно, сложив руки на посохе, посох же отвесно уперев в пол, — сидел в положении терпеливого ожидания и, видно, мало разговаривал с Матреной, возившейся за перегородкой.

Когда я пришел, он плавно повернул ко мне величавую голову и назвал меня внезапно:

— Батюшка!.. Вижу вас плохо. Сын мой учится у вас. Григорьев Антошка...

Дальше мог бы он и не говорить... При всем моем порыве помочь этому почтенному старику заранее знал я и отвергал все то бесполезное, что скажет старик сейчас. Григорьев Антошка был круглый румяный малец из 8-го «Г», выглядевший как кот после блинов. В школу он приходил как бы отдыхать, за партой сидел и улыбался лениво. Уж тем более

он никогда не готовил уроков дома. Но, главное, борясь за тот высокий процент успеваемости, которым славились школы нашего района, нашей области и соседних областей, — из году в год его переводили, и он ясно усвоил, что, как бы учителя ни грозились, все равно в конце года переведут, и не надо для этого учиться. Он просто смеялся над нами. Он сидел в 8-м классе, однако не владел дробями и не различал, какие бывают треугольники. По первым четвертям он был в цепкой хватке моих двоек — и то же ожидало его в третьей четверти.

Но этому полуслепому старику, годному Антошке не в отцы, а в деды и пришедшему ко мне на униженный поклон, — как было сказать теперь, что год за годом школа его обманывала, дальше же обманывать я не могу, иначе развалю весь класс, и превращусь в балаболку, и наплевать должен буду на весь свой труд и звание свое?

И теперь я терпеливо объяснял ему, что запущено у сына очень, и он в школе и дома лжет, надо дневник проверять у него почаще и круто браться с двух сторон.

— Да уж куда крутей, батюшка, — заверил меня гость. — Бью его теперь, что неделя. А рука тяжелая у меня.

В разговоре я вспомнил, что уже один раз и Матрена сама почему-то ходатайствовала за Антошку Григорьева, но я не спросил, что за родственник он ей, и тоже тогда отказал. Матрена и сейчас стала в дверях кухоньки бессловной просительницей. И когда Фаддей Миронович ушел от меня с тем, что будет заходить-узнавать, я спросил:

— Не пойму, Матрена Васильевна, кем же этот Антошка вам приходится?

— Дивиря моего сын, — ответила Матрена суховато и ушла доить козу.

Разочтя, я понял, что черный настойчивый этот старик — родной брат мужа ее, без вести пропавшего.

И долгий вечер прошел — Матрена не касалась больше этого разговора. Лишь поздно вечером, когда я думать забыл о старике и писал свое в тишине избы под шорох тараканов и постук ходиков, — Матрена вдруг из темного своего угла сказала:

— Я, Игнатич, когда-то за него чуть замуж не вышла.

Я и о Матрене-то самой забыл, что она здесь, не слышал ее, — но так взволнованно она это сказала из темноты, будто и сейчас еще тот старик домогался ее.

Видно, весь вечер Матрена только об том и думала.

Она поднялась с убогой тряпичной кровати и медленно выходила ко мне, как бы идя за своими словами. Я откинулся — и в первый раз совсем по-новому увидел Матрену.

Верхнего света не было в нашей большой комнате, как лесом заставленной фикусами. От настольной же лампы свет падал кругом только на мои тетради, — а по всей комнате глазам, оторвавшимся от света, казался полумрак с розовинкой. И из него выступала Матрена. И щеки ее померещились мне не желтыми, как всегда, а тоже с розовинкой.

— Он за меня первый сватался... раньше Ефима... Он был брат — старший... Мне было девятнадцать, Фаддею — двадцать три... Вот в этом самом доме они тогда жили. Ихний был дом. Ихним отцом строенный.

Я невольно оглянулся. Этот старый серый изгнивающий дом вдруг сквозь блекло-зеленую шкуру обоев, под которыми бегали мыши, проступил мне молодыми, еще не потемневшими тогда, струганными бревнами и веселым смолистым запахом.

— И вы его?.. И что же?..

— В то лето... ходили мы с ним в рощу сидеть, — прошептала она. — Тут роща была, где теперь конный двор, вырубили ее... Без малого не вышла, Игнатич. Война германская началась. Взяли Фаддея на войну.

Она уронила это — и вспыхнул передо мной голубой, белый и желтый июль четырнадцатого года: еще мирное небо, плывущие облака и народ, кипящий со спелым жнивом. Я представил их рядом: смоляного богатыря с косой через спину; ее, румяную, обнявшую сноп. И — песню, песню под небом, какие давно уже отстала деревня петь, да и не споешь при механизмах.

— Пошел он на войну — пропал... Три года затаилась я, ждала. И ни весточки, и ни косточки...

Обвязанное старческим слинявшим платочком смотрело на меня в непрямых мягких отсветах лампы круглое лицо Матрены — как будто освобожденное от морщин, от будничного небрежного наряда — испуганное, девичье, перед страшным выбором.

Да. Да... Понимаю... Облетали листья, падал снег — и потом таял. Снова пахали, снова сеяли, снова жали. И опять облетали листья, и опять падал снег. И одна революция. И другая революция. И весь свет перевернулся.



— Мать у них умерла — и присватался ко мне Ефим. Мол, в нашу избу ты идти хотела, в нашу и иди. Был Ефим моложе меня на год. Говорят у нас: умная выходит после Покрова, а дура — после Петрова. Рук у них не хватало. Пошла я... На Петров день повенчались, а к Миколе зимнему — вернулся... Фаддей... из венгерского плена.

Матрена закрыла глаза.

Я молчал.

Она обернулась к двери, как к живой:

— Стал на пороге. Я как закричу! В колена б ему бросилась!.. Нельзя... Ну, говорит, если б то не брат мой родной — я бы вас порубал обоих!

Я вздрогнул. От ее надрыва или страха я живо представил, как он стоит там, черный, в темных дверях и топором замахнулся на Матрену.

Но она успокоилась, оперлась о спинку стула перед собой и певуче рассказывала:

— Ой-ой-ойиньки, головушка бедная! Сколько невест было на деревне — не женился. Сказал: буду имечко твое искать, вторую Матрену. И привел-таки себе из Липовки Матрену, срубили избу отдельную, где и сейчас живут, ты каждый день мимо их в школу ходишь.

Ах, вот оно что! Теперь я понял, что видел ту вторую Матрену не раз. Не любил я ее: всегда приходила она к моей Матрене жаловаться, что муж ее бьет, и скаред муж, жилы из нее вытягивает, и плакала здесь подолгу, и голос-то всегда у нее был на слезе.

Но выходило, что не о чем моей Матрене жалеть — так бил Фаддей свою Матрену всю жизнь и по сей день и так зажал весь дом.

— Меня *сам* ни разику не бил, — рассказывала она о Ефиме. — По улице на мужиков с кулаками бегал, а меня — ни разику... То есть был-таки раз — я с золовкой поссорилась, он ложку мне об лоб расшибил. Вскочила я от стола: «Захлебнуться бы вам, подавиться, трутни!» И в лес ушла. Больше не трогал.

Кажется, и Фаддею не о чем было жалеть: родила ему вторая Матрена тоже шестерых детей (средь них и Антошка мой, самый младший, поскребыш) — и выжили все, а у Матрены с Ефимом дети не стояли: до трех месяцев не доживая и не болея ничем, умирал каждый.

— Одна дочка только родилась, помыли ее живую — тут она и померла. Так мертвую уж обмывать не пришлось... Как свадьба моя была в Петров день, так и шестого ребенка, Александра, в Петров день схоронила.

И решила вся деревня, что в Матрене — порча.

— *Порция* во мне! — убежденно кивала и сейчас Матрена. — Возили меня к монашенке одной бывшей лечиться, она меня на кашель наводила — ждала, что *порция* из меня лягушкой выбросится. Ну, не выбросилась...

И шли года, как плыла вода... В сорок первом не взяли на войну Фаддея из-за слепоты, зато Ефима взяли. И как старший брат в первую войну, так младший без вести исчез во вторую. Но этот вовсе не вернулся. Гнила и старела когда-то шумная, а теперь пустынная изба — и старела в ней беспритульная Матрена.

И попросила она у той второй, забитой, Матрены — чрева ее урывочек (или кровиночку Фаддея?) — младшую их девочку Киру.

Десять лет она воспитывала ее здесь как родную, вместо своих невыстоявших. И незадолго до меня выдала за молодого машиниста в Черусти. Только оттуда ей теперь и помощь сочилась: иногда сахарку, когда поросенка зарежут — сальца.

Страдая от недугов и чая недалекую смерть, тогда же объявила Матрена свою волю: отдельный сруб горницы, расположенный под общей связью с избою, после смерти ее отдать в наследство Кире. О самой избе она ничего не сказала. Еще три сестры ее метили получить эту избу.

Так в тот вечер открылась мне Матрена сполна. И, как это бывает, связь и смысл ее жизни, едва став мне видимыми, — в тех же днях пришли и в движение. Из Черустей приехала Кира, забеспокоился старик Фаддей: в Черустях, чтобы получить и удержать участок земли, надо было молодым поставить какое-нибудь строение. Шла для этого вполне Матренина горница. А другого нечего было и поставить, неоткуда лесу взять. И не так сама Кира, и не так муж ее, как за них старый Фаддей загорелся захватить этот участок в Черустях.

И вот он зачастил к нам, пришел раз, еще раз, наставительно говорил с Матреной и требовал, чтоб она отдала горницу теперь же, при жизни. В эти приходы он не показался мне тем опирающимся о посох старцем, который вот развалится от толчка или грубого слова. Хоть и пригорбленный больною поясницей, но все еще статный, старше шестидесяти сохранивший сочную, молодую черноту в волосах, он наседал с горячностью.

Не спала Матрена две ночи. Нелегко ей было решиться. Не жалко было саму горницу, стоявшую без дела, как вообще ни труда, ни добра своего не жалела Матрена никогда. И горница эта все равно была завещана Кире. Но жутко ей было начать ломать ту крышу, под которой прожила сорок лет. Даже мне, постояльцу, было больно, что начнут отрывать доски и выворачивать бревна дома. А для Матрены было это — конец ее жизни всей.

Но те, кто настаивал, знали, что ее дом можно сломать и при жизни.

И Фаддей с сыновьями и зятьями пришли как-то февральским утром и застучали в пять топоров, завизжали и заскрипели отрываемыми досками. Глаза самого Фаддея деловито поблескивали. Несмотря что спина его не распрямлялась вся, он ловко лазил и под стропила и живо суетился внизу, покрикивая на помощников. Эту избу он парнишкою сам и строил когда-то с отцом; эту горницу для него, старшего сына, и рубили, чтоб он поселился здесь с молодой. А теперь он яро разбирал ее по ребрышкам, чтоб увезти с чужого двора.

Переметив номерами венцы сруба и доски потолочного настила, горницу с подклетью разобрали, а избу саму с укороченными мостами отсекли временной тесовой стеночкой. В стенке они покинули щели, и все показывало, что ломатели — не строители и не предполагают, чтобы Матрене еще долго пришлось здесь жить.

А пока мужчины ломали, женщины готовили ко дню погрузки самогон: водка обошлась бы чересчур дорого. Кира привезла из Московской области пуд сахару, Матрена Васильевна под покровом ночи носила тот сахар и бутыли самогонщику.

Вынесены и сштабелеваны были бревна перед воротами, зять-машинист уехал в Черусти за трактором.

Но в тот же день началась метель — *дуель*, по-Матрениному. Она кутила и кружила двое суток и замела дорогу непомерными сугробами. Потом, чуть дорогу умяли, прошел грузовик-другой — внезапно потеплело, в один день разом распустило, стали сырые туманы, журчали ручьи, прорывшиеся в снегу, и нога в сапоге увязала по все голенище.

Две недели не давалась трактору разломанная горница! Эти две недели Матрена ходила как потерянная. Оттого особенно ей было тяжело, что пришли три сестры ее, все дружно обругали ее дурой за то, что горницу отдала, сказали, что видеть ее больше не хотят, — и ушли.

И в те же дни кошка колченогая сбрела со двора — и пропала. Одно к одному. Еще и это пришибло Матрену.

Наконец стаявшую дорогу прихватило морозом. Наступил солнечный день, и повеселело на душе. Матрене что-то доброе приснилось под тот день. С утра узнала она, что я хочу сфотографировать кого-нибудь за старинным ткацким станом (такие еще стояли в двух избах, на них ткали грубые половики), — и усмехнулась застенчиво:

— Да уж погоди, Игнатич, пару дней, вот горницу, бывает, отправлю — сложу свой стан, ведь цел у меня — и снимешь тогда. Ей-богу правда!

Видно, привлекало ее изобразить себя в старине. От красного морозного солнца чуть розовым залилось замороженное окошко сеней, теперь укороченных, — и грел этот отсвет лицо Матрены. У тех людей всегда лица хороши, кто в ладах с совестью своей.

Перед сумерками, возвращаясь из школы, я увидел движение близ нашего дома. Большие новые тракторные сани были

уже нагружены бревнами, но многое еще не поместилось — и семья деда Фаддея, и приглашенные помогать кончали сбивать еще одни сани, самодельные. Все работали, как безумные, в том ожесточении, какое бывает у людей, когда пахнет большими деньгами или ждут большого угощения. Кричали друг на друга, спорили.

Спор шел о том, как везти сани — порознь или вместе. Один сын Фаддея, хромой, и зять-машинист толковали, что сразу обои сани нельзя, трактор не утянет. Тракторист же, самоуверенный толстомордый здоровяга, хрипел, что ему видней, что он *водитель* и повезет сани вместе. Расчет его был ясен: по уговору машинист платил ему за перевоз горницы, а не за рейсы. Двух рейсов за ночь — по двадцать пять километров да один раз назад — он никак бы не сделал. А к утру ему надо было быть с трактором уже в гараже, откуда он увел его тайком для *левой*.

Старику Фаддею не терпелось сегодня же увезти всю горницу — и он кивнул своим уступить. Вторые, наспех сколоченные сани подцепили за крепкими первыми.

Матрена бегала среди мужчин, суетилась и помогала накатывать бревна на сани. Тут заметил я, что она в моей телогрейке, уже измазала рукава о льдистую грязь бревен, — и с неудовольствием сказал ей об этом. Телогрейка эта была мне память, она грела меня в тяжелые годы.

Так я в первый раз рассердился на Матрену Васильевну.

— Ой-ой-ойиньки, головушка бедная! — озадачилась она. — Ведь я ее бегма подхватила, да и забыла, что твоя. Прости, Игнатич. — И сняла, повесила сушиться.

Погрузка кончилась, и все, кто работал, человек до десяти мужчин, прогремели мимо моего стола и нырнули под занавеску в кухоньку. Оттуда глуховато застучали стаканы, иногда звякала бутыль, голоса становились все громче, похвальба — задорнее. Особенно хвастался тракторист. Тяжелый запах самогона докатился до меня. Но пили недолго — темнота заставляла спешить. Стали выходить. Самодовольный, с жестоким лицом вышел тракторист. Сопровождать сани до Черустей шли зять-машинист, хромой сын Фаддея и еще племянник один. Остальные расходились по домам. Фаддей, размахивая палкой, догонял кого-то, спешил что-то втолковать. Хромой сын задержался у моего стола закурить и вдруг заговорил, как любит он тетку Матрену, и что женился недавно,

и вот сын у него родился только что. Тут ему крикнули, он ушел. За окном зарычал трактор.

Последней торопливо выскочила из-за перегородки Матрена. Она тревожно качала головой вслед ушедшим. Надела телогрейку, накинула платок. В дверях сказала мне:

— И что было двух не срядить? Один бы трактор занемог — другой подтянул. А теперь чего будет — Богу весть!..

И убежала за всеми.

После пьянки, споров и хождения стало особенно тихо в брошенной избе, выстуженной частым открыванием дверей. За окнами уже совсем стемнело. Я тоже влез в телогрейку и сел за стол. Трактор стих в отдалении.

Прошел час, другой. И третий. Матрена не возвращалась, но я не удивлялся: проводив сани, должно быть, ушла к своей Маше.

И еще прошел час. И еще. Не только тьма, но глубокая какая-то тишина опустилась на деревню. Я не мог тогда понять, отчего тишина — оттого, оказалось, что за весь вечер ни одного поезда не прошло по линии в полуверсте от нас. Приемник мой молчал, и я заметил, что очень уж, как никогда, развозились мыши: все нахальней, все шумней они бегали под обоями, скребли и попискивали.

Я очнулся. Был первый час ночи, а Матрена не возвращалась.

Вдру́г услышал я несколько громких голосов на деревне. Еще были они далеко, но как подтолкнуло меня, что это к нам. И правда, скоро резкий стук раздался в ворота. Чужой властный голос кричал, чтоб открыли. Я вышел с электрическим фонариком в густую темноту. Деревня вся спала, окна не светились, а снег за неделю притаял и тоже не отсвечивал. Я отвернул нижнюю завертку и впустил. К избе прошли четверо в шинелях. Неприятно это очень, когда ночью приходят к тебе громко и в шинелях.

При свете огляделся я, однако, что у двоих шинели — железнодорожные. Старший, толстый, с таким же лицом, как у того тракториста, спросил:

— Где хозяйка?

— Не знаю.

— А трактор с санями из этого двора уезжал?

— Из этого.

— Они пили тут перед отъездом?

Все четверо щурились, оглядывались в полутьме при настольной лампе. Я так понял, что кого-то арестовали или хотели арестовать.

— Да что случилось?

— Отвечайте, что вас спрашивают!

— Но...

— Поехали пьяные?

— Они пили тут?

Убил ли кто кого? Или перевозить нельзя было горницы? Очень уж они на меня наседали. Но одно было ясно: что за самогонщину Матрене могут дать срок.

Я отступил к кухонной дверке и так перегородил ее собою.

— Право, не заметил. Не видно было.

(Мне и действительно не видно было, только слышно.)

И как бы растерянным жестом я провел рукой, показывая обстановку избы: мирный настольный свет над книгами и тетрадями; толпу испуганных фикусов; суровую койку отшельника. Никаких следов разгула.

Они уже и сами с досадой заметили, что никакой попойки здесь не было. И повернули к выходу, между собой говоря, что, значит, пьянка была не в этой избе, но хорошо бы прихватить, что была. Я провожал их и допытывался, что же случилось. И только в калитке мне буркнул один:

— Разворотило их всех. Не соберешь.

А другой добавил:

— Да это что! Двадцать первый скорый чуть с рельс не сошел, вот было бы.

И они быстро ушли.

Кого — их? Кого — всех? Матрена-то где?..

Я вернулся в избу, отвел полог и прошел в кухоньку. Самогонный смрад ударил в меня. Это было застывшее побоище — сгруженных табуреток и скамьи, пустых лежачих бутылок и одной неоконченной, стаканов, недоеденной селедки, лука и раскромсанного сала.

Все было мертво. И только тараканы спокойно ползали по полю битвы.

Я кинулся все убирать. Я полоскал бутылки, убирал еду, разносил стулья, а остаток самогона спрятал в темное подполье подальше.

И лишь когда я все это сделал, я встал пнем посреди пустой избы: что-то сказано было о двадцать первом скором.

К чему?.. Может, надо было все это показать им? Я уже сомневался. Но что за манера проклятая — ничего не объяснить нечиновному человеку?

И вдруг скрипнула наша калитка. Я быстро вышел на мосты:

— Матрена Васильевна?

В избу, пошатываясь, вошла ее подруга Маша:

— Матрена-то... Матрена-то наша, Игнатич...

Я усадил ее, и, мешая со слезами, она рассказала.

На переезде — горка, въезд крутой. Шлагбаума нет. С первыми санями трактор перевалил, а трос лопнул, и вторые сани, самодельные, на переезде застряли и разваливаться начали — Фаддей для них лесу хорошего не дал, для вторых саней. Отвезли чуток первые — за вторыми вернулись, трос ладили — тракторист и сын Фаддея хромой, и туда же, меж трактором и санями, понесло и Матрену. Что она там подсобить могла мужикам? Вечно она в мужичьи дела мешалась. И конь когда-то ее чуть в озеро не сшиб, под прорубь. И зачем на переезд проклятый пошла? — отдала горницу, и весь ее долг, рассчиталась... Машинист все смотрел, чтобы с Черустей поезд не нагрянул, его б фонари далеко видать, а с другой стороны, от станции нашей, шли два паровоза сцепленных — без огней и задом. Почему без огней — неведомо, а когда паровоз задом идет — машинисту с тендера сыплет в глаза пылью угольной, смотреть плохо. Налетели — и в мясо тех троих расплющили, кто между трактором и санями. Трактор изувечили, сани в щепки, рельсы вздыбили, и паровоза оба набок.

— Да как же они не слышали, что паровозы подходят?

— Да трактор-то заведенный орет.

— А с трупами что?

— Не пускают. Оцепили.

— А что я про скорый слышал... будто скорый?..

— А скорый десятичасовой — нашу станцию с ходу, и тоже к переезду. Но как паровозы рухнули — машинисты два уцелели, спрыгнули и побежали назад, и руками махают, на рельсы ставши, — и успели поезд остановить... Племянника тоже бревном покалечило. Прячется сейчас у Клавки, чтоб не знали, что он на переезде был. А то ведь затягают свидетелем!.. Незнайка на печи лежит, а знайку на веревочке ведут... А муж Киркин — ни царапины. Хотел повеситься, из петли вынули. Из-за меня, мол, тетя погибла и брат. Сейчас пошел

сам, арестовался. Да его теперь не в тюрьму, его в дом безумный. Ах, Матрена-Матренушка!..

Нет Матрены. Убит родной человек. И в день последний я укорил ее за телогрейку.

Разрисованная красно-желтая баба с книжного плаката радостно улыбалась.

Тетя Маша еще посидела, поплакала. И уже встала, чтоб идти. И вдруг спросила:

— Игнатич! Ты помнишь... вязаночка серая была у Матрены... Она ведь ее после смерти прочила Таньке моей, верно?

И с надеждой смотрела на меня в полутьме — неужели я забыл?

Но я помнил:

— Прочила, верно.

— Так слушай, может, разреши я ее заберу сейчас? Утром тут родня налетит, мне уж потом не получить.

И опять с мольбой и надеждой смотрела на меня — ее полувековая подруга, единственная, кто искренне любил Матрену в этой деревне...

Наверно, так надо было.

— Конечно... Берите... — подтвердил я.

Она открыла сундучок, достала вязанку, сунула под полу и ушла...

Мышами овладело какое-то безумие, они ходили по стенам ходенем, и почти зримыми волнами перекатывались зеленые обои над мышиными спинами.

Идти мне было некуда. Еще придут сами ко мне, допрашивать. Утром ждала меня школа. Час ночи был третий. И выход был: запереться и лечь спать.

Запереться, потому что Матрена не придет.

Я лег, оставив свет. Мыши пищали, стонали почти, и все бегали, бегали. Уставшей бессвязной головой нельзя было отделаться от невольного трепета — как будто Матрена невидимо металась и прощалась тут, с избой своей.

И вдруг в притемке у входных дверей, на пороге, я вообразил себе черного молодого Фаддея с занесенным топором:

«Если б то не брат мой родной — порубал бы я вас обоих!»

Сорок лет пролежала его угроза в углу, как старый тесак, — а ударила-таки...

3

На рассвете женщины привезли с переезда на санках под накинутым грязным мешком — все, что осталось от Матрены. Скинули мешок, чтоб обмывать. Все было месиво — ни ног, ни половины туловища, ни левой руки. Одна женщина перекрестилась и сказала:

— Ручку-то правую оставил ей Господь. Там будет Богу молиться...

И вот всю толпу фикусов, которых Матрена так любила, что, проснувшись когда-то ночью в дыму, не избу бросилась спасать, а валить фикусы на пол (не задохнулись бы от дыму), — фикусы вынесли из избы. Чисто вымели полы. Тусклое Матренино зеркало завесили широким полотенцем старой домашней вытоки. Сняли со стены праздные плакаты. Сдвинули мой стол. И к окнам, под образа, поставили на табуретках гроб, сколоченный без затей.

А в гробу лежала Матрена. Чистой простыней было покрыто ее отсутствующее изуродованное тело, и голова охвачена белым платком, — а лицо осталось целехонькое, спокойное, больше живое, чем мертвое.

Деревенские приходили постоять-посмотреть. Женщины приводили и маленьких детей взглянуть на мертвую. И если начинался плач, все женщины, хотя бы зашли они в избу из пустого любопытства, — все обязательно подплакивали от двери и от стен, как бы аккомпанировали хором. А мужчины стояли молча навытяжку, сняв шапки.

Самый же плач доставалось вести родственницам. В плаче заметил я холодно продуманный, искони заведенный порядок. Те, кто подале, подходили к гробу ненадолго и у самого гроба причитали негромко. Те, кто считал себя покойнице роднее, начинали плач еще с порога, а достигнув гроба, наклонялись голосить над самым лицом усопшей. Мелодия была самодеятельная у каждой плакальщицы. И свои собственные излагались мысли и чувства.

Тут узнал я, что плач над покойной не просто есть плач, а своего рода политика. Слетелись три сестры Матрены, захватили избу, козу и печь, заперли сундук ее на замок, из подкладки пальто выпотрошили двести похоронных рублей, приходящим всем втолковывали, что они одни были Матрене близкие. И над гробом плакали так:

— Ах, нянька-нянька! Ах, лелька-лелька! И ты ж наша единственная! И жила бы ты тихо-мирно! И мы бы тебя всегда приласкали! А погубила тебя твоя горница! А доконала тебя, заклятая! И зачем ты ее ломала? И зачем ты нас не послушала?

Так плачи сестер были обвинительные плачи против мужниной родни: не надо было понуждать Матрену горницу ломать. (А подспудный смысл был: горницу-ту вы взять-взяли, избы же самой мы вам не дадим!)

Мужнина родня — Матренины золовки, сестры Ефима и Фаддея, и еще племянницы разные приходили и плакали так:

— Ах, тетанька-тетанька! И как же ты себя не берегла! И, наверно, теперь *они* на нас обиделись! И родимая ж ты наша, и вина вся твоя! И горница тут ни при чем. И зачем же пошла ты туда, где смерть тебя стерегла? И никто тебя туда не звал! И как ты умерла — не думала! И что же ты нас не слушалась?..

(И изо всех этих причитаний выпирал ответ: в смерти ее мы не виноваты, а насчет избы еще поговорим!)

Но широколицая грубая «вторая» Матрена — та подставная Матрена, которую взял когда-то Фаддей по одному лишь имечку, — сбивалась с этой политики и простовато вопила, надрываясь над гробом:

— Да ты ж моя сестричечка! Да неужели ж ты на меня обидишься? Ох-ма!.. Да, бывалоча, мы все с тобой говорили и говорили! И прости ты меня, горемычную! Ох-ма!.. И ушла ты к своей матушке, а наверно, ты за мной заедешь! Ох-ма-а-а!..

На этом «ох-ма-а-а» она словно испускала весь дух свой — и билась, билась грудью о стенку гроба. И когда плач ее переходил обрядные нормы, женщины, как бы признавая, что плач вполне удался, все дружно говорили:

— Отстань! Отстань!

Матрена отставала, но потом приходила вновь и рыдала еще неистовее. Вышла тогда из угла старуха древняя и, положа Матрене руку на плечо, сказала строго:

— Две загадки в мире есть: как родился — не помню, как умру — не знаю.

И смолкла Матрена тотчас, и все смолкли до полной тишины.

Но и сама эта старуха, намного старше здесь всех старух и как будто даже Матрене чужая вовсе, погодя некоторое время тоже плакала:

— Ох ты, моя болезная! Ох ты, моя Васильевна! Ох, *надоело мне вас провожать!*

И совсем уже не обрядно — простым рыданием нашего века, не бедного ими, рыдала злосчастная Матренина приемная дочь — та Кира из Черустей, для которой ломали и везли эту горницу. Ее завитые локончики жалко растрепались. Красны, как кровью залиты, были глаза. Она не замечала, как сбивается на морозе ее платок, или надевала пальто мимо рукава. Она невменяемая ходила от гроба приемной матери в одном доме к гробу брата в другом, — и еще опасались за разум ее, потому что должны были мужа судить.

Выступало так, что муж ее был виновен вдвойне: он не только вез горницу, но был железнодорожный машинист, хорошо знал правила неохраняемых переездов — и должен был сходить на станцию, предупредить о тракторе. В ту ночь в уральском скором тысяча жизней людей, мирно спавших на первых и вторых полках при полусвете поездных ламп, должна была оборваться. Из-за жадности нескольких людей: захватить участок земли или не делать второго рейса трактором.

Из-за горницы, на которую легло проклятие с тех пор, как руки Фаддея ухватились ее ломать.

Впрочем, тракторист уже ушел от людского суда. А управление дороги само было виновно и в том, что оживленный переезд не охранялся, и в том, что паровозная сплотка шла без фонарей. Потому-то они сперва все старались свалить на пьянку, а теперь замять и самый суд.

Рельсы и полотно так искорежило, что три дня, пока гробы стояли в домах, поезда не шли — их заворачивали другою веткой. Всю пятницу, субботу и воскресенье — от конца следствия и до похорон — на переезде днем и ночью шел ремонт пути. Ремонтники мерзли и для обогрева, а ночью и для света раскладывали костры из даровых досок и бревен со вторых саней, рассыпанных близ переезда.

А первые сани, нагруженные, целые, так и стояли за переездом невдали.

И именно это — что одни сани дразнили, ждали с готовым тросом, а вторые еще можно было выхватывать из огня — именно это терзало душу чернобородого Фаддея всю пятницу и всю субботу. Дочь его трогалась разумом, над зятем висел суд, в собственном доме его лежал убитый им сын, на той же

улице — убитая им женщина, которую он любил когда-то, — Фаддей только ненадолго приходил постоять у гробов, держась за бороду. Высокий лоб его был омрачен тяжелой думой, но дума эта была — спасти бревна горницы от огня и от козней Матрениных сестер.

Перебрав тальновских, я понял, что Фаддей был в деревне такой не один.

Что добром нашим, народным или моим, странно называет язык имущество наше. И его-то терять считается перед людьми постыдно и глупо.

Фаддей, не присаживаясь, метался то на поселок, то на станцию, от начальства к начальству, и с неразгибающейся спиной, опираясь на посох, просил каждого снизойти к его старости и дать разрешение вернуть горницу.

И кто-то дал такое разрешение. И Фаддей собрал своих уцелевших сыновей, зятей и племянников и достал лошадей в колхозе — и с того бока развороченного переезда, кружным путем через три деревни, обвозил остатки горницы к себе во двор. Он кончил это в ночь с субботы на воскресенье.

А в воскресенье днем — хоронили. Два гроба сошлись в середине деревни, родственники поспорили, какой гроб вперед. Потом поставили их на одни розвальни рядышком, тетю и племянника, и по февральскому вновь обсыревшему насту под пасмурным небом повезли покойников на церковное кладбище за две деревни от нас. Погода была ветреная, неприютная, и поп с дьяконом ждали в церкви, не вышли в Тальново навстречу.

До околицы народ шел медленно и пел хором. Потом — отстал.

Еще под воскресенье не стихала бабья суетня в нашей избе: старушка у гроба мурлыкала псалтырь, Матренины сестры сновали у русской печи с ухватом, из чела печи пышело жаром от раскаленных торфин — от тех, которые носила Матрена в мешке с дальнего болота. Из плохой муки пекли невкусные пирожки.

В воскресенье, когда вернулись с похорон, а было уж то к вечеру, собрались на поминки. Столы, составленные в один длинный, захватывали и то место, где утром стоял гроб. Сперва стали все вокруг стола, и старик, золовкин муж, прочел «Отче наш». Потом налили каждому на самое дно миски — медовой

сыты. Ее, на помин души, мы выхлебали ложками, безо всего. Потом ели что-то и пили водку, и разговоры становились оживленнее. Перед киселем встали все и пели «Вечную память» (так объяснили мне, что поют ее — перед киселем обязательно). Опять пили. И говорили еще громче, совсем уже не о Матрене. Золовкин муж расхвастался:

— А заметили вы, православные, что отпевали сегодня медленно? Это потому, что отец Михаил меня заметил. Знает, что я службу знаю. А иначе б — со святыми помоги, вокруг ноги — и все.

Наконец ужин кончился. Опять все поднялись. Спели «Достойно есть». И опять, с тройным повтором: вечная память! вечная память! вечная память! Но голоса были хриплы, розны, лица пьяны, и никто в эту вечную память уже не вкладывал чувства.

Потом основные гости разошлись, остались самые близкие, вытянули папиросы, закурили, раздались шутки, смех. Коснулось пропавшего без вести мужа Матрены, и золовкин муж, бья себя в грудь, доказывал мне и сапожнику, мужу одной из Матрениных сестер:

— Умер Ефим, умер! Как бы это он мог не вернуться? Да если б я знал, что меня на родине даже повесят, — все равно б я вернулся!

Сапожник согласно кивал ему. Он был дезертир и вовсе не расставался с родиной: всю войну перепрятался у матери в подполье.

Высоко на печи сидела оставшаяся ночевать та строгая молчаливая старуха, древнее всех древних. Она сверху смотрела немо, осуждающе на неприлично оживленную пятидесяти- и шестидесятилетнюю молодежь.

И только несчастная приемная дочь, выросшая в этих стенах, ушла за перегородку и там плакала.

Фаддей не пришел на поминки Матрены — потому ли, что поминал сына. Но в ближайшие дни он два раза враждебно приходил в эту избу на переговоры с Матрениными сестрами и с сапожником-дезертиром.

Спор шел об избе: кому она — сестре или приемной дочери. Уже дело упиралось писать в суд, но примирились, рассудя, что суд отдаст избу не тем и не другим, а сельсовету. Сделка состоялась. Козу забрала одна сестра, избу — сапожник с женою, а в зачет Фаддеевой доли, что он «здесь каждое

бревнышко своими руками перенянчил», пошла уже свезенная горница, и еще уступили ему сарай, где жила коза, и весь внутренний забор, между двором и огородом.

И опять, преодолевая немощь и ломоту, оживился и помолодел ненасытный старик. Опять он собрал уцелевших сыновей и зятей, они разбирали сарай и забор, и он сам возил бревна на саночках, на саночках, под конец уже только с Антошкой своим из 8-го «Г», который здесь не ленился.

Избу Матрены до весны забили, и я переселился к одной из ее золовок, неподалеку. Эта золовка потом по разным поводам вспоминала что-нибудь о Матрене и как-то с новой стороны осветила мне умершую.

— Ефим ее не любил. Говорил: люблю одеваться *культурно*, а она — кое-как, все по-деревенски. А одново мы с ним в город ездили, на заработки, так он себе там сударку завел, к Матрене и возвращаться не хотел.

Все отзывы ее о Матрене были неодобрительны: и нечистоплотная она была; и за обзаводом не гналась; и не бережная; и даже поросенка не держала, выкармливать почему-то не любила; и, глупая, помогала чужим людям бесплатно (и самый повод вспомнить Матрену выпал — некого было дозвать огород вспахать на себе сохою).

И даже о сердечности и простоте Матрены, которые золовка за ней признавала, она говорила с презрительным сожалением.

И только тут — из этих неодобрительных отзывов золовки — выплыл передо мною образ Матрены, какой я не понимал ее, даже живя с нею бок о бок.

В самом деле! — ведь поросенок-то в каждой избе! А у нее не было. Что может быть легче — выкармливать жадного поросенка, ничего в мире не признающего, кроме еды! Трижды в день варить ему, жить для него — и потом зарезать и иметь сало.

А она не имела...

Не гналась за обзаводом... Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни.

Не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев.

Не понятая и брошенная даже мужем своим, схоронившая шесть детей, но не нрав свой общительный, чужая сестрам, золовкам, смешная, по-глупому работающая на других бес-

платно, — она не скопила имущества к смерти. Грязно-бе
коза, колченогая кошка, фикусы...

Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она
самый праведник, без которого, по пословице, не стоит се

Ни город.

Ни вся земля наша.

1959

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей 3

«Слово о полку Игореве» 4

Михаил Васильевич ЛОМОНОСОВ

«Утреннее размышление о Божием Величестве» 16

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 18

[Вольный перевод отрывка из басни Лафонтена] 26

«Разговор с Анакреоном» *(Фрагменты)* 26

Александр Николаевич РАДИЩЕВ

«Путешествие из Петербурга в Москву» *(Фрагменты)* 30

Николай Михайлович КАРАМЗИН

«Бедная Лиза» 50

Денис Иванович ФОНВИЗИН

«Всеобщая Придворная Грамматика» *(Фрагменты)* 65

Гаврила Романович ДЕРЖАВИН

«Властителям и судиям» 67

«Фелица» *(Фрагменты)* 68

«Русские девушки» 72

Александр Сергеевич ПУШКИН

«Пиковая Дама» 73

«Моцарт и Сальери» 97

Николай Васильевич ГОГОЛЬ

«Шинель» 107

Александр Николаевич ОСТРОВСКИЙ

«Свои люди — сочтемся!» *(В сокращении)* 138

Федор Михайлович ДОСТОЕВСКИЙ

«Белые ночи» 192

Лев Николаевич ТОЛСТОЙ

«Юность» *(Главы)* 241

Михаил Афанасьевич БУЛГАКОВ

«Собачье сердце» *(В сокращении)* 311

Михаил Александрович ШОЛОХОВ

«Судьба человека» 359

Александр Исаевич СОЛЖЕНИЦЫН

«Матренин двор» 389

Учебное издание

ЛИТЕРАТУРА

9 класс

УЧЕБНИК
для общеобразовательных учреждений

В двух частях

Часть 2

Под редакцией
Беленького Геннадия Исааковича

Генеральный директор издательства *М. И. Безвиконная*
Главный редактор *К. И. Куровский*
Ответственный за выпуск *А. В. Птухина*
Художественные редакторы *Т. С. Богданова, Н. Н. Аникушин*
Технический редактор *И. Л. Ткаченко*
Корректор *Л. В. Дьячкова*
Компьютерная верстка: *Т. В. Батракова*

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.006513.04.10 от 21.04.2010.

Формат 60×90 $^{1}/_{16}$. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Школьная».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,5. Тираж 25 000 экз. Заказ № 26043 (К-Гэ).

Издательство «Мнемозина». 105043, Москва, ул. 6-я Парковая, 29б.
Тел.: 8 (499) 367 5418, 367 5627, 367 6781; факс: 8 (499) 165 9218.
E-mail: ioc@mnemozina.ru
www.mnemozina.ru

Магазин «Мнемозина» (розничная и мелкооптовая продажа книг,
«КНИГА — ПОЧТОЙ», ИНТЕРНЕТ-магазин).
105043, Москва, ул. 6-я Парковая, 29б.
Тел./факс: 8 (495) 783 8284; тел.: 8 (495) 783 8285.
E-mail: magazin@mnemozina.ru www.shop.mnemozina.ru

Торговый дом «Мнемозина» (оптовая продажа книг).
Тел./факс: 8 (495) 665 6031 (многоканальный).
E-mail: td@mnemozina.ru

Отпечатано в ОАО «Смоленский полиграфический комбинат».
214020, г. Смоленск, ул. Смольянинова, 1.


XIX век
XX век